

Премия «Русский Букер»

Ольга
Славникова
2017



Ольга
СЛАВНИКОВА

2017

Роман



Москва • АСТ • АСТРЕЛЬ

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
С47

Художник *Ирина Сальникова*

Фотография на переплете из личного архива автора

Славникова, О.А.

С47 2017: роман / Ольга Славникова. – М. : АСТ :
Астрель, 2011. – 540, [4] с.

ISBN 978-5-17-069379-5 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-29983-4 (ООО «Издательство Астрель»)

2017 год. Большой уральский город. Главный герой – талантливый огранщик камней, его друзья – хитники – члены закрытого клана, одержимые поиском драгоценных жил в горах. Его возлюбленная не называет имени, он не знает ее адреса, хотя у него есть ключи от ее квартиры.. Постоянный вызов судьбе, постоянная игра. Свидание всегда назначается только одно, каждая вылазка в горы может стать последней.

А тут приближается годовщина Октябрьской революции и на улицах города разворачиваются театрализованные сражения красных и белых, которые превращаются в настоящий переворот!..

Роман удостоен премии «РУССКИЙ БУКЕР».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Подписано в печать 02.12.10. Формат 84х108/32.
Усл. печ. л. 28,56. Тираж 4000 экз. Заказ № 9420

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

ISBN 978-5-17-069379-5 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-5-271-29983-4 (ООО «Издательство Астрель»)

© Славникова О.А.
© ООО «Издательство Астрель»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Крылову было назначено на вокзале в половине восьмого утра. Непонятно как, но он проспал и теперь спешил бегом среди извилистых луж, похожих растянутыми позами на перепутавших лево и право Матиссовых танцоров. В руках у Крылова болтался пакет, куда был туго забит верблюжий свитер, темневший раздавленным волосом сквозь полинявшую рекламу спутниковых карт. Свитер надо было отдать профессору Анфилогову на замену того, что оказался напрочь уничтожен молью: на севере, в том секретном распадке, куда экспедиции предстояло добираться при удаче три недели и где угревалась на жирном припеке, с потрепанной бабочкой на горячем боку, завезенная зимой на снегоходе бочка бензина, весна еще только вступала в права и под пьяными елями в укрытии их широких черных шалей еще белел присыпанный иглами каменный снежок. Размазывая ботинками сырую кашу облетевшей черемухи, Крылов проскочил привокзальный сквер; взглянув на серую башню с квадратными часами, где стрелка, как палка слепца, только что ткнула и не попала в римскую IV, он сообразил, что успеваает, и даже с запасом.

Слишком легкий в привокзальной толпе, тяжело насыщенной влекомым багажом, Крылов семенил почти на

цыпочках за грудой клеенчатых баулов, когда его внимание остановила невесомо одетая женщина с абсолютно пустыми длинными руками, которыми она болтала, словно пытаясь развесть в холодном воздухе немного своей теплоты. Незнакомка просвечивала сквозь тонкое марлевое платье и рисовалась в солнечном коконе, будто тень на пыльном стекле. Тело ее обладало странным, вытянутым совершенством тени, а на плече лежал округлый блик, прозрачно-розовый, как маникюрный лак. Между Крыловым и знакомкой толпилось и сновало множество народу, полностью поглощенного собственной поклажей. Никто ничего не видел вокруг, кроме полустертого солнцем табло объявлений, где то и дело сыпались с треском застоявшиеся строки, пока не выскакивали (как бы составляясь из ошибок и на секунду задерживая самую последнюю) названия и номера прибывших поездов. Незнакомка тоже разделяла всеобщую слепоту: она, всеми растопыренными пальцами укрепляя на лице квадратные очки, что-то быстро говорила своему неясному собеседнику, сажавшему половчее себе на кеды мятую дорожную сумку. Только минуты через три до Крылова дошло, что этот собеседник и есть Анфилогов Василий Петрович, совершенно ничем не замаскированный, только успевший отпустить табачную щетину, которой за пару месяцев экспедиции предстояло стать его обычной жесткой бородищей с двумя волосяными жвалами и курчавой чернотой на крупном кадыке. Тоже заметив Крылова, Василий Петрович сделал ему повелительно-приглашающий знак, тем же заходом руки демонстративно выбросив из рукава защитной куртки сверкнувшие часы.

Тут же, смешав приветствия, подскочил деловитый Колян и предъявил Анфилогову целый веер багажных квитанций. Все равно в ногах оказалось еще до черта поклажи, и Крылов поспешно навьючился, накидав на себя брезентовые лямки и каким-то образом (через чьи-то предавшие руки) поручив знакомке свой неудобный, но

легкий пакет. Долговязый Колян, улыбаясь мокрыми железными зубами, влез в постромки лично им пошитой сумки, где весомо покоилась краса и гордость экспедиции: купленный вместо услуг стоматолога японский движок. Василий Петрович, небрежно, будто на вешалку, набросив себе на голову тряпичную кепчонку (все-таки в нем ощущался аристократ и профессор философии), повел свой маленький отряд через промозглый туннель, занятый табором приехавших на заработки азиатских нищих, уже поставивших под жидкий монетный дождик (профессионально чувствуя, где именно протекает здешняя крыша) выдавшие виды коробки из-под жвачки. Незнакомка, с трудом поспевая за невнимательным шагом нагруженных мужчин, забегала то справа, то слева; отчего-то Крылову стали при ней отвратительны эти кучи прогорклого атласного тряпья, откуда тянулись туземные руки, словно веявшие сквозь пальцы недвижимый бездежный воздух. То и дело теряя знакомку во встречном приезде потоке, вышибающем дух из всякого зазевавшегося гражданина, Крылов отставал и взглядом ловил впереди ее мелькающие пятки, к которым прилипали, тут же отставая, задники побитых босоножек.

Наконец поднялись на перрон; здесь еще не подали состав, и открытое пространство рельсов и проводов было пусто, будто перспектива из урока рисования; по лестнице пешеходного моста, схематично начерченного поверх упоительных утренних облаков, восходила, всячески помогая своей детским шагом переступавшей тележке, неопределимая, но удивительно четкая человеческая фигурка. Зверски прослезившийся Колян пытался одновременно курить и зевать, дымя кое-как прикрываемой пастью, будто отсыревшая печь. Анфилогов, собранный, в профиль к суете перрона и к забирающей влево перспективе, где с минуты на минуту ожидалось зарождение поезда, напоминал романтического преступника — кем и являлся в действительности.

— Значит, будь добр, подготовься к работе в середине сентября, — обратился он к Крылову, перейдя на тот сухой отрывистый тон, что снискал ему дурную славу в среде ранимого университетского начальства. — Оборудование докупи, деньги можешь потратить все. Наверстаем с лихвой.

По тому, как Василий Петрович понизил голос — не удостоив, однако, направить его на адресата, но пустив слова на метущий метлою перронный ветерок, — Крылов сообразил, что сказанное не предназначалось для незнакомки, стоявшей чуть поодаль, с мурашками на голых руках, обнимающих пакет. Женщина явно относилась — по сердечной, родственной или служебной части — именно к Василию Петровичу, это отношение никак не прояснившему. Крылов все не мог рассмотреть ее как следует: мельком бросаемый взгляд выхватывал то следы прививок, похожие на овсяные хлопья, то крошечную лаковую сумку, то крупное, мужского кроя, розовое ухо, за которое небрежные пальцы, нарушая равновесие очков, то и дело заправляли коротко обрубленную прядь. Стоя близко от незнакомки, Крылов почему-то терял представление о собственном росте и не мог определить, выше он ее или все-таки нет. Эта женщина казалась ему абсолютно замкнутой в себе. Вместе с тем она как будто все-таки была посвящена в тайну и цель экспедиции: на щеках ее, заливаясь под очки, гулял малокровный румянец, и общее волнение, скрываемое мужчинами за деловитостью и привычной бравадой, играло в ней неярким матовым огнем.

Теперь Крылову уже хотелось, чтобы Василий Петрович с Коляном поскорее уехали, хотелось их спровадить, чтобы приступить наконец к ожиданию их триумфального возвращения — чем более триумфального, тем более будничного, с грузом каких-нибудь аметистовых щеток для отвода завистливых глаз. Наконец послышался низкий мохнатый гудок: вдали показалась и стала расти, це-

ликом заполняя собою и своими вагонами одну из длинных строительных пустот перспективы, башка тепловоза. Поезд налетел, классически вспугнув побежавшую газету, зашипел тормозами, все медленней поплыли белоногие проводницы, протянулись и встали обжитые окна с частями верхних постелей и заспанных физиономий. Пока Василий Петрович, Крылов и Колян закидывали поклажу в тамбур, пока волокли ее, застревая и шоркаясь, по полосатому от солнца коридору, пока устраивали вещи, по очереди присаживаясь в тесноте купе на голую полку, обтянутую бурым дерматином, — незнакомка стояла внизу, и косая солнечная щель между теньвыми вагонами, похожая на ружье с ослепительным штыком, проходила по ее незагорелым сомкнутым ногам.

Крылов то и дело украдкой поглядывал на женщину сквозь грязное стекло, испещренное похожими на птичий помет следами челябинского либо пермского дождя. Временами поезд содрогался, ахающая судорога прокатывалась от головы к далекому хвосту, и тогда Крылову мерещилось, что теньвые вагоны потихоньку шевельнулись, будто тронутые ветром большие флаги, солнечная щель переполнилась содержимым — и вот уже, не выдержав, побежала ручейком, попятился налево побитый вокзалище, гуднул, разросся и лопнул встречный состав, открывая холодное пространство с железным озером, засыпанными рыжей хвоей горбатыми валунами, синими горами до горизонта, представляющими собой поросшие лесом прямые углы, — и на лице Анфилогова, лежавшего на голлой полке прямо в своей брезентовой одежде, проступил такой же синеватый холод, борода его увиделась заправленной в ворот штормовки, будто шерстяной заношенный шарф.

На самом деле поезд еще стоял, профессор цокал ногтями по толстому стеклу, выглядывая незнакомку, тотчас подбежавшую на знак. Привстав на цыпочки, она распласталась на окне четко прорисованную длинную ладонь, Ва-

сий Петрович ответно приложил свою — и Крылов поразился, сколь схожи эти руки чем-то латинским в линиях жизни, крупным изяществом пальцевых костяшек. Не дожидаясь больше никаких наставлений и последних церемоний, Крылов поспешно вылез из купе. Определенно он был не в себе, сказывалась, должно быть, бессонная ночь, все видимое было удивительно отчетливо и оставляло в сознании Крылова неосмысленный, необычайно резкий отпечаток. Как только он через две железные ступеньки спрыгнул на перрон, пыльный состав облегченно содрогнулся и, проливаясь на шпалы какими-то остатками технической воды, медленно пошел вдоль ряда провожающих, словно считая их по головам. Шагая следом за ним, следом за ним ускоряя шаг, Крылов поравнялся с незнакомкой, которая махала ускользящим стеклам, пока не выскочил хвост последнего вагона, похожий на обратную сторону игральной карты. Казалось, не только Крылов, но и все вокруг, увлеченные стремлением поезда на север, надеются на какое-то лучшее будущее. В той стороне, куда ушел состав, крутые склоны над полотном зеленели короткой и яркой травой, стоявшей, будто шерстка, дыбом из-за утренних теней, и на солнечном склоне совсем по-деревенски ходила, шевеля траву невидимой веревкой, маленькая белая коза.

Сперва они держались вместе как бы нечаянно: выход в город был только один — все тот же тоннель, где Крылов сумел удачно стряхнуть повисшего на спутнице азиатского ребенка лет девяти, стервеца с мужскими похотливыми глазами, чья липкая лапка уже почти залезла в ее беззащитную сумочку. На вокзальном крыльце, где им, так и не представленным друг другу, предстояло распрощаться, Крылов внезапно почувствовал, что просто не сможет справиться с одиночеством этого дня, все еще свежего и лучистого, как бы растворявшего при нагревании солнцем мятную сонную муть, но уже почти набравшего полный объем устрашающей небесной пустоты. Нагла-

живая рыхлые ступени драными кроссовками, Крылов попытался рассказать какой-то анекдот: женщина вопросительно оглянулась, оступилась, устанавливая на лице поползшие очки, — и Крылову показалось, что эта ее манера близоруко смотреть сквозь пальцы и сквозь поправляемые стекла, не утратившие в квадратах оправы какой-то полной и радужной круглоты, знакома ему как своя. Он продолжил было что-то героически плести, но тут на привокзальной площади вспыхнул и грянул, выдувая колбасы тугой, повисающей в воздухе музыки, невидимый дотоле духовой оркестр: там округлый господин с крестообразной эмблемой на лацкане пиджака, повторяемой бородатыми от кистей партийными штандартами, вышагивал походкой голубя перед строем каких-то полувоенных, из-за разной толщины и сутулости похожих на соленые огурцы.

Онемевший Крылов, слыша только шум своего закупоренного мозга, придержал незнакомку за локоть и попытался улыбнуться. Женщина освободилась, мягко пожав плечом, и, не глядя на оркестр и строй, тихонько двинулась совсем в другую сторону — как бы пробуя на прочность соединившую ее и Крылова невидимую ниточку. Там, куда она направлялась, все было ярче, лучше, чем на три другие стороны света: приманчиво пестрел нарядами, подарочно оформленными лекарствами аптечный киоск, фонтанчик на мокром шесте, похожий на маленький ветряк, радужно посверкивал водяной перепонкой, множество пустых троллейбусов, образуя собственное пространство из качки, стекол, отражений в стеклах, колыхалось возле конечной остановки, где неподвижно стояли сощуренные от солнца пассажиры. Испугавшись, что если он сейчас не двинется за ней, то женщина просто разматает его, будто катушку ниток, до какой-то голой сердцевины, Крылов устремился вслед, подстроился, пришаркнул, поспешно договаривая прерванную шутку; уклончивая улыбка была ему наградой.

— Между прочим, я тоже с детства люблю этот анекдот, — насмешливо сказала женщина, медленно ступая по расшатанным плитам, хлюпающим сыростью протекающего фонтана.

— Я знаю много других, — поспешно сообщил Крылов, выдавливая из-под плиты себе на кроссовку черную жидкую плюху.

— Наверное, все мои любимые, — заметила женщина.

— Тогда я каждый расскажу по четыре раза.

— Вы всегда такой разговорчивый?

— Нет, только когда голодный. Вот, кстати, вы не завтракали? Смотрите, там подвальчик, наверное, кафе.

— Это не кафе, а магазин «Товары в дорогу».

— Неужели здесь не продают ничего съедобного?

— Продают, но только все такое, знаете, позавчерашнее. Я бы не советовала.

— Ничего, я однажды целый месяц питался консервами, которым было, представляете, по восемнадцать лет. Вскрываешь банку, а там не мясо, а сухой кусочек торфа. Кисель варил из брикетов вместе с бумагой, приросло...

~

* * *

Это был очень странный, очень длинный день; все городское майское только что отцвело и лежало папиросной бумагой в перегретых лужах — и запах тонкого тления, сырого сладкого табака печально переслаивал зеленые бодрые запахи уже совершенно сплошной, холодной на ощупь листвы. Долгое время каждый считал, что тот, другой, его ведет, а сам он только следует чужой, еще непредсказуемой прихоти. При малейшем неверном шаге пугаясь расстаться, они сосредоточенно искали линию равновесия, заводившую их порой на проезжую часть. Это было трудно, это был труд — приноровиться к незнакомым шагам, двигаясь буквально в никуда и не чув-

ствуя больше направляющей власти улиц, проложенных в городе вопреки рельефу местности, — чувствуя разве что этот рельеф, иногда сносивший их на спусках и прибывавший к какому-нибудь мраморному магазинному крыльцу. Они подстерегали и предупреждали движения друг друга; иногда их руки сталкивались, и тогда каждому казалось, будто он случайно тронул в воздухе летящую птицу.

Должно быть, только с большой высоты — оттуда, где висел, пылясь в воздушной солнечной толще, маленький рекламный дирижабль, — можно было как-то понять и прочесть ту неуверенную кривую, что вычерчивало по городу их продвижение, — а они не понимали ничего. Они всего-навсего оказывались в том или ином, часто незнакомом, месте. Так они попали на уличное кукольное представление, где тряпичные марионетки в условных, похожих на хлебные корки сапогах словно стремились сорваться с ниток согбенного артиста, и немногочисленные зрители были поглощены не столько содержанием пьесы, сколько ходом этой борьбы. Их протащило сквозь маленький митинг, оглашавший окрестности маршевыми мегафонными стихами. Уводимые все больше под уклон, они постепенно приближались к городской реке с глубоким, как желудок, парковым прудом, где скапливалось и переваривалось все попавшее в реку добро, включая утопленников. Здесь, внизу, они забрели на пересеченную местность — свежие каналы с каменными садинами, старые серые откосы, сверкающие и скользкие от битого стекла. Здесь они не смогли по-прежнему двигаться одинаково и, размагнитившись, карабкались каждый на свой манер, благодаря чему незнакомка, смешно потоптавшись на пяточке, сбежала с кручи прямо в мужские неловкие объятия. Сразу же выпустив скользкие ребра, Крылов успел ощутить округлый вес подпрыгнувшего полушария и под ним, как в кармане, — дрожащее сердце размером с мышонка. Хрипло засмеявшись, женщина оправила пере-

крутившееся платье и поковыляла вперед по хрусткому гравию, блестящему на солнце, будто водная гладь.

После, когда они уже втянулись в поставленный над собой (над судьбой?) эксперимент, Крылов пытался ответить себе на вопрос: что же, собственно, не отпустило его уйти своей дорогой с рокового вокзального крыльца? Ведь было так легко разбежаться, и ближе к вечеру он и не вспоминал бы случайную встречу и пил бы пиво в мастерской, вкушая блаженство полумрака, похожего после резкого рабочего света на ласковый мех. Однако вместо того чтобы идти и делать важный заказ, Крылов, как старшеклассник, гулял по городу с блеклой красавицей, вызывавшей у него в душе какой-то щекотный сквозняк.

Вероятно, причина была в необычном возбуждении, в перемене участи, что ожидала Крылова в случае успеха экспедиции. Что были ему эти агатовые кабошоны, ассорти из бракованного камня для нужд лотошной ювелирки, что значили средние деньги, причитавшиеся ему, серьезному мастеру, за работу чуть ли не пуговичного автомата? Много месяцев он жил с ощущением непонятного голода, неразборчиво утоляя его резиновыми сосисками и обсыпанными приторной солью жирными орешками. Но голод был не пищевого свойства: стоило желудку наполниться и отяжелеть, как сердце, сжимаясь, заявляло о своей пустоте. По ночам постель Крылова была усыпана крошками, словно песком растилавшейся вокруг пустыни. В повседневности образовалась дыра, которую каждый день следовало чем-то заполнять. В мечтах Крылову рисовались большие деньги — такие большие, что срок их действия простирался далеко за пределы жизни, помещая обладателя в своего рода обеспеченную вечность. Но вышло так, что получил он от жизни совсем другое. Как и почему произошла подмена, ни Крылов, ни женщина просто не поняли.

Пустившись пешком от вокзала, они в этот день бродили по улицам точно приезжие. Голод и безымянность

сообщали особенную легкость их общей, все более согласованной походке, держаться вместе выходило все лучше и лучше. В открытом парковом кафе, куда Крылов со спутницей все же забрели перекусить, на красных пластмассовых столиках выгорало воскресное меню, хотя по календарю была несомненная среда. Но в ленивом парке стояло вечное воскресенье, по пруду, словно маслом намазанному светом, плавал в своей волне, точно на блюде, тусклый белый лебедь, в тире пощелкивало, похлестывало выстрелами, вдалеке крутились карусели с редкими седоками — или с куклами, пущенными покататься для рекламы, — и на шее у женщины солнечное пятно, трепеща, присосалось к жилке, будто мультипликационный сказочный вампир. Расслабившись на бледном припеке, слегка прогревшем шаткую пластмассу, незнакомка сообщила наконец, что ее зовут «допустим, Таня». Имя было ненастоящее, это чувствовалось по легкой заминке самоуверенного голоса. Принимая игру, Крылов отрекомендовался Иваном, на что свеженазванная «Таня» тонко усмехнулась, отпивая из одноразового зыбкого стаканчика синтетический сок.

— Можете называть меня Ваней, тогда мы получимся в рифму, — предложил Крылов, тут же с интересом обнаружив почти зеркальное отражение своего настоящего имени.

— Таня-Ваня? Детский сад, — пожала плечами женщина, неодобрительно глядя на пиццу, что брякнула перед нею на столик голенастая, в красных курточке и шортах, юная официантка. — Давайте лучше я угадаю вашу профессию.

— Преподаватель истории в колледже! — отрапортовал Крылов так быстро и громко, что теперь уже все официантки, изображающие, как это стало модно, спортивную команду, посмотрели на пару за дальним столом, а из подсобки высунулся толстый, с томатными губами и руками Бармалея, настороженный менеджер. — Еще по

пище с грибами! — крикнул им Крылов, и они немедленно успокоились. Менеджер утянулся в кабинет, голенастая официантка, перепасовав коллеге твердый шнурованный мяч с эмблемой кафе, сунула в микроволновку две тарелки с плоскими заготовками.

— Сами будете есть, — сказала «Таня», улыбаясь и хмурясь. — Мою профессию хотите узнать?

— Не очень. Лучше скажите — вы замужем?

— Замужем. А что, профессия не имеет значения?

— Да почти никакого. Тем более для женщины.

— Ждете, что я начну возмущаться? Не дождетесь.

— Обычно дамы на такую реплику начинают возражать. Особенно те, кто присутствует на службе в качестве мебели.

— Я присутствую на службе в качестве серой мыши. Закончила университет, а работаю по специальности, полученной на четырехмесячных курсах. Просто не повезло.

— Многим сейчас не везет. Телевизор — друг безработного.

— А вы не из каких-нибудь политических активистов? Они сумасшедшие и листовки суют на улицах совершенно безумные.

— Я похож на сумасшедшего?

— Вы немножко, извините, похожи на идейного.

— Нет, я, честное слово, не сумасшедший...

Чего Крылов впоследствии не мог понять, так это незаметного исчезновения так и не переданного Анфилову пакета со свитером. Когда он шел за незнакомкой по вокзальной площади, пакет был точно у него и глухо шмякал по ногам; после в непрогретом парке, где на солнце был уже июнь, а в плотной тени пробирало майским холодком, Крылов хотел предложить озябшей женщине хотя бы набросить свитер на плечи — но, кажется, пакет был в это время у «Тани», и «Иван» постеснялся на него указать. Потом они гуляли по крутым аллеям, то и дело

превращавшимся в бетонные, грубым гипсом заплombированные лестницы; раз наткнулись на гулкую сцену-ракушку, где под сипение аккордеона вальсировали, таская по доскам опухшие ноги, нарядные старухи, немного дальше их задержала плотная группа обритых юнцов и юниц, мерно хлопавших в ладоши и раздававших бесплатные постеры. Далее в неухоженных зарослях, свойственных скорее общественным уборным, обнаружился кинотеатрик, симпатичный дешевизной билетов и какой-то трогательной старомодностью толстеньких колонн, над которыми белел плешивым кесарским затылком гипсовый герб СССР. Однако фильм на ближайших сеансах оказался детский — старая анимация про Звездного Пирата, — и им обоим стало ясно, что ждать четыре часа до начала столь же старой комедии просто нестерпимо.

— Ну что ж, мы ведь оба взрослые люди, — сказала «Таня» сердитым, немного севшим голосом.

И вот тут уж точно не было никакого пакета — а может, они оставили его в расхлябанном такси, где целовались и задыхались, точно из салона откачивался воздух, и все время попадали в зеркальце заднего вида, которое то и дело поправлял, как бы сливая его содержимое, узкоплечий зализанный шофер. Квартира Анфилогова, где Крылов должен был только послезавтра покормить неприхотливых никелированных рыбок, встретила их дневным полумраком единственной комнаты, заложеной до потолка тысячами темных сросшихся томов; снаружи, за плотно сдвинутыми шторами, полными горячей солнечной краски, грузно когтила железо стая голубей, и узкая профессорская койка не была застелена бельем.

— В первый и последний раз, — хрипло прошептала «Таня», и «Иван» тоже что-то шептал в ее горьковатое жаркое ухо, дергая на платье вязкую, никак не разнимающуюся молнию.

Раздевая друг друга, они неловко топтали зачем-то взятые в прихожей мужские клетчатые тапки — одна косо-

лапая пара на двоих, — и у «Тани», когда она стаскивала через голову свою многоярусную марлю, очки слетели и запутались, их пришлось вынимать из платя, будто бабочку из большого мятого сачка. Несмотря на ухватки мнимой опытности, поначалу мешавшие «Ивану» даже к ней подступиться, вся она была перепуганная, очень давно не троганная. Соски ее были большие и мягкие, как переспелые сливы, на узком, немного осевшем животе обнаружился шрам, похожий на нитку вареной лапши. На коже ее, сопротивлявшейся губам «Ивана» мелкой сборчатой волной, то и дело попадались какие-то жгучие пятна, словно там было натерто аптечной мазью, словно она вообще была не очень здорова. В тот момент, когда «Ивану» удалось довести ее до первого слабого завершения, «Таня» глухо закашлялась, виски ее надулись и смокли, — а потом, когда «Иван» после ее недолгого, ш е п о т о м, пребывания в душе тоже пошел ополоснуться, он увидел, что от ее купания даже не запотело зеркало.

Они уснули моментально, совершенно не запомнив погружения в сон; на просевшей гамаком профессорской койке им как раз хватило места. После они признавались друг другу, что в первый раз не испытали ничего особенного; видимо, сон в обнимку сотворил решающую перемену. Они лежали целомудренно и тесно, будто близнецы в материнской утробе, и действительно становились все больше похожи друг на друга. Летний комнатный полумрак, не испытывавший при переходе от солнца к ночи дурного посредничества электрической лампы, был удивительно чист. Вся посуда в комнате была пустой, но казалась полной; тупой и мерзлый кристалл хрусталя на письменном столе, размером с пол-литровую банку, словно читал под лупой придавленную им газету. Декоративные рыбки не видели больше в стеклянной стене аквариума твердого препятствия и свободно плавали по комнате, их крошечные пасти теребили трубку разбросанной одежды, их внутренности темнели клубочками, выделяя

время от времени зависавшую в воздухе жирную нитку. Одеяло сползло; почти одновременно, с усилием задержав в себе какие-то последние зерна завода, встали все имевшиеся в комнате часы. Так получилось во сне, что кавычки отпали с придуманных имен; в половине шестого утра, когда улицы сделались глубоки и солнечная полоса прошла по крышам, будто золотой ободок по краю стеклянного стакана (когда в чумазом поезде, несущемся на север, профессор неожиданно сел на съехавшем матрасе и сжал руками угловатое лицо), оба они вынырнули из снов другими людьми и почувствовали, что э т о т р а з вовсе даже не последний.

* * *

Они стали встречаться и делали это втайне от всех, потому что случившееся с ними по нормальной логике вещей было невозможно. Почему именно он? Почему именно она? Кругом были сотни, тысячи людей, с которыми не происходило ничего подобного, — и они смело выставляли себя напоказ, женские платья в этом сезоне казались наклеенными на влажные тела и дразнили взгляд висячей мишурой. Тысячи мужчин и женщин делали что хотели, были свободны, их веселые глаза были достаточно пусты, чтобы вбирать и присваивать окружающую действительность. Что касается Ивана, то он был настолько переполнен собой и тем, что образовалось внутри без причины и спроса, что в него, будто в доверху залитый сосуд, уже не вмещались картины внешнего мира.

Должно быть, со стороны Крылов смотрелся не лучшим образом: глаза его — слишком красивые для мужчины, как говорила бывшая жена, завидуя их васильковому цвету и качеству плотных, как перо, на диво загнутых ресниц, — теперь кровавились живчиками лопнувших сосу-

дов, а рыжеватая щетина, сколько Иван ее ни брил, вылезала, как занозы из полена, через несколько часов. Постоянные заказчики, среди которых было пополам благообразных, считавших себя неудачниками пожилых евреев и пахнувших лесом жилистых хитников, беспокоились, не болен ли мастер, так объясняя себе состояние человека, поступившего в распоряжение судьбы.

Казалось, Таню и Ивана действительно поразила древняя, повсеместно побежденная медициной инфекционная болезнь. Вирус ее не погиб немедленно под влиянием агрессивной среды, и теперь они снова и снова заражали друг друга — через каждый поцелуй, через свою кочевую любовь в снимаемых на сутки номерах туристических гостиниц, где не было места очарованию и тайне, а было только то, что значилось в инвентарном списке на внутренней дверце платяного шкафа. Вирус передавался через то, на что они просто смотрели вместе, — даже через очень отдаленные предметы вроде самолета, похожего в небе на иголку с ниткой рыхлой белой шерсти, или горбатого острова, шевелившегося, будто спокойная рыба в ослепительной ряби пруда. Не помогли и прививки, сделанные жизнью: все те одинокие женщины определенного типа (нерв над бровью, драматическая шаль), с которыми Крылов легко сходился на полгода, на пару недель, не дали ему никакого иммунитета. Что же касается отношений с бывшей женой, с которой Крылов сумел развестись, но так и не сумел расстаться, то они, окрашивая жизнь нестерпимой грустью, совершенно не вызвали наплывов той беззвучной внутренней музыки, под которую Крылов танцевал, двигаясь в неотчетливом мире от дома к мастерской.

Все-таки их болезнь нуждалась в защите, в герметическом колпаке. Благоприятное стечение обстоятельств: встреча на вокзале, немедленный отъезд Анфилогова (в квартиру его сразу же вселилась приехавшая на сессию племянница-студентка, очень цепкая девица с люминес-

центным маникюром и подвижными бедрышками, от которой Крылов едва увернулся) — дало им возможность сразу оторваться от реальной жизни, где оба они играли обыкновенные роли и были обыкновенными людьми. Оба не сомневались, что почва реальности на какой-то очень небольшой глубине у них одна и стоит неосторожно копнуть, как обнаружатся общие знакомые, откроются какие-то события, к которым и тот и другая имеют отношение. Но искать друг друга в реальности не следовало ни в коем случае, потому что это значило бы з а й т и н е с т о й с т о р о н ы. Обоим было известно, что туда, где они обменивались нежностью, влагой, животным теплом (и чем-то сверх того, передаваемым не напрямую, а словно через космический спутник, все время висевший у них над головами), — что в эту область существует единственный вход, составляющий главный секрет. Впереди у них было целых два богатых и цветущих летних месяца, что каким-то образом возвращало Ивану забытое счастье школьных каникул, а потом, если экспедиция действительно вернется с теми, какие ожидаются, сенсационными камнями, можно будет уехать вместе хоть в Рио-де-Жанейро, выправив на придуманные имена фальшивые паспорта.

Они почти ничего не знали друг о друге — и оберегались знать. В самом начале Таня обмолвилась, что служит бухгалтером в маленьком издательстве. Это почему-то показалось Ивану трогательным и необычным, хотя у хозяина той, где он работал, камнерезки (владевшего вдобавок парой магазинов, куда помимо копеечной л е г а л ь н о й ювелирки было до потолка напихано густо пахнувшего дезинфекцией тряпочного секунда) тоже имелись бухгалтеры: две немолодые женщины с мальчишескими чубчиками и толстыми стриженными затылками. Сдамами Крылов ругался из-за того, что они, набирая чайник в единственном и общем туалете, сдирали с крана шланг, по которому вода поступала к станкам,

и бросали его истекать на полу, отчего шлифовальные круги начинали гореть, а возле шланга, заливая глубокий угол с выбитой плиткой, собирался водоем. Не раз и не два Крылов просил хозяина пересадить неаккуратных леди в один из магазинов, поближе к тряпкам, но поросший прелой шерсткой толстячок, весьма оберегавший свой безрадостный покой, лишь молча показывал на катакомбы товара, занимавшего все подсобки и похожего на цирковую одежду ученых обезьян.

Теперь же, всякий раз при виде бухгалтеров вспоминающая Таню, Крылов улыбался им мечтательной и в общем-то безадресной улыбкой, а в ответ неожиданно стал получать на лучшей их тарелке с коронованным вензелем неизвестного ресторана пегие домашние пирожки. Обе дамы как-то враз и устрашающе похорошели, их потупленные глаза, подведенные жирным серебром, напоминали пробки от шампанского; злополучный шланг теперь обнаруживался кое-как натянутым на кран и прыскающим в зеркало, зато от сухости абразива не страдало сырье.

Таким образом, лишние сведения друг о друге оказались способны влиять на реальность, чересчур ее очеловечивая. Крылов не собирался через Таню возлюбить многочисленных ближних. Единственное, что интересовало Крылова (и с этим он ничего не мог поделать), была персона мужа, впервые упомянутая в красном пластмассовом кафе и превратившаяся усилиями Ивана в фигуру преувеличенную и почти неотступную. По неким косвенным, но несомненным признакам Крылов понимал, что Таня его ни с кем не чередует. Всякий раз, освобождаясь от своих развесистых юбок и деревенских кофточек с узловатыми венозными кружевами (скоро Иван уже знал все ее летние вещи и мелкие каверзы их заедающих застежек), она бывала немного замороженная, как бы позавчерашняя; чтобы дать ей достичь сегодняшнего дня, требовалось буквально будить ее длинное тело,

вручную разгонять кровоток под стянувшейся кожей, на которой острые мурашки напоминали снежную крупу. Однако жизненный опыт подсказывал Крылову, что бывают браки и без физической близости — и тем более опутанные сложной сетью моральных обязательств, перерастающих в почти нерасторжимый симбиоз.

С деланным безразличием наводя разговор на болезненный предмет, он пытался составить хотя бы приблизительный робот незримого врага. Из неохотных Таниных ответов (в эти минуты у нее всегда тускнели глаза, но зато сердито взблескивали очки) складывался образ положительный, серьезный и абсолютно нежизнеспособный. Этот человек, существуя он в действительности, должен был бы храниться в коробке и работать от электрической сети. Однако Таня упорно держалась заявленной версии о своем семейном положении и вся каменела, как только Иван пытался заставить ее сознаться во лжи. Если трудный разговор происходил в постели (а Крылов с бестактностью и опрометчивостью истинно больного вызывал привидение даже туда, где они были только вдвоем), Таня резко отворачивалась к стене и сразу находила что-то интересное в бумажных гербариях казенных обоев, предоставляя Ивану так же пристально изучать свои незагорелые лопатки. Временно смиряясь, Иван просил прощения и целовал латинское N на ее ладони, ловил губами, будто струйку питьевой воды, ее холмоноватую улыбку. Умом он, конечно, понимал, что никакого мужа попросту нет; понимал он и то, что его Татьяна, как всякая женщина, ни за что не пойдет на понижение статуса и не откажется от призрака.

Настойчивость Крылова приводила только к тому, что муж, защищаемый от его нападков с безрассудным упрямством, становился все идеальнее. Теряя в человеческой достоверности, он набирал все больше положительных качеств, среди которых преобладала какая-то маниакальная хозяйственность: Ивана корежило от мысли, что в тот са-

мый момент, когда он обнимает Таню, этот неунывающий молодой человек с наслаждением пылесосит ковры или шинкует на салат вареный корнеплод. Он видел, что Таня, несмотря на искренность ее порывов к нему, каким-то непостижимым для него логическим изворотом ума сохраняет верность своей механической кукле.

Смятение Крылова усугублялось еще и тем, что сам он был Тане неверен и не знал теперь, как с этим поступить. Она его между тем ни о чем не спрашивала. Единственное, что его немного ободряло, — муж, если он существовал, явно не принадлежал к разряду богатых людей. Об этом свидетельствовал не только скромный Танин гардероб (вещи ее, снятые и вывернутые наизнанку, с кривыми швами, похожими на остатки вырванных из переплета тетрадных страниц, просто кричали о своей дешевизне), но и немногие украшения, темные и мелкие, напоминающие сорные колочки с тусклыми семенами: в них Крылов безошибочным глазом специалиста определял имитации бриллиантов из фианита и хрусталя. По опыту общения с бывшей женой он понимал, что женщина с деньгами может ради маскарада одеться в китайский ширпотреб, но бриллианты даже в маленьком заношенном колечке будут настоящие.

Он знал, что война за женщину, как бы мало ни ценила она материальные блага, есть война экономическая. Против мужа-спонсора, привившего жене систему дорогих привычек, у Крылова не было шансов: триста долларов в месяц для нее было бы то же самое, что для рыбы, выброшенной на берег, стакан воды. Он знал, что среди женщин, абсолютно обеспеченных мужьями, встречаются бескорыстные, встречаются даже такие, которые среди полной роскоши тягостятся смутной утратой и смотрят из дорогих автомобилей будто испуганные кошки. Но и они не могут вне своей естественной среды обитания: накормленные, они погибают от голода и мучаются жаждой, имея в холодильнике минералку и молоко. Таня, ко-

нечно, была не из таких, в ней дамская интеллигентность соединялась с поразительной живучестью. Самая ее болезненность выглядела как способ адаптации к нездоровому воздуху и мертвой еде, а царапины и мелкие ранки заживали моментально, точно нарисованные, капельки крови превращались в сухую масляную краску, вызывая подозрение, что и вся ее кровь ненастоящая.

— Ты могла бы уехать со мной куда-нибудь далеко? — спросил однажды Иван, обнимая Таню у чугунного парапета, за которым ночной невидимый пруд почмокивал, будто резиновая грелка.

— Я могла бы улететь с тобой на Луну.

— Но на Луне нет воздуха.

— А ты уверен, что мы воздухом дышим сейчас?

Иван глубоко вдохнул: запахи илистого дна поднимались от воды, рядом мелкие белые соцветия, роем мерцавшие в темноте, источали слабый ванильный аромат, откуда-то наносило жареным мясом, музыкой, громким разговором.

— Это цитата из старого фильма, — примирительно произнесла Татьяна, поеживаясь в ситце от сырого ветерка.

Все-таки она выразила то, о чем они боялись говорить. Все вокруг было нереально. Мутно светились два граненых стакана Экономического центра, над ними луна горела, будто кнопка вызванного лифта.

— Можно ли уехать дальше, чем мы есть сейчас? — тихо произнесла Татьяна, и Крылову было нечего на это возразить.

* * *

Все-таки Крылов рассчитывал на успех экономической войны. На бедной Тане отсутствовал тот многослойный глянец состоятельности, что превращает человека в соб-

ственное изображение и максимально приближает его повседневный облик к фотографиям в липких журнальчиках, еженедельно питающих публику светскими сплетнями. Журнальчики эти, между прочим, преследовали пару по всем гостиницам, обтрепанными бабочками валялись в номерах — и бывало, что Иван, случайно выдернув из тумбочки легонький ящик, вдруг натыкался на снимок бывшей супруги, где она сияла магниевой улыбкой, отвечая этой дежурной вспышкой на атакующие вспышки фотокамер.

Тамара любила сниматься в изумрудном ожерелье, где Крылов совсем недавно ремонтировал сколотые камни, пострадавшие в результате одного из ее бессмысленных, ни к чему не относившихся праздников, когда с танцующих уже лилось и сыпалось и на упавшую под ноги грузную нитку наступил, виляя носом, крокодиловый башмак. При мысли о том, сколько раз он застегивал это ожерелье на склоненной Тамариной шее, приподняв уложенную, пахнувшую жженым сахаром волну прически, у Крылова медленно сжималось сердце. Он понимал (в скудно освещенном гостиничном денале, под еле теплым душем, обвивавшим тело слабой веревочкой воды), что тайна, которой он и Таня отгородились от мира, оставляет Тамаре все ее реальное пространство и ее позицию главной женщины в жизни Крылова. Все остальные его случайные подружки — всегда с апломбом красавиц, всегда с каким-нибудь странным дефектом вроде похожего на свечной огарок крупного пупка или ядовитых подмышек — попадали под ее холодноватую опеку и, не выдерживая с ней сравнения, быстро бросали Крылова. Порой у него создавалось впечатление, будто Тамара ловит на него, как на живца, проявления жизни — собственно жизнь, которая ускользает от этой радикально омоложенной женщины, имеющей в с ё, но соединенной с этим «все» единственно правом собственности. Где-то тут лежала причина того, что Тамара не заводила ни кошек, ни со-

бак, ни лошадей — не владела ж и в ы м, понимая, должно быть, что по-настоящему овладеть не получится. Между Тamarой и реальностью образовался тонкий слой пустоты, одевавший ее, будто прекрасное платье. Крылов оставался для Тamarы последним полем сражения, где она могла повстречаться с себе подобными — с женщинами, дававшими ей почувствовать, что она еще существует.

Таня была существом Зазеркалья. Крылов не представлял, как мог бы привезти ее в Тамарин загородный дом, где в любое время суток тут и там горели окна, за которыми как раз и не было людей, зато в неосвещенных комнатах можно было, наоборот, наткнуться на кого угодно — от спящего калачиком юного поэта до депутата Госдумы, пытающегося твердым взглядом из-под набухшего лба передвинуть бутылку коньяку. Таня в этом мире по определению отсутствовала. Поэтому мир, которому Тамара была законным центром, с появлением Тани ничуть не изменился: оставался все тем же вызовом Крылову и одновременно наглядным свидетельством, что в жизни помимо повседневности, куда большинство населения погружено с головой, существует и что-то еще. В юности Крылов яростно отвергал убогое счастье труженика, состоявшее из квартирки, дачки и полочки. Теперь Тамарин финансовый успех создавал абсурдный мирок, являвший ему огрубленное, но единственно доступное подобие пленительных картинок, что создавало воображение юного Крылова, мечтавшего о выдающейся судьбе.

Результат экспедиции должен был разрешить многолетнюю тяжбу Крылова с Тамарой, кто первый обойдется без другого. И после развода они продолжали д о п о л н я т ь друг друга — не в житейском смысле, но до какого-то целого, до чьего-то замысла о гармоничном единстве мужчины и женщины. Окружающие думали, будто они расстались из-за разницы в успехе и социальном статусе. Но гордая Тамара никогда бы не опустилась до пошлого сопоставления доходов. В отличие от

многих женщин, сделавших бизнес, Тамара даже не пыталась устроить мужа на какую-нибудь руководящую должность — Директором Аналитического центра по изучению Дырки От Бублика или Председателем регионального комитета по защите прав Домашних Насекомых, — каковые должности вызывали у серьезных людей тихие улыбки, но оправдывали ношение брендового галстука. Она давала мужу полную возможность быть самим собой — то есть в понимании общества простым мастеровым; она догадывалась, что присущее Крылову чувство камня делает его представителем сил, подспудно управляющих самоцветной Рифейской землей, — то есть представителем власти в каком-то смысле более законной, нежели губернаторская.

О событии, которое четыре года назад спровоцировало развод, Крылов не хотел вспоминать. Оно, однако, не привело к решительному разрыву: отношения длились, и во время нечастой близости Тамара, ловившая губами шейную цепочку Крылова, на которой не было креста, делала все, чтобы время исчезло. Им еще только предстояло расстаться. Без р а с с т а в а н и я с Тамарой Крылов не мог обойтись: внутреннее событие, никем не опознаваемое и никем не засвидетельствованное, казалось ему более насущным, чем памятная явка к районному судье, где их разводили за закрытыми дверями, то и дело путая Крылова с корректным, подстриженным, как парковый куст, Тамириным охранником.

Но чтобы покончить с тем, что относилось только к прошлому, Крылову недоставало свободы. Собственные деньги обещали ему свободу и право распоряжаться собой. До последнего времени Крылов не знал, как именно поступит: навсегда уйдет от Тамары, сделав ей на прощание какой-нибудь нейтральный очень дорогой подарок, или, вооружившись букетом ее любимых тяжелых, как яблоки, розовых роз, придет по полной форме просить ее руки. Теперь, конечно, выбор оказался сделан —

вернее, выбора не оставалось. Если бы не существование Тамары, Крылов мог бы считать отношения с Таней продолжением своей единственной и непрерывной жизни. Но Тамара б ы л а, и жизнь приходилось разрывать на две неравные части — заканчивать одну и начинать другую; при этом нельзя было знать, какая из частей окажется большей и какая окажется главной. В заведомом неравенстве заключалась тайна, быть может важнейшая в судьбе Крылова; теперь ему стоило внимательно приглядываться к поведению собственного прошлого. Он знал, что прошлое будет бороться за себя, внезапно прибавляя в весе за счет воспоминаний, достроенных снами. Но, собираясь с духом, он всерьез подумывал о полном уходе в Зазеркалье. Все могло сложиться одно к одному. Крылов не разрабатывал слишком подробного плана, зная, как опасно готовить для будущего жесткие формы. Но идея насчет паспортов на новые имена казалась ему все более перспективной.

В результате он повстречался — через посредничество одной из бывших своих приятельниц, профессиональной гадалки, носившей на обесцвеченной щетинке громадные, как генеральские папахи, вороньи парики, — с человеком, который мог бы устроить дело. Им оказался благообразный пожилой господин с сильно отвисшим, словно напудренным лицом и по-дамски остриженной сединой: эта стрижка, выглядевшая чудаковато и умилительно, позволяла, однако, предположить, что в более молодые годы старикан не чуждался экстремального дизайна и был, пожалуй, крут. Доброжелательно глядя на Крылова водянистыми глазами, обведенными арбузной краснотой, господин сообщил, что имеет на выбор паспорта израильские, канадские, испанские и — подешевле — российские. Из матерчатой кошелки, что лежала подле старикана на парковой скамейке, выглядывали яркие квадратные детские книжки; рядом бледный мальчик в нежнейших фиалковых веснушках сосредоточенно работал пультом, гоня по сы-

рому песку жужжащих, похожих на ожившие вилки и ложки механических солдатиков. Вспомнив Анфилогова, который с годами становился только активнее, Крылов подумал, что стариковская преступность в этой стране настоятельно ждет своего социолога. Цены, названные стариканом, показались Крылову запредельными; однако если правда то, что разболтал ему Колян о необычайном северном фарте, то процент от огранки добычи выльется в сумму, с которой не будет почти ничего невозможного. На этой мысли он приободрился. Если все получится, то денег хватит, чтобы обустроить зазеркальную жизнь, где Крылов возродится другим человеком — и то, что происходит между ним и случайно встреченной женщиной, будучи ложным для этого мира, сделается там законной, полновесной правдой.

* * *

Собственно говоря, надежда на будущее противоречила тому, как Таня и Иван обустроили свое настоящее. Всякий раз назначалось одно, и только одно свидание: если бы оно сорвалось, у них не осталось бы никакой возможности увидеться снова, разыскать друг друга в четырехмиллионном городе без посторонней помощи — то есть без помощи Анфилогова, чьего посредничества Крылов не хотел из суеверия, а Таня по каким-то своим таинственным причинам, заставлявшим ее при малейшем упоминании профессора надолго отстраняться, держа на лице холодную тень. С точки зрения Ивана, профессор был и так нагружен ролью в ненадежном сцеплении событий — и дай-то бог, чтобы четыре поразительных рубина, похожих на грубые пробирки с жирной каменной кровью, которые Анфилогов прошлым летом добыл на неизвестной северной реке, не оказались теперь искушением, мучительным миражом.

Из-за невыносимой краткости безразмерного лета каждое свидание на другое утро представлялось Ивану утратой. Тот обыкновенный факт, что бывшее вчера не повторяется и остается позади, воспринимался им с какой-то болезненной буквальностью. Но зато теперь каждое утро было удивительно просторно, обещающая вместить полмира, — и действительно вмещало, заключая в своей прозрачности миллионы предметов, от синих камешков гравия и словно указывающих друг на друга двух сигаретных окурков до миниатюрных в своей огромности жилых массивов и высоких, с напылением металла, сизых облаков. Все утро было как полный вдох, как расширение гигантских легких; все обнаруживало связи со всем, каждое дерево было оборудовано птичьим телефоном, и аппараты звенели на разные голоса, но никто не подходил, и отсутствие абонента переживалось Иваном необыкновенно остро в толпе, сгущенно заполняющей метро, — а там, на эскалаторе, легкие женские юбки надвигались колоколами, и восхищенный туркменчонок вдруг заводил гортанную песню, спускаясь в таборе своих цветастых и грязных сородичей к налетающим подземным поездам.

Так, стало быть, выходило, что каждую встречу Крылов перерабатывал в воспоминания, и у него копились эпизоды, в часы одиночества рвавшие сердце. Однако существовала очень важная причина, по которой Таня и Иван не дали друг другу своих адресов, не обменялись никакими телефонами (иные средства связи, вроде электронной почты, также были запрещены). Каждый раз они испытывали друг друга — но не столько друг друга: оба понимали, что слабы перед обстоятельствами и их стремления на самом деле очень мало значат. Они испытывали судьбу. Если бы Таня и Иван могли найти в себе или вокруг себя хоть какую-то причину происходящего с ними! Тогда, по крайней мере, было бы понятно, может ли все это исчезнуть так же внезапно и насильственно, как

и началось. А пока обоим была необходима ежедневная санкция судьбы.

Сперва они встречались в одном и том же месте: возле Оперного театра, бывшего в железобетонном городе одним из немногих объектов, покрытых красотой в виде лепных медальонов и гирлянд, но строением коробки похожего на шагающий экскаватор. Здесь, у круглого фонтана, напоминавшего по прихоти архитектора главную оперную люстру, располагалось место свиданий молодежи. То и дело очередная пара, поцеловавшись в водяной пыли, уходила восвояси, а невдалеке на выгнутых скамейках скучала университетская выставка невест: каждая с трепещущей книжкой на загорелом колене, каждая вторая — в модных, словно залитых свекольным соком солнечных очках. Однако скоро общепринятое место надоело; кроме того, фиксированная точка при постоянстве послеполуденного времени, когда Иван и Таня уже могли сорваться с работы, лишала эксперимент необходимой чистоты.

Тогда и были куплены два одинаковых атласа города с тем же Оперным театром на обложке, освещенным в четыре яруса мелкими белыми огнями, с последними сведениями касательно городского транспорта и с напоминающей сложную органическую молекулу схемой метро. Теперь свидания назначались так: Иван называл какую-нибудь улицу из приведенного в конце алфавитного списка — на удивление длинного, наполовину состоявшего из суконных фамилий малоизвестных революционеров, отчего создавалось ощущение, будто предстоит поездка к каким-то нетрезвым пролетарским родственникам, — а Таня прибавляла номер дома, наугад называя цифру; в следующий раз все происходило наоборот. Так они гадали по городу. Никто из них заранее не знал, чем окажется строение, вытянутое как билетик из лотерейного барабана. Иррациональность затеи усиливалась тем, что карты еще в советские времена были искажены: сами про-

порции промышленного города оказались засекречены так, что последствия искажений, подобно последствиям полиомиелита, сказывались на структуре города, как реального, так и изображенного, сообщая улицам странные вывихи и заставляя неоправданно влиять, срываясь рогами с проводов, городские неуклюжие троллейбусы.

Секретность свиданий усугубляла положение, при котором судьбе и правда приходилось присматривать за экспериментаторами, чтобы сохранить для них возможность запереться на пару часов в каком-нибудь до жалости непрочном спичечном коробке. Судьба, таким образом, вступила в борьбу со средой. Среда же как будто нарочно подставляла Тане и Ивану вместо наиболее вероятных жилых многоэтажек самые жесткие варианты. Так, однажды выпавший номер оказался свежестроенным особняком, что стоял на голом и горячем земляном участке, взятый в квадрат решетчатой оградой и напоминавший слона в зоопарковом вольере; пока Иван топтался, тщетно прячась среди маленьких, как петушки на палочке, молодых топольков, насторожившийся охранник из будки дважды проверил у него документы. Через пару дней случайный адрес привел Ивана на совершенно деревенскую улицу — вернее, на обрубок улицы, кончавшийся громадным котлованом, куда валились, утопая листьями в глине, жеванные черемухи. Нужный номер — грязно-розовый барак на два неодинаковых крыльца — еле держался на самом обрыве, где почва уже заворачивалась на манер свисающего драного матраца. За растянутым, будто меха гармони, черной сыростью пропитанным забором дышала и брякала цепью мокрая собака; из ближайшего к Ивану ветхого окошка на него то и дело поглядывало недовольное женское лицо, словно завязанное в тугой узелок. Должно быть, чужой под окнами, никак не уходивший, вызывал у местных беспокойство, потому что через небольшое время на крыльце уселся, глядя на Ивана уже в упор, голый до пояса мужик уголовного вида. Его сви-

сающий жир, его цельнокроенный череп, покрытый черным ворсом и какими-то белыми лысыми пятнами, показали Ивану неприятней, чем играющий в лапах металлический прут.

* * *

Во время путешествий по промзонам приключения были не только возможны, но и весьма вероятны. Вокруг машиностроительных гигантов ветшали спальные районы с жилыми башнями, словно собранными кое-как из плит и битого стекла, оставшихся от других, разрушенных домов; на деревьях под ними болтались молочные пакеты, выбеленные тряпки, лиловели на просвет чернильными разводами бывшие штаны. Лица обитателей районов были некрасивы, их скулы, казалось, были изъедены ржавчиной. Возле сырых, как туалеты, станций метро, вдоль заборов, просто на голой земле тянулись стихийные рынки: пожилые женщины предлагали товары, мало чем отличавшиеся от пестревшего тут же линялого мусора. Более всего здесь было разрозненных хрустальных рюмок, стоявших в строю, как солдаты побитого войска, и поношенных детских вещичек — ярких, клочковатых, словно сшитых из шкур игрушечных мишек и собак. То и дело взгляд Крылова натывался на что-то поразительно знакомое: из детства, из родительской квартиры. Все это напоминало лагерь беженцев — вынужденных эмигрантов из разрушенного прошлого. Заводы, впрочем, были живы: в половине седьмого от проходных, куда втекала густеющим потоком вторая смена, доносились хриплые марши, пытавшиеся создать впечатление, будто инструментами служат заводские трубы, домны, прокатные станы — весь строй механизмов славного рабочего труда.

Рядом с мрачными, как тюрьмы, зарешеченными магазинами, где продавали спиртное, отдыхала на ящиках ме-

стная молодежь. Девочки с личиками лягушек, с большими розовыми коленками были совершенно такие, с какими Крылов дружил в своем пролетарском отрочестве. Моментами у него возникало странное чувство, будто его соседки по подъезду, что, хихикая, учили подростка Крылова простым житейским вещам, не повзрослели, но исчезли без следа, целиком заместившись новыми молодыми телами — такими же неприятными, лишенными своего телесного языка, будто тела коров и некоторых других домашних животных. Этих девочек не стоило учить, к примеру, танцам — зато в их физическом существовании была безъязыкая неопровержимость, каждая из них в отличие от барышень из образованных семейств имела природное право получить в свое распоряжение одного из будущих мужчин.

Что касается мальчиков, то они, пожалуй, были слабоваты против команды, в которой двадцать лет назад Крылов держал авторитет: у этих, нынешних, наглость прослаивалась страхом, юные самцы рабочей молодежи стремились выглядеть декоративней самочек, крашенные волосы у них на головах напоминали морских существ вроде осьминогов или актиний. Все-таки они были агрессивны: Крылов сознавал, что из-за разницы в возрасте он для них практически покойник. Такие дети не понимают, для чего человеку надо жить до тридцати пяти: все, что их окружает, включая родителей (мать болеет, но еще похожа на живую, отец своей полуразвалившейся плотью подобен вставшему из гроба мертвецу), говорит им, что и тридцати, пожалуй, многовато. Крылов прекрасно помнил эту тоску, что различал теперь на юных малоподвижных лицах со странно скошенными подбородками. Драки были единственной формой их любви к той, какую они имели, жизни. «Подгорные» против «малышевских», «Копейка» против «Сталеварки»: ни один чужой не мог пройти по их растресканному асфальту, они охраняли свои территории, кровью, а ино-

гда и жизнью доказывая ценность трущобных кварталов, где им посчастливилось родиться. Ни один философ не постиг той меры одиночества, какая грозила местному пацану, если бы он решил отречься от родного дерьма. Вот уж у кого не осталось бы ни малейшего основания жить! И поэтому никто из них не мог сказать, что для него недостаточно хороши бетонные развалины над подогретыми речками, где даже самыми лютыми зимами тонкий ледок, варившийся в пару, напоминал замоченное в порошок постельное белье. Все это надо было любить и защищать. В результате промзоны рождали патриотов. В каждом районе имелся какой-нибудь немый памятник: скорбная женская фигура с прямоугольным бюстом, список погибших воинов, иногда совпадавший, как во сне, со списком улиц городского атласа, относившимся к этой части трущоб.

Замечая компании тинейджеров, Крылов понимал, что, несмотря на собственную уличную юность, ему совершенно нечего сказать этим пацанам, хлебающим вместо старого доброго пива какое-то алкогольное молоко. Ему было даже нечем похвастать перед ними: он не ехал мимо в навороченной тачке, а, сутулясь, тащился пешком. Минуя очередную молодежную плешку, он старался никак не реагировать на тяжелые взгляды, неспособные подняться выше полутора метров и неприятно трогавшие одежду, сумку, часы. Он не то чтобы испытывал страх, но ему казалось, будто его, как жидкость, переливают из сосуда в сосуд.

Было просто чудом, что он нарвался всего однажды. Шайка выслала ему наперерез дежурного клоуна — мелкого пацанчика с тонкими ручками, на которых рукава футболки полоскались, будто красные флаги. Это был герой не для драки, а для приколов; сложив ладони ковшиком, он заплясал и загундосил перед Крыловым, изображая азиатского нищего. Бить такого было неприятно, но слева уже поднимались лениво прочие бойцы,

среди них двое неожиданно крупных, с большими лапами в темных мозолях, набитых обо всякую дрянь вроде здешних досок и кирпичей. Воины не спешили, но Крылову было некогда их дожидаться. Маленькому он врезал жестоко, но тот увернулся от удара, словно его естество было с огромной дырой, куда и угодил крыловский некрупный кулак. Впереди узкая колючая аллея упиралась в глухую стену, изрисованную граффити, где буквы были сделаны максимально похожими на жутких чудовищ. Но Крылову не дали добежать до тупика. Первых повисших на плечах он стряхнул, как пальто, зато другие оказались цепче, грубые руки залезли в карманы, вырывая их с подкладкой. О голову Крылова словно разбили банку с красной краской, он тоже в кого-то попал, попал, пропустил, внезапно оказался на земле и увидел одним заплывшим глазом, как разлетаются, будто помойные голуби, серые и черные кроссовки. Сделалось тихо. Тишина была тугая, как футбольный мяч, внутри нее отдельные песчинки звуков не имели отношения к тому, что окружало лежавшего Крылова и напивалось вечерней темнотой. Крылов пытался вдохнуть поглубже, но легкие до половины были залиты жидкой болью. Постепенно боль осела. Перед лицом Крылова на запудренном пылью печеном асфальте валялся атлас города, превратившийся в грязную тряпку. Это всколыхнуло в нем полузабытую злость — на уродов, на себя, на собственное тело, совершенно отвыкшее от боли и искавшее позу, в которой не горело бы место, где пинки всего чувствительней.

В несколько рывков, словно альпинист на скалу, он поднялся на ноги, вечер в глазах моментально сменился ночью. Потом опять посветлело, и Крылов увидел Таню, растрепанную, с мокрым пушком на висках и с сигаретой в трясущихся пальцах. Она смотрела на Крылова, как мог бы смотреть полководец на солдата своей разбитой армии, который почему-то поднимается живым.

— Что с тобой? Господи. О господи. Я целый час ищу тебя по кустам! — глаза Татьяны за очками горели гневом, руки ощупывали ноющие ребра Крылова, трогали толстое левое ухо, опухшее, будто насосавшийся крови паразит.

Сквозь тяжелую муть в голове Крылов отчетливо ужаснулся Татьяниной прогулке по здешним зеленым насаждениям — в сумерках, в светлом платье, дразнившем уродов, явно не пошедших по домам смотреть «Спокойной ночи, малыши».

— А ты нормально? Все с тобой в порядке? — Крылов в свою очередь схватил Татьяну за холодные гладкие плечи. — Почему по кустам, я же не алкоголик?

— А что, скажи, мне оставалось делать? Где еще я могла тебя обнаружить?

Тут Крылов сообразил, что Тане и правда было совершенно негде его искать, кроме как в этих мусорных чашках, в окрестностях назначенного дома, на земле или под землей. Ему сделалось нестерпимо грустно от своей свободы исчезнуть из Таниной жизни в любую минуту.

— Слушай, может, мы устроимся как-нибудь иначе? Зачем нам это все? Ну не сердись, пожалуйста, успокойся, подумай, — морщась, Крылов наклонился к ее лицу, повторявшему его гримасы, будто небольшое серебряное зеркало.

Поцелуй получился болезненный, Иван почувствовал твердую полоску Таниных зубов и свои, шатавшиеся, будто щепки. Отстранившись, он удивился тому, как сильно размазалась у Тани красная помада.

— Ты не понимаешь! Ты совсем не понимаешь! — Татьяна вдруг обессилела и отвернулась, пряча выражение, подобное отчаянию. — Мы не можем быть как все. Я — не могу! У меня из обычной жизни не получилось ничего хорошего. И ни у кого ничего не вышло по эту сторону экрана телевизора. Уж можешь мне поверить!

Некрасивое пятно под носом у Татьяны странно ее меняло, делая похожей на лисицу. Вдруг Крылов сообразил, что это не помада, а его, Крылова, подсыхающая кровь.

— Но ведь я волнуюсь о тебе. Как я могу тебя защитить?

— Опять не понимаешь. Никто никого не может защитить. Что ты сделаешь против троих? А против пятых? — Татьяна мотнула головой по направлению к дальним подъездам, откуда доносился грубый гомон и тявканье слабосильного мотоцикла. — Человек не может быть гарантом жизни другого человека. Я, во всяком случае, этого от тебя не жду.

Крылов оскорбленно замолчал. Татьяна, поднырнув ему под руку в полуоторванном рукаве, дотащила Крылова до ящиков, где недавно отдыхала пестрая шайка крысят. Теперь здесь было пусто, полоска света спускалась из зарешеченного окна магазина, будто сброшенная для побега тонкая веревка. Ивану было холодно и грустно; ему мерещилось, будто юность его смотрит из сырой дворовой темноты, будто кто-то, кроме него, сидит на ящиках, возле которых укромно притулились недопитые бутылки. Ему хотелось взять Татьяну за руку, успокоиться, уткнуться. Но Таня держалась отчужденно. Разодрав упаковку надушенных салфеток, она промокнула Крылову разбитое лицо, сразу распухшее вдвое от приторных ожогов, посмотрела на пятна, потом протерла свои окровавленные усики, снова посмотрела, словно сравнивая его и свои результаты.

Ветер с силой налетел, задирая листву, темнота припала к земле, доставая тенью, будто кошка лапой, покотившуюся банку из-под колы. Татьяна, подбоченясь, стояла у проезжей части и звонила по мобильнику. Через небольшое время показали фары такси, долго подползавшего среди заборчиков и рытвин прошлогоднего дорожного ремонта. Заплатив меланхоличному водителю, чтобы тот отвез Ивана, куда он скажет, Таня, пока тряслись

и выбирались к центру, сурово молчала и хмурила бровь, а затем хладнокровно вылезла на первом просиявшем огнями перекрестке. Тут Иван, очнувшись один, сообразил, что новое свидание не назначено.

Сразу он, перегнувшись через резкую боль в животе, заколотил водителя по толстому резиновому бицепсу. Невнятно матерясь, водитель вильнул в уплотнившемся потоке автомобилей, но пришлось проехать не меньше сотни метров мимо освещенного, как манекен, автоинспектора и множества медовых и молочных дорожных знаков, прежде чем удалось развернуться. Еще издали Иван увидел на растревоженной проезжей части длинноногую фигуру, которая то появлялась, то исчезала, будто пыль или тень на непротертом зеркале. Автомобили, визжа, чуть не протыкали ее своими жесткими огнями, но она, попавшая в паутину электрических лучей, почти не могла увернуться. Непонятно, как она узнала в ослепительном месиве нужный автомобиль, но уже через секунду она затеребила снаружи заднюю дверцу и почти упала Крылову на колени, в последний миг поддев на длиннопалую ступню сваливающуюся туфлю.

— Знаешь, — сказала она, запыхавшись, — второй раз за вечер еле тебя нашла. Что-то не в порядке у нас в головах.

— Разве все это происходит у тебя или у меня в голове?

— По большей части так и есть. Странно, что сразу в двух головах происходит одно и то же. Нет, не трогай, здесь не расстегивается. Это просто пуговицы пришиты, для красоты.

Потом, когда водитель, припарковавшись в низком, будто арка, лиственный переулке, уткнулся в газету, они немного поработали с картой. Собственно, ничего не изменилось: точно в том же месте Таня выскочила на запестревший от ливня тротуар и, выстрелив вверх горбатым зонтом, побежала к трамвайной остановке. Немедленно

такси рвануло с места навстречу внезапной массе дождя, лепившегося на ветровое стекло, будто туча крупных насекомых. Застоявшийся водитель спешил избавиться от невыгодного пассажира и гнал, шуруя по лужам, дворники со скрипом отжимали мутную воду — и Крылов, чей левый глаз окончательно заплыл, удивительным образом чувствовал, что жизнь его устроена и он совершенно счастлив.

* * *

Образ жизни, который Таня и Иван себе назначили, оказался не только опасным — нигде не любили подозрительных чужих, — но и необычайно утомительным. Иногда, чтобы выбраться с окраин (порой представлявших собой поглощенные мегаполисом малые городки, не совсем переваренные, со своей остаточной структурой, с цыгановатой клумбой на тихой, как больничный дворик, центральной площади), требовался весь остаток вечера. Часто Таня и Иван не успевали доехать до какой-нибудь дешевой гостиницы. Тогда их свидание состояло из мучительных поцелуев в укрытии жестких, с лазами, кустов, из отупляющих маршей вдоль шоссе, по тропинкам, напоминающим поваленные деревья, к бессмысленно далекой автобусной остановке. После таких тренировок на выносливость у Ивана и Тани уже не оставалось сил, чтобы хотеть друг друга. Они хотели всего лишь есть и утоляли голод в непритязательных бистро, запивая кислые салаты приторной колой, после чего наступало время разъезжаться по домам.

Такой монашеский режим, который многим женщинам показался бы все же естественней, чем шляния по сомнительным номерам, Татьяне не подходил. Ей были и у ж н ы физические отношения, потребность эта была столь суровой и настоятельной, что при удаче Татьяна

не обращала внимания ни на заполнявших третьесортные гостиницы торговых кавказцев, ни на землистые, словно взятые из могилы, мерзкие простыни. Но она упрямо держала посты, никогда не жаловалась на усталость; ее костлявые и нежные ступни, которые Иван, бывало, гладил, удивляясь скрипичным формам этого совершенного творения природы, натирались ремешками до мокрых мозолей, а потом покрывались словно бы известью и грубыми ракушками.

Ивана волновало и трогало, что все специальные трудности, включавшие Танин отказ от частой близости с ним, все-таки в каком-то высшем смысле преодолевались ради него, из чувства к нему. Однако тут угадывалось и что-то избыточное. Казалось, что помимо Крылова реального, на которого можно иногда не обращать внимания или даже злиться на него по пустякам, существует и Крылов воображаемый, в виде идеи, — и этот последний принадлежит уже не самому Крылову, но исключительно женщине, лучше знающей, как надо с ним обращаться. Именно этого другого Татьяна питала своими самоотверженными жертвами — Крылов же, у которого отняли часть его самого, испытывал вместе с неправдоподобным счастьем и странное чувство пустоты. Как всякий рифейский человек, он принципиально не доверял никому и ничему и теперь хотел бы знать, что именно делает Татьяна с присвоенной долей его существа. То есть он все больше и больше хотел ее контролировать.

Пару раз он попытался осторожно выпросить, не слишком ли Таня устает. Конечно, она уставала, она заметно похудела и перестала носить каблуки, предпочитая для экспедиций плоские сандалии, в которых шаг ее сделался немного утиным. Но на расспросы Крылова она энергично мотала головой и цепче впивалась ему в рукав, словно желая продемонстрировать силу, не убывающую от опасных и тяжелых путешествий.

Зная уже, что самый опасный этап — это торчать у найденного дома, провоцируя местных обитателей и, хуже того, блюдущих территорию ментов, Иван старался сделать так, чтобы Таня его не ждала. Ближе к пяти часам, когда солнечный свет, еще дневной, становился тяжел и сквозь сырые шумы усталой камнерезки начинали пробиваться, забирая в переулок, трамвайные звонки, Крылов норовил сбежать из мастерской. Бывало, он на полуслове прерывал хозяина, все подступавшего к нему с обиняками, явно прослышавшего об удаче Анфилогова. Камни, привезенные профессором в прошлом году и доставившие Крылову ни с чем не сравнимый восторг, ушли по каналам, абсолютно для толстячка недоступным. Тем не менее жулик что-то узнал — или же почувал, подобно нервной аквариумной рыбе, сейсмические сдвиги анфилоговского бизнеса. Теперь он пытался вызвать Крылова на общение, изобретая любезные гримасы и даже показывая темную бутылочку с какой-то алкогольной касторкой, которую, будучи непьющим по состоянию здоровья, всегда носил на себе, как носит взрывное устройство камикадзе-террорист. Как нарочно, заказчики, желавшие выяснить, когда же будут изготовлены агатовые вставки для их дурацкой штампованной продукции, тоже подтягивались ближе к пяти. Чтобы избавиться от этих людей, Крылов вылезал в покрашенное толстой краской туалетное окно, обрушиваясь в пряные дикие заросли мелкой ромашки, где собачьи экскременты пахли, будто подгнившие фрукты. Дальше, за углом, была свобода Татищевского проспекта, по которому носились, бряцая, как ящики водки, допотопные трамваи, а наверху по эстакаде протягивались с басовым скрипичным звуком скоростные магнитные поезда. Часы над Старым Пассажем, желтые и выпуклые, размером с луну, всегда показывали время на десять минут меньше расчетного.

Однако на пути Крылова город создавал свои препятствия: внезапные отмены транспортных маршрутов, авто-

мобильные пробки, двигавшиеся от светофора к светофору подобно ртути в гигантском термометре. В результате изредка случалось, что Таня приходила первой. Сильно опаздывая, Иван высматривал не номера домов, но ее высокую фигуру, бывшую всегда хоть на полтона, но бледнее других человеческих силуэтов, попадавших в поле зрения и тут же исчезающих. Иногда, настроив глаз на светлое, он принимал за Таню какой-нибудь женственный просвет, буквально воздух, и устремлялся к иллюзии, теряя последний запас истекающих минут. Увидав ее наконец стоящей в тени, Иван поражался тому, какой потеррянной выглядит она: буквально чьей-то потерей, которую может присвоить всякий прохожий. Сумма утрат, то есть сумма предыдущих свиданий, с силой ударяла в душу, и Крылов максимально ускорял шаги, подпрыгивая при столкновении с неясными встречными. Она же оставалась неподвижна, хотя и видела бегущего Крылова. Только в последний момент она делала навстречу ему коротенький шагок — и сразу ей одной присущим изворотом приникала и притиралась, закрывая глаза для первого поцелуя, сложного, как осязание слепого. С чувством, будто женщина выпила у него половину мозга, Иван спешил ее увести — еще зажмуренную, разомлевшую, — но напоследок незаметно оглядывал местность, обязательно засекая источники опасности в виде двубортных секьюрити у неизвестной принадлежности железных воротец или их возможных оппонентов — угрюмых крепышей с обритыми головами, будто не с первого раза посаженными на короткие шеи, отчего на затылках образовались неаккуратные складки.

Иногда Крылову делалось досадно, что сама Татьяна ничего не боится. Она держалась абсолютно безмятежно и устремлялась туда, куда Крылов, будучи один, вряд ли бы нацелился идти. Тогда он осознавал, что его сороковник — уже далеко не первая молодость. Неопрятные темные парки с исчезающими тропинками, свалки пус-

тых, как чемоданы, автомобильных остовов, подозрительные тлеющие подвальчики — все это заставляло Ивана напрягаться. Как ни пытался он вспомнить себя пацаном, охотно шедшим именно туда, откуда сквозило приключением, — он ничего не мог в себе разбудить. Сколько лет Татьяне? Этого он не знал. Она была как будто молодая — но при этом совершенно без возраста, блеклость ее создавала дымку, седина если и пробивалась уже в ее грубоватых, как бы заледенелых волосах, совершенно терялась в их естественном седом отливе. Тане могло быть и тридцать, и пятьдесят, и страшно подумать сколько. Ее совершенный череп, угадываемый сквозь нежные ткани гораздо явственней, чем это обычно бывает у человека, не был образом смерти. Скорее он напоминал о скуластом языческом идоле — и непостижимым образом добавлял Татьяне привлекательности, давая понять, что внутренняя красота необязательно душевная, что красивым в человеке может быть, к примеру, скелет. Минутами Крылову казалось, что Таня в каком-то — вовсе не в христианском — смысле бессмертна. Этим могло объясняться ее бесстрашие в городе, где обитатели, в отличие от граждан более благополучных территорий, предпочитали ходить по неосвещенной стороне ночных переулков, потому что под фонарями были отлично видны, а сами не различали опасности в сгущенной темноте — и не могли рассчитывать на помощь ленивой и удивительно злобной милиции.

Собственно, у Крылова было очень мало сведений, чтобы как-то объяснять себе Татьяну, — и потому он не имел возможности на нее обижаться. Он не был способен, по ее примеру, присвоить какую-то часть ее существа. Но иногда Крылов смотрел на женщину и понимал: даже если они проживут совместно не один десяток лет, и тогда он не будет знать ее лучше, чувствовать ее ближе, чем вот в эту минуту — на сломанной парковой скамье, или перед узкой, еще не отпертой дверью одност-

ного номера гостиницы, или под кипящим дождем на остановке, или за столиком летнего кафе, где она подносит к губам пластмассовый мягкий стаканчик с питьем, а Крылов глядит на нее и не может очнуться.

* * *

Иногда бывало так, что по пути к назначенному месту Иван замечал Татьяну в общественном транспорте. Тогда он старался как можно дольше себя не обнаруживать. Ему казалось, будто он внезапно проникает туда, где Татьяна существует без него: попадает в мир, заказанный ему, и видит Таню настоящую, не подозревающую о том, что он уже здесь и смотрит на нее из гущи пассажиров, бросаемых вверх и вниз жесткими встрясками автобусного днища.

Он вынужден был признать, что мир, в котором Таня пребывает без него, прекрасен. В этом мире люди, включая тех, что сдавливали Крылова в автобусе, имели отношение именно к Тане — могли оказаться или стать ее соседями, родными, сослуживцами; поэтому Крылов, держась за скользкий поручень и ощущая себя в набитом салоне будто вешалка с костюмом в недрах платяного шкафа, переживал просветы запредельного одиночества — подтверждаемые пустотами низкого пейзажа, проходившего за пыльными автобусными стеклами и напоминавшего остатки меда, выскобленного ложкой до самого дна. Был один момент, когда мужчина с крепким, как репа, затылком, развалившийся рядом с Татьяной на маленьком сиденье, вдруг представился Ивану мифическим мужем, для чего-то сопровождавшим жену на свидание в спальный район. Через две остановки, однако, мужчина вскочил, обнаружив на широкой, с толстыми кругами морде совершенно детский курносый носишко, и попер, цепляясь майкой, к маленьким дверям, в которые и выпал

боком, едва успев утянуть за собою разболтанный, делавший жевательные движения рыжий портфель.

Обычно Ивану не удавалось таиться до конца: длинный Татьянин глаз его обнаруживал, и лицо у нее становилось точно такое, как в момент пробуждения от недолгой гостиничной дремы. Потянувшись, она вылезала к нему в тесноту (место ее немедленно заполнялось подкошенной тушей с наваленной поклажей), и Иван, обхватив ее тонкие ребрышки, вместе с нею припрыгивал на многоугольных и крепких дорожных препятствиях. Все-таки они не сходили на ближайшей остановке, чтобы устремиться на поиски гостиницы, но доезжали до условленного места: им словно требовалось отметить у кого-то третьего, которому, собственно, и было **н а з н а ч е н о**. Вдвоем обострялась странность положения, при котором они упорно, то и дело расспрашивая плохо одетых и плохо понимающих прохожих, искали загаданный адрес и при этом никогда не входили в найденное здание. Обитатели дома, то есть законные обладатели адреса, были не теми, к кому они могли приехать в гости, и сами шарахались прочь, ни за что не давая себя обогнать на пути к укрепленным подъездам; их желтоватые стесанные подошвы совпадали по цвету с характерной для окраин глинистой землей.

Собственно говоря, Иван и Таня не представляли, чем следует заполнить те несколько минут, что все же следовало провести возле с таким трудом обнаруженного здания.

— Мне кажется, будто мы когда-то жили здесь вдвоем, — говорила Таня, осматривая очередной многоквартирный блок, криво сшитый из стандартных, с балконами и без, бетонных плит.

— У нас феномен общей ложной памяти, — пытался пошутить Иван, а Таня от этого становилась грустна, тихо подбирала с земли какую-нибудь яркую бумажку, пробку, мастерила плиссированную куколку.

Крылов замечал, что шутки его погружают Таню в странную печаль, как будто они прощаются на вокзале, расстаются навсегда — и нечем заполнить последнюю паузу перед отправлением поезда. Паузы перед загаданным домом, найденным вместе, такими и были. Одновременно присутствие того, кто свел их и присматривал за ними, ощущалось именно здесь. Оно угадывалось в таинственном облике одинокой, на своем культурном слое стоящей скамейки, в розовых ленивых звездах, образуемых перестиланием вечеряющих листьев, в корке от детского мяча, этого съеденного каким-нибудь позапрошлым летом апельсина пустоты; бывало, что длинные вечерние тени, образуя строку курсива под прямым и грубым шрифтом улицы, обещали — как вот печатаются ответы под загадками в детских журналах — какой-то ответ на загадки вещей. Но случалось, что третий не являлся на встречу, ждать его было бессмысленно. Тогда Татьяна говорила, что надо как-то пометить место, и бросала в лохматые газоны мелкие монетки.

Из этой суеверной практики у Ивана родилась идея пометить ее саму. Игнорируя обычную просьбу замужних любовниц не оставлять следов (Татьяна, впрочем, никогда не говорила этого вслух), Иван вероломно присасывался к ее податливой коже, пившейся как тонкая сметана с ее гармоничных, дивно отшлифованных костей, отчего на малокровной белизне вспухали серповидные синяки. Однако метки эти явно проходили невостреванными, муж, похоже, не обращал на них никакого внимания; через небольшое время синяки желтели и делались похожи на никотиновые вытяжки, какие бывают на сигаретных фильтрах.

Неудовлетворенный эффектом, Иван почти при каждой встрече делал Тане мелкие подарки. Тут тоже крылся коварный расчет: изменницы, поголовно любившие безделушки и ожидавшие от Крылова, поскольку тот работал с ценными камнями, сокровищ и сюрпризов, после

не знали, как им легализовать браслет или колечко; иные вещицы, подернутые от неупотребления какой-то горькой смолкой, до сих пор валялись у Крылова в рабочем столе.

Однако Таня спокойно и с достоинством принимала украшения, которые Крылов, через лысую голову хозяйина мастерской набирал у работавшего на фирму испитого ювелира по его чрезвычайно сходной оптовой цене. Оправы у вещей были недорогие, напоминавшие изогнутые и переплетенные канцелярские скрепки, но уж камни Крылов подбирал со вкусом. Здесь были моховые агаты, являющие глазу мягкий, с отсырелым снегом мартовский лес; агаты с жеодами, где голубоватую миндалину обрамляли похожие на крупную соль кристаллики кварца; пейзажные яшмы с картинами извержений древних вулканов и яшмы парчовые, напоминающие таинственную жизнь под микроскопом. Здесь были кабошоны тигрового глаза, в которых на свету словно бы сужались кошачьи вертикальные зрачки; корочки уваровита химически-зеленого насыщенного цвета; персиковые, с мякотью, сердолики; немного настоящего шелкового малахита, отличного даже на взгляд профана от скучных, как линолеум, заирских камней. Все это, добываемое прямо из окружающей бетонный город с т а р о й земли, стоило сущие копейки и закупалось Крыловым еще на стадии сырья — после чего он сам распиливал и шлифовал отобранные камни и тихо договаривался с алкоголиком, никак не могущим пропить талант, сидевший у него в руках.

Что же касается Татьяны, то камни словно примагничивались к ней и смотрелись у м е с т н о, теплея и тяжелея на ее холодноватой коже. Татьяна явно не скрывала украшений и носила их постоянно, являясь на свидание разубранная, будто Хозяйка горы. При мысли, что безделушки побывали там, где Татьяна живет без него, Ивана охватывало странное волнение — и постепенно

провокация уступила место мелкому шаманству. Страстно желая получить какую-нибудь вещьцу из запретного Татьянинного мира (так американцы из НАСА, запустившие пилотируемый «Вояджер-18», мечтали об образцах со спутников Сатурна), Иван рассматривал свои подарки как сувениры наоборот. Несколько дней, прежде чем отдать, он их таскал в карманах, воображая, будто они уже о т т у д а; так получалась инверсия времени, рокировка будущего и прошлого — отчего у времени обнаруживался как бы ресурс вторичного использования. Крылову представлялось, будто камни указывают ему местоположение Татьяны, испускают тонкие радиоволны, которые пеленгует его до крайности напряженный мозг. Иногда Иван буквально слышал их прерывистый писк — и словно бы видел показанный скрытой телекамерой угол прихожей, маслянистую темноту большого зеркала, панораму спальни с обширной, на рояльных ножках, супружеской кроватью и частью окна, по которому дождь, как бы наскоро отчеркивая по линейке водяным карандашом, проводит косые следы.

Действительно ли то была Татьяна квартира, которую Иван все начинал и начинал своей шаманской аппаратурой, или так работало воображение, выдавая Ивану картины сомнительного качества? Будучи в здравом уме, Иван склонялся ко второму — хотя бы потому, что интерьеры, возникавшие в его мозгу, были безлюдны. Домашний адрес Татьяны, который по условиям эксперимента был строго засекречен, также оставался недоступен: сигнал, рассеиваясь, шел откуда-то из Завокзального района, застроенного гранеными башнями новых кондоминиумов, а может, из самого Паркового, где обитал со своими рыбками, коллекциями минералов и пыльной библиотекой профессор Анфилогов. Чтобы определить точнее, следовало пеленговать сигнал с высоты — оттуда, где изредка болтались, постукивая на манер допотопных швейных машинок, милицейские вертолеты, — но

сама идея была чересчур бредовой, чтобы прилагать серьезные усилия к ее осуществлению.

— Кстати, возьми, это тебе, — однажды сказала Татьяна, зачерпывая горстью из сумки что-то металлическое.

Дело было в самом центре города, куда им по жребию посчастливилось попасть; близко, перекрывая шмелиное гудение проспекта Космонавтов, шумела историческая плотина, воды ее, распространяя запах черной деревянной бани, пылили над столиками шашлычной, над скосами цветников, похожих на детские раскраски, — но надо было еще добираться до гостиницы с приемлемыми ценами и снисходительной администрацией. То, что Татьяна протянула Ивану через тарелки с угольным мясом, оказалось связкой ключей: неожиданно тяжелая бряцающая вещь состояла из магнитной пластины, какими открываются подъезды, и четырех произведений слесарного искусства, среди которых выделялся один, похожий на дореволюционный «ер» и казавшийся на ощупь тверже остальных.

— Что это? — спросил Иван, хотя уже догадался, и сердце его подпрыгнуло.

— Ключи от моей квартиры, — пояснила Татьяна небрежно, шурясь сквозь помутневшие от мороси очки на темный пивной водопад и вечно мокрый памятник основателям города, похожий издали на двух оловянных солдатиков.

— А муж? — спросил Иван, не удержавшись, и тут же пожалел при виде Таниного влажного лица, на котором брови поехали вверх, а очки заскользили вниз.

— Мой муж — моя проблема.

— А если я случайно узнаю адрес?

— Не узнаешь.

— Все-таки, зачем ты мне даешь ключи? Я же вижу, что они не запасные, комплектом кто-то пользовался.

— Ну, так, на всякий случай... Считаю, что просто сувенир.

Между тем бесконечное летнее время, казавшееся круглым, как наполненный самим собой небесный купол, все-таки шло. Деньги, выданные Анфиловым на оборудование, но пущенные на гостиничные номера и ужины в барах, таяли еще быстрее. Что-то повредилось в самоощущении Крылова. Рабочие часы, проводимые без Тани в камнерезке, сделались тягостно ненужными: душа его была стеснена, он замирал в сутулых позах над тусклыми заготовками, перебирая камешки бесчувственными пальцами, отчего бирюльки становились липкими, будто леденцы. Каждый день на рабочем столе у Крылова была одна и та же картина, надоевшая ему и вызывавшая чувство полного бессилия. Он понимал, что в своем состоянии не зарабатывает даже на жизнь и существует взаимы — ежедневно занимает что-то у будущего, иллюзию наступления которого создают вечера. Вытягивая из анфиловской пачечки очередную сотню, Крылов старался не щупать конверта — но все-таки настал момент, когда от жирной суммы осталось несколько бумажек, которых не хватило бы теперь даже на распиловочный станок. ~

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Рифейские горы на рельефном глобусе похожи на старый растянутый шрам. Такой особенный глобус имелся некогда в краеведческом музее и напоминал пустыми выпуклостями картонную маску. Неуклюжую махину, забранную четырьмя деревянными ребрами, можно было вращать: если сильно погладить глобусу шершавый бок, он совершал с плаксивым скрипом три-четыре оборота, после чего, перевалившись в последний раз через собственную ось, падал Южной Америкой вниз, и там, внизу, долго не мог успокоиться какой-то раздражительный мелкий предмет. Мама юного Крылова, хотя была в ту пору тридцатилетней женщиной на тонких каблуках, работала в музее старушкой: сидела сбоку от чудес на обыкновенном стуле и не позволяла трогать руками коричневый, словно крашенный поволою краской скелет ископаемого мамонта, в котором не хватало костей и единственный бивень походил на сломанную лыжу с торчащей вперед деревянной щепой.

Но не глобус, и не мамонт, и не опухшая кобра в зеленом спирту, и не пыльные макетки на доисторические темы, расположенные в ящиках размером с телевизор, привлекали юного Крылова. Его воображение притягивали кристаллы. Они не только покоились в витринах,

в картонных гнездах, устеленных ватками, но и высились в сенях музея, уравнивая его чугунную узорчатую гулкость своим абсолютным, цельным безмолвием. Самый мощный хрусталь, где словно таял, превращаясь в воду, рыхлый и радужный каменный снег, был выше пятиклассника Крылова на все свое трещиноватое тупое острие. Не менее удивительны были черные морионы: две коренастые друзы, точно рубленные топором из застывшей подземной смолы. В дымчатых кварцах, именуемых волосатиками, виднелись сквозь чайную желтизну, словно бы пучки железных иголок, колкие отходы парикмахерской стрижки. Бока у кристаллов, если глянуть на них под зеркальным углом, были кое-где заштрихованы, как учат штриховать фигуры на уроке рисования, а иные были с полированными заплатами, словно прошли под землей капитальный ремонт.

В музее имелись и другие, непрозрачные минералы; особенно посетителей интересовал знаменитый золотой самородок, напоминавший мумию какого-то мелкого животного. Женщина-экскурсовод, от которой Крылову запомнились черная юбка и грузные ноги, вбитые в тупые туфли, рассказывала школьникам, что горщик, умерев под землей, иногда каменеет и превращается в собственную статую. После Крылов не поленился выяснить, так ли это. Оказалось, что при определенных условиях органические останки действительно замещаются минеральной серноколчеданной массой. Между миром минералов и живой природой не существовало непроницаемой границы; юный Крылов, часто заявлявшийся в музей вопреки запретам матери, чувствовал, что здесь он ближе к знаниям, чем на занятиях в школе. В знании, еще не открывшемся, но тихо обещанном, было наслаждение, каким-то образом оформляемое сложным, из объема в объем, пространством бывшего собора, чей беленый купол был шершав и неровен, будто скорлупа от древнего яйца. Впоследствии Крылову представлялось, что именно храмовые

конфигурации наилучшим образом соответствуют задачам ознакомления, научения, расположения экспозиций: в чем-то глубинном соответствуют лекалам человеческой мысли. Во всякой церкви он видел неправильно понятый музей. Ему, попадавшему иногда на отпевания и венчания воцерковленных знакомых, неприятно было наблюдать, как великолепная архитектурная машина для построения интеллекта заполняется мещанским православным обиходом, сладкой гарью позлащенной службы, плачем свечечек, продающихся там, где должен располагаться указатель «Начало осмотра».

Конические хрустали, обрубленные под корень и перенесенные на постаменты бурого музейного сукна, в полной мере обладали качеством, которое завораживало юного Крылова с самых первых проблесков его сознания. Качество это было п р о з р а ч н о с т ь. Ранние воспоминания человека имеют происхождение смутное и смешанное. Когда Крылов смотрел по телевизору нечастые сюжеты о древней эмирской столице, где прошли его первые годы, ему казалось, будто он не жил когда-то среди этой гигантской глазурированной керамики и грубой, как окисленная медь, азиатской растительности, но видел все это во сне. Сон о раннем детстве был живуч и вздрагивал от одного лишь вида белого и твердого, как мрамор, винограда на фруктовом прилавке под жестким рифейским снежком — но тут же западал обратно в подсознание. Эпизоды, доступные памяти взрослого Крылова, отчасти состояли из рассказов родителей, отчасти из реставраций воображения: выделить крупницы подлинного, безусловно своего не представлялось возможным.

Только один эпизод был, будто нашатырем, пропитан реальностью. Стоило захотеть его увидеть — и в мозгу немедленно вспыхивал ивовый куст над зеленой, как мыло, арычной водой, а в руке оказывалась горбатая, должно быть от бутылки, краюха синего стекла, сквозь которую вспышки солнца на рынке походили на электросварку. По

лезвию стеклянного куска было размазано липкое, на пальце, жужжащем и толстом, вылезала, будто из прикрытого глаза, жирная красная слеза. Кто был тот пузатый з н а к о м ы й человек, что наклонялся сверху, обдавая запахом пота сквозь чистую, раскаленного белого цвета рубаху? Он требовал немедленно выбросить, отдать ему стекло, а юный Крылов, весь измазанный в крови, будто в шоколаде, упрямо держал находку за спиной и отступал в горячую, как брызги чая, лиственную тень. Он с невыразимой ясностью чувствовал тогда: синий осколок заключает то, чего почти не бывает в окружающем простом веществе, — п р о з р а ч н о с т ь, особую глубокую стихию, подобную стихиям водной и небесной.

Собственно, с этого эпизода Крылов и помнил себя — осознавал себя как единую человеческую непрерывность. В минуты потери смысла и распада судьбы он, зажмурившись, пытался увидеть вспышку того сладчайшего синего света — что достигалось особым поворотом внутренней оптики, при котором п р о з р а ч н о с т ь была наиболее активна. Обнаружив свечение, Крылов восстанавливался или, по крайней мере, убеждался, что он — это по-прежнему он. Методом сложных опосредований, каким владеет поверх человека человеческая память, Крылов через прозрачность осознал, что никакое детство не бывает с о ц и а л и с т и ч е с к и м, а бывает только особым миром, волшебным домиком внутри стеклянного шара, и поэтому все его ровесники, в сущности, свободны; осознание, еще подспудное, помогло ему превратиться в резкого рифейского пацана и не бояться ни ментов, ни озлобленных, с перепачканными мелом покойническими лапами школьных учителей.

Должно быть, тяга к прозрачному, к тайне самоцвета, впоследствии вписавшая Крылова в коренную рифейскую ментальность, изначально была порождением сухого и плотного азиатского мира, где вода ценилась особо, где все земное под раскаленным небом делилось на то, из че-

го, казалось, можно было натирать красители, и неокрашенную г л у х о т у. Прозрачность воспринималась юным Крыловым как высшее, просветленное состояние вещества. Прозрачное было волшебством. Все простые предметы принадлежали к обыкновенному, э т о м у м и р у: как бы ни были они хитро устроены и крепко запаяны, можно было вскрыть и посмотреть, что у них внутри. Прозрачное относилось к миру иного порядка, вскрыть его, попасть вовнутрь было невозможно. Однажды юный Крылов попробовал добыть из тетушкиной вазы ее стеклянный оранжевый сок, заключавшийся в толстеньких стенках и бывший намного лучше наливаемой в вазу бесцветной воды. Днем на балконе на предусмотрительно расстеленной газете юный Крылов ударил вазу молотком, отчего пустота ее взорвалась, будто граната из фильма про войну. Однако осколки, какие не улетели в фыркнувшую чинару и под старые тазы, были так же замкнуты в себе, как и целая вещь. Выбрав самый лучший, донный, с наибольшей густотой цвета, юный Крылов продолжал его мозжить на лохмотьях засеребрившейся и зашершавевшей газеты, пока не получился абсолютно белый жесткий порошок. Цветной в порошке была только его, Крылова, нечаянная кровь, похожая на разжеванный изюм. П р о з р а ч н о с т и, ради которой затевался опыт, в порошке не осталось ни капли.

Эксперимент с получением порошка произвел на Крылова гораздо большее впечатление, чем последовавшая за этим отцовская порка. Он усвоил, что прозрачное — недоступно и, как все драгоценное, связано с кровью. То, что он раскопал про камни в душевой от бумажной ветоши детской библиотеке (а Крылов почти не помнил себя не умеющим читать), подтверждало находки его интуиции. Великий Могол, Эксельсиор, Флорентиец, Шах — имена мировых алмазов звучали для него такой же музыкой, какой для романтиков иного склада звучат названия мировых столиц. Знаменитые камни бы-

ли героями приключений наравне с д'Артаньяном, капитаном Немо и Кожаным Чулком.

Между тем у матери и тетушки также имелись драгоценности. Крупные серьги на тонких золотых крючках с бледно-голубыми камнями, в которых заключалось больше узоров, чем в картонном глухом калейдоскопе; четыре кольца — одно, помятое, зияло пустой почерневшей глазницей, зато в других по-кошачьи жмурились дивные прозрачности. Юный Крылов был так же уверен в высокой стоимости этих вещей, как и в том, что картина художника Шишкина «Утро в сосновом лесу» висит у соседей Пермяковых в зале над их ухабистым диваном, твердая ветхость которого с силой воскресала в памяти, когда несколькими годами позже юный Крылов тайком исследовал музейные чучела оленей и волков. После, начитавшись, Крылов узнал, что картина на самом деле хранится в Третьяковской галерее. В реальность Третьяковки верилось плохо, соответственно, исчезла из реальности и сама картина Шишкина: мир предстал перед юным Крыловым чередой копий без оригинала. Но даже и после разочарования в репродукции вера в драгоценности, хранимые в потертой, крапивным бархатом обтянутой шкатулке, осталась цела.

Юный Крылов понимал из разговоров взрослых, что все они зарабатывают мало. Почему-то меньше всех зарабатывала тетушка, считавшаяся красавицей. Она имела обыкновение, сильно выпятив ребра и натянув на шею тонкие жилки, обхватывать себя руками за талию, так что пальцы почти встречались в измятом шелке сорочки; волосы ее, гладко обливавшие спину до самого пояса, поднимались за расческой и стояли в воздухе, будто слоистый дым отцовских папирос. Она же первая и потеряла работу: однажды пришла домой совершенно не своей походкой и на все расспросы отворачивалась к стенке. Старый холодильник «Юрюзань», похожий на машину «запорожец» без колес, который мама с тетушкой все мечта-

ли выбросить на помойку, торжествующе хохотал. Однако юному Крылову представлялось, что и этот холодильник, и ненювые, местами похожие на крашеную вату красные ковры, и отсутствие своей машины, на что сердился по субботам за приспущенной газетой не в о р у ю щ и й отец, — все это понарошку, потому что в семье на самом деле хранятся сокровища. Юного Крылова не оставляла уверенность, что все прозрачное стоит бешеные деньги, — а уж камни в золотых украшениях не какие-нибудь пуговицы. По существу, он видел в них предметы магические. Само присутствие этих камней возводило мать и тетюшку из обыкновенных тружениц с плохо пахнувшими кухонными руками в ранг титулованных дам. Некоторое счастливое время юный Крылов прожил в уверенности, что если вдруг стряется беда, то камни, проданные каким-нибудь сказочным купцам в пышных, как белые розы, тюрбанах, выручат и спасут.

* * *

Не выручили и не спасли. Все изменилось: сделалось таким, словно было не настоящим, а виделось в зеркале. В этом зеркале стало непонятно, кто что делает и кто куда идет. Юный Крылов, еще не владея подходящими словами, чувствовал мозжечком дезориентацию вещей; он замечал, что у многих людей на улице теперь не с в о я походка. Иные, нехорошо говорившие по-русски, за счет присутствия зеркала как бы удвоились: встречая во дворе глумливого, с железными пальцами Магомеда или сизоголового Керима с шестого этажа, юный Крылов ощущал сведенными лопатками, что, будучи перед ним и разговаривая с ним, они одновременно стоят у него за спиной. По вечерам отключали электричество; все сидели на кухне вокруг единственной свечки, распускаясь, сгорая, в теплую лапшу; в книге, кое-как пристроенной среди

грязной посуды, шевелились на желтых страницах черные картинки. Отец, вытирая пиалу жирной корочкой хлеба, рассказывал в который раз, что человека из его учреждения, который делал против отца какие-то «некорректные выпады», ни за что зарезали на улице.

Несколько раз в квартиру Крыловых приходили чужие: двое, по виду с рынка, оба в одинаковых пиджаках, словно наклеенных изнутри на покоробленный картон. Чужие ходили по дому, осторожно и дотошно осматриваясь, с видом, будто водят в прятки и в любую минуту готовы броситься к исходной стенке. Один, с висками из-под тубетейки как седые угольки, о чем-то спрашивал испуганную мать — сердитым женским голосом, то и дело повышавшимся до вопросительной плаксивости; другой молчал и как будто думал, морщины у него на лбу были точно такие, какие бывают спереди на мятых штанах. Однажды эти двое, которых родители между собой называли «покупатели», привели с собой абсолютно дряхлого согнутого дедушку, телом похожего на одетую человеком тощую собаку. Пока молодые, словно отчаявшись отыскать попрятавшихся игроков, уже без всяких церемоний лазали под кровать и в стенные шкафы, дедушка сидел на табуретке, составив кривые ноги в запыленных мягких сапожках бессильным калачиком. Дедушка совершенно не походил на того богатого купца, которого воображение юного Крылова создало с помощью арабских сказок и фильма про старика Хоттабыча. Его халат, подпоясанный грязным ситцевым платком, прогорел от зноя до ключев коричневой ваты, борода была как нитки на месте оторванной пуговицы. Случайно заглянув ему в глаза, в которых скопился какой-то тепловатый воск, юный Крылов почувствовал — так ясно, как будто сам на секунду сделался п р о з р а ч н ы м: дедушке все равно, что будет с ним самим, и с этими молодыми, и с русскими обитателями оскверненной квартиры, которые для дедушки были не больше чем тени на окруживших его не-

привычных стенах. Закончив очередной осмотр, чужие подняли ветхого джинна под растопыренные локти и повлекли, приспособиваясь к его матерчатым шажкам, — а из прихожей была видна через площадку раскрытая дверь Пермяковых и ожидающие в ней тревожные соседи. Покупателей было меньше, чем продавцов.

С этой поры начался переезд. Далеко не все привычные вещи, что исчезали здесь, затем появлялись там: в холодном северном городе, где летняя зелень деревьев была как плащи от дождя, в крошечной квартире, еле освещаемой окнами размером с раскрытую газету. Исчезла и тетушка — принцесса, подружка, красавица с круглым лицом, имевшим свойство светиться в темноте, — пропала бесследно, и юный Крылов понимал по глухому тону новой квартирной тишины, что спрашивать про нее ни в коем случае нельзя. Оказалось, что драгоценности целиком ушли с добавлением еще каких-то маминых сбережений на оплату контейнеров, в которых мебель прибыла покалеченной и страдала теперь хроническим вывихом суставов, а шкаф, в котором прежде висели цветные тетушкины платья, норовил распасться, как распадается на цирковой арене разрисованный короб лощеного фокусника.

Чувство, которое испытывал юный Крылов, можно было назвать взрослым словом «разочарование». На самом деле то было сборное ощущение, похожее, при живых родителях, на острое сиротство. Он помнил утро отъезда с воздухом будто куриный бульон — ребята свистом вызвали его во двор, а он был в новом полушерстяном костюмчике, из-за которого трава и старые розы у подъезда тоже казались полушерстяными; помнил плацкартное купе, насквозь пронизанное грустью длинного заката, низко лежавшего над степью, и непривычный вкус кривых зеленых яблок, купленных на станции, — вкус хлопчатной ваты с аптечным лекарством. В то же время он как будто не помнил ничего. Жизнь разделилась на до

и после. Долго юный Крылов не мог привыкнуть к тому, что лето здесь какое-то ненастоящее, словно разогретые остатки от прошлого года, когда его еще не было в этой квартире и в этом дворе, по которому никто не бегал босиком.

Сколько ни добивались от него родители, почему он сделал т у у ж а с н у ю в е щ ь, — юный Крылов предпочитал отмалчиваться. Он-то ведь не спрашивал, почему они запрятали единственную тетушкину фотографию как можно дальше, под технические паспорта от несуществующих уже стиральной и швейной машинок, хотя подзревал нечестную игру — желание больше не видеть человека, которого почему-то бросили одного. Вечером, в опасной близости от родительского прихода с работы, он вдруг полез в тугой, набитый до отказа подзеркальный ящик. Поспешно раскопав неинтересные бумаги, уже испугавшись, что в этих лохмотьях не обнаружится искомого, он вдруг увидел тетушку — снятую в том самом ателье, куда водили и его, стоявшую, будто певица на сцене, на фоне складчатой драпировки, которую юный Крылов запомнил красной, а на снимке она оказалась коричневой. Сразу желание украсть у родителей единственную копию, лишенную оригинала, сменилось другим. Чувствуя, как давят на нос подступившие слезы, Крылов разорвал фотографию на клейкие клочки, часть из которых оказалась на полу. Затем он с трудом откупорил сырую форточку и выпустил тетушку из кулака, как маленькую птицу, на темный, шаркающий брюхом по земле октябрьский ветер, чтобы она, преодолев влачащуюся массу воздуха и отсыревших листьев, улетела на юг. Он не заметил, что некоторые кусочки, трепеща, отпрянули в комнату и запутались, будто конфетти, у него в волосах.

В общем, когда родители, усталые после автобуса, затаскивали себя и продуктовые сумки в абсолютно тихую неосвещенную квартиру с электрической моросью на незашторенных окнах и преступником, спрятавшимся в тем-

ном туалете, все улики были налицо. Другой такой отцовской экзекуции юный Крылов не помнил: ремень обжигал его стиснутые дрожащие ягодцы, и от боли он обмочился на липкую клеенку, предусмотрительно брошенную отцом на привезенную из дома н о в у ю тахту. Мать, сжимая голову в измятой парикмахерской прическе, сидела за пустым столом, перед одинокой вазочкой с мармеладом и остатками крашеного сахара, — и так оставалась сидеть, когда преступник, придерживая штаны и распиная стулья, увалился опять в туалет, где у него за мусорным ведром хранились обтрепанные спички и завернутые в бумажку пахучие окурки.

* * *

Собственно, юного Крылова потрясло тогда не поведение родителей, а открывшаяся в нем самом способность совершать ужасные поступки. Впоследствии он развивал эту способность в школе и во дворе, славном пьяными безобразиями, подростковыми разборками и громадной лужей в форме роля, что возникала весной и осенью на одном и том же месте, а в ходе опасных опытов с украденными в химкабинете веществами не раз горела и взрывалась, чихая вспененной водой на железные гаражи. После переезда юный Крылов, что называется, отбился от рук. Перемирие действовало только на территории музея: там, если мать не слишком допекала, Крылов спокойно делал уроки в служебной комнатке с толстыми стенами и наклонным окном, где, словно хлеб в печи, сидело малиновое солнце зимнего заката или таяли весенние ветки на мартовской синеве; во все же остальное время он вел самостоятельную жизнь.

В отличие от детей всех прежних родительских знакомых, перебравшихся в холодную Россию, Крылов на новой родине почти не болел. Однажды он, правда, свалил-

ся с ангиной и сутки бредил в потолок с ощущением, будто сумасшедший окулист все подбирает и подбирает ему, чтобы он лучше видел раздвоенную трещину, слишком резкие и разные очки. Когда же мать запаковала его в отвратительно хрусткий компресс, он оторвал от подушки намагниченный затылок, по которому катался шарик, и собственными свинцовыми глазами убедился, что завернут в ту самую клеенку, что бросили ему когда-то в качестве подстилки, — после чего стремительно пошел на поправку. Больше его не брали ни глухие морозы, превращавшие промышленный город в тусклый зачарованный сад, ни знаменитые рифейские дожди со снегом — холодная овсянка на воде, на вкус отдающая углем; на переменчивом северном солнце он загорал до азиатской черноты. Во всем, что не касалось здоровья, подросток Крылов стал сущим наказанием для своих родителей и при малейшей попытке поучений подрывался из дома, не успев зашнуровать свои единственные, краденные на оптовке армейские ботинки.

Вместе с пацанами-адреналинщиками он катался на товарняках, тяжким шагом тащившихся мимо выстроенных в длинную линию серых домов, или плющил под вагонными колесами мелкие железки, в которых будто оставались часть чудовищного веса, содрогание силы, эхом отдававшей от хвоста состава, словно товарняк уходил сразу на две стороны. В той же предприимчивой компании юный Крылов лазал на заброшенную телебашню, именуемую у рифейцев «поганкой». Городская достопримечательность, никогда не служившая по назначению и добрый десяток лет ветшавшая в слоистом мареве над кубическими кварталами и целлофановой речкой, охранялась милицией, но очень условно. Там, внутри дырявой, как свистулька, бетонной трубы, ржавые лестницы крепились неустойчиво, превращаясь местами в скрипучие качели, верхний ветер, с силой врывающийся в проломы, моментально высушивал пот, создавая у адреналинщика ощу-

щение, будто он всем телом вlepился в клейкую паутину, — но, несмотря на трудности подъема, труба была исписана разными граффити не менее плотно, чем любой пролетарский подъезд. На самом верху, на исхлестанной ветром округлой площадке, ходившей ходуном на манер воздушного плотика, поначалу было почти невозможно даже в безопасном центре стоять на ногах: хотелось лечь плашмя и не смотреть, как худая решетка ограждения черпает, погружаясь кривыми прутьями, солнечную мусть, как бесится на ней привязанная кем-то и истрепанная в нитки розовая тряпка.

Однако подросток Крылов уже сообразил: чтобы сделаться истинным рифейцем, надо рисковать — много и бессмысленно. Стоя на самом краю, чувствуя выше коленей, там, где кончался бортик и начиналась пустота, как бы ходящий по нервным струнам виолончельный смычок, он сумел, в числе немногих, отлить непосредственно в бездну; где продукт его рассыпался, будто бусы с порванной нитки. Когда на башне появились заезжие бейсеры и принялись лихо сигать через борт, трепеща, как зажигалки, удлинявшимися язычками парашютов, подросток Крылов решил, что непременно тоже прыгнет. Не тут-то было.

— Даже не думай, пацан, — сказал ему чужак с глубоко посаженными добрыми глазами, блестящими внутри морщинок и ресничек будто капельки темного масла. — Чтобы прыгнуть бейсом, надо полгода готовиться. Тут все по секундам, понял? Е...нешься на... — тут добрый человек объяснил, что именно произойдет с Крыловым, употребив выражение эксклюзивной многоэтажности и благожелательно глядя на табор адреналинщиков, откуда как раз сносило пустой и пьяный от воздушной пустоты, горевший шестидесятиваттной лампочкой на абсолютном солнце пластиковый баллон.

— Ну и что? Имею право, — не отставал Крылов, у которого живот завязался узлом, а бездна внизу открылась, как люк.

— Видишь мой парашют? — добрый бейсер кивнул через плечо. — Стоит две штуки грина. Если на...нешься, мне его назад не получить.

Этот аргумент Крылова убедил. Цифра в две тысячи баксов производила впечатление. Деятельность Крылова за порогом дома уже отчасти носила товарно-денежный характер. Пацаны, одетые в просторные китайско-адидасовские треники, тырили по мелочи из «своего» супермаркета «Восточный», не подпуская к территории наглеющих чужих. Они старательствовали возле площади Матросова, бывшей Сенной, где река лежала на песочке, будто женщина на простыне, а под песочком в черном дурнопахнущем иле, некогда счищенном со дна коммунальными службами, попадались разные монеты, вплоть до золотых — размером с советскую копейку, с мелким, будто комарик, двуглавым орлом. Скоро в голове у подростка Крылова образовалось что-то вроде виртуальной бухгалтерии. Парашют — две тысячи баксов. Подержанный писюк — двести пятьдесят. Новый каталог World Coins — пятьдесят четыре. Лампа-шахтерка, чтобы лазать по сводчатым, низким, как тазики, горнозаводским подземельям, — восемьсот рублей. Станковый польский рюкзак — четыреста пятьдесят. Далеко не все желания могли осуществиться.

Прыгать с «поганки» подросток Крылов приспособился во сне. При засыпании «адресом сайта» служил определенный набор ощущений — в частности, образ сносимого баллона, заставлявший жилками почувствовать высоту в четыреста метров, на которой баллон напоминал вышедшего в открытый космос маленького астронавта. Не всегда, но часто Крылову удавалось оказаться там, где все шаталось, зыбилось, посвистывало. Как и наяву, в глубине золотистой бездны плыли, жадно вбираемые кварталами, будто вода кусочками сахара, влажные тени облаков, а жесткая тень «поганки» не впитывалась ничем — так что трудно было поверить в себя как в точку

на краю теневой изломанной шляпы, на гребне маленькой коричневой крыши. Во сне Крылов отрывался от бетона, сделав особое усилие напряженной диафрагмой: сразу в ушах и голове становилось как в забитом помехами радиоприемнике, сумасшедший воздух, залезая в рот, трепал изнутри раздутые щеки, будто тряпичные флажки. Потеряв себя как точку на дне похорошевшей, оживившейся бездны, Крылов нестерпимо остро предчувствовал соединение с собой мчавшимся где-то внизу, как бешеный мотоциклист, — а за спиной никак не раскрывался райский двухтысячедолларовый парашют, и следовало как можно скорей и без остатка раствориться в ветре, к чему Крылов и приступал деловито, окончательно поддаваясь логике сновидения, его вибрирующим, исчезающим словам.

Зарабатывая кое-какие деньги, подросток Крылов ощущал себя взрослей, чем был в действительности. Ему, испытывавшему все тривиальные мучения самолюбивого недоросля подле ничтожного отца (отец к тому времени превратился в холуя-шофера при мордатом боссе и ездил, как мечтал, на «мерседесе»), стало гораздо проще с родителями. Его молчание в ответ на их беспомощные крики выглядело теперь совершенно естественным, и иногда он даже оставлял на кухне в качестве безличной информации свой вполне пристойный по оценкам гимназический дневник. Учился Крылов настолько легко, словно никаких наук не было вообще. Хуже было то, что родители одним своим присутствием не давали Крылову спокойно почитать — подозревая, как видно, что под учебником алгебры он прячет не роман Фредерика Пола, а порнографический журнал.

Вообще отношения родителей с подростком Крыловым состояли из бесконечных подозрений; прикидывая, что им мерещится, когда они вечерами поджидают сына при полоумном свете кухонной лампочки, Крылов признавал, что при всех усилиях ему никогда не сделать-

ся таким плохим, каким его считают эти двое, когда-то со-обща его и породившие. Глядя на них, Крылов был готов скорее поверить, что зародился в пробирке. Он был прекрасно осведомлен, как именно получаются дети, и пользовался любезностями Ритки и Светки — двух безотказных сестричек-погодок с грубыми мордахами и нежными попами, на которых после оставались цветущие, как розы, жаркие пятна. Вообразить же, как мать и отец смастерили Крылова, не представлялось возможным; тем более он не мог понять, зачем им это было нужно.

Впрочем, подросток Крылов признавал за матерью и некоторую крутизну — можно сказать, крутизну навыворот. Другие мамы, получая свидетельства плохого поведения детей, все старались истолковать в оптимистическом смысле. И не потому, что испытывали с сыновьями хоть какую-то солидарность, просто представления о д о л ж н о м были слишком крепко вбиты в их сидящие головы. Это были п р а в и л а, по которым они не только жили, но и думали, то есть обрабатывали поступающую информацию; соответственно, из неприемлемых фактов у них получались вполне приемлемые картинки — и ничего другого получаться не могло. Что же касается матери подростка Крылова, то она смотрела на жизнь очень широко раскрытыми глазами: сознание ее могло вместить гораздо больше, чем подросток Крылов был способен совершить. В каком-то смысле родители льстили Крылову; что бы ни происходило в ближних окрестностях — поджог ли киоска, стоявшего с тех пор в виде хижины из черной и свежей фанеры, квартирная ли кража у потомственного зубного техника, всю сознательную жизнь хранившего тайну фамильных коллекций, а теперь вынужденного хранить ее же, только как чужую, — они во всем усматривали участие сына, не имевшего алиби. Наваждение было настолько сильно, что отец, считавший себя в чем-то дипломатом, даже пытался о б р а б о т а т ь зубного техника, ставившего свой

подержанный «жигуль» рядом с «мерседесом», — но техник, которому на короткое тело достался вместо человеческого череп слона, вел себя как изнасилованная женщина и ничего не прояснил.

Словом, родители верили, что все криминальное в окрестностях совершает Крылов. Образ, созданный их воображением, совпадал с идеалом Ритки и Светки — общим на двоих, как все их мальчишки и дешевые тряпки с золотыми напылениями и липкими картинками. Идеал этот представлял собой крутого пацана, понимающего жизнь как собственный контроль над всем, что движется, дружащего с добрым дяденькой-бандитом, на толстой шее которого красуется мощная, как тракторная гусеница, золотая цепь. Все представители братвы — от бритого смотрящего, виденного Крыловым только со спины, до мелкого Генчика, знаменитого способностью плевать на много метров вареной слюной, — обладали общим качеством: тошнотворной д у ш е в н о с т ь ю. Они серьезно обижались, если что-то им казалось неправильным, — и какой-нибудь мутноглазый дурень с головой, устроенной не сложнее, чем коробка передач, мог почему-то з а п о м н и т ь пацана и гонять, как зайца, превращаясь для жертвы в вездесущего божка родных дворов и гаражей.

Татуированные долго прикапывались, чтобы поставить своего бригадира в команду на «Восточном» — и таки поставили крыловского одноклассника, дважды второгодника Леху Терентьева. Близко посаженные Лехины глаза учились по-бандитски давить на собеседника и упражнялись на пацанах, что вызывало у Крылова приступ злобой энергии и желание сокрушить не только Леху, но и захваченный им магазин. Впрочем, Леха сам, будучи любопытен и неуклюж, повалил стеллаж с хозяйственным товаром; в результате крушения привлечший его неизвестный предмет оказался погребен под разломившимися, как античные колонны, стопами эмалированной посуды

и бурчавшими в мягких флаконах моющими средствами. С тех пор бригадир самолично не работал, а только лениво базарил с охраной, пока пацаны, прикрывая друг дружку от телекамер, мели по его распоряжению дорогие компакты и парфюм.

Крылов попытался было бороться за бизнес и на одной лишь ярости отмутил тяжеленного Леху в гимназическом туалете, каким-то образом закинув этот расстегнувшийся куль под раковину, головой под мокрую трубу, где голова и застряла в неестественной позиции. После голову высвободили, поливая растительным маслом, и Лехины лапы хватались за строго параллельные ноги спасавшей его математички; когда же он по сантиметру выпростался и сел, совершая странные плавательные движения, Крылову даже сделалось совестно от вида Лехиных слез, размазанных икрой по грязным и замасленным щекам.

Однако Леха недолго ходил неотомщенным, и мало Крылову не показалось: после встречи с неприхотливыми исполнителями, умудрявшимися ездить восьмером на одних проржавелых «жигулях», зубы у Крылова долго были шатки и солоны, а ребра справа словно находились под током и не давали вздохнуть. Стало совершенно понятно, что связываться с татуированными себе дороже. Братва представляла собой явление природы, генетический феномен, и порою, глядя на самых мелких обитателей двора, колотивших игрушки по скамейке и бегавших на фланелевых калачиках от семенивших за ними бледных матерей, Крылов внезапно видел будущего человека — словно с рождения отмеченного какой-то тайной хмуростью, сдавленностью тугого лобика, телесной тяжестью сырого существа.

Из-за Лехи Крылов лишился существенной части дохода — о чем не особенно жалел, потому что романтика супермаркета с его стандартным китайско-турецким ассортиментом к тому времени уже подвыцвела. Зато име-

лись другие интересные занятия, браткам совершенно недоступные. Братки, чьим главным продуктом был наводимый на граждан физиологический страх, сами ходили налитые этим страхом, будто сосуды, по самые макушки — и потому оказывались неспособны к чистому бессмысленному риску.

А перед Крыловым мир лежал как один большой аттракцион. Для того в отношениях с миром он разработал и соблюдал свои правила равновесия. Если, к примеру, Крылова обманывал, забрав у него по дешевке редкий советский двадцатчик, один коллекционер, то Крылов в свою очередь разводил одного, и только одного — необязательно того же самого. Тут важно было выдержать безличность; собиратель генеральной коллекции советских монет, весьма похожий на Дуремара и известный всем по кличке Дуремар, мог топтаться тут же, на плешке, но Крылов к нему не подходил, а небрежно демонстрировал потертый довоенный лат надменной старухе с лицом пушистым и напудренным, как бабочка-ночница, явившейся на плешку неизвестно за каким дивидендом, — и, завершив несправедную сделку, чувствовал себя вполне удовлетворенным. Подросток Крылов не хотел держать в себе ничего излишнего — ни обид, ни памяти о многих мелькающих людях — и был как экологически чистый аппарат, что возвращает внешней среде именно то, что из нее получил. Ему представлялось, что, держа равновесие, он каким-то магическим способом уберегает мир от распада, сохраняет его вещество. У него из сумки утаскивали книгу — он крал одну с лотка или в гимназической библиотеке; ему не возвращали одолженную шахтерку — он уже не покупал другую, а тырил у строителей метро, пользуясь дырами в штопаных сетчатых воротах, за которыми трещал и бухал пыльный котлован. Для себя Крылов не делал разницы между своими обидчиками и теми, кто потерпел от него самого, — тем более что многие люди оставались ему неизвестны. Соот-

ношение «я и все остальные» было, конечно, неравным — и было бы неравным для кого угодно, а не только для пацана из облезлой хрущобы, имевшего самые слабые социальные шансы, — но никакого неравенства Крылов признавать не желал.

* * *

В поисках приключений на свою непримечательную задницу подросток Крылов постигал характер новой северной родины, суть природного рифейства. Как во всяком городе вавилонского типа, на четыре пятых населенном приезжими, беженцами, освободившимися зэками, выпускниками трех десятков действующих вузов, коренные обитатели в столице Рифейского края были в меньшинстве. Город, принимая людей, заключал в себе по второму экземпляру всех географически близких городков и поселков городского типа — в отдельных случаях больше натуральной величины — плюс обменивался чиновными элитами с недремлющей Москвой, отчего приземистые памятники архитектуры меняли принадлежность и перекрашивались чаще, чем это выдерживал бледный пейзаж.

При таком стихийном росте обитаемой среды было непросто понять, что же является исконной территорией города, выразителем и символом рифейского духа. Тем более что город сам изначально не был склонен к образованию центра. Старые купеческие особняки, изукрашенные большими, как кровати, парадными балконами и толстыми чугунными кружевами, ставились без учета стиля соседей, как если бы никаких соседей не было вообще. Казалось, что дикий золотопромышленник, возведя любимое чудовище, твердо знал, что оно переживет окружающие строения, уже отмененные красотой его хором и оставшиеся в прошлом. Словом, в старой части города не было заложено идеи его о д н о в р е м е н н о г о

существования. На это администрация, испытывая естественную потребность в оформленном центре, ответила тем, что снесла заросшие кладбищенской травой карьерные особняки и построила новодел, соединивший идею казармы и петровского Монплезира. В качестве символов рифейцам были предложены на выбор: геологический музей под открытым небом, где орошаемые плотиной яшмовые глыбы напоминали куски проложенного кварцевыми жилами каменного мяса; похожий на мясорубку макет изобретенного здесь паровоза; памятник двум основателям города, что стояли в каменном немецком платье, обратив одинаковые полированные лица к черному плотинному туннелю с водопадом, над которым кто-то рисковый из любителей поболтать ногами над бездной вывел ярко-белой водостойкой краской: «БОГА НЕТ».

В действительности истинным символом и выразителем рифейского духа была лиловевшая над городом «поганка» — самый крупный из тех иррациональных феноменов, что возникали, казалось, только для того, чтобы возбудить в рифейцах их главный инстинкт. Его можно было бы обозначить как инстинкт бесцельного освоения объектов, к освоению не предназначенных, а лучше запрещенных. Тут возникал особого рода контакт: объект представлял собой материализованный пароль, на который в душе у рифейца имелся готовый радостный отзыв. Видимо, мир рифейца был принципиально негоризонтален и в этом смысле походил на мир насекомого. Культурная «поганка» была для городских подростков муравьиной тропой в небеса. Взрослые же дядьки ходили, благословясь, на гималайские восьмитысячники, устраивали международные (с участием меланхоличных финнов) соревнования по скоростному лазанию на красные, как палки копченой колбасы, рифейские сосны, организовывали сумасшедшие ралли по лесным дорогам, представлявшим собой сырую крутизну с кадыками валунов, а также зимние гонки на мотоциклах по замерзшей реке с лихими

проскоками под зазеленелыми сводами Царского моста. Занимаясь такими делами, достойными разве пацанов, взрослые рифейцы придавали им, однако, непререкаемую серьезность — может быть, благодаря тому, что постоянно держали в себе как бы нечто твердое, какой-то кристаллический холодный наполнитель. Подросток Крылов рано сообразил, что душа исконного рифейца обладает свойством п р о з р а ч н о с т и: все в ней как будто видно насквозь, а внутрь проникнуть нельзя.

Скоро и у него возникло в груди подобное образование, заключающее в себе в виде мелких пятен и трещин обиды самого раннего детства, вернуть которые во внешнюю среду было уже невозможно. Крылов узнал, что когда случается что-нибудь непоправимое, то сперва становится интересно, будто попадаешь в кино. Так было, когда отец, отхлебнув хозяйского виски, засадил «мерседес» в бредовое, но крепкое рекламное сооружение — при этом сам, затесненный надувными подушками, отделался буквально царапиной, тогда как боссу въехавшим штырем снесло полчерепа, и безволосый скальп его валялся на заднем сиденье, похожий на лоскут от равного мяча. Несмотря на то что причиной аварии послужил вливающий и подрезавший всех подряд впоследствии не найденный «москвич» (в рифейской столице на дорогах нагтели не только крутые, но и обыкновенные инженеры, имевшие хоть какие-нибудь ржавые колеса), отца вследствие значимости погибшего и выпитого спиртного отправили на зону общего режима. Крылов увидел его напоследок в зале суда, запомнил маленькие сосредоточенные бровки, терпеливую позу подледного рыболова — после чего отец уехал под конвоем и никогда не вернулся, честно отмотав четыре года приговора, но совершив, как многие в его положении, побег из действительности.

Гораздо большее впечатление произвела на Крылова драматическая кончина прекрасной «поганки». Несмотря

на специальные качества пошедшего на нее железобетона, четырехсотметровая башня обветшала настолько, что сделалась опасна. Между тем ронять ее было совершенно некуда: за годы, пока «поганка» украшала собой низковатые рифейские небеса, вокруг нее понастроили сперва стандартные девятиэтажки, потом престижные жилые комплексы из кремлевского цвета кирпичей, а с самой рискованной, почти всегда подветренной стороны располагался похожий на гигантскую теплицу торговый комплекс. Промедление, однако же, грозило бедой, какой не видывало еще российское МЧС. В одно прекрасное лето, примечательное мощными, гремевшими в водосточных трубах, как якорные цепи, белыми дождями, городская администрация, собравшись с духом и средствами, дала приказ начинать. Разумеется, «поганка» простояла над городом всю следующую зиму, сахарно сияя и вводя в искушение рифейцев, лазавших на нее с любительскими радиостанциями и подтянувших наверх для нужд своего вещания танковый аккумулятор; цены на окрестную недвижимость ходили ходуном, на чем наживались приближенные к мэрии тихие риелторы.

На следующее лето, выдавшееся не в пример прошлогоднему настолько сухим, что городская речка превратилась в кофейную гущу, к «поганке» подступили военные специалисты. Два месяца у них ушло на то, чтобы эвакуировать близлежащие кварталы, ставшие похожими на марсианский город, по которому цугом бегали пыльные собаки; тем временем взрывники шпурили бетон, пробрасывали кабели, закладывали взрывчатку взамен разворванной в прошлом году. В день решающего события стало понятно, что работали мастера: воздух в городе вздрогнул, и «поганка» аккуратно оплыла, словно очень быстро сторевшая свечка, погрузившись на полпути к земле в растущие снизу клубы плотного праха. Там, где она только что была, на тонкой облачной амальгаме образовалось слепящее пятно. Даже когда кучевая пыль, ре-

дея и просвечивая, поднялась почти на полный рост об-
рушенной башни, сверкание не исчезло; пыльный при-
зрак как бы растолстевшей «поганки» держался в возду-
хе несколько дней, оседая на вялую листву и на битые
стекла, что скрежетали под ногами вернувшихся жителей
и всхлипывали под дворницкими метлами, образуя сло-
истые и хрупкие мусорные кучи. И после, стоило под-
няться пыли, словно присыпавшей в воздухе какой-то
тонкий отпечаток, или солнцу выйти из облака под не-
обычным углом, как башня делалась видна; видели ее
и в густой снегопад, словно мывший с мылом фиолето-
вую тень. Многим рифейцам не верилось, что они фи-
зически побывали там, где теперь свободно разгуливал
ветер; засыпая с этой мыслью, пацаны и даже студенты,
брившие мягкие бородки, летали во сне.

* * *

Рифейские горы, выветренные и подернутые дымкой,
выявляющей в пространстве сотни градаций серого цве-
та, напоминают декоративные парковые руины. Живо-
писцу нечего делать среди этой готовой каменной красо-
ты: каждый пейзаж, откуда ни взгляни, уже содержит ком-
позицию и основные краски — характерное соотношение
частей, вместе составляющих простой и узнаваемый ри-
фейский логотип. Картинность Рифейских гор кажется
умышленной. Горизонтالي серых, с лишайниковой позе-
ленью валунов, умягченных скользкими подушками ры-
жей хвои, перебиваются вертикалями сосен, соединенных
в тесные группы и, как все в пейзаже, избегающих про-
стоватой четности; вместе это словно бы построено по
законам классической оперной сцены с ее громоздкими
декорациями и лицом к партеру расставленными хорис-
тами. Воды в Рифейских горах также распределены с уче-
том картинных эффектов. Иные речки, отравленные про-

мышленностью, имеют вид бытовой и выглядят как аварии водопровода — но есть и другие, сохранившие замысел архитектора. Их берега, как правило, скалисты; трещиноватые и смуглые сланцевые кладки выглядят как завалы каменной макулатуры, где темные слои, несомненно, содержат иллюстрации; местами розоватые скалы словно обклеены кусками целлофана, их камешки, все как один содержащие идею кубика, обильно высыпаются из трещин. Каждый речной поворот открывает новые подобию виденного прежде, отчего берега кажутся движущимися скорее, чем сама вода, словно бы натянутая в усилия сохранить отражение неба и посеребрённых облаков.

Небо в рифейских водах видится намного синее, чем оно есть в действительности; причиной тому — летний северный холод, даже и в жаркие дни дающий себя почувствовать в порыве ветра, в соседстве коренного, глубоко замороженного камня. Нежные ящерицы греются на тепломых выходах скального кварца, содержащих золото; это друзья рифейского человека, живые указатели подземных богатств. То же самое ужи и мелкие темные гадюки, отдыхающие в скалах маслянистыми колечками; при малейшей тревоге они напрягаются, делаясь похожими на стрелу, приложенную к тетиве, но обыкновенно утекают с миром в каменную щель, оставляя по себе легкое шевеление горько-зеленой травы.

Озера в Рифейских горах многочисленны и огромны. Их большая, удивительно пустая гладь служит зеркалом не столько материальных предметов, сколько погоды; малейшие изменения в атмосфере отражаются там в виде бесплотных образов, не имеющих ничего аналогичного по берегам, расплавленным в темное масло и непонятно где твердеющим: граница воды и суши часто не видна. Зато атмосферные призраки, порой не просто отражаемые, но близко глядящиеся в озеро, бывают отчетливы. Это марсианское телевидение лучше наблюдать с высоты, откуда лодки у дачного берега выглядят семенной шелу-

хой. Иные озера бывают поразительно прозрачны; солнечная сетка на пологом дне в недвижный полдень достигает совершенства позолоты на фарфоре; рыбак на пахнущей ухой горячей плоскодонке видит сквозь собственную тень далекий комочек приманки и темные спины желающих с нею ознакомиться крупных окуней.

На благодатном юге Рифейского хребта, там, где растет неказистая, с ягодами в виде узелков, но удивительно ароматная лесная клубника, а садовая клубника достигает иногда размеров моркови, озера занимают еще больше прекрасного пространства. При взгляде сверху не всегда понятно, чего перед тобою больше — воды или тверди: они окружены друг другом, друг другом поглощены. Кругом острова, острова; иной, подобно чаше, содержит еще один неправильный овал сияющей воды — однако это не часть материнского водного мира, а собственное внутреннее озеро, питаемое собственными ключами; на нем же — еще один островок: декоративная скала с россыпью гальки, похожая на разбитую копилку. От скалы, дойдя до предела сужения, словно бы вновь расходятся во всю пространственную ширь водные, земляные, каменные круги; местность стирает границу и разницу между поименованным географическим объектом и безымянным конкретным предметом, каковым является на самом малом островке дородная береза, сверкающая на ветру мелкими жесткими листьями и словно бы украшенная в дополнение к своей плакучей гриве новогодним елочным дождем.

Рифейская гряда, несомненно, располагается в одном из тех загадочных регионов, где пейзаж непосредственно влияет на умы. Для истинного рифейца земля — не почва, но камень. Здесь он — обладатель глубинной в прямом и переносном смысле слова, геологически обоснованной истины. При этом его земля так же плодоносит. Как житель российской средней полосы отправляется «на природу» за ягодами и грибами, так рифеец выезжает на

мятой «копейке» за самоцветами; местность, лишенная россыпей и жил, для него бессмысленна. Далеко не все, выросшие на Рифейском хребте, пополняют впоследствии сообщество хитников — не имеющих лицензий добытчиков ценного камня, которые, обладая городскими, часто интеллектуальными профессиями, строят свой бюджет на незаконном промысле, перерастающем в страсть. Но практически каждый рифейский школьник проходит через «коллекционку»: в редкой семье не валяются на антресолях как бы заплесневелые булжники с малахитовыми корками, покрытые черными окислами, похожие на городской весенний лед кварцевые друзы, зашлифованные куски всех распространенных поделочных пород.

Между тем подземные рифейские богатства уже не те, что были прежде. Всюду на территориях известных месторождений профессиональный хитник или просто турист натывается на старые горные выработки. Это могут быть плавные ямы, давно заросшие мокрым папоротником и непролазной, с шерстяными листьями лесной малиной: только опытный глаз распознает в них прадедовские шурфы. Бывает, что дырка в земле, похожая на беззубый и запавший старческий рот, ведет исследователя в шахту позапрошлого века, что напоминает похороненную, полураздавленную камнем низкую избу. Холодные лиственничные крепи, шелушащиеся мертвой, словно вываренной временем щепой, поверху отлакированы копотью лучин, забиравших у горщиков сладковатый подземный кислород, и звуки из темноты раздаются такие, точно кто вытирает ноги о сырую каменную крошку. Бывает, что шахта эта расположена не в горной глухомани, а где-нибудь на краю картофельного поля, по которому, подпрыгивая, едет маленький трактор. Дело обычное: от грунтовки, ведущей к прозаическим коллективным садам, отделяется другая, побледней, и лезет на крутизну; с крутизны открывается вид на старый карьер, заключающий, будто оправа, странно гармоничный воздушный объем,

как бы слезу пустоты. Не сразу заметно, что карьер до какого-то уровня заполнен водой. Вода не видна; отражение кварцевых стен, из которых в жаркий полдень одна горячая, а другая ледяная, столь подробно и совершенно, что глаз не улавливает, где заканчивается настоящий обрыв и начинается мнимый; дивная эта симметрия завершается зеркальцем отраженного неба с пятнышками опрокинутых в него берез. Спускаться в карьер надо по натертой шуршащей тропе, держась за стену, растущую у виска; иногда из нее, будто книга с полки, вынимается в руку плоский розовый камень, который, будучи брошен вниз, издает сырой и зычный звук, подпрыгивающий вверх. Только по толстым водным кругам обнаруживаешь место, куда уже не следует ступать; вода, как глина на гончарном круге, словно пытается превратиться в сосуд. Этого не происходит; медленно, почти бесконечно долго восстанавливается смущенное совершенство — но вдруг наступает миг, когда вода исчезает опять буквально из-под ног. Снова зритель остается наедине с поразительной пустотой, образовавшейся на месте вынутой горы, — и солнечная стена, удивительно яркая, мелко-подробная, кажется подсвеченной снизу сильным электричеством, сахарная жила на ней искрится.

Все, что могло быть взято сверху, уже практически взято; поверхность Рифейского хребта истощена. То же можно сказать о поверхности рифейской красоты. Природные логотипы, с помощью которых так легко komponуется на холстике узнаваемый пейзаж, всегда поощряли не профессиональных, но самодеятельных живописцев. Реализм, будь он метод искусства или — шире — способ мышления, был здесь свойством людей принципиально по в е р х н о с т н ы х: благонамеренных дилетантов, понимающих использование готовых форм как род патриотизма. В этом смысле Рифейский хребет оказался коварен: здесь г о т о в о г о с самого начала было сколько угодно. В результате образовался специфический слой

художников, поэтов-песенников, коллекционеров, краеведов, обуреваемых прекрасными порывами души. Эти серьезные дядьки, пожилые лет с тридцати, в седлочно-го цвета пиджаках, хранящие во внутренних карманах разнообразные членские билеты, смутно чувствовали, что чего-то хочет от них вся эта каменная и индустриальная мощь, загруженное небо над ней, без конца транспортирующее тонны облаков, но не могли преодолеть поверхность, как будто удовлетворяющую требованиям художественности и рифейской самобытности.

Когда же наступил экологический кризис реальности первого порядка, сделалось ясно, что мышление истинного рифейца есть мышление фантастическое. Чем дальше от почвы, тем лучше! Оказалось, что анахорет, в какой-нибудь Нижней Талде изучающий санскрит, вернее выражает собой сущность малой родины, чем румяный, как пион, сочинитель песен для народного хора. На выставках новых художников, ушедших в астралы модернизма, впервые исчезла из живописи всегдашняя рифейская притменность и сытная тяжесть мазка. Живопись очистилась; вследствие этого новые богачи, мало понимавшие в предмете, но детски склонные к ярким цветам, охотно покупали композиции, похожие на настольные игры, рисованные загадки и наборы юного техника. Всплеск непатриотичного, демонстративно неместного искусства выражал на самом деле то сугубо местное свойство ума, при котором рифеец, будучи бытовым человеком, одновременно полагал себя и кем-то другим — удаленным, может, даже и иноплеменным; склонность к риску и желание наиболее интересным образом свернуть себе шею объяснялись отчасти тем, что эта удаленная личность была защищена ментальным расстоянием и, по всей вероятности, бессмертна.

Тем временем власти, мало что понявшие, продолжали: государственно поощрять краеведов и народные коллективы. Прогресс они увидели в том, чтобы воссоеди-

нить сценического мужика-хориста с подобающим ему условным православием. Боевитый тенор в шелковой косоворотке и правда был недостоверен — слишком походил на комсомольца; перенос сакральных смыслов с фабрики на храм правильное обустроил его нарядный, весь в георгинах и рябинах, искусственный мир. Также и эстрадные господа офицеры с гитарами почувствовали себя лучше и даже шагнули в жизнь: группами по десять-двенадцать человек они маршировали по рыжей брусчатке бурно торгующего городского центра. Всюду наблюдалось возвращение к истокам. Молодые батюшки с мягкими бородами, чинно разложенными на грудях, ездили по городу в тяжелых черных «Волгах» обкомовского вида — сильно, правда, потрепанных; храмы, переданные по принадлежности (имущество выселенных музеев сырело и пухло в случайных подвалах), напоминали витыми куполами парад монгольфьеров, правда без рекламы; в положенное время над городом гудели, растекаясь в воздухе тончайшей пленкой нефтяного звука, их колокола, что играло в шумовом пейзаже ту же роль и вырабатывало образ того же поэтического качества, что и воспетый сельдочными пиджаками фабричный гудок.

Любимой идеей властей стало восстановление монастыря, где сорок лет жила колония для малолетних преступников. Монастырь издали напоминал огромный, осевший и грязный сугроб; вблизи становилась заметна свисавшая со стен изодранная колючка и тюремные лампы в помятых рефлекторах, похожие на ее железные плоды. Благословясь, приступили к строительству; для начала разобрали на монастырской территории длинные бараки и выволокли, чтобы после отвезти на свалку, земляные доски с выпадающими ржавыми гвоздями, похожие на останки откопанных гробов, какие-то лоскутья крашеной жести, куски кирпичей. Немедленно в деревянном городишке, примыкавшем к монастырю, разразился небывалый пожар. В ту роковую ночь огонь летал, разду-

ваемый ветром, а вода, кидаемая в него с разбегу из ведер и корыт, возвращалась жарким выдохом, как из пьяной пасти; с писком занимались облитые из малосильных шлангов черные избушки, обрушивались с жарким шелестом розовые остовы. Наутро уцелевшие деревья стали как банные веники, на пепелищах среди разлагавшейся, еще алевшей под папиросным пеплом деревянной плоти бродили погорельцы, палками откапывая из угольев свое пропеченное имущество.

Теперь к одной заботе у властей прибавилась другая. Не надеясь, однако, на бесплатные отели, местные жители растащили остатки бараков и в ударные сроки сбили лачуги. С тех пор, сколько бы ни спускалось сверху льготных субсидий, население категорически их пропивало, продолжая жить во всем тюремном; даже колючка употреблялась в дело — ею обматывали для прочности особо шаткие конструкции, отчего иные хибары с косыми крошечными окошками напоминали ульи, вокруг которых клубились железные пчелы. Городишко и монастырь в финансовом смысле превратились в сообщающиеся сосуды. Было не совсем удобно отстраивать храм, пока за стенами все лежало в разорении и пепле; там согбенные бабки варили еду в посипывающих, дымящихся щелями останках печей, неподалеку в бумажном тенечке подсохших берез валялись на голых панцирных койках кормильцы семейств, сами похожие на узлы какого-то спасенного и бесполезного добра, — и все это безобразие снимали оппозиционные журналисты. По мере сил снижая общий уровень в сообщающихся сосудах, погорельцы убежденно воровали все, что только ни положишь на землю: мешки с цементом, краску, рукавицы. Неустойчивое равновесие, поддерживаемое двумя сравнительно одинаковыми ручейками финансовых вливаний, в любой момент грозило обернуться катастрофой. С благословения рифейского владыки было предпринято массовое крещение погорельцев. На монастырской неухоженной лужай-

ке, усыпанной большими, как пивные пробки, головками облетевших одуванчиков, собрались едва ли не все обитатели лачуг; алюминиевые тазы с водой, поставленные в ряд, золотились будто луковая шелуха, по горелым бородам крещаемых стекали яркие капли, старухи осеняли себя мелко и трудолюбиво, будто накладывали штопку, но разрешению смутительной ситуации таинство не помогло.

* * *

Все это мало имело отношения к духовному быту рифейца, ставившего, впрочем, свечи перед популярными иконами и охотно купавшегося на водосвятие в крещенской лунной проруби, чей матерый лед хватал его крепким клеем за мокрые пятки. Как бы далеко от местности и быта ни простирались интеллектуальные интересы рифейца (многие хитники в легальной части своих биографий работали на космос и оборону) — он знал всегда, что рудные и самоцветные жилы есть каменные корни его сознания. Мир горных духов, где всегда пребывал и пребывает рифеец, есть мир языческий. Он включает, в частности, неопознанные летающие объекты от трех до пятнадцати метров в диаметре, чьи передвижения по воздуху напоминают рывки катушек, с которых сматывают нитки, а также шелковисто-зеленых получеловечков, принимаемых посторонними за инопланетян. На самом деле это местные ребята: разумные рептилии, охраняющие самоцветные линзы. Изредка старателям удается увидеть Великого Полоза. Этот подземный змей с головой огромного старика может явить человеку картину, подобную хрестоматийной сцене из «Руслана и Людмилы», — только голова у Полоза лысая, с темными шлифованными пятнами, губы, тоже крапчатые, весьма мясисты, перебитый нос размером и формой напоминает сапог. Великий Полоз ходит под землей, как под водой. Тело его, протя-

гиваясь кольцами перед оторопевшим старателем, выглядит как сгружаемый с самосвала поток грохочущего гравия; поднимается пыль, шевелятся побелевшие кусты, земля местами проседает, образуя морщинистую траншею, — вот по ней и следует искать рассыпное и жильное золото, по-царски возмещающее старателю испорченные брюки.

Бывает, что горный дух по внешности мало отличим от человека. Каменная Девка, она же Хозяйка горы, вовсе не похожа на красивую артистку в синих накладных ресницах и в зеленом кокошнике, что представляет Хозяйку в утренних спектаклях драмтеатра. Каменная Девка может явиться хитнику в виде самом обыкновенном: показаться, например, немолодой интеллигентной дачницей, испачканной ягодами и раздавленными комарами, с ведром огурцов; или буфетчицей на маленькой станции с накрахмаленной башней обесцвеченных волос и тоскующими глазами в припухлых мешочках; или девчонкой лет пятнадцати, у которой в горловину свободной майки залетает ветерок, когда она, пригнувшись, жмет на педали бряцающего велосипеда. Каменная Девка вовсе не старается держаться поближе к лесной и горной глухомани, она не зверек. Она совершенно свободно появляется и в городе с четырьмя миллионами жителей, стоящем и не чующем под собой ни могучих, как подземные капустные поля, наростов малахита, ни толстого золота в рубчатом кварце.

В тесных круговоротах городского населения Каменную Девку различает только тот, к кому она пришла. Вдруг при виде женщины, ничем особо не приметной, душа у хитника странно намагничивается; вдруг незнакомые черты и жесты складываются в родной и желанный облик, и безбожнику кажется, будто только что буквально на его глазах из обычного материала, какого много намешано в толпе, Бог сотворил для него, единственного, дивное существо, будто ему наглядно явлено доказатель-

ство сотворенности человека с помощью божественного фокуса. И не может уже обалделый бородач не устремиться к незнакомке, исполненной для него невыразимого обаяния, служащей доказательством его единственности среди прочих людей, которую все остальное вокруг готово опровергнуть.

Неправда, будто Хозяйке горы нужно от человека камнерезное мастерство. В действительности ей, как всякой женщине, нужна любовь, но только настоящая, того особого и подлинного состава, формула которого еще никем не получена. Всякое чувство бывает с тенями; иногда оно само представляется тенью. Из-за отсутствия единиц измерения и достоверных экспертиз избранник Каменной Девки ощущает себя предоставленным самому себе в гораздо большей степени, чем это случалось с ним когда-либо прежде. Сомнения накладывают на лицо избранника поперечные морщины: линии жизни, которые обычный человек видит на своей ладони и в каком-то смысле держит в руке, проступают у него на лбу. Испытуемый то верит, то не верит в истинность собственного чувства; зыбкой ночью, когда неподвижное тело подружки вдруг тяжелеет во сне и продавливает свою половину кровати, будто поваленная статуя, мужчине приходит мысль, что легче вспороть себе живот, нежели вскрыть для проверки собственную душу — по крайней мере, первое физически возможно. Самоубийства от счастливой любви, от вполне разделенного чувства — не такая уж редкость в рифейской столице. Если покопаться в милицейских сводках, можно обнаружить немало загадочных случаев суицида, когда покойников находили с блаженной улыбкой на окаменелых устах, то есть рот буквально превращался в минерал, в небольшой и твердый каменный цветок, и лежал нетленным украшением на осевшем лице. Где-нибудь поблизости на видном месте белел аккуратный, параллельный линиям мебели и комнаты сопроводительный документ покойного — предсмертная запись

ка, обращенная к женщине и содержащая по большей части плохие стихи.

Та, к кому адресовался самоубийца, исчезала абсолютно, будто проваливалась сквозь землю. Приметы ее, сообщенные родными и соседями покойного, оказывались столь противоречивы, что было даже удивительно, как искажала подозреваемую сильная оптика их коллективной — теперь еще возросшей — неприязни. Впоследствии на могиле самоубийцы на памятном камне люди видели во всякий теплый день хорошенькую ящерку, на первый взгляд совсем обыкновенную — и лишь специалист, окажись он здесь, сообразил бы, что существо не относится ни к одному известному виду, и воскликнул бы «Не может быть!» при виде папоротникового узора на ее спине и крошечных ручек, словно одетых в черные перчатки. Многим, впрочем, мерещилось, что на плоской ее головке поблескивает корона размером не более золотого зуба; при всякой попытке словить диковину ящерка сперва замирала, словно перенимая настороженность наплывающей вкрадчивой ладони, но вдруг выписывала стремительный зигзаг и пропадала неизвестно где, иногда оставляя преследователю остренький, с голым хрящиком хвост.

Бывало и так, что рифеец после встречи с Каменной Девкой оставался в живых. Такой не лазил больше за пределы города, завязывал с самоцветным промыслом и, по слухам, не видел себя в зеркалах, отчего утрачивал связь с самим собой и беспокойно ощущивал собственное лицо, сильно нажимая на твердое и захватывая мягкое в толстые складки. Стоило кому-то обратиться к нему, как несчастный тут же отвлекался, проверяя свое наличие и наличие на себе подобающей одежды: пауза, сопровождаемая ревизией пуговиц и поклоном собственным штанам, была коротка, но настолько неприятна собеседнику, что у бывшего хитника, честно обещавшего себе вести отныне только нормальную и легальную жизнь, карьера

не задавалась вообще. В отдельных же случаях любовник Каменной Девки исчезал куда-то вместе со своей подружкой, не взяв ничего из вещей, выложив деньги — бывало, что и перехваченные резинкой толстые доллары, — ровно на то заметное место, где лежало бы, покончи он с собой, последнее письмо; опытные менты, изучившие почерк подобных исчезновений, называли эту зону почтовым квадратом.

Иногда, если родственники бывали особенно настойчивы и не верили в бесповоротность события, ментам удавалось проследить начальный отрезок путешествия. Некоторое время в милиции отрабатывалась версия, будто типовой беглец находится под действием наркотика. Согласно показаниям свидетелей, он и его приятельница держались так, будто совершенно не знали города и каждую минуту боялись потерять друг друга; все это напоминало пляску двух бабочек в воздухе, которых слепо сносит по странной кривой, — и вдруг наступал момент, когда тот или другой нащупывал в пространстве нужную дыру. Приятели бегльца, не знавшие об его исчезновении, бывало, встречали его на своих незаконных геологоразведочных работах: он появлялся из красноватой темноты, какая бывает под веками и в лесу вокруг горящего костра, садился к общей еде, пил из железной кружки крепкий, как гудок тепловоза в голове, рифейский самогон. Свою веселость и отсутствие сна на похудевшем, сильно сточенном лице он объяснял необычайным фартом; этим же артельщики объясняли себе его поспешный уход в одиночку — туда, где никто не сидел и куда сносило от костра засоренный хлопьями въедливый дым. Артельщики, укладываясь в палатках, завидовали товарищу; потом, узнав о том, что с ним произошло, молча поднимали брови и шевелили бородами. Кто знает, счастье или несчастье случилось с человеком за горизонтом общей и обыкновенной жизни, за пределом судьбы?

Молодой Крылов в положенную пору, как и всякий рифейский человек, побегал по горам. Он узнал, каково ходить под рюкзаком, что тяжелеет с каждым километром и все больше пахнет брезентом и потом, точно тащишь на спине еще одно собственное тело; узнал, каково с помощью прадедовых клиньев и кувалды бить шурфы, а потом шинковать на солнышке холодные глыбы, высекая резкие звезды каменной крошки.

Узнал молодой Крылов и небольшую удачу: дома у него образовался стандартный набор завернутых в газеты образцов, кое-что удавалось продавать. Была одна хорошая ходка на старые отвалы изумрудного рудника, купленные целиком какой-то российско-японской фирмой и лениво охраняемые толстыми качками в напоминающем паззлы декоративном камуфляже. Пока спортсмены, желая оттянуться на пикнике, разводили изрядный костер, пыльным дымом уходящий в небеса, хитники спокойно просачивались внутрь. Лазать по голым искусственным склонам, лишь кое-где подернутым сеткой бурьяна, следовало все-таки осторожно: человек просматривался безо всякого бинокля. Кучи угловатого камня, десятилетиями поставленные на тормоза, туго скрежетали под ногой, но всякий шаткий кусок мог оказаться педалью, спускающей осыпь. Тем не менее дело стоило риска: плохо разобранная порода содержала не только трещиноватые бериллы, назначенные русско-японцами для технических нужд, но и кристаллы вполне ювелирного качества. Крылову посчастливилось раскопать целых восемь вмурованных в породу шестигранных бутылочек, в чьей перебеленной зелени он с волнением разглядел живые зоны п р о з р а ч н о с т и; впечатление было настолько сильным, что, даже убегая от рейнджеров по гулкому сосняку, гудевшему от воплей и выстрелов, как потревоженный палкой железный забор, Крылов продолжал ощущать бла-

гоговение перед просветленным веществом. Денег от продажи добычи хватило, чтобы оплатить первый год учебы в университете и купить для матери, страдавшей белыми тяжелыми отеками, путевку в санаторий. Все-таки Крылова не оставляло чувство, будто он расстался со своей находкой неприлично поспешно, будто чего-то недоразглядел или недоделал; ощущение было правильным и впоследствии полностью подтвердилось.

Понадобилось не очень много времени, чтобы до Крылова дошло: фарт его довольно слабый, ниже среднего, и промысел хоть и не отторгает его окончательно, но никогда не будет кормить. Не то чтобы горные духи совсем не общались с Крыловым: ему, как и многим, приходилось видеть слабые феномены в кострах, когда огонь, раскрошив, как вафли, пышущие хрупкие уголья, вдруг словно привставал на цыпочки и принимался танцевать, превращая лица артельщиков в дрожащее кино. Потом в поседевшем костровище обнаруживались характерные «синяки»: плотные пятна темно-лилового цвета, по которым знающие люди отыскивали в радиусе двух десятков метров золотой песок. Наблюдал Крылов однажды и летающую тарелку — в сущности, не такую уж редкость: эллипсоидная штука буквально проскакала по ночному небу, затянутому тонкой рябью мыльных облаков, как скачет плоская галька по поверхности воды, а потом завалилась за высоковольтную вышку, утонувшую в ее свечении, будто ложка в сметане. Но даже независимо от поведения духов Крылов ощущал себя в компании хитников своим человеком.

Он по-мальчишески — хотя был уже студентом и носил колючие усы — привязался к этим незлым, но жестким сталкерам, сохранявшим в своем коллективном подсознательном представлении, что самоцвет дается только человеку, имеющему совесть. Скрытные, легкие на подъем, выделяющиеся в повседневности только особым, с копотью, цветом загара да белизною челюстей на месте

сбритого летнего волоса, что придавало мордам нечто человекообразно-обезьянье, хитники умудрялись существовать независимо от властей и братков. Власти, занятые большими числами, кое-как терпели мелкое зло и даже позволяли скромной коммерческой структуре устраивать в окраинном ДК ежемесячные ярмарки минералов — чьи истинные обороты могли бы сильно удивить налоговые службы. В свою очередь братки все-таки чуяли, что где-то в лесу лежат зарытые реальные деньги. Это, конечно, напрягало братков, с боями поделивших территории до последнего ларька и вдруг обнаруживших вокруг себя раздражительно недоступную терра инкогнита. Но даже они осознавали — одинаковыми головами, тугими и крепкими, будто боксерские перчатки, — что, сколько бы они ни десантировались на природу, пугавшую их своей холодной одинаковостью на все четыре стороны, самоцвета им не добыть. Несколько попыток поставить бизнес под контроль закончились крахом: хитники не вписывались ни в одну из понятных браткам вымогательских систем, а самого рьяного любителя покрывать, свирепого бригадира по кличке Колесо, однажды обнаружили под приметной сосной, похожей на вешалку с мокрыми ушанками, у самого съезда с Северного тракта — без всяких признаков насилия, но при этом и без признаков жизни, с маленьким сердцем под неповрежденными ребрами, которое при вскрытии оказалось буквально разорванным пополам вроде абрикоса. Виновных, разумеется, так и не нашли.

Крылов тянулся к хитникам, понимая, что свободное пространство между жерновами, молотыми электорат в бесконечную текучую муку, приходится отстаивать не только экономической конспирацией, но и длительным духовным усилием: постоянным закачиванием энергии во внутреннее общее пространство, персональными взносами в корпоративный моральный капитал. Присоединяясь к сталкерам, Крылов впервые в жизни чувствовал, что

приходит на что-то готовое — туда, где поначалу можно просто б ы т ь, не беря на себя ответственности за внешние границы этого мужского строгого мирка. В то же время Крылов наблюдал между хитниками существенные различия. Кто-то ради единой находки перерабатывал полную меру камня и грунта и вечером видел под веками бесконечные взмахи лопаты, спускающей веером темные комья; другой же мог пройти по каторжному рву, оставленному первым, и, просто пнув оцарапанный булыжник, подающий ему таинственные знаки, обнаружить в нем кристалл отличной чистоты.

Такая разница не была случайной; среди хитников существовали избранные — не способные, однако, кардинально обогатиться. Вероятно, они общались с миром по тому же принципу равновесия, что открылся Крылову в подростковом возрасте: их никто не обидел настолько, чтобы они могли получить компенсацию и сменить тяжелый промысел на более красивый образ жизни. С некоторыми Крылова познакомил. Тут был старый Серега Гаганов, авантюрист и скаут-мастер, суровый воспитатель половозрелых троечников с заскоками, что набивались в Серегины летние лагеря и западали на его сегментированную мускулатуру, из-за которой длиннорукий Серега напоминал большое насекомое вроде богомола. Тут был приятель Гаганова Владимир Меньшиков — не только удачливый хитник, но и автор десятка разнообразных книжек, от истории кладов до приключенческих романов. Татарин Фарид Хабибуллин, едва ли не единственный из «стариков» профессиональный горный инженер, выглядел наиболее оппозиционно: в городе всегда носил морщинистую черную косяху и походяие на крабовые клешни ковбойские сапоги, длинные волосы, пробитые свинцовой сединой, собирал в непрочесанный хвост. Тайной Хабибуллина была доброта. В высшей степени наделенный талантом удачного пинка по булыжнику, он, бывало, быстрым скосом желтого глаза показывал молодому,

куда ему следует ткнуться, а сам отходил с равнодушием, выписывая кривыми ногами замысловатые фигуры, точно ехал по каменной осыпи на невидимом велосипеде. В молодости прошедший выучку в каких-то очень специальных войсках, Хабибуллин был среди резкой хиты едва ли не единственным, решительно не способным ударить человека по лицу. В противоположность татарину счастливчик и красавчик Рома Гусев, тяжеловатый, крупно слепленный мужчина с могучими рыжими кудрями, плотностью напоминающими губку, дрался едва ли не каждую неделю. Будучи абсолютно трезвым, вообще не жалуя бутылку, Рома, припозднившийся на службе, мог пойти дворами и нарваться на группу запойных пугал, контролирующих драный кустарник. Буквально через полчаса участники конфликта лезли, напоминая мордами палитры живописцев, в прибывший по сигналу местных жителей милицейский коробок, и Рома — что загадочно, не менее пьяный, чем прочая компания, — отправлялся туда же, ворча и облизывая сбитые кулачищи на манер большого рыжего кота.

Были, кроме поименованных, и другие — основные, уважаемые, встречаемые хитниками с принятым здесь свободным запанибратством, а все-таки и с оттенком нежного почтения. Крылов, конечно, понимал, что никогда не станет таким, как эти люди, что место его в хите — пожизненно третьестепенное. В то же время что-то подсказывало Крылову: он на самом деле попал туда, куда надо, он очень важен для сообщества, просто не знает пока, в чем эта важность состоит.

* * *

Загадка разрешилась, когда в жизни Крылова обозначился и занял место профессор Анфилогов. Крылов поступил на исторический факультет в память о том крае-

ведческом музее, что сгнил в распаренных подвалах городской администрации, и кости мамонта снова распались, точно и не было никакого восстановления на металлическом каркасе в купольной зале; теперь костяные крашенные бревна, пребывавшие в новой неизвестности, имели гораздо меньше отношения к мертвому великану, чем когда они лежали, замытые, в плотном и тусклом доисторическом песке. На этом примере Крылов увидел, что произошла необратимая порча истории; он догадывался, что такое происходит довольно часто. Крылов имел уже опыт разысканий в жировых отложениях засалившейся речки, которую горожане, бросавшие туда предмети, воспринимали, несмотря на малость и узость облепившейся Леты, как область небытия. В мыслях он видел себя новым Индианой Джонсом, проникающим в аппендиксы пространства и времени, какими представлялись ему, к примеру, горнозаводские подземелья или пыльные и чуть мерцающие старые чердаки. Вдохновленный примером Меньшикова, раскопавшего подле одного совхозного коровника черное серебряное блюдо и несколько редких, петровской чеканки, медных монет, похожих на обломанные с конвертов почтовые сургучи, Крылов копил на хороший металлоискатель.

Профессор Анфилогов читал начинающим гуманитариям длинный и занудный историко-философский курс. Обыкновенно университетское начальство, следуя административному инстинкту, благоволило занудам, но Анфилогова просто ненавидело, а отчего не вышибало, непонятно. Сдать Анфилогову экзамен было возможно только при условии знания лекций, никак не заменяемых библиотекой и представлявших собой концентрированный коктейль из источников, чей рецепт словно бы содержал особый фирменный секрет. Факультетские эфемериды, бледные нежные прогульщики, на которых скука анфилоговских лекций действовала наподобие хлороформа, накануне зимней сессии восполняли свое отсут-

ствие сложнейшей мимикрией, но практически все погибали в ледяной экзаменационной комнате, где профессор сидел в угловато накинутом пальто, цокая белыми ногтями по столу. Анфилогов был высокомерен, почти не глядел на собеседника. Казалось, что в сознание профессора встроен специальный таймер, отмеряющий точное время всякого общения независимо от желания оппонента; как только устройство срабатывало, Анфилогов прерывал чужую речь, вскидывая ладонь с каллиграфической, чем-то донельзя оскорбительной латынью. Сам он в свою очередь идеально укладывался в академический час: стоило ему сцарапать с кафедры испещренные листки, как в коридоре тут же дергал электрический звонок.

В сущности, профессор провоцировал окружающих доискиваться основы такого чувства собственного достоинства, которое кололо каждого в незащищенное болезненное место. Иные робкие склонны были приписывать профессору тайные заслуги вплоть до иностранных орденов, другие не менее трусливо объявляли Анфилогова полным ничтожеством. Что касается первокурсника Крылова, то он увидел натуру профессора как **п р о з р а ч н о с т ь** высочайшего качества: абсолютно твердую пустоту, внутри которой нет ничего распознаваемого обиженными людьми, но сама она существует в кристаллизованном виде и достигает максимальной цены за карат. Втайне Крылов восхищался Анфилоговым: его гротескными чертами, его породистым профилем — всем странным анфилоговским обличем, в образовании которого, казалось, участвует воображение наблюдателя; при этом было совершенно понятно, что ни в каком наблюдателе профессор не нуждается — и меньше всего в первокурснике Крылове. Наоборот, окружающие недоброжелатели нуждались в профессоре — хотя объяснить, в чем состояла эта нужда, было почти невозможно, разве уподобить Анфилогова фигуре, какая возникает при

гадании на воске или на кофейной гуще и о чем-то сообщает или свидетельствует. Было поэтому грустно думать об исчезающих поколениях студенческих конспектов — многотомного рукописного издания трудов Анфилогова, где пропадали, быть может, оригинальные мысли профессора, которые он не желал разжевывать для умеренно заполненных аудиторий, лунных скучающих лиц.

Разумеется, Анфилогов, читая лекцию потопку, не замечал первокурсника Крылова, предпочитавшего по школьной памяти располагаться на галерке. Не заметил он его и на экзамене, брезгливо дернув щекой и нацарапав в новенькой зачетке «удовлетворительно». Однако весной в квартире у Фарида, куда перед отправкой на север подтаскивали снаряжение и куда наутро должен был подойти линиялый газик от дружественных топографов, Анфилогов немедленно выцепил взглядом своего студента в тесноте шестиметровой кухни, где курящие стояли, будто в лифте. «Василий Петрович», — наново представился профессор, двинув в сторону Крылова узкую ладонь; пожимая ее, Крылов ощутил костистую силу и шершавые орехи мозолей. Сказать по правде, он не ожидал увидеть у Фарида такого ладного и ловкого Анфилогова, одетого в застиранную, словно обметанную ватой клетчатую рубашу и защитные штаны, стянутые залоснившимся ремнем; еще меньше он ожидал, что профессор окажется тем самым Василием Петровичем (для элиты — просто Петровичем), про которого говорили, будто он и с Каменной Девкой общается по-деловому, вовсе не поддаваясь ее нечеловеческому обаянию, потому что ничьему обаянию не поддается вообще. Еще утверждали, будто денег у Василия Петровича побольше, чем у иного оптовика, перегоняющего в Израиль для огранки полученное от хиты рифейское сырье.

По всему, Анфилогов тоже собирался в поле; его серьезный станковый рюкзак, помещавшийся сбоку от экс-

педиционной поклажи, завалившей темноватый беззеркальный коридор, представлял собой идеал рюкзака. Немного погодя профессор обратился к Фариду, указав секундным взглядом на смущенного Крылова:

— Этот едет?

— Нет, помогает, — уклончиво ответил Фарид, мешая в фиолетовой кастрюле толстый слой запузырившихсяпельменей.

— И как он? — спустя небольшое время продолжил расспрашивать Анфилогов.

— Вполне, — Фарид был, как всегда, немногословен, и, как всегда, интонация его чуть-чуть противоречила смыслу.

— Понятно, — профессор, чего никогда не делал в университете, затянулся извлеченной из нагрудного кармана дамской сигареткой. — Зарабатывает?

— Так...

Фарид уже вычерпывал кушанье на подставляемые со всех сторон трещиноватые тарелки, курильщики, разгоня разбавленные форточным холодом табачные слои, потянулись в комнату. Крылов решительно не понимал, чем был вызван внезапный интерес Василия Петровича к его персоне. Быстро прикончив обжигающую порцию на дальнем краешке стола, ломившегося не от блюд, а от множества облокотившегося, налегшего, шумного народу, Крылов, как скромный гость, отошел к Фаридовым коллекционным стеллажам и там в который раз подпал под очарование спящего вещества, футуристической архитектуры друз, еле впускавших в себя глухой, недостаточный для комнаты электрический свет. Пока он так стоял, Анфилогов на минуту, совершенно молча, возник за его спиной, появился в стекле, словно заключенная в нем голограмма, с волнистым лоснящимся носом и отчетливой рубашечной клеткой; Крылову показалось, что вот сейчас профессор сзади тронет его за плечо, но тот, отстранившись, исчез.

После Крылов убедился, что любопытство к нему Василия Петровича не было чем-то исключительным. Анфилогов любил и умел организовывать людей, подбирая их себе там, где находил, по каким-то совершенно несомненным для профессора признакам. Вокруг него образовалась группа, структурированная совсем иначе, нежели хита. Профессор многих свел, но при этом отнюдь не подружил: знакомя людей, он становился не мостиком между ними, но непроницаемым препятствием. Было немислимо вообразить, чтобы кто-то из его подопечных, сойдясь, вытеснил профессора из нового и общего пространства; всем подсознательно виделось, что, прежде чем понять друг друга, следует разгадать Анфилогова, но именно это было невозможно.

Система, созданная профессором, основывалась на принципе холдинга — Анфилогов умел привлечь и выделить лидера, через него управляя другими, даже и лично ему не известными, — плюс на художественной конспирации, в которой профессор имел природные способности, подобные, по-видимому, способностям математическим и отчасти музыкальным. Можно было годами посещать Анфилогова по делу и принимать своих же партнеров, регулярно встречая их в подъезде, за соседней профессора по лестничной клетке. При этом псевдожильцы выглядели как-то убедительнее, чем обитатели подлинные — стертые статисты в том узнаваемом роде одежды, на которой буквально написано, что ее лет двадцать производят в неизменном виде одни и те же фабрики. Этот любопытный контраст, если кто-то его замечал, давал представление о внутреннем складе Анфилогова, стремившегося управлять реальностью, отчасти подменяя ее чем-то мнимым, а то и фантастическим. Система, организованная профессором, эффективно работала на бизнес, но не только. Этот таинственный люфт волновал

и притягивал молодого Крылова; ему казалось, будто человек, в своем естественном виде радикально отличавшийся от себя же в университете, не только профессор Василий Петрович Анфилов, но и кто-то еще.

Выполняя поручения курьерского характера (передавая иностранной старушке, похожей на пиратского попугая, почти совсем пустые конверты, содержавшие в нижнем углу какие-то мелкие предметики, коловшиеся сквозь бумагу, будто канцелярские кнопки), молодой Крылов сделался вхож в профессорскую квартиру; ее единственная комната, где профессор, аристократически не признавая сидения на кухне, принимал ученика, пропорциями напоминала строительный вагончик, отчего казалось, будто остальное помещение замуровано томами. Уровень этой недвижимости явно не соответствовал финансовым возможностям Анфилова. Слухи, разумеется, ничего не значили, но Крылов своими глазами видел у профессора бумажник, в котором долларов было столько, что это в первый момент напоминало толстенную книгу. Нетрудно было сделать вывод, что Анфилов откладывает жизнь по накопленным средствам на какое-то иное, скорее всего, зарубежное будущее.

Между тем прошлое профессора, воплощенное в побитой, похожей на беременную таксу панцирной койке, в стариковской посуде с серыми ободками на месте бывшей позолоты, в результате экономии хозяина все больше укреплялось. Казалось, инвалидные чашки и тарелки, пережившие свои сервизы, уже никогда не разобьются, никогда не потеряется и не будет истрачена мелкая монетка, окаменевшая на книжной полке наподобие трилобита. Что-то подсказывало молодому Крылову, что прошлое не теряет времени и скоро никакие денежные рычаги не выбросят Анфилова в светлое будущее.

Общение проходило не то чтобы в душевной, но вполне человеческой обстановке. Профессор угощал уче-

ника крепчайшим чаем смолистого цвета, который, остывая, тут же начинал горчить. Сам хозяин высыпал в свою полуведерную чашку четыре ложки сахара, но не размешивал, а только вкруговую покачивал питье и схлебывал его слоями, добираясь до полужидкой сладости на дне; попробовав сделать так же, Крылов обнаружил, что донная микстура напоминает по вкусу свежую кровь. Постепенно он рассказал Анфилогову про детское свое увлечение знаменитыми алмазами, про волшебные кристаллы в музее. Профессор слушал внимательно, глядя, однако, мимо Крылова, как если бы вместо гостя в комнате звучало радио. Ответно (по прошествии нескольких месяцев) профессор показал Крылову свою легендарную коллекцию, хранившуюся не на стеллажах, как у Фариды, а в разношенных тяжестями картонных коробках из-под бананов и сигарет.

Едва увидев первые образцы (у коробки, вытянутой из-под койки, целиком оторвался разлохмаченный бок), Крылов сообразил, что перед ним нечто специфическое. К тому моменту он уже знал достаточно о законах формирования кристаллов, об их подобии живой природе, заключавшемся в питании и росте. Коллекция Анфилогова представляла собой кунсткамеру — собрание уродцев с измененным габитусом. Тут были продукты всех неблагоприятных условий и калечащих событий в жизни кристаллов. Адская теснота подземных полостей, пиритовые присыпки и другие паразиты, удушающие материнский кристалл и провоцирующие многоглавый рост, сверхнеподвижность питательной среды, где получают «голодные», похожие на рыбы остовы скелетные формы, — все это произвело на свет увесистые нетки, которым лишь любовное знание специалиста могло служить разъясняющим зеркалом. Одна за другой перед Крыловым представляли гротескные друзы, где была видна навеки застывшая мучительная борьба кристаллов-зародышей, геометрическая трагедия в молочной мути хрусталя; хищные крис-

таллы с жертвой внутри — замещенным кристаллом-фантомом, оставшимся только в виде голограммы, призрачного клина; кристаллы с переломами в разных стадиях регенерации, похожие то на распухшие суставы, то на вязко склеенные леденцы. Перед Крыловым явилось окаменевшее кино, показывающее борьбу ориентированного поля кристалла, его невообразимо медленного, совершаемого в собственном времени ракетного запуска в пространство — и хаоса горизонтальных событий, простого времени, раскрошенного на небольшие грубые куски.

Нетрудно было понять, что кунсткамера Анфилогова стоит немалых денег. Столь выразительные редкости весьма ценились коллекционерами, так что под профессорской койкой пылилось в соседстве бархатно гниющих яблочных огрызков целое состояние. По характеру коллекции профессора можно было заподозрить в психическом сдвиге, геммологическом варианте садизма; однако Крылову он представлялся скорее чем-то вроде медика, собирающего случаи патологии, имея в виду идеал здоровья: безупречный, энергетически оптимальный кристаллический индивид. В борьбе между порядком и хаосом Анфилогов явно был на стороне порядка. Между тем в его уродцах, хранимых глубокими ячейками и нежными гнездами папиросной бумаги, было и нечто невыразимо трогательное: их небольшие зоны прозрачности, словно оттаянные теплым дыханием из трещиноватого льда, выглядели в коренастых, сиамских, дистрофических телах будто их удивительные души. О душах Крылов как-то сумел высказать профессору. Анфилогов посмотрел на своего студента с отстраненным удивлением, и некоторое время брови его гуляли по лбу совершенно свободно.

— Покажите руки, — вдруг потребовал он экзаменационным голосом.

Крылов машинально, тем ритуальным жестом, которым недоросль показывает родителям или дежурному по

классу, что руки чистые, протянул профессору не очень чистые ладони, на которых линии судьбы напоминали жильчатым рисунком крылья бабочки-капустницы. Анфилогов посмотрел и зачем-то даже помял, нащупав в правой кисти самую тугую и болезненную жилку.

— Очень хорошо, — сказал он наконец. — То-то я смотрю... Ну ладно. Юноше пора заняться делом. Послезавтра у нас небольшая экскурсия. Надеюсь, вы понимаете, что я беру с вас подписку о неразглашении. Посмотрим, выйдет ли толк, — после чего профессор еще какое-то время выбивал на разных плоскостях ритмичные шифровки и коварно посмеивался.

* * *

Экскурсия состоялась через неделю. Анфилогов привел Крылова, от волнения нацепившего свой первый в жизни стодолларовый галстук, в земляной квадратный дворик, замкнутый сырыми домами позапрошлого века, чьи некогда нарядные бадконы напоминали теперь стариковские вставные челюсти. Перед парадными располагались не крылечки, а обшитые драными досками углубления, похожие на детские песочницы. В подъезде, куда Анфилогов любезно направил экскурсанта, остатки мраморных ступеней, протертых чуть ли не до дыр, вели на этажи, а рядом стояла железная дверь в полуподвал, снабженная обычным квартирным звонком. Нажав на кнопку, профессор насмешливо оглянулся на Крылова, уже извозившего в желтой известке строгий пиджачный рукав.

Им открыл упругий, итальянского типа толстячок, на макушке которого светилась, как луна в кудрявом облачке, нежная лысинка; никто из знавших впоследствии хозяина душных секунд не опознал бы в этом свежем человечке своего унылого знакомого.

— Налоговая? — толстячок веселым взглядом мазнул по смущенному Крылову, на что профессор комически развел руками и сокрушенно вздохнул. — Шутка! — зарорал толстячок и сам, не дожидаясь никого, расхохотался, потряхивая грушевидным животиком.

Очень споро заперев за вошедшими комбинацию замков, толстячок вприпрыжку ссыпался по узенькой железной лестнице; уже совсем внизу Крылов услышал пересыпанные легким треском зудящие и грызущие звуки — звуки обработки камня, — которые впоследствии, едва возникнув, будут исчезать из профессионального слуха, превращаться в особую плотную тишину, почти не пропускающую слов. Тут же он почувствовал на губах неприятную вибрацию, как бы тонкую и жесткую звуковую пыль, и нервно облизнулся.

Помещение, куда Крылова привели, похлопывая по плечу, было, как он сразу догадался, частной камнерезной мастерской. До того он камнерезки не видел, и ему показались в диковину станочки, похожие на ножные швейные машинки, на которых два работника с одинаковыми оттопыренными ушами резали расчерченные сложными линиями куски малахита. Рядом вращались, смачиваясь в железной ванне, обдирочные колеса, крепко прикладываемые к ним заготовки шипели, будто угольки. В помещении было тепло и сыровато, словно в остывающей бане, мастера сидели в пропотевших майках и брезентовых фартуках, их копченые мокрые шеи напрягались, когда к заготовке прилагалось усилие человека и станка. Крылов среди этой обстановки выглядел будто нарядившийся выпускник. Почему-то он думал, собираясь идти с Анфиловым, что его ведут поближе познакомиться с иностранной старухой, что будет какое-то светское место, пышный кофе с корицей, целованье шишковатой старушечьей лапки, конспиративный разговор.

Следующее помещение разительно отличалось от предыдущего. Здесь было относительно чисто. Перед масте-

рами, сидевшими в белых, достаточно свежих халатах, располагалось оборудование, напоминающее гибрид допотопного проигрывателя и школьного микроскопа. Вращались, вальсируя проплешинами, поношенные диски, прижимаемые к ним вручную ограниченные головки извлекали шипящую, странно гипнотическую музыку. Вокруг «проигрывателей» лежало и стояло много мелких любопытных штучек; заглянув через ближайшее плечо, Крылов увидел в коробке два полуограненных, по-кошачьи ленивых золотистых берилла. Ему немедленно сделалось понятно, что это были за «кнопки» в анфилоговских конвертах.

Между тем Анфилогов, беззвучно растягивая губы, заклеенные, будто эластичным скотчем, непроницаемым гудением, что-то говорил и подталкивал Крылова в боковую дверь. Там обнаружилась курилка плюс небольшое, крайне неопрятное чайно-кофейное хозяйство. Двое гранильщиков сосредоточились в углу над тремя как бы противоборствующими бутылками пива, тогда как множество других бутылок, подобно срубленным шахматным фигурам, стояло на полу. Они одновременно посмотрели на вошедших розовыми мокрыми глазами, потом переглянулись и дисциплинированно двинулись вон, из чего Крылов заключил, что разговор между партнерами предстоит финансовый. Сам он, оставшись, ощутил себя лишним и, чтобы не маячить, потихонечку влез за качнувшийся стол, на котором стояла неоконченная пивная партия и обросшая мшистым сигаретным пеплом банка из-под шпрот.

Досада боролась в Крылове с предвкушением перемен. Он уже не жалел о несостоявшемся светском мероприятии: в нем дозревало предчувствие, что случай изменить свое обидное положение молодой бездарности предоставляется здесь и сейчас. Поэтому он терпеливо сидел, поджимая пальцы в неуместной праздничной обуви, стараясь не повалить ногами пустые бутылки. Тем временем партнеры и правда занимались финансами, то и дело по-

казывая друг другу свои калькуляторы, на которых, по-видимому, выходили разные цифры; при этом Анфилогов становился все веселее, толстячок же, напротив, омрачался и не попадал курчавым указательным в мелкие кнопки. Это, впрочем, вовсе не значило, что дела толстяка оказались хуже, чем он думал полчаса назад: Крылову было уже известно, что магниевая веселость Анфилогова сама по себе заставляет окружающих как-то скучнеть, а нервная женщина может даже заплакать. Наконец они закончили подсчитывать; от Анфилогова к партнеру, миновав стол и видимость, перешли какие-то деньги. Далее толстяк, имея важный вид леща, у которого из губы только что выдрали крючок, оборотился всем коротким телом к молодому гостю.

— Значит, не налоговая. Значит, Ванька Жуков, — произнес он обиженно, глядя на крыловский переливчатый галстук. — Да с чего ты взял, что у юного друга способности?

— Чувствует камень, — коротко ответил профессор, сцарапывая с дамской сигаретной пачки нежный целлофан.

— Хоть что-то умеет?

— Ровно ничего, — Анфилогов был невозмутим.

— Ну, замечательно! — воскликнул толстячок. — Тут у меня не училище! У меня работают люди со специальным образованием! С огромным опытом!

— Одни старики, — заметил Анфилогов, играя бровями. — Кроме того, алкоголики, — он выразительно глянул под стол, где тотчас случился громкий стеклянный обвал.

— Ну ладно, ну ладно, — толстяк завертелся, избегая хлынувшего под ноги стекла. — Упражняться будет на твоём сыре!

— А у тебя имеется другое? — вкрадчиво спросил Анфилогов, деликатно капнув пеплом, точно птичка светленьким пометом, в замшелую жестянку.

Тут толстячок на минуту вытаращился, образовалась пауза, и в ней Крылов ощутил, что волнуется и что совершенно зря надел сегодня шерстяной костюм, под которым ползли, щекоча его худые ребра, теплые капли. Все-таки и здесь, за плотными дверьми, сильные шумы производства запечатывали слух, и спорящие, буквально глядя друг другу в рот, звучали словно с изнанки, каждый в своем воздушном пузыре. Некоторое время до Крылова доносилось: «Абразив нынче дорог!..», «Договор аренды...», «Ты мне не ставил таких условий...»

Внезапно снаружи выключился, тем обнаружив себя, какой-то механический надсадный ультразвук. В наступившей ясности обиженный толстяк захлопал по своим бумагам, отрясая с ладоней прилипшие листы, а тихо лучившийся профессор внятно откашлялся.

— Ладно, ну ладно, уговорили, — плачуще произнес хозяин камнерезки, растирая кругами левую грудь. — Только пусть он упражняется без зарплаты, зарплаты я ему четыре месяца не дам.

Это Крылову не понравилось совсем, но он сказал себе: «Посмотрим».

Вздыхая маленьким ртом, хозяин камнерезки дотянулся до звонка на захватанной стене, и где-то в помещениях забила словно бы пожарная тревога. Тотчас шамкнула пухлая дверь, впустив сердитый звук, как будто мимо пронесся мотоцикл, а также одного из пивших пиво мастеров — косоплечевого, мощными, как бы нефтяными пятнами пропотевшего мужика, с большим лицом, похожим на седло.

— Заходи, заходи, Леонидыч, — с нехорошей радостью приветствовал его хозяин камнерезки, развалившись на стуле и выпустив брюшко. — Раз уж ты зашел, то вот тебе и ученик.

Крылов приподнялся на полусогнутых, изобразив полупоклон.

— Зачем? Мне не надо, — неожиданным тенором произнес Леонидыч, даже не взглянув на предложенного

Крылова. Вместо этого он смотрел на пивные бутылки, попеременно на свою и на чужую.

— Придется, Леонидыч, придется, — иезуитски-ласково отозвался толстячок, почесывая на рубашке вздыбленные пуговицы. — Инвестор распорядился, куда ж нам, убогим, деваться.

— Да уж, Леонидыч, пожалуйста, — мягко вмешался профессор. — Молодой человек со способностями, сами потом благодарить будете.

— И так премного благодарны, — пробурчал камнерез и глянул исподлобья на ослабленного Крылова. — Ну, пойдём, извозим твой костюмчик, чтобы больше ты его не надевал.

* * *

Ученье Крылова шло и дольше, и труднее, чем предполагал профессор. После лекций — а иногда и вместо них — он упрямо и бесплатно топал в мастерскую; по вечерам голова, впитавшая уже не воспринимаемые ухом обдирающие, шлифовальные и прочие шумы, была дурная, как при сильном гриппе. Всех раздражало, что Крылов такой молодой, а разговаривает громко, будто он оглох. Сильно сдавшая мать обижалась на сына за крик; поняв, что криминального авторитета из Крылова не вышло, она теперь выговаривала ему за все гораздо свободней. Крылов, на удивление себе, ее жалел. Возвращаясь с работы совершенно разбитой (с тех пор, как мать давным-давно уволилась из музея, Крылов понятия не имел, где она трудится с девяти до пяти, — и не узнал никогда), эта уже почти старуха с трудом вынимала из туфель распухшие ноги, похожие на медвежьи лапы, и долго отдыхала в прихожей на низкой табуретке напротив полувытекшего зеркала.

— Ты орешь на меня, как отец, — упрекала она Крылова. — Ты стал как две капли воды.

Крылов никакого сходства не видел и не хотел. Он отчетливо помнил родителя — и молодым, похожим на отечного херувима, и сорокалетним дядькой с красной лысиной, опущенной серыми бараньими кудерьками, — но ни в одном из возрастов не узнавал себя в этом чужом человеке, которого перерос уже в четвертом классе. Но спорить с матерью считал совершенно бессмысленным.

В мастерской за Крыловым закрепилась нелепая кличка Налоговая. «Налоговая где у нас?» — «Налоговая режет заготовки». Крылов сначала думал, что причиной тому — его невыгодность хозяину, зависящему от профессора и вынужденному заплатить, приняв ученика, какой-то дополнительный «налог». Работники — и впрямь по большей части старики, по крайней мере с точки зрения Крылова, принимавшего их красные морщины за признаки пенсионного возраста, — с удовольствием оттягивались, имея под рукой «представителя» нелюбимых структур: «Налоговая, лети за пивком!» Но скоро Крылов сообразил, что приносит больше пользы, чем вреда: научившись простейшим операциям, он ловко резал размеченное Леонидычем сырье и лучше всех очищал полугограненные камни от наклеечной смолы. Тем не менее толстяк, ежемесячно плативший мастерам по какой-то своей самодельной ведомости, даже на вид фальшивой, как тринадцать рублей одной бумажкой, Крылова упорно обходил.

Не будучи глупым, Крылов понимал, на какую сумму может претендовать; ветеран супермаркета «Восточный», он и за меньшую копейку мог совсем недавно врезать по морде. Однако здесь, в мастерской, он странным образом абсолютно не думал о деньгах. То есть вообще-то Крылов не изменился и был нацелен на прибавление баксов в своем кармане. Однако в мастерской, невооруженным глазом распознаваемой как место хитрое, с двойной и тройной бухгалтерией в круглой хозяйской голове,

Крылов ощущал себя будто в детском кружке «Умелые руки» — а верней, как в первой своей библиотеке, где книжные руины пахли ванилью и под окнами орал, таская похожий на спеленутую елку неопрятный хвост, сварливый павлин. Словно замороженный, странно равнодушный к собственной жизни за пределами полуподвальных стен, Крылов мог провести сколько угодно времени за грубым камнерезным занятием. Когда в бесформенном, с радугами и грязью кварцевом куске он зашлифовывал «окно», его интересовало только то, что он видел внутри: п р о з р а ч н о с т ь в ее естественном состоянии, области просветления высшего вещества. Погружением камня в иммерсионную жидкость достигался эффект поистине поэтический: маслянисто грузнея, исчезая из глаз, кристалл о б н а ж а л с я, как только может обнажиться прозрачная вещь. Происходило то, чего Крылов не мог добиться, мозжа на газетных лохмотьях тетушкину вазу: прозрачность открывалась вовне, покидала пределы своего сосуда — в самом же кристаллическом стакане делались заметны, будто на рентгене, внутренние включения и трещины, иногда напоминавшие хрупких металлических насекомых.

Так Крылов колдовал, ни о чем не заботясь. Вне мастерской ему не нравилось, что его курьерское место при Анфилогове, а стало быть, и легкий заработок достались теперь веснушчатому хитроватому Коляну, прежде ему неизвестному. Однако же беззаботность не совсем оставляла Крылова и по выходе из полуподвала. Поднимаясь во двор (зима стояла волглая, бесснежная), он видел под деревьями зеленую землю — хотя, если поискать на газонах, среди сияющего под солнцем холодного мусора ни единой свежей травинки нельзя было найти на месте миража, — а сами деревья, покрытые какой-то пленочной растительной испариной, стояли малахитовые. Крылов догадывался, что вот такие вещи заменяют человеку деньги, что таких вещей вокруг довольно много. Потому он

не враждовал с Коляном, хотя улыбка нового товарища, сопровождаемая как бы нюханьем нахальных соломенных усишек, казалась ему глумливой.

Почти ежедневное присутствие «налоговой», очевидно, стесняло хозяина камнерезки. Крылов догадывался, что толстяк не очень-то верит в его ученичество и особые таланты, а думает, что Анфилогов посадил ему соглядатая. Крылова остерегались. Поглощенный своими прозрачностями, он чувствовал, что за спиной его происходит гораздо больше, нежели перед глазами, и это было неловко, неприятно — как ходить в костюме, надетом задом наперед. За спиной прошмыгивали смутные личности, обдавая Крылова острыми запахами, которые стремление быть незаметными только усиливало. Должно быть, надень такой деляга шапку-невидимку, он вонял бы, как невидимое мусорное ведро.

Жизнь в мастерской не могла замереть; боковое зрение Крылова все время улавливало какие-то призрачные манипуляции. На самом деле он давно срисовал всех деловых хозяйских знакомцев — тоже толстых или по крайней мере склонных к полноте, представлявших собой словно живой каталог от легкого ожирения (морда как литр молока) до эксперимента природы. Привыкшие являться в мастерскую как к себе домой, эти экземпляры первым делом начинали жизнерадостно орать; несмотря на то, что крика их было почти не слышно — каждое слово тотчас стиралось производственными шумами, — хозяин пугался и виляющим движением, похожим на попытку под одеждой поправить белье, указывал посетителю на затаившуюся «налоговую». Тотчас посетитель прихлопывал свое говорение растопыренными пальцами, над которыми моргали тревожные глаза, и как бы с полным ртом трусил за озабоченным хозяином в укромную курилку.

Та серьезность, с какой толстяк относился к своим секретам, делала его абсолютно управляемым; его попытка

задержать Крылова на бесплатной и черной работе кончилась ничем. Анфилогов пошевелил указательным пальцем, и асимметричный Леонидыч, чьи печальные глаза с оттянутыми книзу уголками отливали нездоровым золотом и кровью, дал Крылову самостоятельно работать с малоценным горным хрусталем.

После ампутации всего ненужного камень становился до смешного мал, заготовки для ступенчатой огранки напоминали у Крылова конфеты-подушечки с начинкой из варенья.

— Не делай большие, делай в аккурат, — обучал Леонидыч и доводил заготовку на грубом абразиве, оставляя одно «варенье». — Не жалея ты лишнего, — советовал он, щурясь на будущее изделие, что светилось против окошка, будто его, окошка, маленькая копия. И, вздохнув, добавлял непонятно: — Вообще ничего не жалея.

Леонидыч был Крылову не друг; по сути, учитель и ученик с трудом принаравливались держаться рядом — оба были слишком угловаты, сталкивались локтями, каждому надо было больше индивидуального пространства, чем любому толстяку. Однако же Крылову нравился мастер — то, например, как тщательно бреется Леонидыч, выглаживая длинные щеки до меловой чистоты. Это было важно в мастерской, где слова понимали больше по губам; в отличие от бородатых и усатых камнерезов, чьи речи шевелились будто пальцы в рукавицах, узкий рот Леонидыча, тоже словно тронутый мелом, двигался совершенно отчетливо, позволяя читать произнесенное с другого конца помещения.

На первых порах смятенный подмастерье, чья неуверенность делала ватными не только руки, но и ноги, отнимавшиеся под столом, совершал все типовые ошибки новичка. Из какой-то болезненной честности перед прозрачным Крылов располагал дефекты прямо под площадкой камня — и Леонидыч только помаргивал, колукая ногтем через полировку серебристую чешуйку. Поторо-

пившись, подмастерье мог обнаружить, что отшлифованный камень весь исцарапан, будто кошачьим когтем, песчинкой грубого абразива. Камни скалывались, трескались при нагревании, криво садились на смолу: казалось, будто руки у Крылова работают где-то очень далеко от головы. Самое же главное — ему никак не давались пропорции бриллианта. Камни его получались тусклые, «спящие», словно свинцовые. Многократно вздыхая, Леонидыч брался за «пуговицу» и уменьшал высоту павильона, легкими прижиганиями о круг доводил фасцеты: возникала вспышка, камень становился лучистый, смеющийся. Крылов, как таблицу умножения, зубрил ограночные углы. Постепенно он научился делать свою работу, у него получалось разве что немного хуже, чем у Леонидыча; анфилоговские представления об его таланте никак не подтверждались.

* * *

Потом, через полгода, Леонидыч погиб, и Крылов получил от мастера странное наследство. Может, получил он его благодаря тому, что все произошло при нем. Леонидыч носил при себе глуповатую вещь — мужскую сумочку пухлого дерматина, всю в золотых сережках от замочков-молний: на нее-то и польстился неизвестный урод, болтавшийся в темном дворе.

В тот вечер мастера основательно посидели за пивом; было примерно начало двенадцатого, когда они, гомоня, вывалились на свежий воздух, пахнувший сиренью. Ранняя ночь начала июля была прозрачная. Она создавалась словно из размываемых темных предметов, из их разреженных пигментов, в то время как светлые вещи были отчетливы, и ясней электрических окон светилось на веревках чистое белье. Во дворе еще звучали детские голоса, пухлый ребенок, свешивая кудри, раскачивался на сонно

поющих качелях, и сам он со своей железной трапецией был настоящий, а перекладины качелей были словно нарисованные. Леонидыч, предпочитавший в подпитии держаться отдельно, как бы в столбняке собственных остановившихся мыслей, топал немного впереди, словно измеряя твердо расставляемыми ногами ширину дорожки, которая, казалось, никуда не вела, а стояла светлыми пятнами в серой траве. Никто не успел заметить, откуда вывалился убийца. Маленький, с каким-то белым хохолком на голове, он на секунду припал к Леонидычу, точно пытался спрятаться за ним от его неспешных товарищей, — и тут же отскочил с перекошенным лицом, словно мастер каким-то ужасным образом обманул доверие прильнувшего к нему человека, сотворил над ним что-то невообразимое, отчего черты незнакомца стали как убитая муха на белой стене. Тотчас маленький бросился прочь, приплясывая на бегу, а Леонидыч медленно повернулся, и колени его подкосились в одну сторону, а сам он осел в другую.

Истерический женский визг раздался с дальнего балкона; мастеров обнесло внезапным ветром, точно хмель, у каждого отдельный, вдруг слился в общую тяжелую волну. Непонятно как Крылов уже стоял над Леонидычем на коленях, беспомощный, с пьяной головой. Леонидыч еще не умер и странно отворачивался от Крылова, улыбаясь тусклыми зубами, из-под ребер его толчками выходила жирная кровь, и майка на животе была как внутренняя плева — органическая, нежно-кровянистая, измятая ударами ножа. Над Леонидычем тихо надувались папиросные пододеяльники; красной рукой Крылов содрал с веревки махровое полотенце. Шершавое, заолодавшее, как наст, полотенце очень скоро сделалось мягким, теплым и таким тяжелым, какой бывает только тряпка, набравшая крови, сколько может удержать; Крылову казалось, что это полотенце весит едва ли не больше самого Леонидыча, что в тряпку перешел телесный вес умирающего масте-

ра, — и так оно и было в действительности. Тут в голове Крылова произошло раздвоение: он держал в руках набрякшую, каплющую, отнятую жизнь Леонидыча, а другой Леонидыч, уже почти отмененный, лежал перед ним с подогнутыми ногами и неестественным лицом, которое словно уменьшалось на глазах в высокой призрачной траве. Крылов ничего не чувствовал, кроме стороннего интереса, будто наблюдал события телевизионного фильма. Он видел в откинутой — короткой — руке Леонидыча рваную петлю от дурацкой похищенной сумки; видел, как желтые радужки его вдруг утратили прозрачность и стали будто засахаренный мед. Через небольшое время во двор прилетели машины с тающими в сумерках холодными мигалками — но ни менты с их служебными рожами, ни врачи, ходившие в белом среди упавшего с веревок угловатого белья, ничего не могли изменить.

После смерти Леонидыча Крылов утвердился в идее, что чувства человека есть плод его воображения. Собственную бесчувственность он объяснял абсолютной реальностью того, что происходило во дворе, — реальностью, не допускавшей никакой отсебятины. Был черный пластиковый спальник, в который застегнули Леонидыча, был темный след от убранного тела, похожий на залитый костер. Чувства — где они? Никаких следов. Теперь Крылову представлялось, что мать, то и дело пускавшаяся в слезы по отцу и по жизни вообще, давно заменила реальность своим переживанием; поэтому едкая слезная влага, всегда имевшаяся у нее в запасе, вызывала у него одну неловкость и желание поскорее отвязаться. Между прочим, выяснилось, что у Леонидыча была семья. Всем казалось, будто он живет бобылем в какой-нибудь холостяцкой берлоге, где входная дверь обита изодранной клеенкой и на ней с обратной стороны висит топор. Но поминали мастера в просторной квартире, уставленной от пола до потолка рядами почтенных, хорошо протертых книг, и в одной из длинных комнат тихо сидели белого-

ловые дети, а у вдовы, плавно носившей из кухни высоко наполненные блюда, почерневшее лицо под траурной косынкой казалось серебряным.

После убийства мастера все вокруг словно отодвинулось, стало отчасти нарисованным: Крылова не оставляло ощущение, будто мир вокруг имеет больше отношения к покойному, чем к нему самому. Одновременно он догадывался, что присутствие при нечаянной смерти каким-то образом его изменило. Что-то перешло от Леонидыча к нему в ту самую минуту, когда Крылов держал на весу, точно новорожденного младенца, его еще живую, жалящую течь и шевелиться, еще не уснувшую кровь. Не сказать, что Леонидыч был особо талантливый мастер, но какая-то его бессмертная частица, содержащая нужные ингредиенты, вдруг соединилась с возможностями, что дремали в подсознании Крылова. Это было как инъекция глубокого спокойствия, блаженной неуязвимости для происходившей вокруг суеты — и, должно быть, широкая ухмылка Крылова настолько не соответствовала криминальному моменту, что прибывший следователь, хмурый мужчина с двумя менявшимися справа налево и слева направо выражениями лица, особенно долго и въедливо составлял на него протокол.

Скоро Крылов сообразил, что до сих пор боролся с хитrostями оборудования, тогда как настоящим прибором является **п р о з р а ч н о с т ь**, преломляющая свет. Ощущение было такое, будто он переложил рычаг оправки из левой руки во всезнающую правую; на четвертый день после похорон Леонидыча он предъявил толстяку свой первый самостоятельный овальный бриллиант, обладавший уже тем характерным, сложным, как рисунок птичьего оперения, оптическим сверканием, по которому впоследствии бриллианты работы Крылова распознавались с первого взгляда и выделялись в каждой партии, отправляемой Анфиловым по тайным и прибыльным путям.

Вдруг Крылов почувствовал себя свободным от ограночных таблиц. Теперь, только подняв кусок сырья к отражателю лампы, он уже понимал его внутреннее устройство, как понимает математик простую теорему; он видел, как располагаются внутри будущие заготовки — будто зерна в неправильном, странном плоде, — и сразу угадывал те повороты, при которых прозрачность наиболее активна. Зональность цвета не составляла для него проблемы — скорее любопытную задачу по сгущению просветленного вещества, так что за спиной Крылова стали говорить, будто мастер красит камни с помощью какой-то специальной обработки. На мелкие дефекты Крылов вообще не обращал внимания — камень сам смаргивал, как глаз, свои соринки, — в крупных же включениях и трещинах видел историю развития кристалла, его особенную нервную и светоносную систему.

Освоив вслед за огранкой искусство резьбы, он никогда не обольщался теми растительными жильчатыми эффектами поделочных камней, которые так нравились старым рифейским мастерам, резавшим листья и ягоды с наивным подражанием лесу и огороду. Беря в работу только прозрачные большие хрустали, он изготавливал коллекцию призраков, многие из которых имели портретное сходство с реальным человеком. Теперь уже дефекты материала выглядели как душевные состояния этих прозрачных существ. Был тут и Анфилогов с облачным пятном во лбу, и несколько гротескных толстяков из числа хозяйских знакомцев, и маленький Леонидыч, похожий на мокрую сосульку. Дополненные белыми чертами гравировки, отшлифованные до матовой влаги внутри хрустала, бюстики напоминали румяные темными румянцами фотографические негативы. Однажды с коллекцией ознакомился очередной приятель хозяина камнерезки, представительный мужчина в шкиперской бороде, лицом напоминавший камбалу в костистых плавниках. Тут же он попытался перема-

нить Крылова в занимавшуюся похоронным бизнесом фирму «Гранит» — соблазняя мастера не только деньгами, но и творческими возможностями, поскольку фирма возводила знаменитые аллеи криминальной славы с памятниками в полированных костюмах и дородными колоннадами среди слюдяных кладбищенских берез. Анфилогов, моментально про это узнав, вызвал ученика на внеочередное чаепитие; внимательно оглядев Крылова через стол, где на этот раз золотились во французской бутылке слоем чуть толще массивного дна остатки дорогого коньяку, профессор предложил воспитаннику долю — процент от всякого камня, который Крылов сработает из анфилоговского личного сырья.

По самым скромным подсчетам, то были неплохие деньги. На удивление Крылов не ощутил от цифры и половины радости, какую испытывал прежде, заработав малую долю того, что теперь ежемесячно, по словам профессора, будет плыть ему в карман. Отсутствие радости было звонком, заставившим Крылова хорошенько посмотреть на себя. Очевидно, он перестал быть тем сердитым и злопамятным подростком, что не желал проигрывать окружающей действительности. Сейчас Крылову было двадцать три, и он хотел пожить ни о чем не заботясь. Он не испытывал по поводу денег никакого энтузиазма. Очевидно, он повзрослел — и повзрослел неправильно, не так, как требовала жизнь. Впрочем, он вежливо поблагодарил Анфилогова и пожал протянутую через стол аристократическую руку — вторично за время их знакомства.

— После диплома куда намерены трудоустроиться? — поинтересовался профессор, наклоняя к бокалу гостя горлышко бутылки. Профессор был в простой, как наволочка, поплиновой рубашке с бельевыми пуговками, с волнистыми зачесами в мокрых волосах — домашний и свой человек, и рука его после недавно принятой ванны была теплее и мягче обычного.

— Предлагают часы в техническом колледже, — ответил Крылов, качая, как его учили, озерцо коньяку в замаслившемся выпуклом стекле.

— Подходяще, впрочем, это ничего не значит, — благодушно заметил профессор, разделявая на своей тарелке резиновый ломоть вареной колбасы на мелкую мозаику, переложенную горошком. — Главное, что свободного времени у вас останется достаточно. Вот вы мечтали об археологии, чтобы всякие экспедиции, курганы с золотом, античность... А предстоит учить балбесов, которым не надо ничего и которые ненавидят всякого, кто стоит перед ними у доски. Такова реальность. Но у нас с вами впереди своя наука. Согласитесь, — он нечаянно резанул ножом по тарелке и поднял на Крылова беззащитные глаза, — в жизни только то интересно и выгодно, что человек устраивает сам.

Чувствуя в желудке электрический жар алкоголя, Крылов рассеянно кивнул.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

То, о чем сейчас будет рассказано, произошло через десять лет после описанных выше событий. Профессор Анфилогов, понятное дело, был еще здесь; он не уехал на ПМЖ в какую-нибудь комфортабельную страну — может быть, потому, что еще не собрал достаточно средств, а скорее всего, не желал выходить на пенсию и попадать под управление собственных денег, ожидавших его в стерильном, как клиника, западном банке. Иногда профессору казалось, будто он содержит в Швейцарии близкого родственника, почти что себя самого; пребывая в многолетней летаргии, этот родственник нечеловечески быстро превратился из ребенка (первые четыре тысячи долларов) в грузного старика — каковым стариком профессор себя не признавал и соединяться с деньгами не спешил.

Ему по-прежнему служили все его старые вещи, ставшие незаменимыми. Самое главное, чем за эти годы обзавелся Анфилогов, — это круглый аквариум с простейшими рыбками, иногда, по его невежеству, теребившими друг друга насмерть, дымясь и дергая хвостами среди нежных подводных кустов. В аквариуме профессор хранил наиболее крупные камни, чье светопреломление было близко к показателю воды: исчезая из виду, камни ста-

новились легкой оптической резью на донных голышах, иногда — едва заметной угловатостью некрупных рыжих раковин размером с сосновые шишки. Неприхотливые рыбы привыкли к тому, что в отсутствие свидетелей к ним забирается, вздувая воду, огромный шевелящийся предмет; выудив сырые сокровища, профессорская лапа, облепленная мокрым мехом, оставляла рыбам их стихию осевшей и мутной, будто выкипевший суп, — и только сохранявшееся несколько часов недовольное выражение воды могло бы сообщить потенциальному вору, что аквариум служит хозяину оптическим сейфом.

Возможно, что-то происходило в мире горных духов: вот уже несколько лет они проявляли беспокойство, пугая хитников х о л о д н ы м и кострами, на которых моментально стыла и покрывалась ломким жиром только что кипевшая еда, реже — странным свечением, пробиравшимся из ночных укромных складок местности, будто под землей, как под одеялом, кто-то тайно читал огромную книгу. Лесные старые проселки с колеями как лежбища, в которых спали спинами друг к другу мирные лужи, оказывались перегорожены свежим стволом почему-то сломавшейся осины; бывало, что дерево внезапно падало в нескольких шагах от идущего человека, успевавшего только услышать нарастающий лиственный шум, точно кто выплеснул воду из гигантского ведра.

Вероятно, в поверхностном слое рифейского мира, оскудевшем и грубом, но защищавшем какие-то тонкие сущности, образовались прорехи. Среди хитников забродили будоражащие слухи. Вновь стали оживать легенды о самородном золоте на речке Кылве, богатом сотню лет назад, но исчезнувшем в одночасье, дающем знать о себе лишь желтым металлическим отсветом речной поверхности, которую, точно ногтем шоколадную фольгу, вошил и гладил жесткий ветерок. Опять заговорили о кимберлитовых трубках на севере Рифейского хребта, откуда стали потихоньку просачиваться алмазы, небольшие, но чи-

стотой не ниже VSI: их Крылов узнавал по характерному «кейповому» оттенку, будто в камне растворили немного йода, и по особенному сверканию получавшегося бриллианта, который буквально двоился в глазах от резкой смены световых углов. Предполагали, что Макару Ружь, скромное месторождение рубинов на севере Рифейского хребта, — всего лишь слабое подобие того, что должно находиться южнее, доступнее. Всякому хитнику было известно, что стоимость высококлассного рубина выше стоимости ограненного алмаза того же качества, каратности и чистоты, поэтому последний слух действовал особенно возбуждающе. Даже невозмутимая элита поддавалась распыленной в воздухе бодрящей лихорадке.

Пятидесятилетний Рома Гусев — уже не грозный боец, а сентиментальный дедушка шестимесячного внука, водитель резвой голубой коляски с бубенцами, — первым сделал наблюдение, поразившее многих своей очевидностью. Он заметил, что многие рифейские местности, где ожидаемые по геологическому «адресу» месторождения начисто отсутствовали, стали в последние годы приобретать какую-то видимую достоверность, густоту растительной, животной, рыбной жизни. Впечатление было такое, будто сотни квадратных километров до сих пор существовали в виде копий с нарочито декоративными скалами, сделанными, чтобы обмануть природное чувство красоты, с накопившимися в папоротниках лесными помойками. Теперь же на месте старых вырубок, заросших кривоватой листовенной мелочью, вдруг стали возникать матерые кедровники, чья длинная хвоя тянулась в кулаке, будто роскошная пушнина; высокие лоси с задумчивыми мордами переходили в неположенном месте загруженные тракты. Внезапно куда-то исчезали (возвращаясь, впрочем, через несколько часов) ржавые остовы брошенной техники. На месте их недолгое время держались видения: нетронутые низинки с томной, будто сонным зельем опоненной медуницей, таинственные лесные прогалы, позо-

лоченные болотца, замшелые, похожие цепкими корнями на куриные ноги древесные стволы.

В доказательство того, что феномены действительно существуют, Гусев предъявлял товарищам хорошо просмоленные, безумно пахнувшие жизнью кедровые шишки, взятые якобы на Кылве, там, где были давно сведены изначальные богатые леса и на низком берегу пылили гравийные карьеры, напоминавшие гигантские пепельницы. Шишки были, конечно, не самородки; тем не менее Анфилогов выслушал Гусева очень внимательно. Единственная ошибка Анфилогова заключалась в его самонадеянном отношении к рифейскому миру, понимаемому как подлежащий освоению трудный объект. Красоту профессор воспринимал как сильный посторонний раздражитель, испытание нервов; его умиротворяли п о д д е л к и красоты, которые по большей части обретались в городской искусственной среде. Тем не менее профессор был готов, как всегда, отправиться в экспедицию — туда, где исчезал привычный рифейский логотип и возникали картины, о которых Рома Гусев рассказывал с прежним блеском в шалых разбегающихся глазках, сжимая по старой привычке мягкие комья кулаков.

О первой экспедиции за ювелирными корундами не знал никто, даже Крылову было сказано, будто профессор улетает в Прагу на славянский семинар. Летом 2016 года Анфилогов и безраздельно преданный ему двузильный Колян двигались вверх по берегу порожистой реки, чье название они впоследствии не сообщили никому. Река, вскипая и бухая, разматывалась, будто ткань из угловатого рулона на прилавке магазина; как всякая речка в ее положении, она служила окружающей геологической тверди малым кровеносным сосудом и тащила все те элементы, из которых состояли ее берега. Также дно реки являло породы, из которых складывался длинный глубокий распадок, мрачно заросший синеватыми елями, с редкими лиственными пятнами по впалым склонам, с асимме-

тричным очертанием главной горы, напоминающим нахмуренную бровь. Работа состояла в бесконечной промывке песчаной и каменной каши; вода сжимала резким холодом резиновые сапоги, на шею, на потный припек, садились, преодолев дуновения и брызги, жгучие мошки. Было безлюдно; только однажды, будто съезжая с горы на фанерках, мимо проследовали на своих ныряющих катамаранах сосредоточенные, абсолютно мокрые водники.

Шел одиннадцатый день секретной экспедиции. Простуженный Колян, орудуя широкой алюминиевой миской, накидывал в нее сырое грубое зерно и, напустив воды, раскачивал с мокрым шорохом грузную взвесь, а затем сливал бурчащую жижу в замутившийся поток. В миске ложились полосами черные базальтовые гальки, бурые, с алыми кромками, крошки граната, белые и рыжие кварцевые крупы с блестками слюды. Подняв накомарник, Колян расклеивал добычу и, не находя интересного, вышвыривал вон. В это время Анфилогов разгуливал, согнувшись, по хрустящей галечной отмели, разбирая камни, сверху горячие и синие от яркого неба, а внизу — сырые, с темным кварцевым ледком. Набрав в мешок подходящие (он искал творожистые пятна) образцы, профессор раскалывал их на валуне, упрямо бычившем лоб в белесых звездах от профессорского молотка. Глухое каменное тюканье скакало вертикально вверх и казалось единственным звуком во всей широкой напряженной синеве с подстеленным понизу ветренным шумом воды и еле уловимым гуденьем паутов, прилипчивых и цепких, как живые жгучие репы.

Издали Анфилогов увидал, что Колян внезапно замер над своим промывочным агрегатом, словно вдруг собрался съесть его отцеженное содержимое. А Колян недоверчиво всматривался в крошечный осколок, вдруг сверкнувший из рыхлой гущи треугольным малиновым огнем. Успокаивая себя, что это, наверное, так, показалось, он осторожно выбрал камешек сведенными от холода сизы-

ми пальцами; пальцы у Коляна были грубые, посеченные такими же, как на промывочной миске, мелкими черными трещинами, — но даже они ощущали материальную, колкую твердость находки. Отставив кривую плоску на горбатый камень, который, будто подушку, обнимала, падая на него, полусонная вода, он выпростал из рукава водонепроницаемые командирские часы — и чиркнул. На закаленном стекле образовалась отчетливая белая царапина — и Коляна прошибло странное чувство, будто выше колен он ненастоящий. Дергая заложенным носом, он погреб черпнувшими сапогами в сторону отмели, откуда шел ему навстречу яркий и маленький на резком солнце, словно одетый в серебряные шоколадные бумажки, совершенно спокойный профессор.

— Василий Петрович! Вот! Василий Петрович! — захлебываясь, Колян еще издали показывал Анфилогову выброшенный на кисть слепящий циферблат.

— Ну, что? Вижу, что половина третьего, — холодно произнес профессор, унимая под выгоревшей штормовой стесненное сердце.

— Сейчас, гляди сюда, — Колян, подышав из теплого, глупо усатого рта на сведенную щепоть, чиркнул еще: наискось к побледневшей первой легла другая, свежая черта.

— Ага, — произнес профессор, и это тоже прозвучало довольно глупо.

— Корунд, Василий Петрович, я даже больше скажу — рубин! Ювелирка! — Колян осторожно разжал сырые пальцы, к которым прилипла треугольная яркая крошка. Тотчас порывом ветра крошку слизнуло неизвестно куда, и Колян, хляпнув промокшими сапогами, бросился на гальку, скрежетавшую и рябившую в глазах, будто железная панцирная сетка.

— Хорош валять дурака! — прикрикнул сверху Анфилогов, и Колян, отплеываясь от накомарника, послушно поднялся с четверенок. — Все равно не найдешь, — при-

мирительно произнес профессор. — И не надо. Корундик притащило откуда-то сверху. Мы поднимемся и поглядим.

Красная морда Коляна с разбухшим, точно намыленным носом и жидкостью в растрепанных усишках сияла счастьем. В кармане Анфилогова еще с позавчерашнего дня болтался, мягко стучаясь о ногу, кусок доломита с большим корундовым пятном, похожим на обломанный мел. Профессор не сказал Коляну про свою находку, опасаясь, как всегда, делиться радостью и пряча сердце, которое во все это время отзывалось на тяжесть образца таким же весом и угловатостью, точно камней имелось два, в груди и в кармане штанов.

Всю следующую неделю экспедиция двигалась вверх по уменьшавшейся, быстро спустившей весеннюю воду реке, которая то скапливалась, будто в ложке, в естественной маленькой заводи, то уходила, словно складываясь пополам по сверкающему сгибу, в неглубокую скальную крутизну. На отмелях уже буквально сплошь и рядом попадались белые куски вмещающей породы, покрытые сыпью корундов; из них удалось добыть несколько трещиноватых табличатых кристаллов, ценных только как коллекционные образцы. Однако белые жилы в заветренном граните, то сверкавшие колотым сахаром, то напоминавшие старую разметку на потертом асфальте, оказывались пусты. То и дело напарники, банно-красные от укусов мерцающей мошки, поднимались от реки по склонам, лезли сквозь сплошные, турникетами расставленные ели, чьи засохшие нижние ветви напильниками драли крепкие штаны. Анфилогова интересовали верхние выходы матерого гранита; растеребив каелкой войлочный лишайник, он видел иногда все те же пустые жилы, продолжавшиеся, будто таинственные тропы, с берега на берег и шедшие дальше, в подземную неизвестность. Река продолжала быть источником надежды; там, откуда она текла и куда устремлялась теперь экспедиция, синела не всегда

заметная, но при этом страшно запоминаться складка горизонта, будто там было что-то тесно сдвинуто вместе, поставлено лицом к лицу.

Анфилогов чувствовал, что события, начавшиеся с находки первого корундового пятна, развиваются в определенном ритме, мечта сбывается (при этом в последний, да и в любой момент запросто может не сбыться) по своему естественному графику. Таким образом, Анфилогов был спокоен — хотя и жил каждую минуту с повышенным душевным давлением, уравновешивая этим давление перенасыщенной внешней среды. Колян же отчаянно рвался скорее в речные верховья и всякое занятие норовил бросать на половине; он то и дело, будто в городе на троллейбусной остановке, поглядывал на украшенные памятными царапинами железные часы, чьи показания имели мало отношения к медленному круговороту солнца, неспешному (обрывистый чуть скорее пологого) ходу речных берегов. Анфилогов знал, что торопиться нельзя. Много раз он проживал в воображении такое вот развитие событий, от первой сигнальной находки до богатой, как отгородная грядка, самоцветной жилы, и много раз воображение срывалось с тормозов, предопределяя крушение мечты. Теперь, когда мечта развивалась в режиме реального времени, следовало держать в сознании реальность, и только реальность, ни на шаг не забегая вперед, чтобы ненароком не выпасть. Коляну этого было не объяснить. Он сделался лихорадочный, нервный. От внутренней спешки у него развился зверский аппетит; в свою очередь Анфилогов, внимательно прислушавшись к ритму событий, распорядился экономить продукты, так что теперь на привалах хитники довольствовались жидким варевом из половины сухого супчика или дебелими макаронами с редкими волокнами тушенки. Иногда Коляну удавалось надергать из речки тонких, мотыльками плясавших на леске гольянов; рыбки были настолько малы, что от них в бурля-

шей ухе оставались одни скелетики, похожие на английские булавки.

Область, куда они входили, обладала именно теми свойствами, какие описывал Гусев. Это, с одной стороны, было хорошо, потому что говорило о верности пути; с другой же стороны, бестрепетный Анфилогов чувствовал себя на краю тяжелейшей депрессии. Красота наплывала на него со всех сторон. Анфилогов черпал ее, когда хотел приготовить обед, из улыбавшейся реки; солнечный свет падал на Анфилогова сквозь красоту — сквозь ветви, сквозь какие-то невидимые воздушные сети, — и самое солнце из повседневной, на которую не смотришь, естественной лампочки превращалось в средоточие красоты, в раздражающий нервы лучистый объект. Местность, будто радиацией, была заражена красотой. Здесь, на севере Рифейского хребта, стояли белые ночи: день угасал бесконечно, небо, будто створа раскрытой раковины, волнилось бледным перламутром — а потом наступали призрачные сумерки без теней, красная палатка приобретала необыкновенный, какой-то космический фиолетовый цвет, и спящая река мягко пиналась, будто младенец в пеленке. Несмотря на бесконечную длительность времени, воздуха, пространства, все здесь, на севере, происходило очень быстро. Так же моментально, как спала с реки весенняя вода, в одну прекрасную ночь повсюду вспыхнула жизнь. С вечера заросли едва зацветавшей черемухи уснули, будто накрутив бигуди, — а уже в четыре утра, когда солнце, как ни в чем не бывало, уже лучилось над горизонтом, оба берега тонули в пышной белизне, и по реке в ее ниспадающем ритме плыли полосами одуряющие горькие запахи. Тут же мелколиственные березы, прозрачные, будто стрекозиные крылья, выбросили сережки; по воде заскользили глетаемые перекатами сдобные пятна пыльцы.

Анфилогов чувствовал, что для него все это очень-очень слишком; если бы то, что он видел, было описа-

но в книге, он бы ее отшвырнул и вернулся к повседневности, но в экспедиции было совершенно некуда деваться, и ему, нарастившему на лице надежный невидимый панцирь, поминутно хотелось плакать. Никогда еще Анфилогов не ощущал себя таким беспомощным; то был род виртуальной сенной лихорадки, мучившей его ничуть не меньше, чем развешенные в воздухе тонны мошкар, которыми брызгало, будто из пульверизатора, на горячий человеческий пот. Временами Анфилогову казалось, что он вот-вот умрет перед этой красотой, которая нематериальна и которую тем не менее не сдвинуть с места. Он впервые начал понимать людей, что держатся строго в пределах городского существования, в пределах мира, произошедшего из человеческой головы. Здесь никакая рукотворность не ограждала Анфилогова от воздействующей на него стихии, и не было ни книжки, ни света для чтения, чтобы заполнить безразмерное время после скудного ужина — голодные мыльные сумерки с негаснувшей рекой, блестящей, будто нож с остатками масла, с мягкими сдобными крошками.

* * *

На двадцать третий день экспедиция вышла на синюю отмель, похожую на место находки первого прозрачного корунда, как след от левого сапога похож на правый; воздушный очерк вершин с голубыми лепестками снежников оставался все тот же. Анфилогов испытал сильнейшее дежавю, увидав гранитный валун, на котором неделю назад дробил молотком пустой доломит. Однако на этот раз у валуна во лбу белело большое телячье пятно — и весь он, несомненно, указывал туда, где по насупленному склону пролегла естественная складка: рыхлое русло, перетянутое глиняными и песчаными наносами, с вы-

ходами трещиноватого камня, в котором Анфилогов моментально распознал вмещающую породу, сильно разрушенную водой.

Вероятно, вода сходила здесь по весне, теперь же ручей, напоминающий с реки ярусы птичьих гнезд с аккуратно уложенными рядами яичками-голышами, стоял пустым. Первый же камень, поднятый на отмели, был, как пасхальный кулич, усыпан корундовым крапом. Удивительно, но ручей, по-видимому, повторял изгибы доломитовой жилы и за долгие годы проделал работу, которую хитникам теперь предстояло довести каелками и клиньями до победного конца. Анфилогов почти не сомневался, что перед ними та самая «труба», из которой в реку течет аллювиальная россыпь корундовых следов. Последние сомнения рассеялись, когда Колян, натаскав из русла минеральной каши, промыл ее в своей вместительной миске: целых четыре угловатых искорки — не какие-нибудь, а классического цвета «голубиная кровь» — превратили стеклышко часов как бы в игольчатый ледок, под которым помаргивал секундной ресничкой ослепший циферблат.

Между тем, по расчетам Анфилогова, на разработку жилы им оставалось не более недели. До форпоста цивилизации — сонной железнодорожной станции с закрытым магазином и скудными полями картошки — предстояло спускаться походным маршем десять, а при плохой погоде все пятнадцать дней. Если бы профессор не ощутил подспудного ритма событий и не ввел своевременно режима экономии, корундовая отмель стала бы для экспедиции точкой невозврата. Достигнув этого места с его эффектами дежавю за каждым кустом (что объяснялось, вероятно, предельной воплощенностью мечты), хитники должны были бы немедленно возвращаться с пустыми руками. Теперь же у них имелся некоторый люфт, обеспеченный резервом тушенки, сгущенки и макарон. Однако удаче следовало стать более

прицельной: искусственно затянутое пребывание в чуждой стихии не могло продлиться долго, а красота, раздражительно реальная до последней бабочки, распластанной на валуне с сердитым выражением крыльев, похожих на прижатые кошачьи уши, стояла здесь во всю высоту атмосферного столба.

Несмотря на то что экспедиция пребывала все в той же котловине, легко обнесенной все теми же асимметричными горами, Анфилогова не оставляло чувство, будто они с напарником каким-то образом достигли той необычной, похожей на склейку не совсем совпавшего узора складки горизонта, что виделась ему все эти дни в речных верховьях. «Край мира» — вот слова, которыми профессор мог бы обозначить свои ощущения, хотя и стоял обеими ногами на простирившейся в любую сторону твердой земле. Хитники разбили лагерь, потратив драгоценные полдня, аккуратно укрыв припасы от шуршавших в траве грызунов. Первый же удар каелкой по разрушенной породе отвалил кусок, похожий на творог с густо намешанным изюмом. Корунды, однако, оставались непрозрачны: густо засахаренные правильной формы кристаллы не содержали внутри ювелирного леденца.

— Я так скажу, Василий Петрович, сверху мы ничего не снимем, — подвел итог наломавшийся Колян, ворочаясь ночью в надувной, резиновой игрушкой пахнувшей палатке, за стенкой которой, будто пассажир в соседнем купе, вздыхал и ворочался первый за время экспедиции северный дождь.

Анфилогов и сам понимал, что надо бить шурфы. Наутро отяжелевшие ели были, будто темные зонты, напитки сыростью, русло ручья, хоть и оставалось безводным, заметно опухло. Худо было то, что деревья по склону стояли негусто и практически весь он просматривался с реки, будто хорошо прорисованная карта: какие-нибудь туристы — не те каскадеры, что в начале экспедиции проскакали по порогам в своих заливаемых люльках,

а любители спокойного августовского сплава с рыбалкой и костерком — могли обратить внимание на свежие ямы и поинтересоваться их содержимым. Надеюсь, что повезет, Анфилогов выбрал место для шурфа в укрытии маленьких скал, похожих в результате работы ветра на подтаявших снеговиков: их необычная форма, сразу привлекавшая взгляд, настолько исключала мысль о чем-либо практическом, что за ними разработки были в безопасности. Однако там, в отсыревшей тени, оказалось столько же форта, сколько внутри отключенного холодильника: верхний легко крошившийся слой еще подразнил остервенелого Коляна каменной малиной, а под ним оказался матерый, словно железный, гранит, от которого каелка отскакивала с пением, оставляя в плечах ощущение электрической дуги.

Пришлось возвращаться на прежнее место. Однако жила вопреки первоначальным впечатлениям вильнула. Только четвертая яма дала экспедиции первые ювелирные камни: небольшие, мутноватые, годные не в огранку, а разве что на кабошоны. Дальше стало поинтересней: заглубившись больше собственного роста, хитники нарыли хорошее гнездо, откуда взяли карат на пятьдесят приличного, с видными на сломах прозрачными зонами гранильного сырья. Однако это были далеко не те находки, что ожидались по логике событий. Анфилогов чувствовал, что где-то близко, буквально под ногами, лежит настоящая удача, что экспедиция от нее, быть может, в миллиметре.

Миллиметр, однако, оказался большим. Целый день экспедиция потеряла, переживая ветреный дождь, кучами ходивший по обвисшей палатке, по вздувшейся речке, на которой при ударе мутной стихии словно бы вставала дыбом водяная шерсть. Шурфы после дождя оказались наполовину залиты темной мусорной водой, которую пришлось вычерпывать миской и ведром. Однако и без дождя трещиноватая порода сама по себе сочилась влагой,

стекавшей по стенкам медленно, будто на ощупь; за ночь подземных вод набиралось в шурфе на полтора ведра, и узкое дрожащее зеркальце делало дно колодца похожим на закатившийся глаз. Почему-то подземные воды были тяжелы, точно расплавленный свинец, и, сплескиваясь, оставляли на траве незаживающее темное пятно.

Утро начиналось по свистку бурундука, воровавшего сахар. Каждое утро Анфилогов твердо знал, что сегодня надо уходить, замаскировав до будущего лета перспективные разработки. Однако же хитники, не говоря друг другу ни слова, наскоро съедали по несколько ложек мучнистой баланды, не стесняясь вылизывать кислые миски, и механически шли на свою корундовую каторгу. Машинально они брались за вчерашнее и позавчерашнее, словно намагниченные этим странным местом, словно заведенные; казалось, будто сделать что-нибудь, не входящее в этот ежедневный ритм, будет стоить им гораздо большего усилия, чем по-прежнему махать каелками, утыкаясь всей оставшейся тяжестью тела в место удара.

Голод, подступая, был как длинный поцелуй взасос, от которого совсем пустело в животе. Анфилогов ловил себя на том, что совершенно прекратил о чем-либо думать. Ему представлялось, будто точка встречи с удачей была определена с какой-то роковой погрешностью, так что теперь ресурсы еды и жизни спускаются зря. «Еще немного, еще чуть-чуть!» — орал, подбадривая себя, укушенный паутом под глаз, почти окривевший Колян, на котором грязные рабочие штаны висели, как на танцовщице восточные шальвары. Иногда он отрывал себя буквально силой от гипнотических доломитов и, хоронясь за кустиком, чтобы хариус, глядящий вверх, не увидел сквозь воду охотничью тень, забрасывал леску с пучком медвежьих волосков. Соблазнившиеся «мухой», хариусы взвивались из воды, как маленькие северные сияния, но на воздухе их радужные шкуры быстро бледнели; мясо запеченных рыбок хитники моментально сбрасывали до де-

ликатных, как застёжки дамского белья, розоватых скелетов, по очереди лазая липкими пальцами в жестянку из-под соли, стирая с измятых стенок последний сладостный налет.

— Вот вернемся, Василий Петрович, сразу научусь готовить, — мечтал у сиплого сырого костерка разомлевший Колян. — Не хуже, чем в «Метрополе»! Торты буду делать с розами и салаты с майонезом. А что, по книжке не прочитаю? Были бы продукты.

Анфилогов, у которого несоленая рыба оставляла во рту какой-то мертвый привкус, очень понимал такие кулинарные мечты. Он сам бы теперь поколдовал с хорошей вырезкой, приправами и вином; при том он знал, что Колян едва ли исполнит высказанное, потому что за последние десять лет ни разу ничему не научился. Что Колян умел — он умел от природы; что же касается Анфилогова, то он, при всей своей опытности коммерсанта и хитника, был совершенно не приспособлен добывать пропитание в дикой тайге.

Между тем шутки были плохи. Макароны кончились; от гречневой крупы осталась практически пыль; последнюю муку растряс по палатке, разодрав полиэтилен словно бы железной вилкой, какой-то зверек. Папирос не было давно. Анфилогова, иногда курившего тоненький Vogue исключительно ради чувственной дымки в мозгу, это не касалось, а вот Колян ужасно мучился: сушил на заскорузлых газетах гниющие кучки спитого чая, лазал на четвереньках, отыскивая какие-то резкие травы и сухие ватные соцветия; вся эта дрянь ядовито тлела в грубых, как веревки, газетных самокрутках и, бывало, загоралась факелом, подпаливая Коляну серые усишки. Собственно, хитники почти уже съели свою обратную дорогу. Анфилогов знал, что человек может месяц не принимать еды и остаться в живых. Но это если он лежит в кровати под наблюдением медиков и забастовочного комитета. Совсем не то же самое, что выходить из тайги, когда трид-

цать километров в день превращаются в десять, далее в пять. Можно просто не дотянуть, не совпасть со своим шансом на выживание, свернув от приметного дерева по одному из двух направлений, которые сквозь голодную рябь в голове кажутся одинаково знакомыми, пройденными буквально позавчера. Анфилогов знал, что голод, овладевая человеком, способен на спецэффекты: какое-нибудь дикое место вдруг представляется родным, как собственный дачный участок. Кажется, что вот-вот — и выйдешь отсюда к жилью, но выйти нельзя. Правая нога, которая шагает сильнее левой и заворачивает ходока по кругу, ломается, будто не выдержавший нажима чертежный карандаш. Человек, сам не понимая как, съедает ядовитый гриб, предстающий перед ним на своей завернутой в салфетку тоненькой ножке будто изысканный десерт. Анфилогов знал, что состояние голода сходно с состоянием гипноза, и теперь въяве ощущал первые подступы этого мягкого транса. Каждое утро ему казалось, будто он уже принял решение сворачивать лагерь и теперь его осуществляет. Одновременно он ощущал себя вблизи своих шурфов абсолютно как дома; поцелуи голода будили в нем какую-то мечтательную чувственность, желание женщины, субтильной и бледной, с тонкими косточками, вместе составляющими совершенный скелет, с маленькими молочными железами, припухлыми, будто детские железы.

* * *

Ночью, под глухой машинный шум дождя, наполнявшего пластиковый тент над отсырелой палаткой ведрами воды, профессору приснилось, будто эта женщина пришла к нему. Голенькая, очень худая, она была совершенна, как латинская буква, как образец особенного человеческого шрифта. Заломив угловатый локоть, она лежала

на спине, и живот ее белел, как миска молока. Как будто не было ничего особенного в узком, словно ящерица, существе — но вся красота, что стояла на берегах корундовой реки, была предисловием к этому телу, к этой безумной тени под грудью, похожей на тонкий полумесяц. Почему-то женщина плакала, светлые виски ее намокли, глаза, подведенные влагой, были египетские. Во сне эти беззвучные слезы невероятно возбуждали Анфилогова. В то же время он осознал, что женщина ему не вовсе незнакома, более того — это совершенно точно одна его дальняя родственница, обычная гуманитарная девица, которой Анфилогов иногда подбрасывал немного денег, а та ответно порывалась сделать уборку в его неприкосновенной квартире и однажды разбила тонкую, прожившую большую жизнь фарфоровую чашку.

Анфилогов проснулся с неразрешенным томлением в чреслах, в слезах, превративших волосы под измятой щекою в мокрый спрессованный комок. Первые влажные лучи играли на воде, залившей тент, Колян, раскинувшись, храпел, его раскрытый рот зиял, как темная кротовая нора. Профессор спустился к реке, тянувшей туман, в котором дальние черемухи стояли, будто букеты в папиросной бумаге. Сделав красной горстью то, что нужно, Анфилогов выпустил в воду горячее и пышное пятно, подобное гадальному воску от целой сгоревшей свечи. Затем он обмылся ледяными пригоршнями и, застегнув штаны, попытался протрезветь. Красота, сосредоточенная на Анфилогове, силилась достичь предельной концентрации, но ум профессора работал отчетливо. Он понимал все намеки и указания, выдающие в гуманитарной девице Хозяйку горы. Даже тот произвольный факт, что девица состояла с Анфиловым в троюродном родстве, ложился в эту опасную версию, потому что, по легенде, Хозяйка горы и ее избранник видятся людям похожими, будто брат и сестра. Это было очень-очень слишком! Вокруг Анфилогова хватало го-

раздо более привлекательных дам, и даже, если уж на то пошло, такие были и среди его многочисленных родственников. Но при мысли об этой женщине типа «училка», всегда одетой в нищие свитерочки и в какие-то нелепые, будто крашенные чернилами джинсовые юбки, у него почему-то заходило сердце.

После ознобной свежести раннего утра в палатке было душно, будто в резиновом сапоге. Опустившись на колени, Анфилогов потряс Коляна, тоненько певшего горлом какую-то комариную песню.

— А? Чего? Бля, щас, иду... — Колян открывал бессмысленные мутные глаза, хлопал ими, но никак не просыпался.

— Сегодня уходим, время вышло. Много работы, подъем, — отрывисто проговорил Анфилогов, насильно стягивая с Коляна перекрученный спальник.

— Ты чего, Василий Петрович? Куда, на хрен, уходим? Совсем с утра плохой? — Колян, отпинываясь в тряпках, попытался оттолкнуть нависшего Анфилогова и снова завалился на спину.

— Куда?! Домой! В продуктовый магазин! Сдохнешь здесь, идиот! — заорал Анфилогов прямо в маленькую обтянутую физиономию.

— Не-е... Ну нет.. Это ты, Василий Петрович, зря... — мотая дикой головой, Колян пополз наружу, поднялся там на нетвердые ноги и, словно пробуя, которая из них короче, побрел в серебряно-седые мокрые кусты.

Анфилогов, пожав плечами, выволок из палатки два слежавшихся, обгаженных мышами рюкзака, бросил их проветриваться, открепил, спуская желтую воду в траву, полиэтиленовый тент. «Живой я! Живой!» — доносилось из блистающих кустов вместе с урчанием толстой струи. Анфилогов, стараясь быть невозмутимым, занялся костром, в котором сырые сучья никак не горели, а варились в дыму, и какой-то печной, домашний запах костровища преворачивал душу.

— Не сдохну я, Василь Петрович, понял?! — Колян, шатаясь, снова завалился в палатку, и палатка заходила ходуном.

Наконец костер затрещал, испуская, будто старый двигатель, синий неряшливый чад, завзрагивала в прокопченном котелке прозрачная вода. Думая, из чего бы приготовить завтрак посытней, Анфилогов направился к палатке, и уже у входа в нос ему ударил запах мертвечины. Присмотревшись, он увидел, что Колян, стоя на коленях перед варварски вскрытой консервной банкой, пожирает жирную тушенку и, не отличая мяса от собственных пальцев, чуть ли не заглатывает свою костлявую и грязную щепоть. Тут Анфилогов понял, что не может сообразить, остались ли еще мясные консервы. Полая легкость мешка, когда профессор, тихо матерясь, нашел его в углу, не оставила на этот счет никаких иллюзий. Колян, ухмыляясь в полутьме лоснящейся пастью, протянул профессору банку с остатками пиршества, но от грубо вырубленной крышки с присоской холодного сала, от трупного духа, что пер из жестянки, Анфилогова едва не стошнило. Тотчас Колян, надувая щеки, весь изогнулся, и Анфилогов едва успел оттащить его, кукарекающего утробой, к выходу из палатки. Коляна рвало мучительно, непережеванное мясо валилось из него вместе с горячим соком многодневного голода. Жидкая тушенка прыскала у Коляна даже из ноздрей. Наконец после долгих конвульсий он успокоился в слезах, распластавшись на спальнике, брошенном Анфиловым к дрожащему, почти погасшему костру, а на съедобную мерзость немедленно слетелись, свирепея, мокрые вороны.

Выпив пустого, еле желтенького чаю, Анфилогов заставил Коляна выглотать сквозь слезы и слизь такую же кружку, в которую выбил из пустой коробки сахарный порошок. Затем, наказав напарнику присоединиться, он отправился маскировать шурфы, которые виднелись с реки и из лагеря, будто большие жирные муравейники.

Снова заморосило; казалось, будто небо мягко распыляет свою серебряную краску на моргающие листья, на хвою, на жесткие черничники; тропинка, что все-таки оказалась протоптана от лагеря к шурфам и теперь выдавала разработки внимательному взгляду, была светлее дремлющей травы, и в ней, как в ручье, отражались сырые, водянистые от кварца валуны.

Было очень тихо, шум реки доносился так, словно поток продували воздухом. Вдруг Анфилогов померещилось, будто этот звук изменился, будто река повернула в обратную сторону; одновременно он заметил подле первого шурфа, который хитники давно забросили за скудостью добычи, блеклый, видный словно через папиросную бумагу женский силуэт. Женщина стояла под глубоким зонтом, лица ее было не разглядеть, но Анфилогов узнал ее и по ногам, составленным тесно, точно росшим, как двойное деревце, из общего корня, и по утонувшим в глине шнурованным ботинкам. Очень медленно повернувшись, женщина стала подниматься в гору, туда, где у каждой березы, словно возле парикмахерского кресла, светлели ее прошлогодние листья; прежде чем существо исчезло, не дойдя до предела видимости, а просто растворившись в загустевшей мороси, березовые прутья пару раз отчетливо свистнули по мокрой зонтичной ткани.

Анфилогов немного постоял, собираясь с мыслями. Его оскорбило, что ему, будто двоечнику, будто мальчишке, преподали дополнительный урок — тем более что знание, внушаемое через мокрое привидение, было ложным и никуда не вело. Стараясь шагать решительно, ощущая, как с каждым ударом прибавляет в весе тяжелое сердце, он поднялся туда, где несколько минут назад топталась Хозяйка горы. Там, на разжиженной глине, были отчетливо видны похожие на следы от табуретки отпечатки каблуков. Делая вид (для цепкой вороны, вскочившей на камень без помощи крыльев), будто ровно ничего не происходит, Анфилогов съехал в яму вместе с маленькой

осыпью, звучно булькнувшей в большую грунтовую лужу. Анфилогов собирался, собственно, подобрать оставленный на стенке инструмент, но, взявшись за кирку, машинально ударил по рыхлому выступу, чем-то его раздразившему.

Кусок породы вывалился легко, будто затычка из сосуда. Непримечательный снаружи, изнутри он представлял собой подобие ежа. Крупные кристаллы, натруженные усилиями роста, грубо торчали из доломита, а в образовавшейся от удара трещине просматривались другие, запеченные в породе и горевшие глубоким пурпуром. Следующий отвалившийся кусок был красен от корунда, как разбитое колено. За ним открылось нечто уже совсем невероятное. Не веря собственным глазам, Анфилогов издал торжествующий крик, отозвавшийся в молочном опрокинутом пространстве слабым эхом, словно бы отдаленным воплем тепловоза. Он почувствовал вдруг, что не может ухватить руками скользкую кирку. Выбираясь из ямы по ледяным ободранным камням, Анфилогов продолжал кричать и чувствовал сырое небо на лице, будто пропитанную эфиром марлевою маску. Издалека он увидел бегущего Коляна, темневшего в серебряной пелене, точно водомерка на зыбкой и светлой поверхности воды; когда же Колян подскочил, весь облепленный какой-то мокрой растительной кашей, в исхлестанных сапогах, Анфилогов ощутил такую слабость, будто вся кровь его ушла на образование пурпурного разлома, этой спекшейся подземной красоты.

То, что проделал Колян, осознав размеры находки, редко кому удастся увидеть в жизни. Он бился грудью о каменную стену и падал, оскользаясь, в глинистую жижу; он клекотал; он был в корундовой яме будто мокрый птенец в яичной скорлупе. Анфилогов наблюдал за ним, присев на старое осклизлое бревно; он не понимал, отчего такая грусть овладела им — точно из души его вынули столько же, сколько нашел он в корундовой жиле,

указанной ему тупоносими следами женских сапожек. Эти отчетливые следы на неудобном пригорке, поверх которых сапожище Коляна оставил жирную вафлю, говорили Анфилогову об одиночестве, о долгом ожидании под шепчущей моросью, проявляющей пейзаж будто блеклую фотографию, с ведущей в пустоту водянистой тропинкой; несколько раз ему показалось, будто среди лоснящихся елей туго, с бритвенным шорохом, прошел неподатливый зонт.

Через небольшое время Анфилогову пришлось прикрикнуть на Коляна, чтобы он не тратил силы на варварские пляски, превратившие его одежду в слипшуюся корку. Опомившись, со скошенными к переносице безумными глазами и ссадиной во лбу, испускавшей розовый сок, Колян схватился за инструмент. До обеда, бывшего теперь не принятием пищи, а только временем дня, он без отдыха крушил драгоценную жилу, это подземное райское дерево, являвшее хитникам чудо за чудом; то и дело теряя равновесие, тем вываливаясь из реальности, он падал в лужу, словно вещь из кармана, или кружил с занесенной киркой, будто легкий ловец мотыльков.

Анфилогов, принимая снизу обогранные куски, то удивлялся чудовищной добыче, то переставал удивляться чему-либо вообще. В уме его складывались цифры, выстраивались цепочки бизнеса, которым теперь предстояло выдержать серьезную нагрузку, но все это было совершенно потустороннее, не имеющее отношения к сердечным замираниям, от которых камни, вычищаемые из породы, странно блекли у него перед глазами. После «обеда» — десятиминутного сидения с опущенными головами у сырого костровища — Колян в подсыхшем глиняном доспехе, с морзянкой мошкары у торчащего красного уха растянулся на подстилке. Анфилогов же взялся сортировать добычу, выбрасывая все, что было собрано прежде, что радовало и оправдывало экспедицию, а теперь представляло собой ненужную тя-

жесть. Из сегодняшнего он упаковывал только то, что поражало воображение; сравнивая камни, держа их большим и указательным, как спекшиеся, сломанные звезды, он выбирал между счастьем обладать и выживанием на обратном голодном пути, где каждый лишний грамм может оказаться роковым. Все равно получился увесистый кулек, изрядно оттянувший станковый рюкзак. Четыре кристалла, которые по большому счету было грех пускать в огранку, но следовало сохранить свидетельством прекрасной щедрости природы, он застегнул в карман пропотевшей ковбойки и ощутил сквозь ткань их маленькую угловатость, как бы птичью лапу на переполненном сердце.

Все остальное Анфилогов завернул в покоробленный полиэтиленовый лоскут и, оттащив к корундовой яме, завалил скрежещущий сверток в развороченную жилу, как в анатомичке после вскрытия заваливают внутренности в желтый живот мертвеца. В изнеможении прислонившись к стене, из которой, будто лимфа, тихо сочилась грунтовая вода, Анфилогов ясно ощутил, что с невероятной находкой притяжение этого места сделалось почти неодолимым. Таинственный магнетизм, что держал экспедицию на берегу корундовой реки, та властная сила, что ежеутренне приводила в движение голодные мышцы на стонущих костях, теперь подступили настолько близко, что Анфилогов, дрожа, чувствовал физический позыв принять рабочую позу перед алевшим в разломе, будто грубый уголь, морщинистым корундом. Жила требовала от хитников умереть живьем: сжечь до последней калории то, что годилось для сжигания в их человеческих телах, и, опустев, остаться здесь, чтобы всегда — и мертвым зрением — видеть эту страшную красоту, этот легкий горный очерк, похожий на складку прозрачной небесной ткани, и реку, перекрученную под обрывом, будто отжимаемая простыня, и темный, словно горелый, скальный гранит. Наваждение было настолько сильно,

что Анфилогову показалось, будто время остановилось; лишённые смены насыщения и аппетита, стояли его биологические часы, и отсыревшие птицы пролетали в открывавшемся снизу небесном окне словно на ощупь, пробуя плотный воздух слипшимся пером.

Из забвения Анфилогова вывел дробный осыпчивый всплеск. Из комьев глины, сытно плюхнувшихся в лужу, один оказался змеей: лоснясь ромбической головкой, прочерчивая невидимым телом длинные водные ленты, тварь устремилась к похолодевшим профессорским ногам. Тотчас Анфилогов как по лесенке взлетел наверх. Ссаженные ладони распухли и ныли, но правая болела острой: поднеся ее к глазам, Анфилогов увидел, что на ней висит, вцепившись крошечной пастью, неизвестно откуда взявшаяся летучая мышь. Было что-то извращенно притягательное в этой легонькой тряпочке, в тесно наморщенной мордочке, похожей на зловещий бархатный цветочек. Скривясь, профессор стряхнул существо, и оно заметалось над ямой, испуская неслышный панический сигнал, а потом внезапно исчезло из глаз; небольшое время в воздухе была заметна кривая, словно отхваченная бешеными ножницами, темная дыра.

Все это было неспроста. Все это имело отношение к Хозяйке горы. Лес, куда сегодня утром удалился призрак, тонул в сырой белесости, и ближние деревья были отчетливы, а следующие за ними были будто их незакрашенные тени на белой стене. Отвлекаясь, Анфилогов попытался вспомнить имя гуманитарной девицы. Ирина? Инга? Что-то как будто на И. Имена, подбираемые в уме, казались искусственными. «Екатерина», — произнес над ухом профессора отчетливый голос, наполненный медом. Сразу профессор почувствовал, как отпускают чары корундовой реки, как просторно становится вокруг. С силой оттолкнувшись от трухлявого бревна, Анфилогов встал и огляделся. Там, на юго-западе, за меховыми плотными лесами, за двугорбым малень-

ким хребтом, за сонной станцией с закрытым магазином, за тремястами километрами гудящего железнодорожного пути, в городе, переполненном до крыш фигурками людей, пребывала реальная женщина, к которой профессор теперь испытывал пристрастное, болезненное любопытство. Он понимал, что Хозяйка горы сама выводит его обратно в жизнь, но пока не представлял, как сумеет этим воспользоваться.

Работалось, однако, удивительно легко, с бодрыми мурашками под сдавленным черепом, с ощущением парикмахерской в раздуваемых ветром влажных волосах. Маскируя шурфы, Анфилогов спихивал вниз упиравшиеся кучи раздобревшей глины, которые непонятным образом сразу напитывались грунтовой жидкостью и расплывались в ленивом блаженстве, запечатывая сокровище; затем он нарубил упругих, прыгающих под топором молоденьких елок и скрыл измазанные земляные дыры пышным настилом горько-зеленой хвои. Осторожно спустившись к реке, расчесываемой ветром против шерсти, Анфилогов убедился, что с воды заметить остатки его предприятия едва ли возможно.

На другое утро экспедиция, состоявшая теперь из двух миллионеров, тронулась в обратный путь. У сгорбленного Коляна мокрый воздух хлопал в горле и в полупустых голенищах, высокий рюкзак, чьи лямки сделались ему велики, сидел на нем будто всадник на тощем коне. То и дело он заводил за спину костлявую руку, чтобы нащупать в поклаже твердый, словно смерзшийся, корундовый мешок. У Анфилогова, шедшего вторым, было такое чувство, будто кто-то, оставшийся у шурфов, недвижно смотрит вслед уходящим искателям сокровищ, ожидая, пока экспедиция скроется из глаз. Через много весьма приблизительно считанных дней, когда экспедиция миновала и первую отмель, затянутую, будто старыми сетями, подгнившими останками цветения, и тот неутомимый, как стиральная машина, пережат, возле которого Анфилогов

впервые обнаружил корунд, у профессора по-прежнему сохранялось ощущение, будто этот провожавший ни разу не шевельнулся.

Хитники почти не разговаривали друг с другом. Это было странное, отрешенное молчание, во время которого каждый по отдельности погружался в зеленые образы, наводимые листовыми массами и резкими темнотами хвои. Теперь красота оставалась только над головой, развешенная на ветвях, а сырой каменистый путь под ногами был неказист; может быть, оттого, что хитники слишком наломались, пробивая шурфы, все эти шаткие сланцевые плиты и гранитная крошка в постной каменной грязи казались им просто уродливыми, какой-то свалкой, милосердно прикрытой тонким северным леском. Двигались медленно. По реке, стремившейся теперь туда же, куда и маленький отряд, скользили, виляя и поклевывая, первые желтые листья с абрикосовым крапом, проплывали распухшие сучья, иногда забираясь, с ухватками крабов, на облитые камни. Все это пестрое, несомое водой, легко обгоняло тащившихся по берегу людей. В телах была абсолютная легкость, весила только поклажа, но весила столько, что порою было невозможно сделать ни шагу вперед. Экспедиция с трудом пробиралась сквозь густые ельники, будто сквозь череду дверей на жестких, туго хлещущих пружинах; однажды хитники долго сидели, не решаясь двинуться дальше, на маленьком и мягком, как кровать, болотном островке.

Случилось то, что должно было случиться. Там, где корундовая речка, трепеща под низкими кустами, скромно впадала в судоходную медлительную гладь, ослабевший Колян свалился со скалы. Под берегом было глубоко, и сперва Анфилогов увидел на водной поверхности словно бы темный ожог да уплывающую шляпу с липким накомарником. Но поскольку Колян от голода был почти бестелесен, а весила только поклажа, то рюкзак с корун-

дами, чьи лямки были ему велики, тихонько соскользнул, отчего у Коляна под водой возникло ощущение, будто за плечами у него расправились ангельские крылья. После этого он вертикально выскочил на шумный воздух и, отмахнув прилипшую челочку, внезапно осознав утрату, едва опять не утонул.

Нырять за сокровищем, однако, было бесполезно: течение большой реки напирало всерьез и наверняка уволокло пропажу под настил оранжевых бревен, отставших от сплава и забивших до отказа маленький затон. По счастью, из двух рюкзаков уцелел анфилоговский, где лежали две еще живые зажигалки, полпакета ветхих сухарей и разряженный мобильный телефон. Однако Колян, словно бы ослепший от купания в мутной, с мякотью, коричневой воде, не желал уходить от места гибели надежд — и был отстраненный, расчетливо трезвый момент, когда Анфилогов всерьез подумал, не оставить ли его, неподъемного, сидеть на берегу с этой странной улыбкой, змеившейся в бородачке, словно неверный огонек в растопке сырого костра.

Но припасы, если их разделить пополам, уже не обещали спасения, особенно это относилось к зажигалкам и последним слипшимся спичкам; упершись лбом в эту простую реальность, Анфилогов ответил себе, что к иному не готов. Отчего-то он не показал Коляну отборные камни, угретые в кармане ковбойки. Скрытность его объяснялась нежеланием делиться — не доходом, но счастьем, озарявшим Анфилогову весь обратный путь, заходившим то слева, то справа со своим наклонным бледно-солнечным прожектором. Анфилогов чувствовал, что Колян просто поглотит счастье бездной своего малодушия и все равно не утешится совершенством камней, потому что сердце его утонуло с мешком.

Предоставленный себе, Колян весь обратный путь беседовал с собой: он ворковал и улыбался, точно мать над колыбелью младенца.

— Вот хорошо бы, Василий Петрович, вернуться сюда с водолазами, — проговорил он однажды совершенно отчетливо. — А что? Предложить им десятую часть. Их небось за меньшие деньги нанимают.

— Дурак, — беззлобно ответил профессор.

— Я, Василий Петрович, машину хочу купить, — продолжил Колян, шагавший свободно, враскачку, иногда внезапно пятывшийся на профессора, бессменно тащившего рюкзак и палатку, тяжелую, как труп. — Иномарку тысяч за пятьдесят американских долларов. С детства хотел. А что? Пойду на курсы, научусь водить не хуже любого другого. Поеду на машине к сестре в Соликамск...

Так он болтал, не унимаясь, целые сутки. А на следующий день хитникам с высокого обрыва открылась сизая деревня, наполовину нежилая, с березами на избах и мощно заросшими, разваленными на стороны остатками заборов; высоченная старуха в мужской ушанке и солдатской плащ-палатке, теребившая древней косою кочковатый лужок, походила на смерть, но напоила хитников пенистым, пахшим коровьей утробой парным молоком.

* * *

Они скрывались — их преследовали. Крылов заметил соглядаята во время ливня, когда они с Татьяной прятались под узким козырьком, обвешенным кручеными, точно кто их дергал снизу, веревками воды. Повсюду в укрытиях темнели фигуры застигнутых прохожих, напоминавшие группы неосвященных манекенов. Почему-то внимание Ивана привлек полноватый мужчина, еле видный сквозь ходившие влево и вправо белесые тонны дождя. Мужчина стоял вполоборота на замысловатом крылечке какого-то банка, похожем от избытка струй на позолоченный фонтан; было что-то раздражительно знакомое

в тугом наклоне головы, в этой странной, почти неживой неподвижности, отчего казалось, что на стене, к которой прислонился человек, обязательно останется его округлый темный отпечаток.

Дождь поредел, потом исчез, точно кто-то вдруг забрал из воздуха недолетевшие капли. На асфальте, как приклеенные, лежали первые, необычайно ранние желтые листья этого лета, автомобили, журча, преодолевали водные потоки. У замерзшей Тани зуб не попадал на зуб; увлекая ее, облепленную мокрым подолом, в аккуратно светившийся бар, Крылов увидел краем глаза, как мужчина словно бы в раздумье спускается с крыльца и пробует воздух, осторожно раскрывая и держа его на отлете, измятым угольным зонтом — не мокрым, как можно было ожидать, а совершенно сухим и даже пересохшим, будто старая копирка.

Далее мужчина двинулся прочь, вдумчиво обходя обширные и сложно сообщавшиеся лужи; уводимый этим маршрутом в неизвестную сторону, он скоро скрылся за киосками, похожими среди зеркального разлива на затонувшие баржи. Но уже через десять минут, едва сонливая официантка, задевая большими и бесчувственными, точно сумки, бедрами за хлипкую мебель, успела хлопнуть перед Крыловым и Таней по штуке опухшего меню, мужчина как ни в чем не бывало появился в дверях, являя собою как бы собственную копию, имевшуюся наготове где-то в здешнем коридорчике. В нем при внимательном рассмотрении удивляло сочетание явной, чуть ли не напоказ выставяемой пошлости и какой-то особенной, серьезной плотности телесного состава, словно мужчина профессионально работал с тяжестями и сам превратился в тяжелый, экономно слепленный предмет. Не обращая ни малейшего внимания на посетителей, темневших тут и там за белыми квадратными столами, мужчина проследовал к бару и взгромоздился половиной задницы на крякнущую винтовую табуретку. Было видно, что торопиться ему совершенно некуда. Беспокойство

Крылова нарастало, в мозг ему точно попала соринка. Он никак не мог понять, откуда знает эту подозрительную личность, демонстративно усевшуюся спиной — и все-таки смутно-навязчивую, смутно-угрожающую, что-то хлебающую, загородившись локтем от соседней нарядной девицы, сосущей через соломинку, будто бабочка хоботком, очень скоро убывающий коктейль.

Откуда-то Ивану были знакомы широкие мятые шорты мужчины — и при этом была н е з н а к о м а шелковая, явно новая рубашка со складками магазинной упаковки и торчащей из-за шиворота длинной этикеткой. Как только девица слезла, оставив мыльный бокальчик, Крылов, извинившись перед Таней, занял место, откуда только что длинно соскользнули шелковые юбки. Он надеялся, что мужчина сам его узнает и сам заговорит, освободив изнемогшую память от жужжания запертой истины. Сосед, однако, тут же отвернулся, всем своим видом демонстрируя нерасположенность к общению; перед ним стояла пивная кружка величиной с хорошую гирию, откуда он через автоматически равные промежутки времени делал звучные округлые глотки — каждый новый экономней предыдущего. Иван обратил внимание, что у мужчины есть неприятная привычка, прежде чем проглотить, задерживать жидкость во рту, словно бы настаивая ее до нужного вкуса. От мужчины исходил густой и плотский дух нагретой шерсти, от которого на коже у Ивана шевелились волосы.

Тем не менее мужчина был несомненный призрак, мясистое привидение, порожденное какими-то глубинами сознания Крылова. Привидение было самостоятельным, явно умеющим заказывать алкоголь и покупать в магазине новую одежду — и все-таки оно каким-то образом являлось паразитом крыловского мозга. На самом деле Крылов догадался об этом сразу, как только увидел сквозь мутный ливень неподвижный силуэт, родной, как собственная тень.

— Не подскажите, который час? — обратился он к подпертому кулаком бескровному уху, покрытому жесткими белыми волосками и, казалось, способному шуршать на манер лопуха.

Мужчина сделал вид, что не расслышал.

— Скажите, сколько времени? — настойчивей спросил Крылов, преодолевая сильнейшее нежелание беседовать с какой-то скрытой в этом человеке частицей собственного «я».

— А половина восьмого! — отозвался мужчина неожиданно громко, с веселой охотой. При этом указал глазами на телевизор, где как раз начиналась, пылая стереозаставкой, программа новостей и в углу экрана пульсировали цифры «18:01».

Растерянный Крылов почувствовал прилив бессильной досады: он ненавидел быть объектом наглых шуток, но и вопрос он задал идиотский, а мужчина, похоже, наслаждался, пофыркивая в пучочек коротких, мокрых от пива усов. Слепо уставившись в телевизор, Иван ощущал себя таким же красным и расплывчатым, как флаги на экране, где в преддверии столетия Октябрьской революции рассказывали о восстановлении разрушенных памятников и новенький Дзержинский парил над постаментом, принимаемый в объятия рукастым пролетариатом. В который раз Крылов подумал, как на человеке сказывается возраст. Будь он помоложе, он бы врезал сейчас по этой кривой физиономии — врезал бы просто так, не чувствуя себя обязанным кому-то объяснять свои поступки. Теперь же его стесняла необходимость быть понятным для окружающих: стоит затеять драку, как у всех, поднявших глаза, возникнет вопрос «Почему?» — и он, чтобы не выпасть из действительности, должен будет являть собой какой-то наглядный ответ.

В отличие от Крылова незнакомец явно не ощущал потребности с кем-либо объясняться: самая спина его в складках жира и шелка и оттопыренная на табурете хол-

щовая задница показывали курящим столам пример пренебрежения всякими вопросами. От мужчины буквально несло каким-то донельзя знакомым абсурдом; Крылову показалось, что он не только встречал этого человека в реальной действительности, но и видел во сне.

С этих самых пор соглядатай взял манеру материализовываться по вечерам. Иногда он поспевал к началу свидания и, если Крылов опаздывал, дожидался в нескольких шагах от недовольной Тани, потупясь и держа в руке привядшие, словно пропотевшие собственным соком цветочки. Иногда он работал по методу классической наружки и сопровождал подопечную пару по улицам, вступая в общение с витринами и мониторами рекламно-информационных фирм, где от праздных манипуляций шпиона с писком зависали поисковые программы. У соглядатай обнаружился автомобильчик — старая «японка» с забросанными грязью номерами, но весьма приметная следами ремонта: было видно, что машинку когда-то помяло всерьез, отчего ее выправленный кузов напоминал очертаниями детский рисунок, но было нечто зловещее в этой инвалидной неуклюжести, в кривой посадке коробка на косолапые колеса. Часто Крылов замечал горемычное транспортное средство, припаркованное в загибе переулка: это означало, что владелец где-то поблизости, но до поры незрим — может, дует пиво в близлежащем кабаке. Иногда казалось, что автомобиль стоит заброшенным по меньшей мере несколько недель; как бы подтверждая нереальность сонного пространства, по его нагретой крыше разгуливали невесомыми и цепкими тенями хищные вороны; в тени раскаленной развалины дремали, помаргивая и подрагивая, бездомные суки с воспаленными сосцами. Но появлялся энергичный владелец с румянцем до ушей и, разогнав непрошеную живность, садился за руль.

Либо соглядатай был непрофессионален, либо скрытое наблюдение не входило в число его таинственных за-

дач. Он был вызывающе приметен и держался нагло. Он, по-видимому, обожал обновки, при этом верхняя часть его короткого туловища имела преимущество перед нижней: штаны шпиона были, как правило, обтрепанные, в виде мешка, зато мужчина часто баловал себя то фирменной маечкой, то рубашкой с яркими принтами. Вероятно, эта особенность отражала образ жизни соглядатая: ногами мужчина ходил по всякой дряни, наваленной на улицах, задницей сидел на чем придется, торс же был параден. Словом, для объектов наблюдения шпион представлял собой не невидимку, но, напротив, сильный раздражитель. Усики его казались нарисованными из хулиганских побуждений на обширной, имевшей еще много пустого места физиономии; в подтверждение этого, когда соглядатой внезапно сбрил свое лихое украшение, под носом у него образовалась темная мазня, напоминающая след стирательной резинки. В облике его всегда присутствовал какой-нибудь смутительный, дразнящий непорядок: то торчала из-за ворота стеклянистой щегольской ветровки грубая петля, то ширинка заслуженных штанов приоткрывала, разойдясь, пухлое хозяйство, белевшееся, будто скомканный в кармане носовой платок. Притащившись за подопечными в кафе, соглядатой имел обыкновение усаживаться, взваливая ноги на соседний стул: подошвы его, наклеившие по пути бумажек, напоминали доски объявлений. Из-за своей неряшливости мужчина был приманчив: мучительно хотелось подойти к нему, заправить петлю, сцарапать с рукава присохшее пятно, почистить ему башмаки.

Шпион буквально издевался над Крыловым, у которого чесались руки сделать хоть что-нибудь с этим субъектом, — и при этом не давался общаться, с помощью разных пространственных маневров держал безопасную дистанцию. Даже будучи загнанным в угол — в помещениях он предпочитал укромные и тесные углы, какие предпочел бы, к примеру, паук, — шпион все равно не подпус-

кал Крылова к себе: взгляд его исподлобья делался таким, будто мужчина сосредоточился на передвижении предметов, и в ногах Ивана возникало ощущение, будто пол под ними становится круглым. Перед шпионом рядом с неизменной кружкой пива всегда лежал разбухший от информации блокнот: эта лохматая вещь с завитыми желтыми углами, испещренная так и сяк разными пишущими средствами — бархатистые розовые записи, лежавшие поперек остальных, были, казалось, сделаны дамской помадой, — сильно притягивала Крылова. Интересовал его и допотопный мобильник размером с кобуру, иногда верещавший на поясе соглядатая: Крылов с удовольствием покопался бы в памяти телефона, выдававшего в широкое ухо мужчины какие-то инструкции, в то время как сам мужчина только хмыкал, спуская между волосатыми пальцами брякавший столбик монет.

Разумеется, Крылов, воспользовавшись безлюдьем одного из узких, словно бы картошкой мощенных переулков, списал с раскаленной «японки» местный, ни о чем не говорящий номер, точно выдавленный на сером прянике пересохшей грязи, которую шпион, должно быть, ленился обновлять. Можно было попытаться пробить владельца таратайки через автоинспекцию посредством кого-то из знакомых, но Крылов, никогда не занимавшийся подобными вещами, не представлял, как к этому подступиться. Заметный, словно специально выставляющий себя напоказ — даже ночью, в чернильной темноте какой-нибудь ухабистой окраины, присутствие шпиона выдавали неодинаковые фары его автомобиля, из которых правая была как яйцо с кровавистым желтком, — соглядатой вываливал Крылову массу информации о себе, целую кучу бесполезного хлама, из которого не удавалось построить ни одного мало-мальски вразумительного вывода. Внезапные эффекты дежавю, возникавшие при виде шпиона где-то на самом дне крыловского мозга, доводили Ивана до бешенства. Казалось, память вот-вот чихнет: выскочат имя, об-

стоятельства какой-то давней встречи. Однако ясность никак не наступала, и шпион менял свои рубашки, оставаясь неузнанным — и неуловимым.

Самое обидное заключалось в том, что соглядатай, исправно надзирая за подопечными, не испытывал к ним ни малейшего личного интереса. На физиономии его всегда держалось выражение скуки, которое он проносил лишь слегка помятым сквозь маленькие приключения уличной наружки; усевшись с характерным оттопыриванием мешковатой задницы, он первым делом приводил в порядок эту равнодушную мину, а уже затем упихивал за ремень переполненный телом рубашечный шелк. Было совершенно очевидно, что мужчина состоит на службе и такса ему идет, скорее всего, почасовая. Постепенно освоившись с заданием и поняв распорядок действий подопечных (предсказуемый, несмотря на хитрости с картой и страшноватые городские сюрпризы), шпион прихоронился немножко обманывать своего работодателя. Не бросая слежки, он успевал заскакивать на оптовые рынки и выныривал оттуда с изрядным пакетом продуктов. Еще он сдавал в химчистку какие-то мрачные зимние вещи, чей драп напоминал горелый торф; неоднократно посещал сберкассу и ломбард. Кроме того, мужчина завязал многоступенчатые отношения с гарантийным автосервисом и через это надолго лишился своей перелатанной «японки», вследствие чего таскал тяжелые покупки буквально в поте лица. Однажды, не имея транспорта, он целый вечер промаялся с подержанной, взятой из ремонта детской коляской, с которой для вида пытался общаться, вытягивая губы в колючую трубочку, а в критические моменты, когда подопечные отрывались далеко вперед, катил ее бегом, точно каторжник пустую тачку, и обмирающие бабушки кричали ему вослед, вздымая в воздух узловатые, картофельного цвета кулаки.

Хозяйственные заботы соглядатая говорили о том, что шпион не ждет от подопечных никакого события —

встречи, допустим, с неким неизвестным лицом, передачи, допустим, неких документов, или что там еще происходит в детективных романах. Это означало, что никакие действия опекаемой пары не могли бы впечатлить подлеца, и что бы ни предпринял против него рассерженный Крылов, соглядатай встретил бы подвиг все с той же скупающей миной и смотрел бы все теми же равнодушными глазами, похожими на крепко пришитые стеклянные пуговицы. Цель его присутствия оставалась неясной, более того — возникало подозрение, что цель отсутствует вообще.

Даже специально нельзя было придумать ничего оскорбительнее. Получалось так, что внешний мир, от которого Таня и Иван оторвались по счастливому стечению обстоятельств, предоставил им формального свидетеля, в глазах которого с ними ровно ничего не происходит. Действительно, шпион, продолжая слежку, не мог уже увидеть ничего такого, чего не видел бы прежде. Для него не составляло секрета посещение парой сомнительных гостиниц, где шпион терпеливо посиживал в одном из продавленных кресел, пока подопечные заполняли на ресепшен дурацкие карточки приезжих. Более того — соглядатай не поленился убедиться, что номер снимается не для составления шифровок. Однажды Иван, только-только достигший опустошения, с потом на бровях и с перебоями в груди, совершенно явственно услышал за фанерной стенкой, там, где вплотную стояла такая же узкая койка, знакомое ироничное похмыкивание. Так мясистый призрак оказался третьим в их походной кровати, и двигаться дальше было попросту некуда. Эти стандартные номера, оборудованные согласно висевшему в них инвентарному списку, были дьявольски симметричны, тонкие стенки между ними служили как бы двусторонними закрашенными зеркалами — и в миг предельного мужского одиночества, наступающего после события, этот закудхавший шпион, тоже одинокий на параллельном гос-

тиничном матрасике, был зазеркальным Крыловым, его глухой невидимой частицей, его не докричавшейся до разума внутренней истиной.

* * *

Получалось, что соглядатай проник абсолютно везде; с тайны, возникшей между Таней и Иваном на привокзальной площади, он стер волшебную пыльцу. Он знал буквально по часам все, что с ними происходит, и не видел в этом ничего особенного. Знание его, добытое простейшим пешим способом при участии подслеповатого, по-стариковски шаркающего автомобиля, делало тайну несуществующей.

Верить в то, что чувствовали Таня и Иван, стало теперь значительно трудней. Случившееся с ними было недоказуемо; полевые испытания судьбы, из-за которых с Крылова сваливались кусками, будто старая древесная кора, уже вторые ботинки, никогда не давали окончательного результата. Убитую обувь, буквально погрызенную зубами земли, следовало выбросить на помойку, но Крылов никак не мог решиться. Сношенные башмаки, если перенести на жизнь законы гамлетовской драмы, свидетельствовали о заслуге Крылова перед чувством, много раз описанным в литературе, но литература все равно не раскрывала природы феномена, так же как наука при всем ее ужасающем аппарате все не добиралась до природы электричества. Собственно говоря, никакие заслуги не брались в расчет; попытка осознать происходящее, чтобы с уверенностью закрепить за собой другого человека, веда, наоборот, к предельному одиночеству перед бездной, обдававшей душу каким-то снежным ветром.

Когда Крылов пытался думать обо всех этих странных процессах, было так, будто среди дня вдруг наступала глубокая, совершенно безлюдная ночь. Держа в руках заско-

рузлую плоскую обувь, которую, не поносив неделю, уже нельзя было надеть и вернуть ей форму ноги, Иван понимал, что это и есть единственный вещдок того нематериального, что постигло его в середине жизни. Он откуда-то знал, что самые объективные вещи как раз нематериальны. Но источник знания был неизвестен, никак не обозначен. Источник требовал веры, то есть для начала доверия, но Крылов, будучи рифейцем, рассматривал доверие только как условие обмана, то есть условие лжи. По сути, у него только и имелось, что эти драные ботинки. Путь, пройденный рука об руку с женщиной, был в его случае буквально физическим путем по рифейской земле — и по виду, и по замесу не похожей ни на какую землю на свете. Как бы ни была рифейская земля застроена и заасфальтирована — сквозь любую подошву ощущались ее раскрошенные каменные зубья и глубинный холод коренного камня. Земля доставала до нервов, посуху проникала в обувь, будто сырость; то там, то здесь, из-под лопуха, из-под бетона виднелся кусочек ее характерной, как бы присоленной пестроты с вкраплениями кварца и гранита, похожий на элемент узора рептилии.

Возможно, что именно эта земля, эта каменная тварь с раскрошенным хребтом, заставила Крылова превратить отношения с Таней в изнурительную авантюру. Требуя от своих обитателей постоянного бессмысленного риска, малая родина не пускала довериться тому таинственному, что происходит с человеком ему во благо, но побуждала превращать свидания в подвиги прыжков с прекрасной «поганки». Призрак башни-убийцы, который за годы пребывания в рифейском воздухе покрылся гальваническим металлом, осенял собою многие маршруты Тани и Ивана и был иногда замечен даже с далекой окраины, не отличаясь по плотности от реально существующих промышленных труб. Затеянные любовниками испытания судьбы были подобны рискованным рифейским развлечением еще и тем, что не давали ответов ни на какие

вопросы. Что добывал себе немолодой мужик с корою в бороде и смолой на расцарапанном пузе, резвее всех залезший на сосну, или шалый, пронесшийся в вихре перемолотого льда мотоциклист, которому в очередной раз не с ш и б л о голову заиндевелым сводом Царского моста? Что — кроме того, что и так имелось у этих отчаянных людей, которым завтра придется снова карабкаться на кручу или нырять на бешеной скорости в оплывший маленький туннель, не то сохраняя жизнь, не то пытаюсь сбросить этот хлопотный груз?

Теперь Крылов впервые задумался над тем, что каждый раз рифеец, пускаясь в авантюру, начинает все с той же неизменной, несдвигаемой точки. Эта точка — маленький исходный пункт, именуемый обыкновенной жизнью, — вызывала у Крылова недоумение, смешанное с горечью, словно он до этого не жил на свете. Экстремальный рифейский дух, за который местности прощались кислые металлургические выбросы, бесконечные зимы с железными морозами, популяции толстеющей, кое-как проливающей свою обленившуюся кровь криминальной братвы, внезапно представился Крылову проклятием этого места; мир коренного рифейца, которым Крылов привык гордиться, действительно выглядел будто мир насекомого, инстинктивно заползающего на громадные препятствия. Почему любимые народом экстремалы, составляющие цвет рифейства, принуждены возбуждать себя для жизни, как люди иногда возбуждают себя для секса картинками на мониторах и в журналах? Почему рифейцы, умеющие бороться за жизнь в ситуациях, когда обычный человек погиб бы моментально, с такой готовностью пренебрегают результатом борьбы и снова лезут туда, где пострашней? Чем для них неубедителен факт, что они живые? Крылов не знал ответа; торжество насекомого, радужной пулей летящего к гибели, стало ему не очень понятно.

Он, однако, не мог остановиться и продолжал встречаться с Таней по отработанной схеме; чтобы не забыть

намеченные на завтра улицу и дом, он ставил в своем экземпляре атласа жирную точку, которая после свидания превращалась в крошечный крестик. С печалью он видел, как истрепался этот атлас у него в кармане, как плохо держатся на корешке тряпичные странички. Чем больше свиданий накапливалось в прошлом, тем острее было у Крылова чувство утраты. Никогда не пережить больше, никогда не вернуть, никому ничего не объяснить.

Вероятно, у Крылова развивался какой-то жестокий и странный невроз. Утомив болезненную Таню настойчивой любовью, едва не вывернув из суставов хлипкие бедра, Крылов не давал ей задремывать, не оставлял ей законного часа на восстановление сил. Женщина лежала рядом, буквально у него в руках, но стоило ей тихонечко уснуть и побледнеть отрешенным лицом, как Крылову казалось, будто она оставила его, бросила на произвол судьбы. Совершенно один в бесприютном номере, с чужими огнями за узкой, будто полотенце, гостиничной шторой, он смотрел на женщину, во сне всегда теряющую краски, и хотел одного: растолкать, заставить открыть припухшие глаза, словно закапанные воском сгоревшей свечи.

Но Таня спала и не отзывалась на его одинокие мысли. Ее прекрасный скелет напоминал окаменелость, странное растение, почему-то одетое тонкой человеческой плотью; ее дыхание было таким же далеким, как нежный и плотный транспортный шум обводного кольца, особенно ясно слышимый в ночи. Так, оставаясь один, Крылов задавал себе вопрос: а точно ли Таня испытывает чувство, ради проверки которого затеян весь эксперимент? Он знал, что ничего не знает про нее, что это есть условие задачи. Но в чем Крылов не сомневался с самого начала, так это во взаимности. Теперь же он не видел причины этой уверенности, не понимал, откуда она возникла. Измучившись и набродившись босиком по разбитому паркету, клавшему наподобие немого пианино, Иван все-таки тряс подругу за холодное плечо.

Она с трудом просыпалась, начинала дрожать и тянула на себя крапивное одеяльце, попутно сваливая на пол общую одежду. Удивительно, но Таня могла подолгу дуться и коситься из-за всяких мелочей, но никогда не сердилась на то, что Крылов ее будил, никогда не спрашивала почему. Все-таки между ними существовало понимание без слов. Если у них была возможность оставаться в номере до самого утра, то спать становилось так же бессмысленно, как в ночь перед казнью. Они сидели в пропотевшем ворохе простынь, не в силах больше заниматься любовью, и прислушивались к многоэтажным звукам ночной гостиницы: где-то в глубине этажей, точно в дальнем отделе сонного мозга, гомонили голоса, изредка лифт ходил в своей зарешеченной шахте, побрякивая, будто поднимаемое из колодца тяжелое ведро. Время стояло, объемля их тела, будто остывающая ванна; иногда душа Крылова сильно вздрагивала, словно бы в предчувствии удара пули, в предощущении того, как в груди у него разобьется и рухнет лавиной осколков какое-то темное зеркало. Все-таки потихоньку светало, по коридору начинали ходить неизвестные люди. Любовники поднимались, разбирали, передавая друг другу, мятую одежду, из которой сыпались монеты и якорем падала под ноги связка ключей. Крылов провожал Татьяну, свирепо зевающую и шевелящую очками, до ближайшей остановки общественного транспорта и жил оставшийся день с тяжелой головой, топором валившейся на грудь.

Интересным был вопрос об отношении Татьяны к соглядатаю. Он мог, например, оказаться частным детективом, которого нанял неискоренимый муж, чтобы убедиться в неверности жены. Однако фигура супруга все больше начинала походить на собирательный образ, составленный из нескольких мужчин, прошедших через жизнь Татьяны кто вдоль, кто поперек. Соблюдая условия эксперимента, Таня почти не говорила о себе, Крылов же мог судить об этих коротких мужских траекториях лишь по

косвенным признакам. Крылова не оставляло чувство, будто он в одиночку противостоит фантомному существу со множеством жизней, которому все его предшественники отдали лучшие качества, — тогда как он, вызывающий раздражение Тани то невинным анекдотом, то манерой вкручивать окуроч в переполненную пепельницу, перенял, напротив, качества худшие.

Тем не менее было сомнительно, чтобы эти бывшие мужчины коллективно наняли частного с целью лучше изучить новичка. Если же супруг все-таки был реальным человеком — возможно, имеющим мало общего с тем продуктом воображения, который представлял собой от его имени и, подобно газу, занимал весь предоставленный ему объем, — то столь упорная слезка, давно не дающая новой информации, могла объясняться разве что паранойей с изрядной примесью мазохизма. На прямой вопрос, понимает ли она, откуда взялся и какую цель преследует шпион, Татьяна отвечала недовольной гримасой, как будто Крылов сморозил бог знает какую глупость. Перед нею было вообще нелегко ставить прямые вопросы: все равно что с разбега биться о глухую стенку. Но к соглядатаю она при этом не была сурова. Видимо, толстяк своим присутствием запускал в Татьяне какие-то механизмы принудительной вежливости: она учитывала его как третьего в компании и даже побуждала Крылова считаться с его хозяйственными нуждами. По ее настоянию они, бывало, дожидались соглядатая, если тот задерживался на оптовке или в какой-нибудь ремонтной мастерской, — причем однажды не дождались, протоптавшись полчаса у входа на рынок возле железных клеток с помятыми арбузами, булькавшими на солнцепеке, будто горячие грелки.

Исчезновение из виду было отдельным талантом, которым соглядатай, по всей вероятности, был наделен от природы. Когда наступал конец его рабочей смены, мужчина как бы вежливо сторонился, уступая свое место

в пространстве подходящему по массе прохожему, и ускользал в воздушную дыру. Соглядатай словно издевался над самой идеей мыслить о нем логически. Хоть он и казался порождением крыловского мозга, Крылов понимал, что не мог его полностью придумать. Соглядатай ел, пил, оставлял после себя неопрятные, мокрые от пива натюрморты. Материальных свидетельств его наличия было более чем достаточно: даже закончив работу и пропадая из виду, мужчина иногда ронял негабаритный громоздкий пакет, видимо не проходивший в узкую пространственную щель.

Крылова беспокоило, что он не мог определить, когда мужчина появился впервые. Ему казалось, будто шпион всегда маячил где-то поблизости, а Крылов, напряженно ждавший опасности со стороны организованных в группы ментов и бандитов, почему-то его не замечал.

Всеприсутствие шпиона в свою очередь порождало мысль о его всеведении. Встречаясь взглядом с белесыми, словно подмороженными глазами негодяя, Крылов не обнаруживал в прошлом уголка, где был бы от шпиона защищен. Всеведение соглядатая — разумеется, мнимое, но при этом все более несомненное — превращало мужчину в карикатуру на то Всеприсутствующее Существо, чей замысел Таня и Иван так упорно подвергали проверке. От кощунственной мысли, будто клоун послан им как представитель Верховной Инстанции, у Крылова неприятно сдавливало дух. Одновременно только этим можно было объяснить наличие у шпиона некоторых сведений: почему-то мужчине становились известны адреса свиданий, он являлся туда и скромно ждал в тени назначенного дома, принимаясь к своему букетику, похожему надохлую птицу. Иногда, если Таня и Иван терялись среди извилистых дворов в поисках нужного номера, он издали делал им приветственные жесты и даже слал, печатая их с невероятной скоростью, воздушные поцелуи — после чего предо-

ставлял прибывшей паре ознакомиться со строением, держась в сторонке с видом агента по недвижимости, продающего данную жилую башню или заселенный голубями торговый сарай.

Все-таки Крылов был склонен видеть в соглядатае рефлекторную реакцию среды. Рифейский опыт подсказывал ему, что, если некто бросается бежать, рядом непременно найдется индивидуум, которого сверкающие пятки соблазнят ломануться в погоню, не имея на то ни малейшей причины, а просто так, из желания настичь и испробовать на ощупь подвижный предмет. Точно так же если кто-то скрывается — найдется и тот, кто станет его преследовать.

Крылов по-прежнему поддерживал равновесие с миром, возвращая то, что из него получил. Выйти в ноль получалось не совсем: Крылов не знал, к примеру, как возратить действительности смерть Леонидыча. После гибели мастера Крылов решил, что чувства человека есть плод его воображения. Теперь он усомнился — так ли это? Если взглянуть на Таню объективно (а она, как всякая женщина, не выносила этих объективных взглядов и вся становилась как терка, покрываясь жесткими мурашками), то в ней самой не было ни особой сексуальности, ни исключительной красоты. В ней и правда не было ничего такого, что объясняло бы жажду Крылова видеть ее, мучения, когда она отсутствовала. Тогда откуда оно взялось? С какой луны свалилось? Вот загадка, которую Крылов желал бы разрешить — в сущности, желал не меньше, чем быть с Татьяной. Возможно, то была атака среды, заставившая Крылова бежать от действительности в Зазеркалье — впервые бежать от противника, с которым он привык рассчитывать его же монетой.

Должно быть, чувства, будучи предметами роскоши, облагались налогом, каковой шпион и взыскивал не совсем понятным способом. Вероятно, реальность в свою очередь платила Крылову его же валютой: когда-то его са-

мого, принимаемого в камнерезке за подсаженного инвестором тихого соглядатая, называли «налоговой». Мысли о полуподвальной мастерской (нынешняя располагалась буквально рядом, через два двора, но будто бы в другой стране) вдруг пробуждали в памяти живые мягкие толчки: казалось, вот-вот само вспомнится что-то важное о соглядатае, всплывет какая-то первая встреча. Мастерская служила приманкой для этого изначального образа, с которым нынешний шпион никак не мог соединиться. Образ ходил в глубине подсознания, теребил наживку, но срывался с крючка, едва Крылов пытался его подсечь. Крылов догадался, что забывает вместо того, чтобы вспоминать. Раз, сокращая путь, он пробежал мимо окон бывшей камнерезки, замшелых, точно старые колодцы, и на минуту увидел, как за ветхими стеклами, покрытыми зеленой пылью, вспыхнул свет и сразу же погас. Крылову почудился в том предупреждающий знак: он понял, что усилия выловить шпиона в собственном прошлом опустошают мозг.

Тогда он сделал усилие и приказал себе отбросить всю метафизику. Рассуждая логически, незванный гость мог присутствовать на празднике либо со стороны невесты, либо со стороны жениха. Некоторая возможность, что это Таня тащит за собой столь прочно прицепленный хвост, все-таки оставалась, Крылов не собирался упускать ее из виду. Но если не прятать голову в песок, то именно в его судьбе имелся человек, у которого были и мотивы, и финансовые возможности нанять детектива, чтобы знать о жизни Крылова больше, чем тот хотел предъявить.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Стоило взглянуть на особняк Тамары, похожий на маленький вокзал, или побывать в ее центральном офисе, где поступающий из контейнеров импортный швейцарский воздух замораживал ноздри на манер кокаина, — становилось понятно, что она могла нанять шпиона и пошкарнее: какого-нибудь красавца с крепким подбородком и саркастическим ртом, одну из расплодившихся копий голливудского актера Ника Лейси, шестнадцатого Джеймса Бонда. Вряд ли ее устроил бы толстяк, столь мало похожий на агента, в роли агента. Уж она бы нашла наиболее качественное предложение — вернее, то, что **в ы г л я д и т** как высшее качество.

Всегда старавшаяся делать все наилучшим образом, Тамара последовательнее многих соблюдала цивилизационный принцип: человек либо продукт есть то, на что он похож. Для подбора своего персонала она устраивала кастинги, в результате чего жизнь в ее особняке и в ее конторе напоминала телесериал. Глядя на ее секретаршу — сухую девицу в узком костюме и с пробором как тонкая карандашная линия в гладких волосах, — всякий сказал бы, что это именно секретарша; старший менеджер отличался от младшего менеджера лучшей шлифовкой стандартного лица, брендом аксессуаров и более дорогим отливом дву-

бортных пиджаков. Тем не менее могла существовать причина, по которой толстый клоун получил у Тамары непыльную работу; возможно, он сумел убедить ее в своих исключительных способностях с помощью какого-нибудь фокуса вроде исчезновения прямо посреди ее кабинета и возникновения на одном из семнадцати эталонных альпийских лугов, откуда забиралось настоящее на хвое и травах, идеальное по своему составу воздушное сырье.

Мотивы, по которым Тамара могла нанять для слежки за Крыловым частного сыщика, были сложного свойства. Их брак, четыре года как расторгнутый, отбрасывал тень, и очень длинную. Он как бы перешел во вторую стадию развития: началось основное действие драмы, для которого первое с его простыми радостями и понятными ролями служило прологом. Тамара решительно отказывалась признать, что брак отличается от иных близкородственных отношений хотя бы тем, что жена выбирает мужа, а муж выбирает жену, что двое даны друг другу не навсегда. Она настаивала на том, что между нею и Крыловым существует связь более высокая, нежели та, что расторгается гражданским судом, — да и Крылов понимал, что в день развода их отношения никак не завершились. Он знал, что до расставания надо дожить, надо его себе заработать.

Пока же для Тамары потеря Крылова стала бы такой же драмой, как для режиссера потеря зрителя и для писателя — потеря читателя. Крылов был ее аудиторией, смыслом работы над формами жизни. Без него вся эта впечатляющая видимость, от чинных деловых переговоров до праздничных приемов с камерным квартетом и смычковым, в такт исполняемой музыке, движением вилок и ножей, становилась ни для кого — разве что для Бога, веры в которого не было ни малейшей.

Поэтому Тамара старалась, как могла, удерживать Крылова. Она безошибочно чувствовала, что для него ее состоятельная жизнь (напоминавшая на трезвый взгляд музейную панораму с подлинными вещами на первом плане

и с нарисованным фальшивым горизонтом) была единственно достижимой копией недостижимого оригинала — какого-то волшебного мира, где сбывается для человека его необычная судьба. Когда-то, в старших классах гимназии, им было так замечательно вместе, что хотелось друг с другом всего, чем живут о б ы ч н ы е взрослые пары: она мечтала гладить его мужские грубые рубахи, он обещал возить ее по воскресеньям в супермаркет на таком, как у соседа, красном «жигуле». Это продолжалось недолго — и она, конечно же, мечтала больше, потому что игры «в дом» интересны для девочек. Что касается юного Крылова, то для него очарование убожества, в каком проходит пролетарская, украшенная телевизором семейная жизнь, было возможно только через Тамару и завершилось резким протестом — рискованной вылазкой на Кривые Столбы, где Крылов, не имея серьезной скальной подготовки, едва не сорвался с козырька, под которым на высоте пятнадцати метров держалась каким-то странным чудом совершенно целая, абсолютно неподвижная могильная тень.

С тех пор Тамара всегда учитывала ужас перед о б ы к н о в е н н о с т ь ю, который Крылов не умел как следует прятать и который до Тамары ему никто не прощал. В действительности чувство, заставлявшее Крылова содрогаться при виде п р и л и ч н о одетых, разбитых на пары сограждан, было посильнее того обливания мертвой водой, которое он испытал на Кривых Столбах, когда из-под его ботинка скакнул угловатый каменный кусок и, тюкая, распарывая сосны, устремился в бездну. Умница Тамара моментально все сообразила. И теперь, спустя пятнадцать лет, Крылов подозревал, что многие ее устроения, начиная от похожей на карету гигантской кровати и кончая неподвижным, как автопокрышка, крокодилом, обитающим в специальном илистом бассейне, делаются для него, чтобы иллюзии его не иссякали.

На самом деле Крылов хотел ее видеть, скучал по ней и не знал, как с этим поступить. За время, когда разви-

валась история с Таней, переменившая Крылову не только сердце, но и имя, он виделся с Тамарой только трижды. Два посещения он совершенно не запомнил, а в конце июня сопровождал ее, борясь со скукой, на открытие выставки непонятно чего: не то современной скульптуры, не то новейших кухонных комбайнов — в общем, каких-то предметов в пузатых витринах, к которым публика подплывала и глядела на них с выражением аквариумных рыбок, в то время как счастливый автор экспонатов целовал Тамарины пальцы странно расплюснутым ртом, напоминая перемятый пластилин. Впрочем, все выходы с Тамарой были примерно такого же качества. Крылов безропотно выполнял свою мужскую светскую повинность, в летние месяцы, на счастье, сильно облегченную. Иногда Тамара звонила ему в мастерскую, зная уже, что бессмысленно дарить Крылову мобильники, которые тот ощущал как ее электронные метки и, не желая быть достигаемым, бросал очередной оснащенный видеосвязью Samsung в захламленный ящик рабочего стола на произвол желающих его украсть.

Подсознательно Крылов воспринимал все ее элегантные, расчетливо-сентиментальные подарки как шпионскую аппаратуру — даже если это была, к примеру, забавная пивная кружка или скульптурная свечка, навсегда сохранившая девственным свой белый шелковистый фитилек. Крылову нравилось, что перед Тамариной машиной денег и возможностей он стоит непроницаемый, как гладкая стена. Тут не было абсолютно ничего против самой Тамары: всего лишь спортивная задача удержания напора и веса, характерная для Крылова борьба с превосходящими силами среды. К Тамаре он при этом относился с нежностью и порою чувствовал вину, что не может воплотить ее полуосознанный проект: провести, к примеру, одинокий вечер перед зажженной свечой, глядя на слезливый вертикальный огонек и вспоминая что-нибудь романтическое — первую Тамарину шляпку, купленную вместе на

дешевой распродаже, или отпуск в Италии, лошадиный ход гондолы по зеленому каналу, маленький поезд, бегущий словно по балконам сросшихся домиков ступенчатого городка, ночи, с привкусом дегтя черное вино.

Если задуматься, то все Тамарины дары содержали в проекции изрядную долю чисто женской невинной пошлости. При этом сама Тамара в отличие от набранных ею на службу добротных актеров была настоящей. Вокруг нее ежедневно творилось хорошо поставленное, хорошо оплаченное действие, но сама она не имела роли в собственном спектакле. В результате дом ее производил впечатление странной пустоты, которую не могли заполнить ни полтора десятка занимающей все участки, безупречно согласованной прислуги, ни массивная мебель на красных полированных лапах, ни орды гостей, активно дополняющих интерьеры следами своего присутствия. Казалось, что под потолками остается слишком много места, слишком много пустого воздуха — словно для ангелов или для целого вороха мелких щебечущих птиц. Крылов был рад, что особняк приобретался, когда он, разведенный муж, уже не числится в предполагаемых жильцах. Иначе у него болела бы душа при мысли, что он, забрав себя — себе, способствовал этой опустелости, неуюту личных Тамариных апартаментов. В ее распоряжении имелись две огромные спальни с высоченными окнами и совершенно одинаковым видом из этих окон на красные дорожки новенького парка; два домашних офиса — выставки последних достижений Microsoft'a с тончайшими линиями пыли по периметру каждого предмета; две обширные ванные комнаты, где джакузи, раковина, унитаз и биде, снабженные большим количеством приборов, напоминали стоящие в гараже разные виды гоночной техники. Парность помещений как бы смягчала для хозяйки факт, что она живет одна; на самом деле одиночество удваивалось, и горничная-негритянка, классическая толстуха с губами-свеклами и в белом тюрбане, сокрушенно

вздыхала, сдирая с широкой кровати холодное, как снег, несмятое белье.

Среди своих актеров Тамара неизменно выглядела лишней, как если бы на сцену затесался кто-нибудь из публики: по каким-то неуловимым признакам было видно, что она и з ж и з н и. В отличие от правильного персонала Тамара не была типичной бизнес-леди, то есть не подражала супруге президента РФ Дарье Орловой, напудренной старухе с лицом фельдмаршала, носившей погоны, накладные карманы и безупречный жемчуг максимального калибра. Если она на кого-то походила, то на божество — египетское божество с высоким плечистым человеческим телом и пронзительно-зрячей птичьей головой. Ее отличала фараонова осанка, склонность к прямым углам в посадке, в жестах, в отношениях с людьми; когда Тамара клала скрещенные руки себе на плечи, ее большая грудь казалась лишней в том серьезном мире, куда устремлялся взгляд ее роскошных глаз, подведенных до самых висков и напоминающих какие-то священные значки. Не только Крылову, но многим представлялось, будто на ее лице, как на папирусе, буквально написано нечто нерасшифрованное. В сильных и мягких жилах Тамары смешались татарская, русская, польская кровь с неустановленной — и незаконной — добавкой чего-то турецкого или иранского. В результате таинственных реакций, которым незаконная примесь, вероятно, послужила катализатором, получилось нечто несводимое к ингредиентам: женщина новой национальности, Ева без Адама, пока — отчасти по вине Крылова — не родившая детей.

Крупное тело Тамары, длиннорукое, длинноногое, с мужским строением бедер и странной примитивностью очертаний, обладало неженской физической силой. Можно сказать, что эта сила выходила за рамки человеческой нормы. Школа-гимназия, в которой учились юная Тамара и юный Крылов (Тамара на два класса старше), возрождала традиции советской педагогики и практиковала

шефство отличников над отстающими, с тем чтобы продвинутые гимназисты натаскивали болванов по трудным предметам. Тамара, лучше многих успевавшая по математике, шла к результату кратчайшим путем: не тратя слов на пробуждение сознательности, лупила подшефных стопами учебников по крепким головам, а случалось, и разбивала носы, после чего воспитуемые, схлебывая юшку, уже не возражали против графиков элементарных функций. За повторные двойки подшефные получали отдельно и в случае чего старались не попадаться, покидая школу через окно мужского туалета, доверяя свои молодые жизни шаткому колену водостока. Все уважали мощь Тамариных затрещин, точно на ладони у нее лежала золотая плита: вес этого золота каким-то образом вправлял балбесам их тугие защемленные мозги. Отметинами Тамариного воспитания по-своему гордились и показывали друг другу цветные синяки как доказательства ее необычайной крутости, в которой и так никто не сомневался.

Нашелся, однако, второгодник по фамилии Зотов, не захотевший получить положенное за неуспеваемость по алгебре. То был коренастый мальиш с низко надвинутым лбом, словно кто добавил грубому изделию лишнюю лопату материала, с какой-то неотвязной думой на странно сдавленном лице; на самом деле мыслить он не мог, с чем в свою очередь не желала смириться упертая математичка. Привлеченный конским грохотом падающих стульев, Крылов заглянул в кабинет математики ровно тогда, когда Тамара и Зотов покатались по полу, норовя боднуться вздувшимися лбами. То, что Крылову удалось прыгнуть на болвана и предоставить Тамаре возможность уложить подшефного мордой в учебник, позволило ему почувствовать себя мужчиной; то, что обиженный Зотов побежал к Терентьеву, уже всю быковавшему в супермаркете «Восточный», не имело особых последствий, потому что Терентьев сделался ленив, а Зотов, будучи слишком тупым даже для простейшего бандитского наезда, ценности собой не представлял.

Боже мой, как далеки и чужды сделались Крылову бедные Ритка и Светка, зайчики-сестрички, тихонько полнеющие в своих сексуальных одежках, тихонько грязнеющие на подвальном продавленном диване, заляпанном, будто голубиным пометом, мальчишеской спермой. Тамара разрешала Крылову расстегивать верхние пуговицы синей форменной рубашки и ходила с ним в кино, где они поедали горячий попкорн и целовались солеными губами под грохот голливудского блокбастера. Безумно хороша была вскипевшая повсюду персидская сирень, чьи торчащие гроздья напоминали упругостью девичьи грудки, — и ее совсем не убывало, даже когда Крылов наламывал под носом у бледных ночных милиционеров огромный холодный букет. Куда оно теперь ушло — все это удивительное, новое, ни от чего не убывавшее? Предвидел ли Крылов, что Тамарина привычка достигать результата кратчайшим способом, не затрачиваясь на установку в чужих мозгах необходимых драйверов, и станет сутью ее железного характера? Кризис предельных упрощений — вот что случилось с ней на середине жизни, и с этим не всякий смог бы справиться. И вот теперь она раз в неделю звонила Крылову в мастерскую, сидя на краю своей громадной, ртутным шелком застеленной кровати, над которой висела пустота.

* * *

Последний телефонный разговор с Тамарой совершенно выпал у Крылова из памяти. Точно так же он не помнил последнюю встречу: ездил ли он к ней на воскресенье в особняк или они сидели в одном из тех наглухо отрезанных от мира ресторанов, где каждое блюдо стоит как покупка в ювелирном магазине и где над бутылкой вина хлопочут как над новорожденным младенцем. Видимо, Крылов и вправду был слишком переполнен про-

исходящим с ним, все лишнее плескалось через край. В результате нить общения была потеряна, и Крылову, набирающему номер, вдруг представилось, что и Тамару он потерял в одном из запутанных снов наяву.

Она, однако, отозвалась немедленно, и голос у нее звучал как веселый:

— Приезжай сейчас, я в областной больнице, к моргу надо заезжать с Папанина, там такие зеленые ворота с козырьком. Мы тут работаем, устанавливаем стенды. В семь у меня телевидение, прямой эфир у Мити Дымова. Между тем и этим два часа, я дарю их тебе. Поедем в «Сошку», расслабимся чуть-чуть.

— Мне не до клубов, у меня к тебе серьезный разговор.

— Не волнуйся так, я закажу отдельный кабинет.

В автомобиле — древнем «плимуте», из тех тяжелых, странных колымаг, что стадами мигрируют в Россию под давлением мировых экологических стандартов, — Крылов еще раз поразился тому, что у Тамары и в мыслях нет когда-нибудь с ним расстаться. Это у него, Крылова, стоит в уме идея расставания как особого **н е о б х о д и м о г о** события, а Тамара искренне считает, будто их отношения могут и должны продолжаться всегда. «Плимут», лупящийся от старой краски, как пасхальное яйцо, тем временем дошаркал в треске гравия и в клубах наперченной пыли до зеленых металлических ворот, где стояла на высоких ножках новенькая электронная реклама: «Фирма «Гранит». Ритуальные услуги европейского качества. Мы любим наших клиентов». Охранник, заранее предупрежденный, надавил на пульт, ворота, содрогаясь, поехали вбок, и «плимут» перевалил на территорию, где ослепительные, словно облицованные рафинадом корпуса Четвертой областной глядели всеми окнами на маленький морг, на черную гудронную крышу с горячей и радужной лужей от летних дождей. У плоского крыльца покойницкой реклама повторилась, отдельной панелью стояло сообщение: «С 20 июля по 10 августа скидки 30%». Здесь вовсю кипела работа: трое

в спецовках раскатывали моющийся синтетический газон, то и дело сцеплявшийся щетиной в крепкие, еле раздираемые складки — что было общеизвестной проблемой подобных газонов; двое других, сложно разворачиваясь в двойных застекленных дверях, вынесли из морга огромный и мутный аквариум, где, подобно окуркам в банке с водой, болтались опухшие рыбки и плавали скользкие призраки растений; неуклюже раскачав весь этот квас, рабочие ухнули его на куст, с которого вместе с пенной гнилью потекла, размываясь, жирная пыль.

Знакомый секьюрити, в профессиональном остолбенении бдивший на крылечке, очнулся, скатился, откупорил Крылову раскаленную, как противень, переднюю дверцу и сунул водителю, вытиравшему потные руки клетчатой тряпкой, пару бумажек по сотне рублей. Куст, получивший душ, испускал широкий пьяный запах воды, под ним трепетали ожившие рыбки, другие, издохшие, были будто рыбные консервы.

— Расчищайте место! Барахло тащите на крыльцо! Руки из какого места растут?! — орал на работяг осипший администратор, квадратный маленький мужчина с лысиной как пионерский барабан, то и дело теснимый мебелью к стене.

Внутри Крылов немедленно увидел Тамару, руководившую установкой гроба. Оживленная, растрепанная, в изящном светлом костюме, под которым скромно рисовались белые, как голуби, чашки бюстгальтера, она помахала Крылову рукой, что означало подождать. Он сел на подвернувшийся стул, принял от бледной, резко пахнувшей дезодорантом секретарши охлажденный чай. То, что происходило перед ним, было совершенно в Тамарином стиле. Помещаемый на подиум дубовый гроб — дорогой презентационный экземпляр — был элегантен, будто кабинетный музыкальный инструмент; прочие гробы демонстрировались на мониторе в виде компьютерной графики, с которой еще возился, встряхивая лоша-

диной гривой, штатный Тамарин программист. Исполнительный директор «Гранита», честный труженик из бывших бандюков, сноровисто плотничал, то снимая, то опять надевая через голову грязную майку, не гася при этом гнутой папиросы. Девушки из головного офиса бегали туда и сюда, таская высоченные и тряские хвойные венки, украшенные нарядно, будто новогодние елки; женщина-оператор, которой предстояло работать с клиентами и продавать им всю эту красоту, сосредоточенно листала прайсы и время от времени оглядывалась ошарашенно, точно проснувшись в незнакомом месте. Мимо пронесли метровые стеклянные банки, испускавшие резкий запах формалина: бледные хлопья какой-то органики кружились там, взбаламученные изъятием предметов, содержащихся в сосудах, вероятно, не один десяток лет.

Крылов догадался по размаху работ, что ждать придется минимум час. Время от времени Тамара, пробегая мимо, чмокала его в покрытый испариной лоб. Иногда в конце темноватого аппендикса открывалась высокая дверь, за которой Крылов успевал заметить ряды высоких цинковых столов. На дальнем от выхода столе он видел желтого покойника — бывшую женщину, круглым животом и вытянутыми ногами напоминавшую лягушку. Вместе с холодом и липким запахом из дверей появлялся, выбивая из пачки сигарету, маленький патологоанатом; брызги на его измятой сатиновой робе подавали Крылову идею, что соки мертвого человеческого тела более всего похожи на соки насекомого.

Удивительно, как Тамара увлеклась своим сравнительно новым бизнесом, начавшимся года полтора назад с покупки «Гранита» и расширенного теперь до комплексного контроля над четырьмя наиболее перспективными городскими кладбищами. Наблюдая за ней, вдохновенно дирижирующей улучшением морга, Крылов с удовольствием видел, что она буквально ожила, на щеках ее под рыжеватой пудрой заиграл естественный румянец. Биз-

нес сделал то, чего не достигали инъекции омолаживающих чипов, плававших в Тамариных жилах, будто музыка на архаической магнитофонной пленке. Возможно, Тамарина кровь, соединившая слишком много компонентов, не читала программы, несомой невидимыми микрокомпьютерами, возможно, женщина новой национальности была недоступна воздействию процедур, только-только появившихся в самых прогрессивных клиниках красоты. Так или иначе, Тамара прилетала из Швейцарии не столько помолодевшая, сколько опухшая, с информационными процессами под навощенной кожей, силящимися повернуть биологическое время вспять и образующими как бы подобие подкожного мозга. Теперь же, несмотря на недавно принятый курс и еще заметные уплотнения на увеличенном лице, она светилась жизнью и буквально вспыхивала улыбкой, на которую даже недовольный патологоанатом, обходивший стороной чужую команду, отвечал желтоватым оскалом. Даже двое родственников в черном — сыновья либо братья женщины на цинковом столе, долговязые и лысоватые, как два костлявых колена, удерживаемые секретаршей поодаль от дверей в разделочную, — даже они невольно расплывались и слабо мерцали с ветхого диванчика, к которому то и дело подступали рабочие, чтобы вынести его на помойку, но не решались взять вместе с мебелью непредусмотренный груз.

«Ей и мертвый улыбнется», — говорил про новую хозяйку бывший владелец «Гранита», постаревший мужчина в шкиперской бородке, некогда соблазнявший Крылова творческими перспективами бандитских некрополей; Тамара, ценя разветвленные связи в трех районных администрациях, оставила его при деле младшим компаньоном. Мертвые не мертвые (гримеры в «Граните», кстати, были превосходны и умели придать замороженным ртам нежный, как перышко, мечтательный изгиб), но от родственников, понесших утрату, Тамара умудрялась добить-

ся радости, применяя методы едва ли не насильственные. За время реорганизации фирмы Крылов навиделся этих родственных улыбок: неуверенных, расшибленных, проступавших будто пятна крови сквозь медицинские повязки, — но и самых обычных, житейских. Он наблюдал, как в заплаканных женских глазах, похожих на залитые водою пепельницы, вдруг начинало светиться благодарное безумие; видел, как всхлипывали и кланялись, свешивая медали, крепкие на вид пенсионеры, как прошибало их уведомление о бесплатных гробовых обивках и льготах на катафалки.

Тамара и правда делала для клиентов гораздо больше, чем требовала конкуренция — кстати, весьма условная. Бизнес ей достался как по волшебству — то есть так, как обычно достается бизнес кругу персон, допущенных к тому или иному начальственному телу — вполне еще живому и прекрасно одетому, испускающему энергию власти похожим на бутоньерку шелковым пупком. Криминальные структуры не успели охнуть, как едва ли не во всех городских больницах, имевших при себе, естественно, морги, образовались представительства «Гранита» — скромные офисы, скорее даже киоски, предлагавшие самые привычные, десятилетиями не менявшие дизайна похоронные товары: траурные венки искусственной хвои, сплетенные будто из кошачьих хвостов, гробы, обитые ситцем, с кружевами точно на ночных рубашках, носовые платки и вафельные полотенца, восходящие своей убогостью едва ли не к быту послевоенных сороковых. У криминальных структур, справедливо полагавших похороны частью своего производственного цикла, возникли по этому поводу вопросы — но все закончилось, даже не начавшись, братки внезапно сделали вид, что их не существует.

А у Тамары, бывшей до этого стандартным участником стандартной деловой активности (загородное строительство, торговля стройматериалами, интернет-магазин

кредитов и ценных бумаг), вдруг образовалась индивидуальность, которой от нее никто не ожидал.

— Я враг смерти, — заявила она в интервью рифейской вкладке русского COSMO. — Я не желаю, чтобы смерть выходила за свои естественные рамки. Те, кто хоронят близких, живы. Мы работаем, чтобы нашим клиентам было хорошо.

— Что вы ответите людям, которые называют вас кошунствующей сукой? — поинтересовалась корреспондентка всех рифейских глянцевого изданий, крупная девушка с прической как цветок репейника, известная читателям под нежным именем Аленка.

— Я их пошлю куда подальше, — ответила Тамара в Аленкином стиле. — Во всем мире у людей два дорогостоящих события: свадьбы и похороны. Самые большие деньги люди платят за ощущения. Эти ощущения должны быть позитивными. Мы — фирма ритуальных услуг и всего лишь улучшаем то, что существует всегда и везде.

Последнее утверждение, однако, не соответствовало действительности. Тамара будоражила рифейскую столицу именно тем, что меняла форматы события, которое рано или поздно приходилось оплачивать каждой семье. Она в одиночку покушалась на тот рутинный способ расставания с мертвыми, что выработался кое-как у всех современных горожан: способ убогий, но предоставляющий п р а в и л а, которым можно было просто следовать и чувствовать себя исполняющим последний долг. Никто не дерзал модернизировать индустрию, где весь реквизит, дорогостоящий или дешевый, сплошь состоял из китча. Ни в какой другой человеческой сфере не могла бы удержаться вся эта восковая цветастость, эта припомаженность и позлащенность — словом, мещанская лавочка, испытавшая в России сильное влияние тюремного искусства. Люди продвинутые, более нигде бы не потерпевшие крашенных цветиков и пухлого атласа, здесь безропотно были к а к в с е — ощущая неуместность не

только личного вкуса, но по большому счету и собственного скорбного присутствия. Здесь соглашались на общепринятое, лишь бы ничего не выдумывать самим — потому что выдумать что-то у л у ч ш а ю щ е е ситуацию потери близкого человека было невозможно. Любое проявление самостоятельности означало почти непомерную ответственность. Слишком темна была область, где приходилось совершать некие земные действия, слишком сильную боль причиняли самые мысли чего-то недодать покойнику, в котором страшнее неподвижности и бездыханности было отсутствие желаний, каких бы то ни было т р е б о в а н и й после того, как пришлось исполнить тяжелую работу, а именно — умереть. Словом, погребение было едва ли не единственной процедурой человеческого обихода, где никто не хотел перемен. Только Тамара, сумасшедшая сука, вдруг решила все улучшить, причем начала не с формы, но нацелилась непосредственно в суть.

В несчастье — главное вещество ритуала — она имплантировала элементы счастья и сделала это простейшим способом: в «Граните» действовала лотерея. Клиенты, внесшие задаток, могли запустить прозрачный барабан, где, словно яйца в кипятке, клокотали белые шары: довольно часто на лоток выкатывался тепленьким с ч а с т л и в ы й номер, по которому его обладатель мог получить бесплатный памятник с голограммой покойного или, к примеру, поминальный обед на пятьдесят персон в ресторане «Рифей». Некоторые представительства «Гранита», еще не вполне оснащенные, обходились вместо барабана глубоким, как штанина, бархатным мешком, откуда однажды нищая вдова в траурном платье, наспех перешитом из пальто, достала генеральный выигрыш: реабилитационный отдых на Карибах для трех человек. Телевидение не раз снимало и клиентов, и барабан с веселыми шарами, брало у счастливицков блицинтервью, на которое одни соглашались и, пьяные от горя, рассыпались в благодарнос-

тях «Граниту», другие резко отходили прочь. Пресса рифейской столицы подвергала деятельность Тамары острым комментариям, журналисты изощрялись в остроумии, очень довольные г л у п о с т ь ю объекта и легким случаем продемонстрировать свою свободу от денежных мешков.

Действительно, лотерея в морге, как и прочие Тамарины затеи, выглядели фарсом, в лучшем случае наивностью жизнерадостного бизнеса, не отличающего крови от кетчупа; вот только глупой Тамара не была. Ни один из бойких журналистов не понимал ее метафизической задачи. Никто не чувствовал, например, чем ее попытки отличаются от телешоу Мити Дымова «Покойник года» — энергичного действия с двуспальными гробами и гирляндами танцующих девиц, представлявшего собой как бы дружеский шарж на Тамарину фирму, хотя на деле Митя усердно обслуживал губернатора и, соответственно, хамил федеральному наместнику со свойственной Мите детской улыбкой, сверкавшей в студии будто шаловливое зеркальце. Словом, вокруг Тамары сгущалась атмосфера веселого скандала и тихой подспудной неприязни — она же упорно испытывала, как обжигает крутой кипяток лотерейного счастья обнаженные души.

Испытания были небезопасны. Часто результаты оказывались противоположны ожидаемым: какая-нибудь клиентка могла держаться с нерушимым спокойствием и педантично обсуждать с оператором пункты договора, но стоило ей получить от фирмы кофемолку, как с ней случалась истерика. Однажды отец погибшего в пожаре малыша, очень бледный и совсем отсутствующий мужчина, сам причесанный, точно покойник, волосок к волоску, вдруг набросился на Тамару, лично вручившую ему какую-то коробку. Как видно, Тамара растерялась, или же безутешный отец оказался безумно силен, но ему удалось обрушиться вместе с нею на ковер, под зазвеневшие венки. Там безумец, пользуясь тем, что секьюрити отошел по-

курить, бестолково давил длинноногое тело, словно пытаясь утопить его в собственном горе. Беспорядочные крики сорвали секьюрити из туалета, безумца оттащили при помощи двух добровольцев, не пожалевших траурных костюмов. Растерзанной Тамаре помогли подняться: она потеряла левую туфлю, укладка из салона «Европа» съехала набок, будто кружевная шляпка. Но она не направилась сразу в комнату отдыха: хромя на оставшейся лодочке, она нахлобучила помятую коробку на отброшенный мужчиной миксер и протянула ему со словами: «Возьмите, вам это нужно» — что было п р а в д о й.

История с несчастным отцом повторила историю с Зотовым; у Тамары на ладони по-прежнему лежала золотая плита, и удар ее был тяжел. Правда ее была конкретна, поступки, вызывающие у публики шок, ничего не символизировали. Однако сотни агрегатов, подаренных фирмой, уже работали на скромных кухнях и покрывались пленкой быта — невыводимыми и бледными свекольными пятнами, кофейной пылью, кругами от посуды. В этом содержался некий не выражаемый иными средствами урок, который люди боялись понимать.

Но Тамара продолжала настаивать. Сообщение о судьбе вдовы, попавшей в рай, ее не остановило. Некоторое время русская старуха в шубе тяжелого жира была достопримечательностью райского местечка; одиноко темнея на длинном зеркале пляжа, поодаль от шумных человеческих лежбищ, она целыми днями только и делала, что глядела в нежную морскую мглу, выискивая там, быть может, подобные себе неподвижные точки, такие же песчинки в моллюсковой плоти пустоты. Кто знает, какие мысли рождались в ее голове, замотанной белым платком? Вскоре разразился тропический ураган, показанный во всех мировых программах новостей: там, среди хлещущих пальм и облетающих туземных сараев, любительская камера поймала поднятую в воздух нелепую фигуру, принятую сперва за корову, но при увеличении оказавшую-

ся человеческой. Более о вдове, как и о трех десятках других туристов, не было никаких известий; однако Тамара отказалась увидеть в этой райской смерти дурной запретительный знак.

Похоже, она ожидала от своей работы какого-то чуда. Раз Крылов застиг ее за занятием, напоминающим стирку. Тамара что-то делала руками в дубовом полированном гробу — медленно исследовала этот посылочный ящик и словно пыталась погрузиться по локоть в потустороннюю среду, достать с того света какую-нибудь затонувшую вещь. Выражение ее красивого лица заставило Крылова вздрогнуть: оно было точно таким же, как у клиентов «Гранита», когда они, зажмурившись, запускали руку в лотерейный бархатный мешок. Гроб, однако, оставался пуст, его наполняла только косая тень, похожая на нежную бумагу, в какую оборачивают, помещая их в коробки, дорогих фарфоровых кукол. Вскоре после этого случая Тамара набрала команду молодых дизайнеров — эстетов нового поколения, не оставлявших на собственном теле ни единого волоса, имевших в облике и в сознании что-то марсианское, — и засадила их за работу неизвестного назначения. Юные мумии творили за закрытыми дверьми, а иногда, пряча от солнца под бумажными китайскими зонтиками свою драгоценную белизну, гурьбой садились в микроавтобусы и выезжали на некие объекты. Крылов ничего не знал — и не спрашивал — о сути работ; но все догадывались, что традиционной эстетике похоронных ритуалов объявлена тайная война.

* * *

Сейчас Крылов наблюдал переустройство одного из главных опорных пунктов фирмы. Новый оператор, тяжелая красивая брюнетка с прической будто горка дерна, по-видимому, являла стандарт, которому предстояло за-

менить разнообразие служащих при медицинских моргах и выразить собою философию «Гранита». Тем из операторов, кто не сумеет подогнать себя под эту материнскую комплекцию, обзавестись шиньоном и таким, как у новенькой, вздернутым носиком в виде улитки, грозило увольнение по какому-нибудь хитрому пункту трудового договора. Крылов догадывался, что многие сотрудницы побегут к пластическим хирургам, лишь бы сохранить за собой завидное место с хорошими чаевыми; даже далекие от типа худощавые девицы, годами сидевшие на модных диетах, теперь накинутся на булки, чтобы набрать недостающие килограммы. Однако брюнетка, победившая стройных претенденток в борьбе за место под солнцем, не выглядела счастливой: всякий раз, когда приотворялась дверь покойницкой, женщина крепко зажмуривалась и цепенела, пытаясь на слух угадать, что происходит вокруг и когда уже будет можно возвращаться к действительности. Карьера в похоронной конторе явно была не для нее; похоже, она теперь была обречена смотреть свои сны зажмурившись. Крылов пытался представить, что именно побудило психолога фирмы принять эту новенькую за эталон оператора. Возможно, наполненность жизненными соками, их тяжесть, густота, замедленное движение в обширном теле вызывали ассоциации с благим плодородием земли, куда уходил от безутешных родственников холодный клиент. Новый элемент мира видимостей, мира подобию без оригиналов, женщина воплощала образ зажиточной крестьянки, собирающей богатый урожай овощей и зерновых, что, учитывая специфику земледелия в «Граните», совершенно соответствовало общему духу фирмы, характеру ее позитивности.

Задумавшись, Крылов едва не прозевал явление на сцене нового персонажа. В мутную от солнца стеклянную дверь, чудом не врезавшись в брошенный шкаф, ввалился бывший владелец «Гранита». Он был бледен от жары, из его морщинистого, как изросшая картофелина, уха тя-

нулся в брючный карман какой-то проводок, левый глаз окружало темное пятно, точно у медведя панды.

— Вы опоздали, Петр Кузьмич, — холодно заметила Тамара, отрываясь от монитора. — Я вас дожидаюсь, чтобы вы меня сменили, а вы, по-моему, где-то уснули.

— Так с цыганами проблема, Тамара Вацлавна! — закричал не своим, а командно-артиллерийским голосом бывший владелец «Гранита», вероятно слушавший плеер. — Сволочи они, цыгане, серьги им, видал, не позолотили!

— Какие серьги, вы о чем? — насторожилась Тамара, берясь за сумку.

— Так на памятнике серьги, жена там одного, видал, барона у нас на Северном лежит! — продолжал кричать, запинаясь в ритме музыки, бодрый старик. — Браслет позолотили, кольца, кулоны позолотили, а про серьги подумали, что это у нее такие кудри.

— И как теперь?

— Увезли в мастерскую, золотят!

— Ну хорошо, — Тамара посмотрела на дисплей мобильного, тактами из Моцарта возвестившего о приеме сообщения. — Странно, что сегодня отменяется эфир. Что-то у них не готово. Зато назначен винный клуб, наш сомелье без меня сирота. Так что не волнуйся, Крылов, целый вечер у тебя не отниму. Так, часочек посидим.

— Ты давай, давай, иди к нам работать! — Петр Кузьмич, провожая хозяйку, заодно огрел Крылова лапой поперек спины. — У нас знаешь теперь какие заказы? Скульптуры! Недавно самого Чингизова вальнули, высекаем его, натурально, в черном мраморе, при нем жена и секретарша, обе позируют, пригласили им одного заслуженного деятеля из худфондовских мастерских. Ты бы лучше смог! У нас покойник пошел — что твой рождественский гусь!

На крыльце Тамара взяла Крылова под руку, и он почувствовал справа привычную волну ее неустойчивой походки.

— Ужасно, правда? — жалобно проговорила она. — Ведь у Кузьмича под глазом фонарь, где он его заполучил? Вот так стараешься, а кругом одни кретины. Велика Россия, а работать некому.

— Ты бы тоже не очень старалась, — заметил Крылов, внимательно глядя под ноги на разбитые ступени. — Кончится тем, что тебя придушит кто-нибудь особо безутешный. Принесет тебя в жертву, как язычник.

— Ну спасибо, предсказал! — засмеялась Тамара, задевая Крылова, будто бортом лодки, мощным и гладким бедром.

— А ты не смейся, я серьезно, — Крылов почувствовал, что ему, как всегда, мешает сосредоточиться на собственной речи терпкий Тamarin парфюм. — Ты отлично понимаешь, что лезешь на рожон. Зачем тебе надо делать все не так, как все? Кому ты что доказываешь? Мите Дымову?

— Дорогой мой, если бы я, как ты изволишь выразиться, не лезла на рожон, то работала бы сейчас у Мити каким-нибудь помрежем. Ай! — Тamarin каблук зацепился за искусственный газон и выдрал оттуда витую, как спагетти, синтетическую прядь. — Что за дрянь вы тут раскатали? — закричала она администратору, немедленно побежавшему к ней с испугом, написанным на лбу, и с разинутым маленьким ртом. — Кто распорядился? Сейчас же уберите!

— Быстро убрали покрытия! — заорал администратор, разворачиваясь к работягам, которые нехотя, словно их тянули назад отвисшие штаны, стали подниматься с бетонных блоков, заросших волосатыми сорняками.

— Ну, ты видишь, какие кадры? — вздохнула Тамара, указывая Крылову на администратора, пытавшегося в одиночку тянуть тяжелое, вздыбившее колючки полотно.

— А может, помрежем у Мити было бы и лучше, — философски заметил Крылов. — Сейчас у тебя все хорошо, а как оно будет развиваться, неизвестно.

— Зануда ты, Крылов, — парировала Тамара. — Зануда и шовинист.

На это Крылов не стал возражать. На них опять, как ни в чем не бывало, снизошла родная благодать семейной ссоры, которую они понесли к машине, будто общее знамя.

Тамарин «порше» — новая дамская модель с лебедиными очертаниями серебряного корпуса и длинными дверцами-крыльями — холодно сиял на пятачке асфальта, расплавленного солнцем до мягкости черничного варенья. Молодая бомжиха в истлевшем розовом платье и грязной, как овощ, оранжевой куртке красила перед зеркалом заднего вида заплывшие реснички.

— Вот опять, — сказала Тамара со вздохом, доставая лазерный ключ. — Почему эти синявочки так любят делать макияж перед моим автомобилем?

— Потому что твоя машина красивая, — предположил Крылов, замедляя шаг, чтобы не напугать нелепое существо. — Синявочек тянет на дамскую вещь. Они ведь тоже дамы, если приглядеться. Бантики, бусики. Ни за что не согласятся быть такими же точно, как их мужики.

Тем временем бомжиха, заметив приближение хозяев, взяла из травы изодранную сумочку, похожую на дохлую летучую мышь, небрежным жестом бросила в нее свою чумазую косметику и удалилась странной тазобедренной походкой, в которой сексуальность мешалась с вином. В ней чувствовался шарм полноправной хозяйки всех отходов цивилизации, особый мусорный шик, какой бывает у молоденьких обительниц дна, раз и навсегда решивших остаться женщинами, но никак не людьми.

— Этой засраночке не больше восемнадцати, — сказала Тамара с какой-то странной печалью, глядя вслед девице, пересекавшей газон по ломкой траектории, напомилавшей линию полета бабочки в траве.

— На вид она старушка, — заметил Крылов, думая о том, что токи молодости, ощущаемые сквозь грязный за-

гар и алкогольную опухоль, чем-то подобны эффекту, который Тамара покупает в Лозанне за большие тысячи евро.

В удивительно ровном холоде автомобильного салона невозможно было представить, как летают мухи; ремень безопасности, поднявшийся коброй в ответ на тяжесть пассажира, эластично зафиксировал Крылова в кожаном кресле. Автомобиль поплыл, как внимательная телекамера, снимающая панорамы, залитые солнцем, будто синеватым лаком; сквозь затемненные стекла «порше» все окна в зданиях казались черными, а листья на трепещущих деревьях были цвета голубино пера.

Тамара, неизменно собранный водитель, не отрывалась от дороги, но глаз ее, блестящий сквозь растрепанные пряди, то и дело скашивался на Крылова.

— Надеюсь, ты успел проголодаться, — произнесла она, легко вальсируя на развороте с призрачной фурой, и Крылов догадался, что она опять волнуется в его присутствии. Этого не было в помине, когда они с Тамарой были женаты; не было и на первых свиданиях, осененных ее святой неопытностью и честной простотой. Теперь же, когда они развелись, стоило им остаться наедине, как у Тамары пресекался голос и руки становились влажными, с сильным запахом мяты.

— Выпьем где-нибудь по чашке кофе, — предложил Крылов, совершенно не стремившийся в «Сошку» с ее огромными пегими блинами и придурковатыми официантами в косоворотках.

— Брось, я тебя приглашаю. — Тамара виртуозно по правому ряду обошла огромный черный внедорожник. — Лично я просто умираю от голода. Надеюсь, мы будем обедать через пятнадцать минут.

Впереди, однако, обнаружилась пробка: множество машин влачило по метру за десять минут, между ними сновали попрошайки, лепившиеся к стеклам «порше», будто синеватые вампиры. Тамара, по-дамски чертыхнувшись, включила приятную музыку, какую всегда умела вы-

бирать сообразно моменту: то был один из ее комфортабельных навыков, почему-то вызывавших в Крылове мгновенную неприязнь. Долговязая нищенка с висевшим на груди истощенным младенцем, похожим на третью за-гипсованную руку, никак не отставала, облюбовав Тамарину машину; в ответ Тамара жестко сосредоточилась на заднем бампере пронирыливой «лады», норовившей заклинить движение, и предоставила Крылова самому себе, что было кстати, потому что Крылов сообразил, что к беседе с Тамарой никак не готов.

* * *

Ее прямота была предметом, крайне неудобным в разговоре; выведать у нее околичностями, не она ли наняла шпиона, не представлялось возможным. Мотив у нее на самом деле был один-единственный: Тамара хотела участвовать в судьбе Крылова, устраивать наилучшим образом его временную, до окончательного соединения с нею, личную жизнь. Тут, несомненно, присутствовал комплекс ее неизжитой вины за того смазливового юнца, перед которым у Тамары вдруг образовались непонятные Крылову обязательства. Юнец тогда носил пуховую бородку и тонкие, колеблемые всяким дуновением локоны до плеч; он был застенчив, большеглаз и стыдливо боролся с прыщами, напоминавшими остатки горохового супа. Многие думали, будто развод случился из-за резкой Тамариной успешности, на фоне которой ее роман с будущей звездой, задним числом признанный светским событием, был совершенно в порядке вещей, а муж-гранильщик, вдруг приревновавший и подавший на развод, выглядел фигурой комической и справедливо упраздненной. На самом деле Тамара, попав в ловушку волоокого мальчика, обживавшего ее пространство с невинностью приблудного кота, честно последовала логике ситуации

и сама инициировала все процедуры. Она была откровенно несчастна перед юнцом, игравшим на ее компьютере и ходившим по дому в ее ангорских свитерах, а у Крылова не поднималась рука на нелепое существо, улыбавшееся ему трусливо и нахально, точно Крылов был классный руководитель, которому на сиденье стула подложена кнопка. Никакими силами нельзя было согнать приемыша с супружеской кровати, где он однажды угрелся в позе цыпленка табака и теперь каждый вечер, в детское время, отправлялся на лежбище, всем желая спокойной ночи и прихватывая с полки приглянувшуюся книжку. Он обращался к Тамаре «Тамара» и «ты»; он входил в столовую, держа ее за руку, а за едой шарахался от горничной, неодобрительно менявшей ему изрисованные соусом тарелки. По каким-то причинам получалось, что приемышу было негде жить — то есть было некуда его отправлять; руины рыжего чемодана с провалившейся крышкой, спасаемые от распада заскорюзлыми ремнями, скромно стояли в холле и содержали, по-видимому, все его имущество. Грубые белые носки постояльца с натоптанными черными подошвами валялись повсюду и создавали впечатление, будто парень бродяжничал по каким-то разбитым проселкам, прежде чем обрел под боком у Тамары долгожданный и милый приют.

В сущности, с Тамарой случилось то, что случается хоть раз со всякой женщиной после тридцати; ее трагическая честность стояла между Крыловым и юным негодяем, как железная стена. Дополнительно Тамара запуталась в неприятной истории, первоначально связанной с отчислением юноши с каких-то оплаченных курсов; она ежедневно звонила по телефону, куда-то ездила, ярко нарисован крепко сжатый рот, платила сама — все никак не могла развязаться, открывались новые обстоятельства, вдруг возникали подозрительные типы в тяжелых драповых пальто, способные стоя ждать по нескольку часов, так что на пол натекала лужа угольной воды. Крылов держал-

ся сколько мог, ночуя в спальне для гостей, где душой помещения были сумрак и пыль; все никак не удавалось поговорить с Тамарой откровенно, отогнав от нее паразита, который льнул, тотчас готовый страшно огорчиться, если его не погладят по голове. Крылов был взрослый человек и мог бы сказать Тамаре, что таких, как этот мальчик, много и всякая женщина хоть раз да попадетсЯ; что на этом жизнь не кончается — в том числе и ее с Крыловым совместная жизнь. Но Тамара не шла на разговор и демонстрировала только одно: решимость платить по счетам.

Иными словами, юнец пересидел Крылова. Но стоило Крылову съехать к матери — все в ту же крошечную квартиру с обветшалыми окнами и множеством мертвых мошек на тусклых плафонах, испускавших скудное электричество, — как буквально через неделю мальчик запросто оставил Тамару ради женщины-продюсера, с которой сумел заговорить на празднике женского журнала и так дошел, излагая свои идеи насчет того, какие бывают люди, до ее особняка. За рыжим чемоданом прислали слугу. Женщина-продюсер, похожая на толстого отличника, с ушами-топориками на мужской квадратной голове, похудела от счастья на четыре килограмма, а потом еще на столько же от лютой тоски.

Так начался разрушительный и славный путь молодого человека, скоро ставшего известным Митей Дымовым. Он побывал домашним питомцем маститого писателя, директора телеканала, нескольких актрис и, наконец, сумел очаровать главу финансово-промышленной группы «Золото Рифея» Павла Петровича Бессмертного, человека серьезного и позитивного, с коричневыми генеральскими усами, никогда не подозревавшего в себе нетрадиционных страстей — и вдруг нашедшего судьбу. Некоторое время Митя пел на эстраде в стиле light — про летние каникулы и милую Наташку; снялся в молодежном сериале в роли крутого угонщика автомобилей, для

чего накачал вполне рельефную мускулатуру; в двадцать шесть начал молодиться — благодаря деньгам Бессмертного выглядел как десятиклассник, его капризная верхняя губа, опушенная, как бабочка, реденьким шелком, была шедевром пластического хирурга. В конце концов Митю затянуло телевидение: его нарядные шоу стали чем-то вроде ментальных помоек, необычайно привлекательных для любителей сплетен. Персоны мужского и женского пола обожали Дымова; «Я многое ему простила», — говорила со значением та или иная львица в овальном декольте, чем поднимала собственный рейтинг. В борьбу за Митю вступили старшеклассницы: здоревенные девки в тесных майках и шортах, принципиально без белья и с метлами на головах, штурмовали Митину контору и били бутылки об его автомобиль. Разбогатев при Бессмертном; Митя, как говорили, теперь и сам кого-то содержал — по официальной версии, перечислял гонорары в сиротский приют. Кроме того, он регулярно выделял вспомоществование трем-четырем актерам, не слишком счастливым на поприще, всегда ходившим как бы в трагическом гриме, с волосами как струйки черной копоти из-под изжеванных шляп — и содержавшим в свою очередь каких-то нежных нищих мальчиков, скромно сидевших за отдельным столиком и кушавших по порции мороженого на двоих, пока великодушный Митя, назначивший встречу в модном кафе, беседовал с отцом семейства о театре и кино.

При этом Дымов не оставил повадок альфонса. Он требовал подарков и получал их тоннами (многое отходило нищим мальчикам, трепетно носившим дизайнерские ожерелья и цветные сапожки на дамских каблуках, отчего их темные дешевые костюмчики становились совсем бумажными). Митя любил говорить, что все его имущество умещается в одном чемодане. Это был тот самый рыжий чемодан с подгнившими углами, что путешествовал с Митей во все, куда он заселялся, богатые дома —

и за всю его карьеру ни разу не открывавшийся. Сам Бессмертный не знал, что содержится внутри. Время от времени влюбленный олигарх проникал в отсутствие Мити в его гардеробную, с бьющимся сердцем исследовал иссохшее чудовище, легкое, точно пустой орех неизвестного прошлого; из темной щели с грубыми краями (запекшаяся молния местами разошлась, точно шитый железом операционный шов) тянуло легким тленом, иногда там как будто белело что-то; однажды Бессмертный, подцепив щипцами для льда, вытащил из щели старую цигейковую варежку, сразу облетевшую, будто одуванчик; вещь была такая трогательная, что олигарх едва не заплакал. Был он теперь безусый, с голым и добрым лицом, слегка потекшим на жесткий воротник.

Избалованный бисексуал, обожавший себя во всякой своей вещице, Митя Дымов все же отличался от подобных ему золотых созданий, подвизавшихся на аналогичном поприще. Митя обладал индивидуальностью. За четыре года своей стремительной карьеры Митя возмужал — если это слово применимо к существу, ведущему себя на территории как мужского, так и женского пола словно ищущий достопримечательностей беззаботный турист. Индивидуальность порождалась какой-то тайной травмой. Возможно, разгадка крылась в рыжем чемодане; возможно также, что Митя, балуясь творчеством в пределах коммерческих проектов, случайно наткнулся на необитаемую сумрачную громаду собственно искусства — на заброшенный город, под стенами которого раскинулась пестрая ярмарка с балаганами и каруселями. Город Митю в себя не впустил. Митя подозревал, что существует подземный ход. Поскольку недоступное сооружение казалось крайне мрачным и испускало странную невидимую тьму, приводившую к исчезновению многих приятных вещей, Мите показалось, что предельные истины искусства сокрыты в человеческой гнусности. Из детского интереса к кашкам (Митя, как всякое

золотое существо, сохранял в себе ребенка) выработался взрослый интерес к человеческому дерьму. Митя открыл, что самое захватывающее общение между людьми заключается в поедании дерьма друг друга, в смешивании его и дегустации, в предъявлении миру своей напряженной задницы, из которой валятся, как спелые сливы, порции продукта. Телепроекты Мити Дымова дразнили зрителя легким, еле уловимым запашком отхожего места; гости ток-шоу, люди по большей части респектабельные (в иных вариантах от мужчин, как в высококлассных ресторанах, требовались галстуки), появлялись на экране с принужденными улыбками и пытались, отдавая дань модному формату, лишь слегка обозначить процесс испражнения. Но под действием ли таинственного слабительного, в силу ли естественных рефлексов уже через десять минут процесс становился неуправляемым и бурным. Митя в белом, сильно приталенном костюмчике без единого пятнышка (их у него имелось три десятка, и старые были ужасны, как вокзальные инвалиды), в белой сорочке и в маленьких, как мыши, белых башмаках сиял в косом овале театрального света, излучая обольстительную невинность. Публика в студии аплодировала, стелкаясь локтями (на озвучивание, впрочем, шли предварительные аплодисменты, более густые и культурные, которые помощник Дымова, старый гей с тревожными глазами, известный смелостью интимных причесок, извлекал из публики перед записью передачи, будто маститый дирижер из самодеятельного оркестра). В результате ставленники неприятеля (президентского заместителя, заседавшего в самой высокой точке рифейской столицы, в историческом Алтуфьевском дворце, перекрашенном по случаю его водворения в радикальный купорос) оказывались опущены и посрамлены. Что касается губернаторской команды, то ее представители, прилюдно продемонстрировав задницу, вдруг приобретали имидж чиновника с человеческим лицом.

В этих обстоятельствах Тамара, получившая статус первооткрывательницы Дымова, держалась с королевским достоинством. Никто из сволочей не пикнул, когда Крылов в севшем от стирки синтетическом свитере и с руками, посеченными каменной крошкой, вновь появился у нее на вечеринках. Крылова встретили как старого приятеля, совершившего кругосветное путешествие. Прислуга говорила с ним подчеркнуто почтительно. Несколько саркастических улыбок, прозмеившихся в группе гостей, были вытравлены, как скользкие мокрицы. В свою очередь Дымов тоже хотел дружить с Тамарой. Этот баловень с легкостью бросал людей — но страшно боялся кого-то потерять. Факт любой потери вызывал у Мити реакцию паническую: хватившись рубашки или брошки, он мог перерыть вверх дном все свое нарядное и неопрятное имущество, сорвать передачу, важнейшую встречу, обползая, сердито хлопая ладонями, узорные полы своих апартаментов. Он не успокаивался, пока не получал назад ускользнувшую безделушку, ставшую вдруг незаменимой, — что бы ни сулил питомцу, ласково воркуя, удрученный Бессмертный. Если же вещь исчезала бесследно (и это было немудрено в хаотичном Митином хозяйстве, где все лежало так, будто только что упало с неба — что соответствовало действительности), Митя оставался в подавленной тревоге, точно в мироздании обнаруживалась маленькая, но очень черная дырка. Митя ненавидел воров — без спроса уволил, топая ногами в белых носочках, шесть единиц вполне порядочной прислуги; но куда страшнее вора был нематериальный сквозняк неизвестности. Отсутствие Тамары в плотном кругу обожателей Дымова было не дыркой, а дырой; неизвестность, исходившая от этой женщины, стоявшей как призрак за спинами ничего не подозревавших Митиных поклонников, нервировала телезвезду. Митя так и этак пытался подольститься к Тамаре: приглашал ее то в модный «Скорпион» с изысканным стриптизом на сюжеты Достоевского, то в строгий, псевдобританского пошиба «Сент-

Джеймс», где все официанты были, точно лисы, с бакенбардами. Тамара принимала приглашения изредка — ровно так, чтобы ее отказы не выглядели мэссиджем, — и слушала нервическую Митину болтовню с таким спокойным лицом, что минутами и она сама, и ее нетронутый кофе, и светлые перчатки на столе, лежавшие жгутом, казались Мите ненастоящими. Она ни разу не спросила, что произошло той ледяной и мокрой мартовской ночью, когда приятно пьяный Митя увязался за продюсером. Она была единственной, кому озадаченный Дымов посылал пятикилограммовые букеты в зеркальной бумаге с пришпиленной внутри двусмысленной запиской. Она вела себя, как будто совершенно запамятовала и Митино житье в ее враждебно-чистой, словно по линейке расчерченной квартире, и собственные хлопоты в Митину пользу, которые только Бессмертному удалось довести до правильного результата. Такого выпадения памяти быть не могло, поэтому Дымов Тамаре не доверял. Временами он Тамару остро ненавидел. Ночью, лежа на живом, как жаба, гидромассажном матрасе рядом с голым Бессмертным, у которого из паха, похожего на затянутый серой паутиной угол чулана, остро несло патентованной смазкой, Митя тихо всхлипывал от обиды и одиночества. Шоу «Покойник года» возникло в результате сложных внутренних мотиваций, имевших отношение к Тамаре, половины из которых Дымов не понимал; все, однако, отмечали то особенное вдохновение, что нисходило на Дымова в студии, декорированной битыми надгробьями и лазерными блестками.

* * *

— Я знаю, о чем ты думаешь, — произнесла Тамара, когда серебряный «порше», стряхнув попрошайек и нервных соседей по пробке, рванул на свободу Первого Округного. — О Дынове.

— Верно, — от неожиданности признался Крылов. Он знал, что у Тамары бывают минуты пронизательности, когда она буквально в и д и т мысли Крылова сквозь его черепные кости.

— Я помню, что сама во всем виновата, — в голосе Тамары прозвучал излишний пафос, и Крылов догадался, что пронизательность убита игрой.

Одновременно он разозлился.

— Да я бы забыл его давно, не маячь эта рожа в телевизоре по воскресеньям, средам и пятницам! Между прочим, мне не нравится идея твоего появления в «Покойнике года». Для чего-то ты ему нужна в этой идиотской программе. По-моему, он приготовил пакость, тебе не кажется?

— Вся его программа — пакость мне. Но я не собираюсь отсиживаться, я пойду и буду защищать свои идеи и свой бизнес. Кстати, послезавтра в восемнадцать у меня на Малышевской первое собрание кооператива «Купол». Обязательно приходи!

— Мне-то зачем? — удивился Крылов.

— Затем, что ты уже полноправный пайщик кооператива. Это мой подарок тебе на день рождения, хоть дата еще и не скоро. Так что подарок предварительный.

— Спорим, это место на кладбище! — воскликнул Крылов, пораженный тем, что почти понимает язык Тамариной метафизики, от которого по голове против роста волос словно проходит частый и очень острый гребешок.

— Верно, — ответила Тамара без улыбки, глянув на Крылова своими роскошными глазами, отчего Крылову сделалось не по себе. Он знал, что нельзя бессмысленно и стыдно бояться того последнего мига, когда он, Крылов, будет отходить и кто-то вот так же, как Тамара сейчас, будет смотреть на него из этого мира, из жизни. Тем не менее репетиция, устроенная вдруг единственным словом и единственным взглядом, заставила его крепко вцепиться в поручень на дверце автомобиля.

Между тем Тамара, устроившая Крылову испытание, вся была по эту сторону — живая, теплая, очень соблазнительная в легком и строгом костюмчике, расхोдившемся как бы нечаянно то на груди, то на длинном, прекрасно отшлифованном бедре. Эта подвижная конструкция, несомненно, была произведением высококлассного дизайнера, мыслящего динамически. Плавный «порше», миновав жилое здание цвета горчицы, возле которого Иван и Таня встречались на прошлой неделе, нырнул в глубокий Пушкирский переулок, где уже лежали и висели тут и там свернутые, будто паруса, вечерние тени. До русского клуба «От сохи», одного из самых дорогих и дурацких в столице Рифейского края, оставалось четыре минуты неспешной езды — и тут Крылов почувствовал, что совершенно промерз в кондиционированном салоне, что Тамарин философский подарок прошиб его, будто дождь промокашку.

— Так ты о Дымове со мной хотел поговорить? — спросила Тамара как бы между прочим, притормозив на светофоре и внимательно глядя на старушонку в кукольном платьице, семенившую на зеленый в сопровождении пунктирной собачки.

— Нет, ты же помнишь, что сама сказала мне по телефону про эфир, я про это и не знал.

— Тогда о чем?

— Послушай, — запротестовал Крылов, — давай спокойно сядем, я соберусь с мыслями. Поверь, мне нелегко начинать с тобой на эту тему...

— Хорошо-хорошо, извини, — поспешно проговорила Тамара, внезапно залившись румянцем до самой прически.

После встряски в душе у Крылова что-то легло не совсем на прежнее место, поэтому он не мог сосредоточиться, а Тамара уже парковалась у резных деревянных воротец, на которых было прибито хилое землепашное орудие с какими-то постройками, напоминающее не соху,

а, скорее, остатки скелета клячи, ее тянувшей. У ворот бездельничал с мордой как ведро ряженный болван.

Тамара прошла вперед — рослое божество с человеческим телом и головою сокола. Звонким праздничным голосом она поздоровалась с метрдотелем, одетым в тесный клюквенный кафтанчик, радостно помахала каким-то господам, которые отсалютовали ей запотевшими стакашками водки. Уловив настроение важной клиентки, метрдотель провел прибывших в самый почетный кабинетик и усадил под стилизованный портрет президента РФ, на котором глава Российского государства был изображен в виде богатыря на страшном косматом коне, держащим меч размером с доску из хорошего забора. Официанты, летая шелковыми петухами, сноровисто подали четыре вида кваса — рябиновый, как всегда, отдавал аптекой; также, зная запросы госпожи Крыловой, принесли бутылку божоле и деликатно зажгли украшенную лентой медовую свечу.

Нежное лицо Тамары, как свеча, наполнилось теплом, глаза блистали. Крылов уже сообразил, в чем причина этого оживления, этого волнения, заставлявшего Тамару пить молодое вино большими жадными глотками. Таинственность «темы, которую нелегко начинать», жестоко ее обманула: она решила — или что-то в ней так отозвалось, — будто Крылов наконец созрел, чтобы сделать ей предложение.

Такое случалось уже не впервые. Крылову были знакомы роковые признаки: эта радость, эта прямая школьная спина и звезды под ресницами. Всякий раз Крылову приходилось буквально скручивать себя, чтобы не поддаться, не произнести того, что от него хотят услышать. Это мучение он принимал по меньшей мере раз в полгода. Раньше его удерживало — он сам не знал, что именно: какое-то дурное предчувствие плюс неприязнь к Тамариному особняку, к апатичному крокодилу с протухшей пастью, к иным приманкам для несостоявшегося Индианы Джонса.

Но даже и теперь искушение хеппи-энда было очень велико, и на минуту Крылов подумал, что если у Татьяны есть ее механический муж, то и у него, Крылова, могла бы быть одновременно какая-то супруга. Тут же после быстрой примерки ситуации он отчетливо уяснил, что в принципе ничего не потеряет от женитьбы, но сразу же возненавидит все, что не будет Татьяной, что попытается занять ее место и предъявить ее права. «Опять влип», — сказал он себе, делая вид, что интересуется меню, в котором водке было отведено не то шесть, не то восемь грубых, былинной вязью исписанных листов.

Верность Тамары — что было делать с нею? За все четыре года после развода и отбытия паразита к продюсеру у нее ни разу не было любовника. Если бы Крылов очень-очень изредка, под особое настроение, не оставался ночевать в одной из двух ее кроватей с тяжкими драпировками и витыми столбами, у нее и вовсе не было бы секса. Никто, кроме Крылова, не был допущен в эти спальные дворцы — и сама Тамара не принимала ничьих приглашений поужинать в интимной обстановке. В состоятельном обществе, где люди докупали себе уже не столько предметы, сколько ощущения, позиция госпожи Крыловой выглядела почти скандальной. В сущности, Тамара вела себя еще безобразнее, нежели лохматые теткы из Общества защиты прав животных, одетые в синтепластовые куртки с китайского рынка и при этом портящие шубы стоимостью в десятки тысяч долларов, окатывая обладательниц кислой и холодной кровью с бойни мясокомбината. Иначе говоря, Тамара мешала людям наслаждаться жизнью. Никто не понимал — меньше всех Крылов, — чем Тамаре оказался нехорош красавец актер Шафоростов, отличавшийся от всех представителей своей профессии еще и умом, или итальянский граф Рикардо Козино, буквально поселившийся из-за нее в рифейской столице и едва не замерзший насмерть, когда прокатный «фольксваген» сломался по пути к Тамариной резиденции

на призрачной, охваченной спиртовым пламенем поземки ленте шоссе.

Жизнь предлагала Тамаре все разнообразие лысин, шевелюр, усов, осанок, статусов, какое можно было вообразить: факт, что она из этого ничего себе не выбрала, вызывал подозрение в извращенных наклонностях. Некоторое время поговаривали — и даже намекали в журнальчиках пожелтее, — что госпожа Крылова страдает некрофилией; ревнивые вдовы устроили демонстрацию, призывая жен и матерей не отдавать тела «Граниту», акцию возглавила супруга писателя Семянникова, еще совершенно живого, хотя уже довольно плоского старца с костяным, тонкими сединами облепленным лбом, на вид пустым, как орех. Однако классик все еще менял смазливых секретарей, а его жена активно двигалась в политику и выглядела соответственно, то есть была крупна, проста, почти без шеи, с крепко сидящей на плечах сердитой головой. Госпоже Семянниковой пришлось передать конверт отступного, но и без этого слухи не продержались бы долго: Тамара была воплощением телесного и душевного здоровья, она была н о р м а л ь н а и тем вынуждала все свои поступки воспринимать как нормальные. В общем, своей открытой верностью Крылову она достала всех, и больше всех самого Крылова. Он понимал, что д о л ж е н ей за эту верность, и долг все время рос, уже намного превышая давнюю Тамарину вину, которую она смиренно и демонстративно продолжала избывать.

Но вот она сидела перед ним — сама естественность и теплота. Прекрасная женщина, не виновная в том, что за столько лет ее чувства не потускнели. Невинное дитя, опять вынуждающее Крылова быть ее палачом. Наивное существо, в принципе неспособное понять — несмотря на серьезный, жестко ведомый собственный бизнес, — что в чувствах, как в смерти, человек одинок и отвечает сам за себя. Господи, подумал Крылов, это так тяжело —

разбить ее ожидания, что впору растечься жалостью к себе любимому, к себе остолопу.

Нервы его полыхнули, когда перед ним внезапно бухнули сковородку, на которой шкворчали и подпрыгивали, как ужаленные, белые грибы.

— Может, сперва поедим? — музыкальным голосом предложила Тамара, расстилая на коленях вышитую крестиком салфетку.

— Видишь ли, у меня неприятности. Большие неприятности, — глухо произнес Крылов, пытаясь ее переключить способом не очень честным, но единственно возможным.

— Вот как? — руки Тамары замерли в воздухе.

— Дело в том, что за мной уже примерно месяц таскается какой-то тип, — сообщил Крылов, глядя прямо на скатерть. — Понятия не имею, что ему от меня нужно. Толстый, нелепый, но ловкий, в руки не дается... — он торопился, но, как мог, толково описал соглядатая — его рубашечки, его манеры скунса; поскольку Таня в рассказе отсутствовала, ему представлялось, будто и в описании шпиона недостает чего-то существенного.

Тем временем румянец-Тамары тяжело загустел и спустился на шею, точно дал осадок.

— Ты, стало быть, подумал, что это я приставила к тебе детектива? — спросила она насмешливо, попадая немедленно в точку. Проницательность вернулась к ней, и теперь перед Крыловым сидела совсем другая женщина: прямая, широкоплечая, застывшая в тронной позе египетской царицы на дубовом, пурпурным плюшем обтянутым кресле величиною с крыльцо.

Сам Крылов, помещавшийся в таком же абсолютно неподвижном предмете мебели, почувствовал себя в ловушке. Он уже пожалел о своей откровенности.

— Ты подумал так из-за того единственного случая, когда я смотрела на тебя из машины? — холодно поинтересовалась Тамара, не позволяя себе ни малейшей интонации упрека.

Но, во-первых, случай был не единственным. Не раз и не два Крылов, выходя из мастерской, видел во дворе ее еще позапрошлый черный «мерседес», стоявший поодаль и странно смотревшийся среди нескольких чумазных, покрытых ржавыми язвами «тойот» и «жигулей». Заметив бывшую жену, Крылов делал к «мерседесу» несколько шагов. Но Тамара в темных очках от Нины Риччи, с незнакомым, словно без зеркала нарисованным ртом махала ему, чтобы он проходил. Крылов неохотно подчинился, чувствуя себя героем фильма, от которого ждут каких-то действий в соответствии с жанром мелодрамы. Больше всего в такие моменты ему хотелось исчезнуть из виду. Разумеется, Тамара шпионила за ним. Что она надеялась обнаружить — может быть, девицу, ждущую Крылова на скамейке? Но на черных лавках у подъездов и по периметру оплывшей песочницы сидели только старухи — и в свою очередь держали «мерседес» в коллективном поле зрения, сверкая на Тамару мутными очечками.

Во-вторых, что касается девиц...

— Я, видишь ли, не жду, — перебила Тамара размышления Крылова, — я не жду, что ты поймешь некоторые мои мотивы. Тебе, к сожалению, не свойственны многие чувства. Мне, ты знаешь, бывает трудно пригласить тебя в гости. Ты всегда настолько занят, что создается впечатление, будто ты руководишь крупной корпорацией. Получается, что каждый может видеть тебя просто так, без всякого предлога — только не я. Тебе не кажется это несправедливым? Сколько раз бывало, что ты обещал позвонить и не звонил? Не помнишь? А я помню. За четыре года — восемьдесят три раза. Скажи, я очень тебя беспокоила, когда постояла немного во дворе? Я отняла у тебя какую-то часть твоей жизни?

Отняла, думал Крылов, машинально ковыряя вилкой пухлый фирменный блин, щедро обложенный черной икрой. Странно у нее устроена память: что-то считает с точ-

ностью, а другое, многократное, принимает за одно и то же. Интересно, помнит ли она въяве каждое прегрешение Крылова или у нее в голове только суммарная цифра, к которой плюсятся новые случаи? Возможно, это общее женское свойство — отнимать, давая. Будь Тамарина воля, она бы окружила Крылова собой со всех сторон: одела, обула, накормила, обвесила дорогой электроникой и украсила сверху розочкой от торта. В чем ее на самом деле можно упрекнуть? Всего лишь в нежелании знать, что главная задача рифейского мужчины не в том, чтобы благоприятным образом вписаться в общество, включая женское. Главная задача — оставаться форпостом самого себя. Да, было время, несколько лет, когда ювелирное сырье истощилось, заказы были копеечными, а Тамара внезапно сделала деньги и кормила Крылова — то есть само вещество, из которого состояло крыловское тело, было ею заработано. Тамара не понимает — или, наоборот, понимает слишком хорошо, — что с тех пор Крылов только и делал, что вымывал из организма старые токсины, занимался обновлением клеток. И не Митю Дымова он ей не прощает, как можно было бы подумать со стороны. Должно быть, Крылову просто требовалось время, чтобы сделаться полностью другим — стать новым телом, пусть и в старой одежде, сохраняющей в молекулах запахов, в шелковых ветхих карманах воспоминания о прежних временах.

Вот тогда должно было произойти событие — расставание или возвращение. Нет ничего неестественного в том, чтобы вернуться к женщине, которую уважаешь, с которой счастливо прожил без малого тринадцать лет. Но тут случилось кое-что действительно новое и совершенно непредвиденное. Нечто насильственное. Явление, природу которого Крылов страстно желал осознать и вместить — но понимал, что не вместит. Одновременно все непознаваемое помещалось в нем, дрожало, но держалось прочно — и каждое утро, стоило открыть глаза, было тут

как тут. Приходилось признать, что природа человека содержит некие посторонние таинственные примеси. Рассказать ли об этом Тамаре? Она, в конце концов, никогда не препятствовала тому, чтобы у Крылова время от времени заводились подруги...

— Я, ты помнишь, никогда не позволяла себе препятствовать твоим другим интимным отношениям, — холодно проговорила Тамара, продолжавшая считать крыловские мысли. — Ты всегда мог прийти ко мне на праздник с очередной своей приятельницей. Зачем мне было шпионить? Я и так все видела, более того — сама знакомила тебя с привлекательными женщинами...

Вот это и было худшим видом шпионажа. Прежде у Тамары никогда не было подруг. После развода они откуда-то взялись: легко одетые, с литыми длинными ногами, обладавшие способностью по два часа пить одну чашечку кофе и молча улыбаться. Эти женщины не были похожи ни на деловых Тамариных партнеров, ни на персонажей богемной тусовки — следовательно, ими не являлись. У них отсутствовали фамилии, были только имена: Марина, Инесса, Катя, Моника, Кристина. Непонятно, что могло быть общего у Тамары с этими «подругами»; представить себе их задушевную болтовню в гостиной было не легче, чем вообразить разумное инопланетное чириканье. Конечно, состав гостей, бессистемно наполнявших Тамарин особняк, был избыточно разнообразным; вследствие этого мероприятия, задуманные как приемы, сами собой превращались в сокрушительные пьянки. Но если начать разбираться, то у каждого гостя, найденного утром в любой из незапертых комнат, имелась фамилия, которая кому-то о чем-то говорила. Что касается новоявленных «подруг», то личности их находились как бы под паролем или вовсе отсутствовали. Одновременно принцип кастинга явно соблюдался: у всех девиц были очень гладкие прически, обтекаемые головы водоплавающих существ, высокие бровки в форме паучь-

их лапок и детские круглые глаза, серые либо голубые. Соответствие подразумеваемому образцу выдавало факт, что они на работе. Крылов всегда подозревал, что Тамара с ее прямоотой и склонностью действовать наиболее простым и грубым способом нанимала девушек через какое-то агентство, в лучшем случае через модельное, — и специально для него, Крылова. Поэтому он под любым предлогом бросал порученную ему «подругу» и предпочитал компанию бармена, издали наблюдая, как приглашенная модель одиноко посверкивает посреди гостиной, будто новогодняя елка.

Впрочем, иногда девицы добивались своего, создавая ситуации, из которых для мужчины не было обратного хода. Общение с длинными телами и общение с красивыми тюленьими головками были настолько разными процессами, что порою Крылов сомневался, понимает ли очередная Наташа, сжимающая его мускулистыми бедрами, что она — это она. Впрочем, тут могла проявляться профессиональная выучка: быть только телом, когда требуется тело. Но ни одна интимная нежность не вызывала у Крылова сердечного отклика. Поскольку красота была для девушек профессиональным стандартом, их индивидуальность могла проявляться только в изъянах: высыпала нежными прыщами, выражалась в неприятной форме маникюренных пальцев, так что казалось, будто рука, как в фильме ужасов, вот-вот потечет и забулькает. Крылов понимал, что Тамара завладевает им посредством этих женщин: не столько избывает вину, давая ему за Митю десятерых, сколько вампирит, вторгается в сферу, где бывшим женам находиться не положено. Однако там, где действующая жена была монополистом, Тамара закрепилась как организатор. Фактически она стала Крылову женой наоборот: лиса, вывернутая наизнанку дважды, минус на минус, дающий плюс.

Чтобы вернее избежать живых ловушек, поджидающих его в закоулках особняка, Крылов иногда приезжал, что называется, со своим самоваром. Женщины, которых он

прихватывал (добирались на электричках, потом пешком по чистому, с деревянным эхом сосняку полтора километра), были в основном из заказчиц, рыщущих в поисках недорогих бриллиантиков из левого сырья, или вдруг возникала из небытия какая-нибудь постаревшая одноклассница, очень похожая на собственную маму, совершенно свободная на ближайшие двести вечеров. Тамара принимала неожиданную гостью необыкновенно ласково и уже не отпускала от себя, представляя ей то одного, то другого вальяжного мужчину, подернутого топким жирком наивысшего качества, а также обезжиренных женщин, очень любезных, с уже начавшимся под золотым загаром процессом мумификации. Все они улыбались госте ровными рядами имплантатов и говорили несколько приятных слов. Чрезвычайно польщенная, гостя как-то необыкновенно быстро напивалась незнакомым шампанским и начинала чирикать, будто воробыха в апрельской луже. Все это заканчивалось страшными слезами — и, разумеется, разрывом с Крыловым. Самое обидное: женщины, которых Крылов отыскивал себе вдали от Тамариных забот, еще больше походили друг на друга, чем девицы по контракту. Как Крылов ни маневрировал, он неизменно нарывался на один и тот же тип: сухая брюнетка с прокуренной гривой, скрытая неврастеничка и зануда.

* * *

Пока Крылов терзался всеми этими мыслями, козлобородый метрдотель фольклорно-питейного заведения уже который раз заглядывал в кабинетик, обеспокоенный тем, что важные гости до сих пор не притронулись к пище.

— Так я угадала или нет? Ты думал, будто это я? — спросила Тамара, прерывая поток сознания Крылова, который, возможно, просканировала через стол, украшенный остывшим гусем с яблоками.

— Извини, — глухо проговорил Крылов и приготовился к новой атаке ее железных аргументов.

Но вместо этого Тамара внезапно смягчилась.

— Какой ты глупый, — произнесла она с печальной и нежной гримасой. — Если бы я приставила к тебе детектива, ты бы этого даже не заметил. Как не замечаешь многого другого от меня.

— Послушай, — Крылов уже не мог сопротивляться потребности выговориться хоть перед кем-нибудь, — этот человек, который шпионит... У меня все время такое чувство, будто я его где-то видел. И даже хорошо когда-то знал. Что-то свербит в мозгу — как вот хочешь чихнуть, а не получается. Кажется — вот-вот вспомню, и никак. — Он замер, склонив голову набок, потому что разгадка опять замерцала где-то справа под черепом, но тут же погасла, оставив по себе уже знакомое ментальное удушье. Выпив залпом кружку розового квасу, ударившего в нос, будто крепкий кулак, Крылов утерся и добавил вдруг: — Этот человек... Словно судьба ходит за мной. Будто либо я его убью, либо он меня. Вот такая галлюцинация.

Подняв глаза, он ожидал увидеть фирменную Тамарину ироническую усмешку, которой до смерти боялись все ее прилизанные менеджеры. Но Тамара оставалась серьезна, ее глаза сияли мягко, будто плошки темного масла.

— Вряд ли это галлюцинация, — произнесла она, задумчиво глядя на свечу, с которой уже свисала стеариновая борода. — Надо доверять своим ощущениям, они иногда сообщают интересные новости. Но ты, как я понимаю, что-то от меня скрываешь.

— Каждый человек что-то скрывает, — с вызовом ответил Крылов.

— У нас с тобой сейчас предметный разговор, — одернула его Тамара. — Как бы ни было важно то, о чем ты мне не говоришь, то, что я тебе скажу сейчас, намного важнее. У тебя с твоим Анфиловым своеобразный биз-

нес. И суть не в том, законный он или незаконный. Проблема та, что вы хотите быть сами по себе. Я имею в виду всех твоих приятелей, которые приходили к нам, когда мы снимали халупу на Кузнечной, а потом перестали приходить. Я хочу, чтобы ты уяснил: сегодня каждый человек — чей-то. А вы стремитесь быть ничьими. Все люди, все бизнесы объединены в одну мировую молекулу. Эта молекула намного проще, чем самая примитивная человеческая индивидуальность. Проще, чем та бомжиха, которая красилась сегодня возле моей машины. Проще даже, чем мой офис-менеджер, искренне уверенный, что, если смешать сорокаградусную водку с восьмиградусным пивом, получится напиток крепостью сорок восемь градусов. И внутри молекулы верхние уровни намного примитивнее нижних. Ты даже не представляешь, как грубы, топорны и однозначны функции самых высоких этажей власти, куда мне только удавалось заглянуть.

— Не представляю, — согласился Крылов, с содроганием вспомнив у м н ы е глаза больших чиновников и финансистов, с которыми ему случалось здороваться за руку; теперь эти люди казались ему похожими на мух в паутине, на живые консервы, какие запасают для потомства отдельные виды насекомых. — Но хита, с другой стороны, никому еще не нанесла серьезного ущерба, — добавил Крылов рассудительно. — И у нас люди зарабатывают на жизнь кровавыми мозолями. Сам проходил!

— О господи! Очередная слава труду! — воскликнула Тамара, швыряя на стол истерзанную салфетку. — Да любой карманник легальнее вас. Любой убийца по н я т н е е, чем вы с вашими каторжными каелками и летающими тарелками. Структура молекулы, о которой я тебе толкую, не имеет никакого отношения к государственным законам и к законам экономики, как нам ее преподают. Она интернациональна. Для нее не существует правил, кроме собственных. И люди, которые в нее не интегрированы, тоже не существуют. Ты и твои прияте-

ли — белые пятна на человечестве. Нам с тобой повезло, что мы родились в прекрасной местности, где чуть не половина населения желает н е б ы т ь! Ничего удивительного, что каждый из вас ищет способа проверить, жив он или умер. Вы не годитесь ни на что, кроме освоения Луны. И почему вы думаете, что мир позволит вам оставаться такими, какими вы хотите?

— Даже не догадывался, что ты принимаешь все это близко к сердцу, — озадаченно проговорил Крылов.

— Что ты знаешь о моем сердце? — печально отозвалась Тамара, тихо перебирая ножи и вилки около своей нетронутой тарелки. — Пока ты и я были официальной семьей, эти твои независимые занятия можно было рассматривать как хобби, невинное баловство. Теперь ты остался один, никем не прикрытый и ничем не оправданный. В чистом поле, вне закона. Один на один с тем фактом, что тебя — нет. Погоди, не мешай мне сказать то, что давно хочу. На самом деле я многое понимаю. Ритуальный бизнес, могу тебя уверить, открывает зрение на кое-какие вещи. А впрочем, я давно подозревала... У вас свои, особые права. Независимо от того, кто здесь родился и кто сюда приехал, вы — аборигены, все остальные колонизаторы. Прекрасная местность каким-то образом сама вас воспроизводит — для собственных, совершенно нечеловеческих нужд. Я возле вас наслушалась и про Полоза, и про Хозяйку горы. Не знаю, что это за существа. Но все истории, что происходят с вами, можно прочесть как истории отношений с ними. С другой же стороны, молекула, о которой я тебе говорила, обладает инстинктами. Поверь, она опасна. Она не терпит белых пятен, даже если терра инкогнита всего лишь на подошвах ваших чудовищно грязных ботинок. Так что твои слова насчет этого толстого соглядатая и судьбы по пятнам, возможно, недалеко от истины.

— Ты умница, — глухо проговорил Крылов.

Он и сам понимал, что появление шпиона — это рефлекс человечества на поведение человека. Вот, значит,

где мы все живем. Прекрасная местность. Эта высветленная и пестрая от слюдянистых камешков рифейская земля, точно затянута в шкуру змеи. Земля, где бедная, словно тряпичная пашня кажется привезенной и насыпанной. Земля, на которой целые леса растут, будто березки на старой бане, — и все поверхностное, внешнее, включая города, держится непрочно, нога скользит на рваной хвойной подушке, дождевая вода удивительно быстро стекает с черно-серых, словно обгорелых валунов. Терра инкогнита. Аборигены, занятые поисками каменных сокровищ, ценят в малой родине именно качество неизвестности. Этим качеством сталкеры живы в гораздо большей степени, чем продажей добычи на черном рынке. Неизвестность — их насущный хлеб. В этом смысле аборигены всегда пребывают в нигде, в своем небытии. И неизвестность рифейской земли неистошима, горные духи бессмертны. У Крылова был мучительный, с болью подавляемый вопрос, который он мог задать только самому себе: не воплощает ли Татьяна для него Хозяйку горы? Многие говорили за это: и отсутствие у женщины возраста, и маленькие ручки с перепонками, очень похожие на лапки коронованной рифейской ящерицы. Но Крылову почему-то верилось — вернее, он откуда-то знал, — что случившееся с ним есть произвол не местного порядка. Инстанция, которую он тревожил, назначая с женщиной одно, и только одно свидание, находилась где-то очень высоко — в п р о з р а ч н о м небе, сквозь которое ничего не видно.

— Но не будем витать в небесах, — устало произнесла Тамара, мельком посмотрев на часы, усаженные «перевернутыми» бриллиантами; Крылову как профессионалу казалась дикой эта модная фишка, когда неплохие камни, закрепленные вверх павильонами, выглядят будто мокрые гвозди. — Возможно, настоящие причины всего, что с нами происходит, не имеют никакого отношения к событиям, которые мы воспринимаем как свою реальную

жизнь. Но есть и человеческий масштаб ситуаций, в котором и надлежит действовать. Я прогнозирую два варианта: либо детектив-любитель работает на твоих с Анфиловым местных конкурентов, либо это забеспокоились представители международного рынка, например израильтяне. Допустим, вы наткнулись на что-то крупное и собрались поставлять не сырье, а готовые камни, что не может понравиться гранильному бизнесу. Тогда тебе, скорей всего, дадут по голове. То есть лично ты со своими станочками и даже пресловутым мастерством этой скромной индустрии никакой не конкурент. Но если вдруг к твоему умению добавится уникальность находок, тогда ты точно лишнее звено.

— Это интересно, — осклабился Крылов, внезапно ощутивший, как животворный адреналин мощно наполняет кровь, струной натягивает сосуды, почти забывшие, как это бывает. — Ну пусть попробуют. Сначала я от них побегаю, потом они от меня.

— Что ты такое мелешь! — возмутилась Тамара.

Ее возмущение было справедливым. Чувствуя в себе ликующую кровь, несущуюся точно по американским горкам и олимпийским трамплинам, Крылов отдаленной частью сознания фиксировал, что это всего лишь состояние физически храброго человека, по природе такое же, как состояние физического труса, у которого кровь, наоборот, застывает цементом в ногах. В состоянии адреналинового опьянения можно наболтать кучу пафосных глупостей, можно геройски погибнуть. По-своему приятное ощущение — но сейчас оно, в этом Тамара права, было совершенно некстати.

— Извини, сглупил, — с досадой проговорил Крылов. — Если толстозадые братки пожелают стукнуть меня по затылку, то против десятерых я не устою.

— Хочешь ты того или не хочешь, но у тебя есть я, — объявила Тамара спокойно, но в голосе ее прозвучала обида, такая подавленная и такая давняя, что Крылова

кольнуло раскаяние. — Я смотрю на ваш самостоятельный бизнес с той позиции, с какой вы его видеть не можете. В последние три-четыре года рынок драгоценных камней нестабилен. Алмазный клуб зверскими искусственными мерами поддерживает цены на бриллианты. Несколько месторождений — в Южной Африке, в Бразилии — жестко законсервированы. В открытии новых крупных месторождений ювелирного сырья никто не заинтересован. Скажу еще больше. Сегодня существуют технологии — что-то связанное со слабым ультразвуком, я не очень разбираюсь, — позволяющие со спутника заснять все содержимое земной коры. То есть наш родной Рифейский хребет можно видеть насквозь, как набитый луком капроновый чулок. Можно оценить земные запасы ювелирных алмазов с точностью до одного-двух десятков карат. Что это значит экономически? Это значит, что кольцо от Лиз Шварц, за которое я вчера заплатила пятнадцать тысяч евро, я завтра смогу спокойно выбросить на помойку. Теперь пойми, что такое сегодня весь ваш образ жизни. Вы до кровавого пота копаете землю, ломаете породу, чтобы, может быть, добраться до кристалла, — а сверху видно и вас, и кристалл. Такой мутноватый, никому не нужный дичок. Потому что разработан способ очень дешево синтезировать любые минералы. Фианиты, которыми полны ювелирные лавчонки у метро, суть прошлый век. Ими можно украшать новогодние елки. Кристаллы, выращенные, кстати, у нас же, в Рифейском филиале РАН, представляют собой не подобию, но абсолютные образцы алмазов и корундов. Камни любого размера, окраски и дистиллированной чистоты. И ими тоже можно украшать новогодние елки и давать их в игрушки детям. Разумеется, если допустить применение технологии, созданной в пяти кварталах от места, где мы сейчас сидим.

У Крылова под столом мелко завибрировала левая коленка. Она дребезжала, будто механический будильник. Отходняк от адреналина был тяжелым и мутным. Прези-

дент с цветастого портрета, упирающийся шлемом в жирное облако, похожее на бутерброд, смотрел на Крылова тепло и по-товарищески, как храбрец на храбреца. Крылову представлялись Анфилогов и Колян, как их снимают со спутника с помощью слабого ультразвука, как они ходят далеко внизу, будто две прозрачные рыбешки среди густо разбросанной рубиновой приманки.

— Тебе никогда не казалось странным, что за последние десять лет мир очень мало изменился? — продолжила Тамара, задумчиво щурясь на недопитое вино. — Вспомни две тысячи шестой, две тысячи седьмой. Сколько тогда всего появилось: сотовая видеосвязь, биопластики, сверхтонкие мониторы, голографическое видео, первые чипы в медицине, в косметике, даже в стиральном порошке... А потом как отрезало. Думаешь, почему? Оказалось, что страшнее атомной бомбы — бомба экономическая. И она может быть создана не только физиками, но вообще любимыми умниками в любой области науки. Сегодня человечество держит в потайном кармане принципиально новый мир, в котором не способно жить. Потому что в этом новом мире большинство видов деятельности населения, вот хоть ваш например, не имеет смысла. Из восьми миллиардов хомо сапиенсов семь с половиной ни для чего не нужны. Самые востребованные специалисты окажутся там затратными, дешевле будет просто их кормить, чем держать для них рабочие места. А с другой стороны, если разработки расконсервировать, не выживет вообще никто. Все обесценится, валюты рухнут, о фондовых рынках я уже не говорю. Наступит хаос, и наилучшим выходом из положения окажется война: изысканная, анонимная, почти бесшумная. Только война сможет абсорбировать и изрыгнуть сверхвысокие технологии, чтобы выжившие уроды надрывались на пашне, как нам всем по Библии и полагается.

— Я извиняюсь за тупость, — осторожно произнес Крылов, не понимая, верит он или не верит в потайной

карман, где у человечества припрятано избавление от библейского проклятья. — Ты, конечно, информирована много лучше, чем простые смертные. Ты мне фактически сказала следующее: можно накормить, одеть, поселить в хорошие дома всех, кто сейчас бедствует.

— Можно, вот только зачем? — усмехнулась Тамара криво, словно кто-то ее внезапно дернул за ухо. — Нет никакой технической проблемы в том, чтобы пятью хлебами накормить десятки тысяч избирателей. Отдельные политики и порывались это сделать. Хорошо, что структура, условно названная нами мировой молекулой, вовремя их тормознула. Грехи высокопоставленных чиновников, а именно корыстолюбие и жажда власти, никого не пустили в рай — а может быть, в Армагеддон. Грехи спасительны, пока мы все не умерли.

— Более чем циничная точка зрения, — прокомментировал Крылов.

— Только не напоминай мне о том, что я женщина, нежное создание! Не тебе об этом напоминать! — вскинулась Тамара. — Предлагаешь ценности гуманизма? Гуманизм рухнул. Это даже не идол, а прошлогодний снеговик. Больше гуманизма не будет никогда. Но предположим, удалось накормить голодных и каким-то чудом не спалиться. Что эти сытые-обутые будут делать с собой, существуя в виде белковых тел лет этак по сто? Ты думал о том, сколько в человеках — человеческого? Вернемся к моему колье от Лиз Шварц, которое я очень люблю. Если сапфиры, бриллианты и платина не будут стоять ничего — будет ли стоять хоть что-нибудь материализованная в них идея дизайнера? Признаем ли это ценностью? Нет, отвечу тебе, потому что пятнадцать лет назад прошла девальвация всех креативных достижений. Нам что, снова начинать поэзию любить? Лично у меня слова, записанные в столбик, вызывают ощущение не поэтическое, а какое-то арифметическое. Будто их надо вычесть друг из друга или в лучшем случае просуммировать.

И потом, поэты — где они сейчас? Они отменены. Есть у меня один автор каких-то стихов — Витенька Астахов, городской сумасшедший. Он похож на поэта тем, что ходит зимой в сандалиях с шерстяными носками, дрыхнет в любое время суток и ни разу в жизни не заработал ни копейки. Иногда я даю ему немного на водку. Но я, серьезный, успешный человек с собственностью, никогда не признаю, что это мерзлое чучело может сказать нечто такое, что я должна буду с уважением выслушать.

— Судя по твоему сообщению, ты серьезный, успешный, обладающий собственностью призрак, — заметил Крылов, отодвигаясь от стола, чтобы дать возможность толстошеему официанту, щедро облитому малиновым атласом, убрать тарелку с изувеченным блином.

— Не совсем, — Тамара проводила глазами могучего общепитовца, торжественно уносившего, точно это был погибший ангел, черного гуся с гарниром. — Сегодня, как предполагают, есть технические средства безо всякого духовного усилия воспроизвести чудеса, сотворенные Христом. Воспроизвести гарантированно, сделать индустрией, поставить на поток. Вообще это не новость: люди, летавшие самолетами, не становились от этого святыми. Но есть и принципиально невозможное: это бессмертие. Лазарь, насколько известно, давно не с нами. Видимо, тут работает фундаментальный закон, который и Бог, если он, конечно, есть, не может нарушать. Смерть — событие неотменяемое и потому наиболее человеческое. Мой бизнес, как ты знаешь, в пограничной зоне. Я держу на берегу небытия маленькую частную лодочную станцию. И я хочу всем сделать лучше. Всем, включая тебя.

— Кстати, ты не опоздаешь в Винный клуб? — напомнил Крылов, которому давно хотелось остаться одному.

— Уже опоздала, — хладнокровно ответила Тамара. — Раз так, поеду, пожалуй, в офис. Что касается твоей проблемы, я дам задание своему начальнику отдела безопас-

ности. Ребята быстренько пробьют, что это за толстяк и кто за ним стоит.

— Нет! — такого поворота событий Крылов и боялся. — Ты ответила на мой вопрос, я узнал все, что хотел узнать. Пожалуйста, не нужно лишней активности.

— С какой это стати? — удивилась Тамара.

Оба замолчали, потому что козлобородый метрдотель, изнывая от нежности к высоким гостям, принес и почтительно подал Тамаре разузоренный ларчик со счетом. Пока она подписывала бумажку и доставала из сумки кредитку, Крылов, зажав коленями холодные ладони, осознавал весь ужас положения. На самом деле он понимал, откуда после развода появились подруги. Формально свободный, он стал для Тамары единственным пространством, где она могла повстречаться с себе подобными — и вести с ними войну на уничтожение, так что даже приглашенные модели, не имевшие личного интереса, быстро чахли в беспощадных Тамариных лучах, их глазенки в каллиграфически покрашенных ресничках становились затравленными. И вот теперь Крылов сам организовал решающую встречу. Он уже представлял, как приплетется на торжественный ужин, ежегодно даваемый Тамарой в честь патриотического городского праздника, и увидит там Татьяну, приглашенную через каких-нибудь дальних знакомых, одетую в жалкое вечернее платье из китайского киоска.

Наконец козлобородый мэтр, сильно стесненный кафтанчиком в телесных изъявлениях подобоострастия, убрался восвояси.

— Послушай, ну я тебя прошу, — Крылов вслед за надменной Тамарой поднялся из грубо упершегося кресла. — Мне совсем не нравится, что вдобавок к этому толстому за мной потянется еще одна наружка.

— Я только хотела помочь, — холодно ответила Тамара. — Но как тебе будет угодно.

Облегченно вздохнув, Крылов подумал про себя, что помощь Тамары, включая ее игровые подарки, всегда бы-

ла нехстати и не впрок, а по-настоящему помочь, как это делают самые близкие люди, она не умела никогда — даже и в те тринадцать лет, что они прожили вместе под разными, иногда буквально дырявыми крышами. Тем временем Тамара, щелкнув сумкой, положила перед ним на стол шестисотдолларовую купюру.

— Возьми, тебе это н у ж н о, — сказала она с нажимом (что было п р а в д о й).

— Спасибо, отдам, — пробормотал смущенный Крылов.

— Ну ты хоть этим не обижай меня, мой друг, — весело произнесла Тамара, быстрыми пальцами расправляя на плечах заостренные пряди. — Ты же знаешь, я не обеднею.

Шестисотдолларовая бумажка была совершенно новой, шершаво-девственной, будто плотный нетронутый снег; вместо привычного стодолларового Франклина с нее смотрела президент Памела Армстронг, властная женщина с кроличьим носом, восемь лет державшая в своем боксерском кулаке мировое сообщество и всего четыре месяца назад погибшая в Бейруте, когда во славу Аллаха вдруг распух и исказился, как в бреду, свежестроенный Американский центр. Применение вибрационного заряда, как назвали это серьезные мировые медиа, было настолько не похоже ни на что известное, что газеты попроще завопили про атаку инопланетян. Всего раз или два мелькнули по телевизору кадры катастрофы, происходившей словно в стеклопластовом стакане гигантского миксера. Сперва в облитый зноем шестигранник, словно это было отражение в воде, упали четыре тяжелые капли, потом заколебались и истончились перекрытия, поднялся безумный вихрь, не задевший, кроме Центра, ровно ничего, но разрезавший сверху донизу, словно огурец, стоявший перед входом кипарис. От здания Центра остался похожий на растворимый кофе грубый порошок, и страшнее всего была его абсолютная однородность и аб-

солютная сухость. Но потом как-то удивительно быстро исчезли все комментарии (кем-то профессиональным доведенные до абсурда), и в биографии Памелы Армстронг, молниеносно изданной на всех языках, главный упор делался на трудную юность будущего президента (ухаживала за львами и тиграми в Нью-Йоркском зоопарке) и на усыновление ею восемнадцати детей-сирот всех существующих цветов кожи, от желтой, как топленый жир, якутской до сливово-синей из Ганы.

Эта книжка в радужной голографической обложке да шестисотдолларовая купюра, нарушающая своим номиналом стандарты денежного счета в головах домохозяек, — вот все, что реально осталось людям от загадочного инцидента. Такой купюры Крылов не только не держал, но еще и не видел нигде, кроме как на клеенчатых постерах в валютных обменках. Он с интересом отметил, что, несмотря на глобальную консервацию новизны, у Тамары раньше всех появляются разные новые фишки, ювелирные и технические игрушки. Должно быть, она каким-то органом ощущает затхлость атмосферы, в которой, если верить ей, уже десять лет живет мировое сообщество, и прижимается к щелям, откуда тянет свежим сквозняком погибели — а может быть, что и воздухом будущего.

— Ну, мне пора, — Тамара вместо поцелуя приложилась надушенной щекой к горячей щетине Крылова. — Если тебе куда-то далеко, мой шофер придет сюда через десять минут.

— Нет, спасибо, мне тут близко.

— Я так и думала. Тогда счастливо, не забудь про послезавтра. — Каблуки Тамары сбрыкали по деревянной лестнице на первый этаж, откуда доносились комариное зудение двух балалаек и размывчивые выкрики.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Крылову действительно было недалеко. Он не спеша прошелся по Пушкарскому переулку, мощенному грубой брусчаткой; толстенькие пушки петровских времен, стоявшие тут и там на крылечках особняков и просто на гранитных плитах, мирно грелись на солнце, будто большие черные кошки. В стандартном магазинчике «Мир сантехники» Крылов купил недорогой, но надежный смеситель. Добравшись до жилого дома цвета горчицы, окруженного неопрятными тополями, Крылов вошел в подъезд, похожий на старый кухонный шкаф, пешком поднялся на четвертый этаж и отпер дверь, за которой его ожидал многодневный и крепкий настой тишины.

Ни одна душа на свете не знала, где именно он сейчас находится.

В прошлом году, в ноябре, Крылову крупно повезло. Доля его от продажи камней, привезенных Анфилозовым из первой экспедиции в кармане рубахи, составила сумму, очень неплохую для повседневной жизни, но в житейской перспективе ничего не решающую. И вдруг на глухом и мерзлом липовом стволе по пути к дымящемуся лужами метро он увидел прикнопленную бумажку, исписанную дамским каллиграфическим почерком; из-за того что листок был подернут зеркалистым инеем, стро-

ки казались гравированными на металле. Это было объявление о продаже однокомнатной квартиры — практически в центре, буквально за половину обычной цены. Наплевав на все свои дела, Крылов немедленно позвонил и, получив приглашение, бросился бегом, по пути высматривая аналогичные листочки, чтобы их уничтожить; но, как ни удивительно, не увидел ни одного.

Хозяйка продаваемой собственности была почти бестелесная старушка с лицом как прелея роза, одетая в девичье платье ветхого шелка; и от платья с увядшими рукавчиками, и от гофрированных волос хозяйки резко пахло нафталином, отчего казалось, будто старушка живет в своем массивном, занимающем едва не половину комнаты платяном шкафу. Прекрасные манеры старой дамы не скрывали, что она глуповата. На попытку Крылова честно рассказать про цены на недвижимость она отвечала, картавя и квакая, что беседы о деньгах ее травмируют. Старушка улетала во Францию, где получила от покойной сестры какое-то наследство. Сделка состоялась ментально; юный лохматый риелтор, которого Крылов на всякий случай пригласил проверить чистоту договора, смотрел на клиентку с плохо скрываемой ненавистью — очевидно, прикидывая, сколько он смог бы положить себе в карман, не напиши старушенция единственное объявление на листочке, вырванном из кулинарной книги, в безмятежной уверенности, что оно сработает.

Еще примерно месяц Крылов помогал благотельнице с растаможиванием и отправкой ее обстановки. Старушка и правда будто обитала в недрах платяного шкафа: всякий раз, встречаясь с Крыловым, она представляла в тщательно лет пятьдесят тому назад продуманном наряде, иногда дополненном вытертой до ваты чернобурой горжеткой. Когда же мебельного монстра опорожнили, то на пол, застеленный газетами, легли буквально горы едкой шерсти, фетра, папиросного крепдешина, чьи сухие цветочки напоминали гербарий; то была целая жизнь, ни-

куда не исчезнувшая, потому что все эти вещи, сшитые на молодую женщину по моде сороковых, не то пятидесятых, были старушке впору или слегка велики. Шкаф, не проходивший ни в один дверной проем, пришлось расширять — что Крылов и сделал, поражаясь качеству столетнего, пахнувшего аптечной горечью мебельного клея; много хлопот доставил и расстроенный, самопроизвольно от любых шагов рыдающий рояль.

Наконец старушка отбыла, оставив счастливого Крылова в гулком помещении с розовыми прямоугольниками на бурых обоях и мозолями от мебели на рыжем паркете. В первые часы Крылов мечтал о том, как обживется здесь и позовет на новоселье Анфилогова, Коляна, Фариды и всех остальных. Перевозбужденный, уставший от проводов, от валких, словно набитых камнями и ватой старухиных чемоданов, он внезапно уснул на коротком матрасике, вытянув из тряпок длинную ногу в полуснятом носке. Пока он спал в неестественной позе человека, упавшего с неба или с двадцатого этажа, вокруг него и в нем происходили таинственные процессы. Проснулся Крылов на другое утро — уже не в чужой, а в своей квартире, как будто здесь и родился. За морозным окном проплывали, точно гирлянды воздушных шаров, золотые плотные дымы, щербатые шашки паркета там, где на них ложилось зимнее солнце, горели пушкинским янтарем. Глянув на циферблат антикварного чудища с обломком фарфоровой фигуры, Крылов сообразил, что проспал часов восемнадцать. За это время его никто не побеспокоил. Все дела и заботы были где-то далеко, стены пустого обиталища стояли крепко. Тогда Крылов подумал, что никого и никогда сюда не пригласит.

До сих пор никакие стены не защищали Крылова. Выдерживая напор окружающего мира, он жил в пределах собственного тела. Между ним и действительностью, в отношениях с которой Крылов всегда стремился выйти в ноль, не было ничего, кроме одежды и кожи, — чем,

вероятно, объяснялось стремление Крылова всегда покупать одежду на собственные деньги. Теперь положение изменилось. И у Крылова возникла идея создать из квартиры пространство, куда до самой его смерти не войдет ни один человек.

На первый взгляд, идея представлялась дикой, на второй — в ней не было ничего неосуществимого. По счастью, Крылов не успел никому похвастать удачной покупкой. Мать, не слишком довольная возвращением сына от богатой жены, полагала, что он ночует у женщины, куда и утаскивает постепенно то бритву, то свитер, то почему-то старое кресло. Впрочем, удивить ее чем-нибудь стало почти невозможно: очень белая и очень опухшая, с ногами как баллоны и с крашеными черными волосиками на маленьком черепе, мать на глазах у Крылова выживала из ума. В отличие от нормального, сосредоточенного на себе сумасшествия ее безумие по мере роста требовало расширения подконтрольного пространства. С некоторых пор мать не выбрасывала ничего, что могло оказаться полезным для утекающей жизни. Она подбирала с пола, выдергивала из одежды, стоило им повиснуть, ветхие нитки и сосредоточенно наматывала их на бумажки; эти валявшиеся всюду разноцветные моточки словно бы являли картину ее поврежденного рассудка. На кухне, в коридоре, в гостиной под столом пылились целые поля стеклянных банок из-под овощных консервов; сотрясаемые близкими товарняками, они роптали во все стеклянные горла. Разумеется, матери была нужна комната Крылова; он же, допуская присутствие хлама на полу, на подоконнике и иных свободных поверхностях, сохранял за собой права на стоявшую, будто в пещере, старую тахту, приехавшую с самой первой родины и иногда внезапно про нее напоминавшую.

Никто не знал ни адреса квартиры, ни номера телефона; никто не догадывался, что она вообще существует. После того как экспедиторы из универсама распродаж

привезли и собрали старомодную мебель (забавные конструкции из металлических трубок, пластмассовых полок и ярких, как новенькие акварельные краски, больших и маленьких подушек), после того как монтажники из фирмы «Надежный партнер» установили, начав и обсыпав прихожую шелестящими искрами, мощную сейфовую дверь, границы территории оказались на замке.

В распоряжении Крылова было пятьдесят квадратных метров безопасности. Первое, что он понял: раз никто и никогда сюда не войдет, то и законы государства здесь недействительны. Если прежде на горизонте сознания Крылова то и дело проплывали смутные мысли о нелегальности бизнеса и возможности ареста (партии товара, Анфилогова, хозяина камнерезки, его самого), то теперь он знал, что может спрятать у себя хоть мешок бриллиантов, хоть ящик калашей, а уж лично до него и совсем никак не доберутся. При этом Крылов понимал, что даже сейфовая дверь элементарно вскрывается лазером и есть еще окно, в которое при сильном желании властей могут влететь на веревках вооруженные куклы. Одновременно он знал, что между ним и реальностью заключен — а вернее, расторгнут — некий договор. Запершись навсегда, Крылов выводил пятьдесят квадратных метров из-под юрисдикции действительности.

Когда за ним, причмокнув утеплителем, вставала железная дверь и один за другим гладко защелкивались превосходные замки, Крылов исчезал из реальности: буквально чувствовал, как на долю секунды редет телесный состав и, потеряв половину тепла, успевает схватиться. Озноб исчезновения быстро проходил от чашки горячего какао, которое Крылов заваривал до густоты почти что манной каши; только отдельные участки мозга какое-то время оставались газообразными, воспринимая приторное питье как крепкий алкоголь. Ночуя здесь, валяясь на диване, оранжевом и синем, с каким-нибудь старым, толстым, совершенно праздным романом, Крылов отсутст-

вовал во внешнем мире — не только в силу закона, по которому одно и то же тело не может находиться в двух местах одновременно, но отсутствовал в о о б щ е. Там, вовне, практически каждый человек, таская с собой электронные аппаратики, принимал и испускал какие-то слабые сигналы и сам представлял собой размазанный электрический импульс — а Крылов соблюдал режим молчания и не фиксировался на местности. Он никогда не звонил по телефону, опасаясь определителей, хотя допотопный аппарат из красной пластмассы, брякающий при переноске, будто копилка с мелкими монетами, исправно давал басовитый гудок.

Вскоре оказалось, что робинзонада в центре четырехмиллионной, кишашей людьми и огнями рифейской столицы — дело непростое. В задраенную коробку квартиры тянулись корни города: сюда проникала ветхая электропроводка с болтавшимися, будто высохшие клубни, пустышками розеток, здесь проходил какой-то особенно мощный водопровод, словно собранный из останков жюль-верновского «Наутилуса» и покрытый отсырелой коркой масляной краски. Водоснабжением, электричеством и газом занимались, естественно, муниципальные службы, но их представителям не было ходу на закрытую территорию. Поэтому со всеми аварийными ситуациями Крылову приходилось справляться самому. В первую же неделю после новоселья у него сорвало краны: в чугунную ванну выхлестнуло хрупкие железки и жирную грязь, из какой-то прорехи прыскало кипятком — и Крылов изрядно вымазался в ржавчине и собственной крови, прежде чем перекрыл раскаленный, распаренной тряпкой обмотанный вентиль. Вскоре верхний сосед, кривоногий крепыш, сбегавший по лестнице со звуком лошадиного галопа, устроил протечку: вернувшись из мастерской, Крылов обнаружил, что кухонный потолок напоминает промокашку. Честный мужчина в тот же вечер явился плавать и попытался проникнуть к Крылову, чтобы оценить

размеры ущерба; стоило трудов не дать ему протиснуться в приоткрытую щель, куда сосед попытался просунуть, точно гранату, початую бутылку водки.

Со временем Крылов научился работать разводными ключами, пассатижами и прочим бытовым инструментом, чья грубая хватка сбивала тонкую настройку пальцев, нужную для управления ограночной головкой. Он ни при каких обстоятельствах не мог приглашать мастеров и потому остался жить с разводами на потолке. Провисшие обои, из-за которых комната порой казалась театральной холщовой декорацией, и струпья на оконных рамах, закрывавшихся на тугие, вроде ружейных затворов, крашенные шпингалеты, также требовали ремонта: его Крылову предстояло делать самому. За окном, будто открытая товарная платформа, тянулся оснеженный балкон, куда Крылов еще не заходил; там, словно обнаженная женская натура, белели в лежачих позах окаменелые сугробы, скрывавшие, вероятно, ведра и тазы, а на мерзлой веревке болтался твердый, как флюгер, старухин халат. По многим признакам балкон буквально рассыпался и тоже требовал работы каких-то специалистов; однако Крылов решил, что эта часть территории, вынесенная вовне, на обозрение горбатой и безостановочной, как мельничное колесо, улицы Кунгурской, останется нетронутой и, может быть, когда-нибудь отвалится сама.

Помимо электропроводки и труб были еще и соседи. Честный мужчина из верхней квартиры, встречаясь с Крыловым на желто освещенной лестнице, здоровался впрямую и, похоже, не оставлял идеи как-нибудь обмыть водопроводное несчастье. Снизу, перелетая ночами из форточки в форточку, ясно доносились крики и стоны нескольких женщин, временами переходившие в предсмертные вопли; услышав это в первый раз, Крылов заметался с телефонным аппаратом и с хлипким, как авторучка, кухонным ножиком, ужасаясь, что, пока он тут стесняется, внизу кого-нибудь убьют, — пока не сообразил по повторяемости звуков, что соседи крутят порно. Зато через стен-

ку, возле которой стоял веселый диванчик Крылова, обитала настоящая беда: оттуда каждый вечер слышались трубные бабьи причитания, удары и лепет посуды; Крылову, на которого от сотрясений падали тома, казалось, будто там содержатся слоны. В действительности соседи были двумя щедедушными существами: он — маленький, оскаленный, со страшно натянутыми жилами, накрытый сверху заскорузлой кепкой, сделанной как будто из того же куса материала, что и его немые ботинки; она — лишь чуть побольше, со склеивающимися глазками за сильными, словно готовыми лопнуть очками. С ними же обитала древняя старуха, лысая, точно черепаха, и ребенок неизвестного пола, странно большоголовый, словно носивший на хлипких плечиках бесформенную и пушистую вселенную. Семейство было жалким, неимущим — нищетой разило из их глубокого, как погреб, коридора и особенно из мусорного ведра с черными отходами их повседневной жизни, которое бабка, щупая калошами истертые ступени, примерно раз в неделю выносила на помойку. Однако жалкость не мешала этим людям быть опасными: в них ощущалась подспудная страшная воля приобщить к своему несчастью всех, до кого они только смогут дотянуться. Бывало, ночью женщина с тонким криком вырывалась на лестничную клетку и начинала биться в соседские двери, отечавшие железным гулом и скандальными сонными голосами. «Помогите, убивают!» — вопила она, словно взрезая децибелами сейфовую дверь, за которой Крылов стоял абсолютно тихо, физически ощущая, что темнота внутри его напряженного тела ничем не отличается от плотной темноты прихожей и что в этой темноте он прозрачен и недостижим. Бывало, кто-то из соседей вызывал милицию: тогда раздавался четкий начальственный стук, и в дверной глазок вливали, точно капнутые из пипетки, волнистые физиономии служителей правопорядка, что искали хоть каких-нибудь свидетелей и были для Крылова будто на театральной сцене, видной в обратную сторону бинокля.

Крылов не собирался пускать к себе никого, менее всего представителей славной милиции, среди которых в последнее время появилось слишком много женщин, коротконогих и безгрудых, будто плюшевые мишки. Все-таки присутствие людей ощущалось со всех сторон; человеческая масса буквально сдавливала убежище, производила музыку, шумы, скандалы, топот, множество дополнительных звуков, источник которых был необъясним. Крылов, сидя, как Ихтиандр в бочке, в небольшом безмолвии квартиры, радовался своей частичной глухоте. Иногда Крылову казалось, будто стены его квартиры принадлежат соседским семьям, как, например, ковры, а он только вешает на них с изнанки свои картинки и книжные полки. Требовалось особое строительное усилие воли, чтобы вновь собрать вокруг себя укрытие.

Если мир рифейца был подобен миру насекомого, то теперь Крылов постигал науку насекомых прикидываться мертвыми. Не реагируя на удары в гудящую дверь (древний хозяйский звонок, некогда целкавший соловьем, но теперь способный издавать только стариковское причмокивание, был предусмотрительно отключен), Крылов действительно впадал в омертвелость и лежал негнувшийся, как мумия, скалясь на пыльную люстру. Состояние соединяло острейшее ультразвуковое чувство опасности и глубочайшее к ней равнодушие. Между тем за окнами скользил удивительно мерный рождественский снег, и небольшая, похожая на елочное украшение летающая тарелка иногда зависала над балконом, выжигая на старухином халате рыжие крошащиеся пятна.

* * *

Оставив за дверью государственную власть, закрывшись навсегда от женского сообщества с его притязаниями и локальными войнами, Крылов на самом деле по-

желал того, чего еще не было нигде и никогда. Он решил освободить свою территорию от воздействия силы, пронизывающей мир. Имя этой силе давала только религия, но все безбожные рифейцы, не имевшие отношения к трезвонящим храмам и к тем, кто в них собирался, тоже вынуждены были с ней взаимодействовать. Они искали и не находили свободы; на своих катамаранах, горных велосипедах, бешеных мотоциклах они словно стремились вырваться из невидимых тенет, разодрать мировую крашеную ткань — или уничтожить вместе с собою то, что было намного сильнее человека и ни о чем с человеком не советовалось. Главная подлость заключалась в том, что для отдельного гражданина все остальные человеческие существа были представителями этой силы, исполнителями ее непонятных решений. Потому подросток Крылов так решительно делил человечество на себя и на всех остальных; потому он с полным хладнокровием возмещал убыток, нанесенный одним, за счет кого-то другого и терпеть не мог оставаться в долгу.

Теперь на своих пятидесяти квадратных метрах он поставил целью не давать этой силе ни малейшего шанса. Ни один предмет на территории не мог быть передвинут без воли Крылова. Только Крылов был источником всех возникающих здесь причинно-следственных связей — по необходимости предельно упрощенных. Каждая вещь, имевшаяся в квартире, одновременно существовала в со знании Крылова в виде голографической копии. Он не мог себе позволить забыть о предмете, поставив его на дальнюю полку. Поэтому он беспощадно избавился от лишнего: вынес на помойку две коробки своего и старухинога хлама, включая побитые фигурки мертвого фарфора, горшок с неизвестным засохшим растением, от которого осталось и торчало из плесени что-то вроде свечного фитиля, дореволюционные, сыплющие прахом книги — многословные труды забытых усачей. То, что осталось стоять на протертых поверхнос-

тях, продемонстрировало Крылову, что ум его ограничен. Но теперь он мог вполне осознавать все, что происходит в убежище. Через небольшое время он заметил, что пространство квартиры сделалось п р о з р а ч н ы м: ничто в нем не было сокрыто от самого первого взгляда, но возможность проникнуть извне исключалась абсолютно. Богу, пожелай он достать своей соломинкой человеческое насекомое, пришлось бы размыть прозрачность убежища в белесую крошку.

Ощущение свободы, которое Крылов испытал, затворившись здесь навсегда, не имело аналогов в повседневности и напоминало разве что избавление от одежды и ее застежек. Из-за этого Крылов завел привычку разгуливать голым, благо древние батареи под мощными подоконниками испускали металлический жар, от которого по стеклам, размывая ледяные перья, стекала вода. Отсутствие в квартире зеркала позволяло Крылову не стесняться; на кухонную табуретку, клейко холодившую зябкие ягодицы, он набросил застиранное полотенце.

Теперь он с поразительной ясностью понимал, что любой человек, сколь угодно ничтожный, пьяный и бессмысленный, может притащить с собой в убежище Бога. Крылов буквально видел, как светится Его присутствие сквозь помятые или просто будничные физиономии соседей. Однажды, спускаясь по лестнице, он столкнулся с живущим через стенку мужиком: абсолютно не вяжущий лыка, мужик взбирался едва ли не на четвереньках, а на плече у него сидело существо, первоначально принятое Крыловым за полярную сову. Уставившись в упор на феномен, он так и не смог рассмотреть яснее радужный кокон, расправлявший длинноперые дивные крылья всякий раз, когда мужик собирался тюкнуться оскаленной физиономией об острую ступеньку, и слегка поднимавший подопечного в воздух. Растерявшись, Крылов неожиданно для себя сунул алкоголику бумажку в двадцать долларов. Тот, вытаращившись на деньги, зажатые в си-

них, словно чернилами измазанных пальцах, внезапно протрезвел — и Крылов едва успел спастись в своей квартире от его благодарности, от сполохов взбудораженного ангела и от полоскавшего в грязной бутылке тошнотворного портвейна.

Лежа навзничь на верном диване с романом на голой, покрытой испариной груди, с жарким ветерком от батареи в свободном паху Крылов пытался вообразить, как через тридцать или сорок лет в квартире впервые появится чужой. Ему казалось, что пространство, представшее чужому, будет сильно отличаться от обычного жилища. Перед вошедшим окажется тайна, которую всякий человек имеет в себе и уносит с собой (ненужное и печальное сокровище, которое не удастся истратить для жизни или кому-то подарить), а Крылов каким-то образом сгрузит это имущество в своих стенах — пусть не востребованное, но зато и не уничтоженное. Он видел задачу в том, чтобы после смерти развеять в воздухе душу, как иные завещают развеять в воздухе прах, и чувствовал в себе железную волю у й т и п у с т ы м.

Словно выйдя за пределы собственного тела (отказ от одежды и означал, по-видимому, отказ от привычной границы), он пытался засечь свое бесплотное присутствие на окружающих предметах. Несколько раз ему казалось, что в квартире все-таки имеется зеркало. Но, должно быть, прошло еще слишком мало времени для каких-то устойчивых эффектов. Однако Крылов не сомневался, что чужой, войдя в квартиру, первым делом увидит его — не труп, который тоже, вероятно, будет тут лежать, а вполне достоверный и движущийся образ: голого мужчину с тревожными глазами. Вероятно, этот Адам не развеется в первый же момент, возможно, его хватит еще на несколько посещений чужих — а потом все снова станет как везде. Зато Крылов не уйдет смиренно к Тому, Кого он не просил производить себя на свет посредством подлого отца, Кто ни о чем с Крыловым не договаривался.

Раз не было договора — не будет и его исполнения; как всякий нормальный рифеец, Крылов предпочитал не подчиняться сильному, а скорее сдохнуть.

Но еще до встречи с Таней, показавшей Крылову, как можно вдруг, помимо воли, поступить в распоряжение судьбы, в обживании убежища возникли непредвиденные трудности. По сравнению с ними водопроводные протечки и общительность соседей были цветочки. Из-за непривычной свободы чресел Крылова стала одолевать неотвязная похоть. Такого с ним не случалось даже тогда, когда он был подростком и запирался от родителей в ванной, завешенной их постиранными трусами, похожими на рваные знамена проигравшей армии, и всякий раз боялся, что его измусоленный приятель, принимавший цвет рассерженного осьминога, брызнет в их особо чувствительный к пятнам свежепобеленный потолок. Тогда ему казалось, что у всех предметов в родительской квартире аллергия на его незаконную сперму. И теперь, снова запираясь в ванной неизвестно от кого, одержимый видениями женщин, трепещущих, как рыбыны на разделочных досках, Крылов приходил все к тому же подростковому компромиссу. Изнуренный убежищем, он порой бывал несостоятелен перед «подругами» Тамары: их кружевные гарнитуры, стоившие дороже сброшенных платьев, оставлявшие светиться высокие части бедер и иные нежные соблазны, вызывали раздражение нарочитой изобретательностью, превращением тела в избыточно украшенный предмет. Разочарованные девушки, пытаясь завести холодного Крылова, обращались с его утомленным орудием точно с провинившимся котенком. Они не скрывали злости — что заставляло Крылова добром вспоминать одинаковых Ритку и Светку, всегда умевших по-товарищески подбодрить пацана и удовлетворявших исключительно по доброте душевной даже пенсионера Паршукова из двенадцатой квартиры, хотя у деда левая нога была искусственная с на-

рисованным, как у куклы, лаковым ботинком, выглядевшим моднее и новее настоящего башмака. Честный и простой Тamarin секс тоже не был спасением от беды. К несчастью, и она после развода уверовала в эротическую магию кружевных гарнитуров: на ней они смотрелись точно похабные надписи на гордой мраморной колонне. В соединении с нервическим голодом, вызванным мечтами о баснословных доходах с экспедиции, бурные мужские потребности и примитивное их удовлетворение довели Крылова до полного расстройств. Однажды в марте, с липким треском отодрав балконную дверь, через которую в убежище, точно пышная крона срубленного дерева, ввалилось очень много свежего уличного воздуха, он вылез на прогнившие доски, чтобы разрушить сугробы с женскими формами, уже просверленные каплей до самого дна. Под стекляннистым снегом, с мокрым шелестом ссыпавшимся на тротуар, обнаружили, против ожидания, не побитые тазы, но холоднящий чемоданчик с большим количеством разбухшей фотопленки, а также четыре связки особого рода открыток, где благородная старая дама, благодетельствовавшая Крылова, представляла послевоенной красавицей с очаровательными ямками на щечках, словно тронули десертной ложкой взбитые сливки, и совершенно бесстыдным маленьким телом, которым она увлеченно занималась перед камерой, словно восхитительной игрушкой.

Так убежище, терзая Адама, требовало Евы. Эти муки прекратились только с появлением Тани, от которой Крылов приходил опустошенный и засыпал с ощущением, будто тело его испаряется и на подушке остается лишь цветной тяжелый мозг да два глазных яблока, в которые винтили по калейдоскопу. Зато он понял странную вещь: на территории, где может что-либо происходить только по его осознанной воле, в результате н и ч е г о н е п р о и с х о д и т. Во внешнем мире, где Крылов, испы-

тав к незнакомой женщине чувство неожиданной силы, подпал под некий высший произвол и гонялся за Богом по городу, точно сумасшедший папарацци, все светилось и дышало жизнью, каждый день мог принести и счастье, и крушение надежд — а на суверенной его территории шли, казалось, только самые простые физические и химические процессы. Все остальное приходилось делать вручную. Сам себе подавая одеться, сам себе наливая какао из кривой, пригорелым бархатом устеленной кастрюльки, Крылов словно что-то нарочно подстраивал, словно перед кем-то неумело актерствовал.

Собственная свободная квартира стала для Крылова неослабевающим соблазном. Не раз и не два, натываясь на отсутствие в окраинном районе гостиниц или вынужденно попадая в уже знакомое заведение, украшенное плюшевыми креслами цвета вареной свеклы и нелюбезной женщиной-администратором с тонким красным ртом, похожим на школьную отметку, он едва удерживался от того, чтобы повезти Татьяну попросту к себе. По условиям игры любовникам не только не следовало, но прямо запрещалось впускать друг друга в свою реальную жизнь. Но убежище, так же как и Тания, не имело отношения к реальности Крылова. Из-за того, что тайна его получалась двойной и он утаивал квартиру только для себя, Крылова мучило чувство вины. Часто, ощущая вкус болезни на холодной и влажной Таниной коже, наблюдая, как она сплошь оклеивает стертые ноги полосками пластыря, он мысленно крыл себя последними словами. Татьяна, напротив, относилась к своим физическим немощам с неестественным равнодушием.

— Ты любишь как женщина, — сердито говорила она, когда у Крылова невольно наворачивались слезы от ее клекочущего кашля в спекшийся платок.

— Я боюсь, что ты надорвешься, — оправдывался Иван. — Разболеешься и однажды не придешь, что тогда?

— Не сомневайся, приду, — угрюмо отвечала Татьяна, дыша после приступа кашля, будто после забега на пять километров. — Если бы могла не приходить, давно бы это сделала.

— Зачем мы все это затеяли? — сокрушенно бормотал Крылов, наблюдая, как Таня сноровисто расставляет по голой гостиничной ванной свои походные флаконы геля и шампуня, вымазанные в собственной мякоти, будто перезрелые фрукты. — Нам стоило бы...

— Только не начинай! — страдальчески морщилась она, присаживаясь на одну из двух скудно застеленных кроватей. — Тебе отлично известно, что иначе быть не может. Давай держаться подальше друг от друга и помнить, что от добра добра не ищут. Запомни: реального живого человека никто не любит. Потому что реальный и живой для этого непригоден.

— Я бы, ты знаешь, попробовал, — высокомерно отвечал Крылов, глядя сверху вниз на то, как женщина, путаясь в сборчатых юбках, расстегивает прилипшие к ногам килограммовые босоножки.

— А кто ты, собственно, такой? Мистер Совершенство? — в минуты раздражения в голосе Татьяны прорывалась вся усталость, что накопилась за месяцы скитаний по городу, иногда казавшемуся бесконечным. — Хочешь, сформулирую? Ты — большой подросток, который почему-то думает, будто в кармане у него миллион долларов или как минимум волшебная палочка. Ты как будто все время нарываешься, уверенный, что есть неевклидово решение всякой проблемы и что ты-то его и найдешь. А на самом деле ты ни к чему не готов, как всякий обычный нормальный человек. Видишь, я и так слишком много понимаю про тебя, не хватало мне еще о чем-то узнавать.

— Ну ладно, сегодня не будем, — покладисто соглашался Крылов, уже сосредоточенный на мелких пуговках и кусачих крючочках.

Он бы, может, и настоял на своем, если бы не связка таинственных ключей, которую Татьяна подарила ему с неизвестной целью — вряд ли просто для того, чтобы его подразнить. Их Крылов всегда носил с собой, и металлическая гроздь на дне кармана парусиновых штанов чувствительно била его по ноге. Два из четырех ключей со сложными бородками, напоминавшие скелетные кристаллы-дендриты из коллекции Анфилогова, явно относились к дорогим высокоточным замкам, два других — похожий на букву «ер» и похожий на обыкновенный гвоздь — отпирали что-то незамысловатое. Возможно, это были разные помещения — но, скорее всего, вторая пара принадлежала внутренним дверям квартиры из тех, что, обитые дерматином, напоминают старые диваны, а первая открывала сейфовую дверь — и покруче, чем та, на какую раскошелился Крылов. Магнитная пластина с ледяными зернышками чипов говорила о том, что подъезд контролирует компьютер. По всему, квартира Татьяны относилась к жилью довольно высокого класса — что никак не соответствовало бедности ее фольклорной, словно овощными соками крашенной одежды. При этом, несмотря на наличие мужа, что-то подсказывало Крылову: если бы Татьяна решила устроиться как проще и прекратить эксперимент, она могла бы предложить возможности ничуть не худшие убежища на улице Кунгурской. И ключи она передала Крылову потому, что иногда в порыве оптимизма мечтала об этом. Зато в наплывах пессимизма, судя по раздраженным взглядам, какие Татьяна бросала на снимаемые или надеваемые штаны Крылова, нагруженные металлом и бряцающие, будто конская сбруя, она подумывала, как бы ловчее взять назад опасный сувенир. Крылов же намеревался при любых обстоятельствах оставить у себя все тяжелеющую, будто зреющую гроздь, которую изучил осязанием до последней зазубринки и, казалось, мог считывать с нее информацию, как читают на ощупь книги для слепых.

В общем, появление Татьяны в жизни Крылова не привело к ее появлению в убежище. В результате ни одна душа не знала, где именно он находится, когда после разговора с Тamarой, усталый, ошарашенный неподлинностью мира, который он привык считать настоящим, Крылов поднялся на четвертый этаж старого подъезда и отпер своей незатейливой связкой все еще новенькую, отвечавшую бодрым солдатским гулом на толкотню входящего человека сейфовую дверь. В коридоре Крылова ожидала тишина и ветхая полоска света из ванной, где почему-то горело электричество. Резко дернув за ручку, Крылов убедился, что ванная, конечно же, пуста, и протекающий смеситель, замотанный мутным водянистым скотчем и похожий на лезущее из куколки большое насекомое, аккуратно направлен в раковину.

На кухне Крылов обнаружил две невымытые тарелки с живописными следами яичницы; в мойке мокла, полная приторной мути, чашка из-под какао, другая, с мухой на дне, белела на подоконнике, рядом с мясистым, похожим на хищного осьминога старухиным столетником. Квартира словно принимала Крылова как минимум за двух человек. Уже не в первый раз у него возникало явственное ощущение, будто в его отсутствие в убежище кто-то побывал. То он находил, вот как сегодня, лишнюю посуду; то ему казалось, будто кто-то трогал книги и поставил их на полку в необычном, не свойственном хозяину порядке. Боковое зрение то и дело отмечало странную неправильность вещей, ошибочность их расположения; иногда Крылов буквально чувствовал — чего-то не хватает среди предметов обстановки, а чего — не мог определить. Ум его, одурманенный женщиной и перегруженный городом, больше не держал тех четырех десятков материальных единиц, которые он оставил на территории и до сих пор успешно контролировал. Он забывал и за-

бывался. Раз, придя от Тани непоздно и обнаружив, что кончились сигареты, он спустился в круглосуточный супермаркет. Пребывая в блаженном рассеянии от летней ночи, от невесомости молочных фонарей, похожих на воздушные шары, от приветливой улыбки темноглазой, почему-то знакомой продавщицы, он купил помимо блока «Явы» полкилопельменей, три бутылки пива и креветочный салат. Вернувшись домой, он увидел в прихожей фирменный пакет все того же супермаркета, а в пакете — сигареты, пиво, упаковку пельменей, слипшихся в углу, и острую корейскую морковь.

Теперь, перебивая посуду, Крылов давал себе честное слово быть предельно собранным. Через неизвестное время он обнаружил себя стоящим у комнатного окна с тарелкой в руках, которую он полировал полотенцем до зеркальной скользкости — и тут же выронил из тряпки и из рук, разбив на три идеально чистых зазубренных куска. Внизу, в тени мигающего монитором справочного автомата, топтался нищий старик с огромной ватной бородицей, похожий на спившегося, застрявшего летом на большой земле Деда Мороза; в позапрошлый раз рядом с ним топталась, ожидая Крылова, бледная Татьяна, в последнее время взявшая привычку становиться, если представлялась возможность, в ряд с заскорузлыми, профессионально пахнущими нищими. Что она хотела этим выразить, оставалось Крылову неизвестно; он подозревал, что, занимая место и тень, она не подавала соседям ни рубля. Собственно, он давно ожидал, что гадание по карте города приведет Татьяну к убежищу; увлекая свою женщину прочь от собственных окон, стараясь не поднимать головы, он знал, что лжет, как никогда не лгал на словах. Теперь, выглядывая вниз, он чувствовал, как не хватает Татьяны там, возле деда и автоматов, и понимал, что в его незанавешенном окне, будто картина в раме, сохранился и стоит самый острый образ ее отсутствия.

Мимо старика проходило много женщин, облепленных модными, словно бы мокрыми платьями: все они были чужими для Крылова, точно марсианки. Напротив, через Кунгурскую, старинный фасад районной налоговой полиции украшался в преддверии праздника города длинными шелковыми вымпелами, которые стекали с флаштоков, будто мед или варенье, и тут же слипались в густом предвечернем воздухе, вяло шевелясь среди лепных гербов и белоруких слепых кариатид. Подальше, на высоченном торце академического института, начал расправляться и застрял, подергиваясь, гигантский транспарант с портретом мэра: видна была лишь узнаваемая, похожая на холку барана курчавая шевелюра, да левый добрый глаз, который от усилий крохотных рабочих радостно подмигивал крохотным прохожим. Праздник города был контрольной датой, после которой можно было ожидать возвращения экспедиции. Стало быть, уже через неделю. П р о з р а ч н о с т ь, наполнявшая квартиру, не удерживала Крылова: то и дело он буквально терял сознание, нормально при этом двигаясь и даже делая что-то по хозяйству. Сидя голым на квадратной кухне, он для чего-то чистил дряблую, с белыми бородавками, прошлогоднюю картошку. Даже отсюда было слышно, как соседи-алкоголики снова заводят один из своих стенобитных скандалов: их приглушенные крики звучали лживо, особенно по сравнению с достоверным треском падающих стульев и всхлипами стекла.

Вот, значит, почему все так. Весь этот мир с его страданиями, бедностью, болезнями попросту н е н а с т о я щ и й. Некие умники, засевшие, в частности, в бетонном институте, приукрашенном к празднику румяным мэром и его сердечным поздравлением, создали реальность, пусть не воплощенную, но отнимающую подлинность у всего, что происходит вокруг. Сообщение Тamarы, на первый взгляд неправдоподобное, подтверждалось, если подумать, многими фактами — то есть даже не

фактами, а тихим подспудным ходом вещей. Лет пятнадцать, как это началось: словно самый воздух сделался использованный, отчего господу побогаче бросились покупать контейнеры с альпийским либо антарктическим концентратом. То был необновляемый воздух закрытого помещения, где запрещено откупоривать форточки. Произошла, как писали продвинутые глянцы, смена форматов. Крылов припоминал лавину слов на эту тему, целые реки журнальных шелковых страниц, в которых плыли и тонули, будто осенние листья, разноцветные портреты властителей дум. Консервация жизни подавала себя как небывалое наступление новизны. Все вдруг ощутили себя героями романа, то есть персонажами придуманной реальности; всем хотелось говорить — не отвечая ни за одно из сказанных слов. Крылов не забыл, как они с Тamarой, молодые и счастливые, стильно одетые (впервые позволившие себе щедротами Анфилогова дорогую дешевку из оформленных под салуны джинсовых магазинов), толклись в массовке мероприятий, именуемых то политическими акциями, то арт-проектами — что было, в сущности, одно и то же. Все политики представляли собой именно арт-проекты: президент Российской Федерации походил, как никто другой, именно на президента Российской Федерации, так что после стали выбирать таких же блондинистых силовиков. Мэр рифейской столицы, курчавый, несколько даже негроидный, похожий на разжиревшего Пушкина, вскоре был переизбран, но на место его пришел в точности такой же, а потом еще один — так что поговаривали, будто достопамятный политик, и его преемник, и нынешний отец рифейцев, украшающий собою в преддверии праздника сотни торцов и фасадов, — один и тот же человек. В этом, как теперь понимал Крылов из объяснений Тамары, не было никакой технической проблемы.

Что потом? Должно быть, все каким-то образом ощутили неистинность мира; помощь ближнему в его

н е н а с т о я щ и х страданиях сделалась бессмысленна. Образовалась некая новая культура, обладавшая внутренним единством, — культура копии при отсутствии подлинника, регламентированная сотнями ограничений, прописанных в Законе о защите прав потребителей. Любимые народом герои телесериалов не сочувствовали даже сами себе, достигая достоверности только за счет искусства сохранять лицо, когда по ходу действия умирает ребенок или разоряется фирма. Поэзия выдохлась всюду, а не только из произведений пугал в свитерах до колен, вынужденных теперь продлевать жизнь своим стихам только за счет продления собственной жизни, которую мало кто соглашался обеспечивать. Охотно подавали только нищим, потому что знали: это бизнес, и все старики в плесневелых лохмотьях, инвалиды с похабно шевелящимися красными культями, грязные дети с перемазанными шоколадом лисьими мордашками — на самом деле небедные люди, зарабатывающие побольше иных дизайнеров и референтов. Нищие сделались актерами истинно народного театра, представителями единственного живого вида искусства — искусства представлять несчастье в условных коммерческих образах. Иные труппы достигали в демонстрации человеческой немощи такой же предельности, какой достигает цирк в демонстрации человеческого атлетизма. Гуттаперчевые акробаты, умеющие прятать на себе здоровые конечности, изгибаясь немислимым образом и превращаясь из стройных людей в узловатые коряги; иллюзионисты в хитро устроенных колясках, скрывающих из виду едва не половину человека; клоуны, жонглеры, воздушные гимнасты на длинных костылях — иначе говоря, элита профессии, из которой Крылову особо запомнилась носатая цыганка, державшая перед собой в кастрюле голову своего ребенка — и преспокойно выпускавшая его побегать из ветхих сборчатых юбок, когда не наблюдалось особого наплыва заинтересованной публики.

Подлинник — врет. Главная идея нового искусства имела под собой, оказывается, глубокую основу. Но эта основа оставалась скрытой. Никто не сообщил, к примеру, матери, что ее грошовая пенсия, на которую можно протянуть, только покупая «благотворительные» продукты в серых присохших упаковках, всего лишь у с л о в н о с т ь, правило игры. Жалобы ее на опухшие ноги, на давление, на темноту в глазах уже давно звучали ложью — и она действительно лгала, потому что болела п о н а р о ш к у, тогда как объективно существовали лекарства, способные освежить ее воспаленные почки за несколько часов. И сколько раз Крылов, бывало, раздражался не на сетования даже, не на тонкий голос из соседней комнаты, а на самый вид ее разрезанных лаковых туфель, словно вымазанных изнутри хозяйственным мылом. Так же точно его бесили и другие проявления бедности, немощи, болезни, не умеющие прикинуться шуткой. Теперь он понимал, почему у всех врачей, даже очень высокооплачиваемых, такой дурной характер и почему у женщин стало принято накладывать много косметики, чтобы лица походили на большеберотые маски. Что получилось в результате? Театрализация жизни, позиционирование всякого питейного заведения и всякой кофейни в качестве сценической площадки, актерство официанток, обилие блескучих телешоу при отсутствии толковых новостей, бесконечные конкурсы красоты без самой красоты. М ы е с т ь т о, н а ч т о м ы п о х о ж и. Разве так трудно сделать вид, что ты благополучен и здоров? Гораздо легче, чем действительно заработать деньги и действительно выздороветь, но от нормального члена общества большего и не требуется. Ему в каком-то смысле большего и не нужно. Что там Тамара говорила насчет половины рифейского населения, желающей н е б ы т ь? Видимо, как раз у хитников и экстремалов все в порядке со вкусом, раз они отказываются от постоянного участия в кастинге.

Так думал Крылов, лихорадочно пытаясь сформулировать, почему же он попался. Похоже, что с ним вопреки его желанию, то есть насильственно, случилось нечто п о д л и н н о е. То, что раньше, вероятно, случалось со многими людьми и было явлением того же порядка, как и происходившие совсем в глубокой древности превращения, воскрешения и полеты на пыльных персидских коврах. Со стороны Крылова было абсурдно так привязываться к женщине не слишком красивой, капризной, угрюмой — тем более буквально выхватывать ее из толпы, будто бог знает какое сокровище. Радость его была в одних воспоминаниях о Тане: он почему-то отставал от себя, от собственной реальности на несколько дней. Чтобы быть счастливым, ему следовало все свои дни сделать одинаковыми, то есть жениться на Тане и вести абсолютно размеренную жизнь, сегодня как вчера. Вместо этого он потребовал (от неизвестной, по-видимому, небесной инстанции), чтобы в его персональном случае непроверяемое подверглось проверке. В результате в жены ему достался призрак.

Поскольку на территории, освобожденной от присутствия Бога, ничего не происходило, то единственным событием этого вечера оказался сон Крылова. Ему приснилось головокружительно глубокое горное ущелье с отвесными, словно железными, скальными стенами; по дну его, подробно, будто живая карта, несся с гулом курьерского поезда зеленый поток, пыливший тучами воды и пахнувший вином. Стоило наклониться чуть пониже, буквально на десять сантиметров, как отдаленный шум воды внезапно делался слышной: голову буквально охватывал ахающий грохот, и благоухание ущелья поднималось вместе с тончайшей, очень холодной пылью, что ложилась на лицо, будто влажный марлевый компресс. Бездна манила — сильнее, чем та, что открывалась с вершины прекрасной «поганки»; высота прохватывала, и в животе порхали мотыльки.

Рядом с Крыловым стояли и сидели какие-то люди (сбоку, неотчетливо, был как будто силуэт разбитого автобуса); постепенно, точно звери к водопою, они подкрадывались к самому краю обрыва. Чтобы не броситься вниз самому, каждый снимал и швырял на прокорм глубокому прельстительному воздуху какие-то вещи: в бездну, кувыркаясь, летели кейсы, ботинки, мобильные телефоны, скользили, словно приветствуя по очереди правую и левую скальные стены, темные шляпы. Но ни одна из брошенных вещей не достигала дна: уже почти исчезнув, остро вспыхнув на солнце, они ныряли в синюю тень и там, показавшись напоследок, исчезали, точно их растворяла сама высота, сама непостижимость падения, додумать которое было невозможно.

Крылов, как другие, кинул вниз, едва не покачнувшись вслед за нею, тяжелую сумку, содрал с запястья сопротивлявшиеся, будто скорпион, железные часы. Сокрушаясь, что у него по сравнению с попутчиками очень мало вещей (во сне все это было логично и сопровождалось каким-то квакающим закадровым комментарием), он выпутался из старых, никуда негодных пальто и пиджака, из-за пустоты карманов странно и легко отдававших новизной. Проследив падение своей одежды, полоскавшейся, точно ее постирали, в восходящих и опадающих воздушных потоках, Крылов обратил внимание на то, что многие люди вдоль обрыва следуют его примеру. Иные уже разделись до трусов и напоминали купальщиков, готовых окунуться в озеро дивного воздуха. Сопrotивляясь зову пропасти, они цеплялись друг за друга или ложились плашмя, буквально лепились к скале — твердой, надежной, а все-таки покато́й; их незагорелые тела, покрытые мурашками и прилипшими камешками, дрожали среди трепета редкой травы, из которой ветер вычесал все, кроме нитяных сверкающих стеблей.

Вот, полоща штанинами и сыпля монетами, в пропасть полетели чьи-то серые, сильно измятые брюки. Присмотр-

ревшись, Крылов увидел, что и на противоположном краю провала творится то же самое: откуда-то взявшиеся люди — гораздо более близкие, чем гравированные кустарники и миниатюрное овечьё стадо, стекавшее, будто овсянка с края кастрюли, на берег кипящего потока, — стаскивали, швыряя ее от себя и даже подбрасывая вверх, разноцветную одежду, ложились голыми на влажно блестящие, словно бы жирные камни. Теперь уже оба края пропасти напоминали пляж; то тут, то там маячил широкобедрый женский силуэт, пытающийся сжаться в комок. Вдруг неподалеку началась какая-то нелепая возня, похожая на спаривание жуков: сперва покатился, ударяясь о скальную стенку, будто первобытный прообраз колеса, округлый каменный кусок, а потом один из двух дерущихся, сильно замахав руками, точно пытаясь уплыть на спине, оторвался и стал уменьшаться, сверкая белизной и растворяясь, словно высыпанная в воду ложка сахарного песка. Крылов, будучи во сне всеведущим, догадался, что произошло: те, у кого не осталось вещей, чтобы сбросить их вместо себя в чарующий провал, сообразили, что для этого вполне подходит зазевавшийся сосед. И уже туманные попутчики Крылова, отчужденно рассредоточившиеся, чтобы каждому быть наедине с очарованием пропасти, снова стали собираться вместе; вот полетели, близко к солнечным стенам, две, три, четыре нелепые куклы — одни безвольные, другие с каким-то остатком дергающейся жизни; те, кто не успел сорвать с себя одежду, были как флаги.

Между тем прельстительное дно ущелья, заполняемое выпуклым солнцем, словно кто проводил ему пальцем русла и озерки, оставалось *н е в и н н ы м* — не запятанным ни одним из сброшенных сверху предметов. «Оркестровая яма мирового театра», — произнес над ухом Крылова закадровый голос; и действительно — призывы бездны внезапно усилились, будто в ее беззвучную музыку стройно вступили новые инструменты. Сдерживая ликование поджилок, Крылов гляделся в эту вечность,

где над рекой, далекой, будто реверсивный след от самолета, стояла лиловая грозная радуга с ярким, как при солнечном затмении, золотистым ободком. Он не заметил, как к нему подобралась. Полуголый толстяк, осторожно несший свой приятный, словно шелком вышитый жилетик, увидел, что обнаружен, и набросился на Крылова с отчаянным хохотом, больно раня сырые ноги об острые камни. Он оказался холодный, как лягушка; играя бледными глазами, он словно пытался посадить Крылова на землю. Но когда Крылову показалось, что он уже практически вывернулся из скользких объятий противника, подошвы его не нащупали опоры — и под ним, как граната, рванула пустота.

* * *

Корундовая речка встретила экспедицию пронзительным холодом. Поток, сжимающий ноги в резиновых сапогах, хватал за самые кости, все зеленое по берегам казалось синим; снежники на призрачных вершинах, бывшие в прошлом году слепыми пятнышками на большом и солнечном воздушном зеркале, теперь лежали плотно. Анфилогов, оставшийся без свитера, немедленно простудился; он механически шагал по скрежещущей гальке и скользким корням, а голова его в пропотевшей вязаной шапке словно плыла отдельно, и в ней гудела мощная электростанция.

Много месяцев профессор вглядывался в изображение корундовой речки на карте и знал его лучше, чем трещину в собственном потолке. Реальность, однако, не совсем совпадала с представлениями Анфилогова. Все обнаруживалось ровно там же, где было в прошлом году; так же распределялись по берегам заветренные скалы, покрытые лишайником, похожим то на медную прозелень, то на светлые пятна птичьего помета; так же тянулись длинные

галечные отмели, где по утрам побелевшие камни слипались от холода, будто леденцы. Хитники чувствовали себя хозяевами, которые вернулись в дом, где без них ничего не происходило. Одновременно у Анфилогова было странное ощущение, будто на корундовой речке побывал кто-то посторонний.

Экспедиция двигалась, не задерживаясь для промывки породы и сбора образцов. Однако путь оказался намного длиннее и утомительнее, чем рассчитывал профессор. Казалось, распадок накренили: речка, прибавив воды, шибче заскакала по камням, перекаты опухли; хитники, пробиваясь в верховья по направлению к той особенной складке, где горизонт, как воротник, был застегнут не на ту пуговицу, все одолевали непонятную крутизну, согнувшись пополам под весом рюкзаков.

Теперь продовольствия у экспедиции было более чем достаточно. Но горные духи проявляли свое присутствие: хитникам вот уже неделю не удавалось поесть горячего и просушить носки. Каждый раз старательный Колян набирал в подсохшем ельнике хорошего, трескучего сушняку, складывал его по правилам и высаживал туда, как птичку в клетку, живой горячий огонек. Но как только пламя, скомкав растопку, начинало вылизывать дымные попискивающие ветки, вдруг откуда-то снизу, точно из ракетной дюзы, вырывался бледный огонь — и вода в котелке, только-только начинавшая кипеть, моментально превращалась в ноздреватый лед, похожий на кусок Луны. Лютой стужей задувало от магниевого белого костра, в котором обгорелые ветки схватывались, как железная сварная конструкция; все вокруг становилось будто черно-белое кино, прутьяные березы искрились, словно оголенная проводка, а мерцающие точки на изображении были снегом, сухим и грубым, выделявшим при попадании на кожу ядовитые капли.

Температура внутри феномена, по прикидкам Анфилогова, была примерно минус семьдесят по Цельсию; на

дне прозрачной белой ночи, слегка подернутой мыльными облаками, ледяной костер крутился, будто слив на дне большой остывающей ванны. Погасить его, понятно, было невозможно: когда Колян по дурости, думая опередить студеную вспышку, кинул на распаренные, еще горячие ветки полведра воды, она моментально, в разлете, застыла ледяной щепой, зацепившей развесистый куст, а мокрые лапы Коляна, с мясом приклеенные к тусклому железу, начали покрываться белыми крупитчатыми бородавками. По счастью, Анфилогов догадался бросить булыжник, лопнувший в костре разваренной картофелиной: оскаленный лед, похожий на бред, с прелестным звоном осыпался в костер. Освобождая воющего Коляна, профессор, как сумел, помочился теплым на его сведенные лапы, в которых побледневшее ведро судорожно бряцало льдиной, а потом, распутав у жертвы на поясе какую-то тухлую веревочку с гнилыми узелками, заставил и его сделать то же самое — причем существенная часть телесного тепла, несмотря на брезгливую помощь профессора, попала в штаны.

Следовало как можно быстрее уходить от ледяного пламени — потому что ведро ведром, а могло случиться нечто и похуже. Сворачивая лагерь, Анфилогов искоса поглядывал, не появится ли в костре Пляшущая Огневка, — и действительно видел пару раз, как закрутилась в снежном вихре легко одетая женщина ростом примерно полметра, менявшая форму, будто глина на гончарном круге; ее безбровое узкое личико с глазами, как капельки крови, было покрыто, как показалось профессору, прозрачной чешуей. Помня, что экспедиция не может себе позволить пожертвовать котелком, Анфилогов, как хоккеист клюшкой, выбивал его из пламени нетеплопроводной жердью, приготовленной в дрова; котелок еще долго жегся и походил на меховую белую шапку. Кое-как забывшись бредом в пуховых австралийских спальниках (Анфилогов в предвидении барышей не поскупился на осна-

щение экспедиции, хотя и не позволил брать с собой излишнее имущество), хитники наутро наблюдали над местом бывшего костровища тонкое свечение: радужный блин, подтекая с краев, строго вертикально поднимался к облакам.

Профессор боролся с простудой с помощью сильного (весьма дорогого) антибиотика, однако при отсутствии горячей пищи никак не удавалось задавить болезнь. Утолить шершавую жажду водой из речки было все равно что проглотить змею. Хитники не отказывали себе ни в деликатесных консервах, ни в жирном «альпинистском» шоколаде. Экономно прикладывались только к профессорской фляжке с виски «Шивас Регал»; если перед сном хватало сил, растирались спиртом, причем Колян, нацедив себе в ладонь, сначала отхлебывал, а потом уже принимался размазывать и расшлепывать остатки по тощему телу, напоминая в сумерках гигантского таракана. В городе, наблюдая продуктовые закупки Анфилогова, Колян предвкушал экспедицию, как пикник на свежем воздухе; теперь же, когда ему давали вкусоности, на которые он облизывался дома, аппетит его почему-то никак не выходил на проектную мощность.

— Меня, Василий Петрович, тошнит от этой ветчины, — сообщал он равнодушно, возвращая профессору банку с едва расклеванным куском. — Уж больно она розовая, не могу.

— Сыру возьми! — сердился Анфилогов, сам ощущавший странные приступы отвращения к интенсивным цветам.

— Тоже не могу, какой-то больно желтый, — морщился Колян. — Чаю бы горячего с сахаром!

— Не раскисай, сам знаешь, Огневка является к богатству.

— Да только поморозит она нас раньше, Василий Петрович, — равнодушно отзывался Колян, залезая в благоухающий брагой неприятно оранжевый спальник. —

А мне даже как-то все равно. И чего у нее морда такая, будто у мутанта? Я от Фариды слышал, будто она красивая девчонка.

— У Фариды все красивые, — бормотал себе под нос Анфилогов, вспоминая, как пару лет назад Хабибуллин, старая рысь, вдруг предъявил друзьям несуразно юную, непростительно прекрасную, не сознающую, сколь редкостны ее едва прорисованные, словно затянутые тонким снегом, восточные черты, жену Гульбахор, но ничем хорошим это, разумеется, не кончилось.

Сам он этой зимой тоже женился. Разница в годах также была существенной — хотя, разглядывая свою Екатерину Сергеевну без малейшего учета, что она при этом думает, Анфилогов не находил в ее стандартной, несколько бумажной внешности никаких конкретных признаков возраста. Она совершенно не совпадала с тем сублильным, молочным, заплаканным образом, в каком приснилась ему вблизи корундовых шурфов накануне главной находки. Теперь, когда Екатерина Сергеевна спала в кровати Анфилогова — на животе, обняв подушку, обозначив под солдатским одеялом похожую на лопату плоскую задницу, — у профессора от этого было ощущение непорядка, будто в постели, вместо того чтобы висеть на вешалке, лежит его пальто. Никакими силами нельзя было вернуть очарование; Анфилогов, зная принудительно-свободные нравы гуманитарной богемы, не ревновал к фамильярным объятиям и птичьим поцелуйчикам, но у него темнело в голове при мысли, что кто-нибудь может видеть Екатерину Сергеевну сквозь ту же волшебную оптику, в которую ему только однажды дали заглянуть. Это было хуже, чем если бы его супругу наблюдали голый.

Профессора не слишком интересовало, почему Екатерина Сергеевна согласилась на брак. Он полагал, что всякая женщина предпочитает замужнее положение незамужнему, и предоставлял явление его естественной природе. Он не задумывался, что именно Екатерина Сер-

геевна чувствует к нему, есть ли, к примеру, любовь; ее пугливые прикосновения, точно она была карманница, пытавшаяся вытащить кошелек, профессор не поощрял. Чувства и мысли Екатерины Сергеевны имели для Анфилогова такое же значение, что и чувства и мысли прочих людей, с которыми профессор вел дела, — то есть никакого. Профессор попросту не верил в их существование. Преподавательский опыт подсказывал ему, что, сколько бы он ни вкладывал себя в оригинально разработанный курс, студенты не перенимают ничего от его нестандартно организованной личности. Поэтому взаимодействие между так называемыми внутренними мирами профессор полагал невозможным. Если некие двое в его присутствии начинали обмениваться этими эфемерными составами, то есть «делиться чувствами», профессор переживал такое острое одиночество, словно его исключили из жизни. Поэтому он и ставил себя препятствием между всеми своими деловыми и прочими партнерами: его беспокоило не то, что продавец и покупатель, будучи сведены, обойдутся без него, а вот эти «душевные контакты» — стихия человеческого, в которой Анфилогов по своей натуре не мог раствориться.

Он устраивался так, чтобы для каждого человека из так называемого окружения быть конечным пунктом, то есть тупиком. В случае с Екатериной Сергеевной профессор вполне преуспел. Речи быть не могло, чтобы проинформировать окружающих о радостном событии, тем более предоставить себя в распоряжение свадебного застолья. Необходимыми по закону свидетелями были Колян, вырядившийся по этому случаю в бирюзовый с подкладными плечищами и штанинами как флаги шелковый костюм, и вызванная Анфиловым по телефону смиренная женщина с толстым лицом и рыжим ежиком на голове, про которую никто не знал, что она была когда-то первой женой профессора, первой красавицей курса, чемпионкой области по спортивным танцам на льду.

Анфилогов совершенно не собирался ради Екатерины Сергеевны менять структуру собственной жизни и потому не поселил ее у себя, но выкупил (на себя) сумрачную, странно многоугольную квартиру, где во взаимном расположении комнаты и кухни было что-то от сиамских близнецов: ее Екатерина Сергеевна несколько лет снимала тоже у каких-то дальних родственников. Добавив немного мебели (кровать на рояльных ножках, рабочий стол под ноутбук), профессор стал ночевать у жены по субботам и четвергам. Он не давал супруге денег на тряпки и сознательно терпел ее линялый гардероб: отчего-то представление о Екатерине Сергеевне в норковой шубке было профессору крайне неприятно. Зато он потихоньку переписал завещание (ничего не сообщив двум предыдущим женам — толстолицей, с которой профессор по-своему дружил, и еще одной, стремившейся убежать от профессора и из судьбы, добиваясь многоэтапной пластикой сходства с нестареющей Мадонной, каковое сходство расплывалось прямо из-под рук пластических хирургов). Теперь, когда все движимое и недвижимое отходило к Екатерине Сергеевне (тоже ничего про это не знавшей), Анфилогов почему-то чувствовал себя полностью нищим.

У него оказалось немного радостей в этом непредусмотренном браке. Ему доставляло некоторое удовольствие кормить Екатерину Сергеевну каким-нибудь специфически мужским, со всеми тонкостями приготовленным блюдом: ростбифом, шашлыком. Ему почему-то нравилось смотреть, как супруга благоговейно, крест-накрест, режет сочное мясо, в самой сердцевине розовое и почти живое, как от вина, подобранного со знанием дела, теплеет ее сухое тонкобровое лицо. Впрочем, Анфилогов делал это всего четыре раза, не считая нужным доставлять избыток удовольствия ни себе, ни другим. Присутствие Екатерины Сергеевны ничего не сообщало его небольшому сердцу, весьма напоминающему формой сосуд для химических опытов — опытов, повлекших пару взрывов, скорее хлоп-

ков, но, разумеется, оставшихся в прошлом. Зато ее отсутствие напоминало Анфилогову, что он когда-нибудь умрет. Это неприятное знание прежде не являлось профессору одинокими ночами, как иным слабонервным, которые не выносят собственного общества, если кто-нибудь не разделяет с ними этого печального бремени. Профессор всегда прекрасно ладил, жил душа в душу со своей библиотекой: книги, две колонии на двух лично профессором обжитых квартирах (однокомнатная Екатерины Сергеевны не могла претендовать на то, чтобы сделаться третьей, при том что была шестой по счету, приобретенной профессором в собственность), были ночными существами и защищали Анфилогова от наваждений, слетаясь к нему под лампу в темное время суток. Они говорили с профессором на трех языках, причем иные лежали раскрытыми по многу недель, развываясь в облокоченных позах, характерных только для книг, напечатанных по-русски. По субботам и четвергам, отведенным для жены, профессор несколько скучал, потом скучал нестерпимо: небольшое растрепанное собрание макулатуры на полке Екатерины Сергеевны было столь же случайным, как собрание пассажиров в вагоне метро, и Анфилогов, справившись с супружескими обязанностями за пятнадцать минут, предпочитал презренный Интернет.

Но по воскресеньям, понедельникам, вторникам, средам и пятницам он теперь испытывал совершенно новый сорт ощущений: словно наступала ночь перед казнью и тексты в почужевших книгах становились бессмысленно длинными, уходящими за пределы понимания и жизни — а что-то важное, что-то совершенно неофициальное про самого профессора, не попавшее ни в один из существующих в мире томов, не успевало высказаться. Вероятно, Екатерина Сергеевна воздействовала на профессора на расстоянии. Примерно за неделю до отъезда в экспедицию Анфилогов, накануне ни о чем таком не помышлявший, вдруг сообщил жене коды всех своих кре-

дитных карт, дал инструкции доступа практически ко всем потайным материальным ценностям, включая содержимое аквариума. Ее испуг, ее широко открытые мокрые глаза, оказавшиеся небесно-пасмурного, влажно-серо-синего цвета, внезапно смягчили душу профессора. В последние несколько дней они, осторожно знакомясь, говорили друг с другом новыми голосами, и профессор, когда Екатерина Сергеевна, шмыгая розовым носом, сверху гладила его по голове, уже не поднимался выпрямившись, а сидел терпеливо, будто в парикмахерской. Они сходили в оперу, где в тесной ложе держались за руки под арию толстого тореадора, похожего в расшитом костюме на золотую черепаху. Екатерина Сергеевна словно искала у профессора защиты от угрожавших ему же опасностей похода, и Анфилогов, разглядывая ее пересохшие губы, похожие на заветренные дольки апельсина, думал, что может в принципе ее поцеловать.

Но теперь, когда Екатерина Сергеевна осталась в городе полной наследницей и хозяйкой всех его секретов, у Анфилогова было ощущение, будто он никогда не вернется домой.

* * *

До места дошли всего лишь на четырнадцатый день. Зимой, когда Анфилогов, немного подкупив и основательно подпоив начальника участка в ближайшем (двести километров) леспромхозе, чудом добрался до речки на позаимствованном «Буране», ему не удалось с уверенностью опознать те маленькие скалы, за которыми таились первые шурфы. На месте речки белела пустота — такая же ровная и беспредметная, как пустое небо с резким маленьким солнцем, за четыре часа проходившим низкую дугу. Обрывистый берег стоял н и н а д ч е м, снежные его карнизы, обкусанные ветром, совершенно без-

звучно висели в воздухе. Красота стояла страшная. Снег, нетронутый, цельный, затянутый волнистым жестким настом, о который можно было затачивать ножи, укрыл более или менее исхоженную землю и образовал пустыню — д р у г у ю местность, на которой нельзя было отыскать достоверных примет. Все было радужно и нереально, кроме человека — Анфилогова со слипшимися белыми ресницами, в гриве льда на мехе капюшона. Бочку бензина, дравшую пуховые, на которые он надышал, рукавицы, профессор сгрузил в затянутую белой перепонкой скальную щель, и бочка утонула, оставив круглую дыру. Эта вылазка профессора могла закончиться плохо, но она закончилась благополучно. Приполярная ночь давила морозом, но не темнотой. При свете колких звезд снеговая целина была как экран телевизора, мерцающего на пустом канале; северное сияние трепетало в небе, будто полоса горящего спирта. По собственному следу профессор без приключений добрался до зимовья — полуразрушенной избушки, похожей на потерпевший крушение матерчатый самолетик. Теперь Анфилогов имел в виду и этот путь: на юго-восток, через зимовье, где по негласному таежному закону всегда имелись припасы и спички. Налегке, с одной добычей и с минимумом продуктов, можно было довольно скоро добраться до поселка лесозаготовителей: страшенького места, обритого бульдозерами до былинки, до голого земного мяса, окруженного пятиметровым валом гниющих веток и корней, перемешанных с землей, но связанного с миром неплохой грунтовкой, по которой ежедневно ходили лесовозы, и шоферы брали с пассажиров по-божески водкой.

Оказалось, что зимой Анфилогов не промахнулся. Бочка бензина обнаружилась буквально в сотне метров от прошлогоднего лагеря, крепко застрявшая между пятнистыми от талой испарины гранитными стенками. Бочку расшатали и прикатали к палатке, наматывая на нее лохмотья прогретой, кишасей членистыми существами

почвы, под которой оставалось много мокрого крепкого льда. Ручей, разрыхливший доломит, еще рычал, вода его бурлила, точно ее выливали из кипящего чайника; прошлогодние следы экспедиции выделялись на старой мочальной траве, как выделяются на обоях прямоугольнички снятых картин. Только здесь наконец-то костер разгорелся, растрещался; обрадованный Колян вздул едучий мусорный огонь до самого неба, так что жаром сдувало шапки. Горячая пища была лишена какого бы то ни было вкуса: хитники вбирали только тепло, запекшимися губами дергая жидкость и набивая желудки распаренным хлебом. Они не в силах были отойти от прогоревшего костра, от пышущей горы углей, в которых под пенкой нежного пепла шелестел, позванивал, переливался жар; им казалось, будто перед ними величайшее сокровище, за которым они и двигались через мокрые буреломы и постную каменную кашу бесконечных отмелей.

Колян во время устройства лагеря нарвал малорослых, покрытых мышиной шерсткой колокольцев сон-травы; теперь, полулежа на спальнике, он разбирал и нюхал привядшие растеньица, погрузившись в молчание, какого прежде не выдерживал ни единого часа. Уже в который раз Анфилогов отметил, что его оруженосец сильно переменялся. Почему-то эта перемена вызывала у профессора дурные предчувствия. Прошлой осенью, с болью сбыв невероятные рубины самому тихому и скрытному из всех витающих агентов (блеклому поляку с носом-костью, с очень странной слоистой двоящейся тенью, в которой всегда темнела плотная маленькая сердцевина), профессор почему-то выдал Коляну несправедливо малую долю. Прежде Колян неизменно радовался получению денег — любых, хоть рубля, не осознавая, много это или мало, в прибыли он оказался или же в убытке, — чем и сделался ценен для хорошо считающего Анфилогова. На этот раз оруженосец, словно догадавшись об обиде, даже не заглянул в нутро лакированного конверта. Обде-

лив Коляна, профессор, разумеется, не преследовал выгоды — скорее испытывал отвращение к избытку, оставшемуся у него в кармане. Просто Колян сделался каким-то лишним: необходимым для новой экспедиции, но при этом раздражительно неуместным в жизни профессора. После того как прошлым летом Анфилогов довел невменяемого напарника по лоснящимся осыпям и полным желчи холодным болотцам до жилой деревни, после того как довез его, скулившего на верхней полке, до вокзала и до его домишка на окраине, где путешественника встречала девяностолетняя бабка, похожая в своих платках на забинтованный палец, и мутная, как бабкин взгляд, бутылка самогона, — после этих унижительных действий любое присутствие Коляна стало для профессора таким же обременительным, каким оно было в холодном вагоне и в мокром лесу. В глазах Анфилогова он сделался как будто мертвый, давать ему деньги было теперь все равно, что выбрасывать их на помойку. Колян, разумеется, это почувствовал. Самое странное, что он, похоже, с этим согласился.

Он теперь практически не показывался без дела, а если ему и случалось, как прежде, засиживаться у профессора, то он уже не лез с разговорами про цены на автомашины или недавно прочитанную книжку, а тихо замирал, погрузившись в себя, как в реку, по самую макушку, на которой при свете сильной анфилоговской лампы светился прозрачный встопорщенный клок. В перерыве между двумя экспедициями Колян объездил всю свою баснословную родню, состоящую главным образом из женщин, разбросанных по каким-то жутким, нечеловечески глухим городкам и поселкам, так что добираться из пункта в пункт приходилось с невероятными железнодорожными и автобусными затруднениями, чуть ли не через Москву. Всякий раз Колян возвращался от сестер и теток приосмиревший, опрошенный; из Соликамска, куда он мечтал однажды прикатить на иномарке, он вернулся почему-то

без усишек, с голым розовым местом под носом, похожим на пластырь. Где-то во время этих извилистых странствий Колян покрестился. Теперь он иногда осенял себя стыдливым знамением, словно запахивал одежду на женскую сторону; в растворе рубахи у него темнела, то и дело прилипая, сырая серебряная цепочка с таким же темным прилипающим крестом.

Анфилогов с возрастающей досадой наблюдал, как его напарник тихо, планомерно, ни у кого не спрашивая разрешения, опустив глаза, готовится к смерти. Тащить такого с собой в экспедицию было и глупо, и просто опасно. Колян как будто предвидел некое роковое стечение обстоятельств, мысленно обустроивался в нем, тем самым его узаконивая, приглашая осуществиться. Вероятность того, что обстоятельства зацепят и профессора, была практически стопроцентной. Одновременно Анфилогов ничего не мог поделать против таких настроений Коляна, которые, возможно, сам и спровоцировал, и не мог заменить его другим напарником, потому что в этом случае нельзя было поручиться за сохранность тайны месторождения. Да и как-то не оказалось никого пригодного среди тщательно разрозненных, существующих строго по отдельности партнеров профессора; мысленно перелистывая этот живой каталог, Анфилогов испытывал разочарование столь острое, что уже не понимал, отчего отвел для каждого особую страницу, тогда как таких полусмысленных и полуоборотистых существуют десятки и сотни. Получалось, что собранная профессором за жизнь коллекция людей не содержала ни одного уникального или сколько-нибудь ценного образца. В своем геммологическом собирательстве Анфилогов был не в пример счастливее, чем в человеческом; по сравнению с его минеральными сокровищами (куда наконец прибавилась «железная роза» — трагически расщепленный, шелушащийся, похожий на сухую язву кристалл гематита, единственный соприродный Анфилогову каменный цветок) его собрание

людей было безграмотной и наивной коллекцией школьника — кучей плохо зашлифованных банальных булыжников и крашенных стекляшек. Оттого, что ни один кандидат не был лучше другого, все они стирались, становились на одно лицо — бесконечно чуждое, совершенно Анфилогову неинтересное. Получалось, что они с Коляном — навязчивым в самой попытке занимать как можно меньше места в жизни профессора — единственно родные друг другу существа.

Анфилогов в ряду других вариантов продумывал возможность отправиться на север одному. Но просветленный Колян относился к предстоящей экспедиции с таким паломническим трепетом, что отказать ему в походе было невозможно. Он, между прочим, сумел уязвить Анфилогова, все время помнившего про злополучный конверт. Вместо того чтобы потратить скудную долю на стоматолога-протезиста (как ему настойчиво, с фальшивой бодростью советовал профессор), Колян до копейки вложил в оборудование: купил движок с насосом, чтобы откачивать грунтовую воду из корундовых шурфов. Мера, разумеется, была не лишней; профессор и сам подумывал о чем-то подобном. Правда, было непонятно, отчего Коляну эта надобность показалась столь настоятельной: в прошлый раз отлично обошлись веревкой и ведром. Так или иначе, Колян остался со своими стальными протезами, вставленными в армии. Собственно, по логике Коляна новые зубы были ему ни к чему; Анфилогов пытался и не мог отделаться от видения черепа, улыбающегося железной улыбкой, несколько проржавевшей.

Этот череп приснился ему в первую ночь на корундовой жиле, уходящей, как уходит исколотая вена, в страшную тесноту коренного гранита. Череп был сухой и словно бы картонный, он висел в багряной, как знамя, прожаренной солнцем палатке на манер осинового гнезда. Во рту у Анфилогова было жарко, как в бане, он понимал, что все еще простужен. Толстым языком потрогав собст-

венные зубы, Анфилогов убедился, что они совершенно безболезненно вываливаются из гнезд, поодиночке и парно, и нет ни одного, который бы держался крепко. С полным ртом пузыристой слюны и брякающих в ней тухловатых костяшек Анфилогов вылез на жесткое солнце, сразу стянувшее ему лицо горячей паутиной, выплюнул себе под ноги мокрый сгусток и улыбнулся солонватыми младенческими челюстями.

Проснувшись в поту, еще не раскрывая глаз, склеенных слезами и первой мягкой мошкаррой, Анфилогов не сразу осознал, что его американские имплантаты пребывают в полном порядке. Молочный, с пенкой, туман затягивал окрестности, каждая группа деревьев, прозрачная и кривоватая, стояла в собственном слоистом облаке, как бы в своем составе атмосферы — и ничто вокруг не двигалось, кроме порожистой реки, словно разливавшейся по каменным кувшинам и постоянно с шумом их переполнявшей.

Из вчерашнего костровища, огромного, будто остатки сожженного сарая, еще поднимались струйки кислого дыма. Хитники, кое-как умывшись с забрызганного камня, позавтракали остатками вчерашнего пира, данного самим себе по случаю избавления от Пляшущей Огневки. Перед тем как идти на шурфы, Анфилогов проверил пострадавшие лапы Коляна: ожоги от морозного ведра затянулись ярко-розовой кожицей, отчего ладони стали твердыми и гладкими, будто у пупса. Похваляясь нечувствительностью к боли, Колян поаплодировал себе и оцепенелым окрестностям: звук получился пухлый, почти неслышный, но два казавшихся частями деревьев размытых пятна закрипели по-вороньи и, расправив смутные крылья, тяжело, словно поминутно падая и вновь поднимаясь неуклюжими гребками, скрылись в пелене.

Тропинка, протоптанная из лагеря к месту каторжных работ, была, как ни странно, цела и темнела на серебрившемся склоне, словно проведенная пальцем по запотев-

шему стеклу. Анфилогов сильно волновался. Он снова чувствовал на себе тот самый внимательный взгляд, что в прошлом году провожал экспедицию от этого места и до самого поезда. Издалека были видны рыжеватые пятна елового лапника, которым хитники замаскировали свою удачу от случайных конкурентов. Когда подошли, оказалось, что мелконькие иглы с веток практически полностью осыпались. Сквозь голые ветки, напоминавшие кривую, изъеденную ржавчиной канализационную решетку, довольно близко проблескивала вода.

— Странно, Василий Петрович! Место высокое, а так затопило! — удивлялся Колян, разбрасывая маскировку. — Я-то думал, что меньше зальет!

Прошлогодняя яма со стенками израненного камня дохнула в лица хитникам подземным талым холодом, к которому примешивался непонятный запах — еле уловимый, горьковато-синтетический, растворявшийся при попытке его унюхать. Колян, наклонившись над ямой, раздувал покрасневшие, забитые волосом ноздри.

— Какая-то соль, Василий Петрович! — доложил он, становясь на четвереньки. — А может, и не соль...

Неподвижная вода в шурфе казалась вогнутым блюдом, на котором блик дневного света с жидкими пятнами от человеческих голов плавал, будто два разбитых на яичницу яйца. У стенок скопилось много мелкого мусора — мерзлый мякиш из хвои, какой-то шерсти, еловых веточек, похожих на крестики. Рискуя свалиться, Колян дотянулся пальцами до неподвижной поверхности: вода осторожно взяла их черными губами, как берет кусочек сахара безобидная коза. Где-то там под водой в одной из стен скрывалось нетронутое подземное сокровище — плюс полиэтиленовый сверток с отходами прошлогодней удачи, тоже стоившими по минимуму десятки тысяч долларов.

Обнюхав мокрую руку, красную и грязную, будто морковь, Колян и тут не пришел ни к какому определенному выводу.

— Будем откачивать, Василий Петрович! — бодро воскликнул он, вытирая лапу о штаны. — Зря мы, что ли, движок тащили? И бензина у нас — залейся!

С этими словами он припустил по скользкому склону к нераспакованной технике, похожий сквозь туман на муху в молоке. Анфилогов не спеша, внимательно глядя под ноги, последовал за ним. В душе его, на самом дне, где всегда бывает нехорошо и мутновато, зародилось ощущение, будто в корундовом шурфе под водой находится труп.

Профессор техники не любил и ничего принципиально в ней не понимал. Зато Колян буквально обожал железки и с удовольствием возился час, после чего на работах принялось исправно постукивать, почмокивать, поплескивать. Яма, однако, обнажалась медленно. Несколько раз Анфилогов ходил поглядеть, как продвигаются дела. Сырые стены, затянутые полужидкой глиной, точно облепленные мокрыми ржавыми марлями, были темны и угловаты; кое-где из них сочилась трепетная водичка, много светлее той, что прокачивалась через прозрачный кольчатый шланг и густо плюхалась, размачивая новенькую нежную траву. По мере того как понижался уровень воды, странный запах не рассеивался, а, напротив, усиливался: из ямы пахло, будто из пасти смертельно больного каменного животного.

У Коляна заслезились покрасневшие глаза, и веки сделались точно толстые нарывы. То и дело на откачке происходили маленькие аварии: мутный шланг возило и пучило, а в яме, на дне, словно оживало то, о чем все утро старался не думать, но все же думал Анфилогов. Тогда Колян, любовно ругаясь, вытягивал из воды засорившийся раструб, выкручивал сетку и палкой выбивал какие-то гнилые перья, нечто, похожее на слипшиеся бархатные тряпочки.

— Год — это долго, Василий Петрович! — назидательно комментировал Колян, взбаламучивая жердью придонную гущу. — Много потонуло разного зверья!

На всякий случай, прежде чем снова запускать мотор, Колян проскреб по зажиревшему дну привязанным к жерди ведром: улов составили две разлезавшиеся, уже неопределимые птицы, тощий войлочный остов некрупного зайца, круглые трупки мелких грызунов, мокрые клочья летучих мышей. Наблюдая, как напарник отцеживает этот черный супчик с косточками, Анфилогов ощущал непривычное стеснение в груди, как будто воздух углом застрял в легких. Однако того, что он себе вообразил, в шурфе не обнаружилось; обнаружилось другое. Решив напоследок взглянуть на кучку мокрой мертвечины, Анфилогов приметил сбоку некую смутно знакомую складку. Брезгливо подхватив предмет сложенной вдвое запасной рукавицей, профессор спустился к реке. Там он прополоскал вещицу, первоначально похожую на складку земляного жира. Это оказался, как Анфилогов и предчувствовал, женский носовой платок: на серой ткани, как сквозь сон, проступили едва живой голубоватостью безусловно знакомые профессору набивные незабудки. Точно такие платки были у Екатерины Сергеевны: купленные дешево целой упаковкой — как покупала она все, от трусиков до средства против моли, — они болтались во всех ее не очень опрятных карманах и сумках.

«Грубо», — подумал Анфилогов, машинально отжимая тряпочку и ища, куда бы выбросить, чтобы напарник не наткнулся и не задал вопросов. Анфилогову было стыдно обнаружить себя перед Коляном в качестве объекта неизвестно чьих издевательских опытов. Но вокруг все было открыто, доступно и ничейно — и так до самого горизонта, обозначенного в мягком тусклом воздухе еле заметной линией, какая бывает на ткани от подсыхающего влажного пятна. Казалось, будто земная твердь — всего лишь мокрое пятно на плотной ткани неба, которое бледнеет и вот-вот исчезнет. Тому способствовал туман, никак не уходивший, хотя вокруг заметно потеплело; казалось, в метре над лоснящейся почвой начинается невесо-

мость. Поозиравшись, Анфилогов вынужден был счесть единственно надежным местом самого себя. Спрятав платок в кармане штормовки, сразу отсыревшем и потяжелевшем вместе с ножиком и забившимися в угол шершавыми монетами, хмурый профессор двинулся к лагерю.

На полпути опять пришло ощущение удушья, и спазм на этот раз продолжался значительно дольше. «Рудничные газы, — подумал Анфилогов, когда деревянные клещи, взявшие его за ребра, немного отпустили. — А может, и не газы. Больше похоже на промышленную дрянь. При том что вокруг на сотни километров ни одного завода. Чистейшее место. Действительно странно...» Горьковатая синтетика забила в ноздри, оклеила слизистую, отчего нестерпимо зудела носовая перегородка. «Может, я все еще простужен? — спрашивал себя профессор, чувствуя, что если он сейчас чихнет, то жизнь выплеснется. — Кажется, еще остались капсулы... Ничего нельзя доверить людям. Эта моль — в последний момент. Развернули — труха. Поздно, магазины были закрыты... Приносил гранильщик свитер или не приносил? Или это Екатерина Сергеевна должна была достать? Наверное, она, иначе зачем приходила на вокзал? Да — у нее в руках был какой-то мешок. Забыла отдать, женщины все всегда забывают. И вот теперь из-за нее...» Тут мозг профессора прояснился, словно его продули ветерком. «Забираем прошлогодние камни и уходим, — твердо сказал он сам себе, стоя в лагере на краю вчерашнего костровища. — Этого хватит. А на что, собственно? Если посчитать... Там девятьсот тысяч... Там полтора лимона в евро... Плюс проценты... Мне пошел седьмой десяток. Коляну на «мерседес»? Глупо... Во всяком случае, никаких больше каменоломен. Уходим как можно быстрее».

Несмотря на принятое решение, Анфилогов часов до четырех занимался основательным устройством лагеря. Кроме как возиться по хозяйству, делать было совершенно нечего. Промокший и грязный Колян продолжал хло-

потать у шурфа, то и дело ликвидируя мелкие поломки, иногда прибегая в полных, как ведра, хлюпающих сапожищах, чтобы немытыми руками схватить бутерброд. В помощи он не нуждался: Анфилогов понимал, что человек, способный оживлять какие-то допотопные, с конвексионными танковыми моторами, стиральные машины и ржавые скворечники на колесах, бывшие когда-то «Волгами» и «москвичами» (чем Колян подрабатывал в свободное от профессора время), как-нибудь управится с новенькой техникой, которую сам же и облюбовал.

У профессора образовалась непредвиденная, совершенно лишняя ему возможность просто побыть в пространстве, которое он помнил уже не столько по яви, сколько по собственным снам. Многое изменилось — хотя на внешний, приблизительный взгляд не изменилось ничего. Устраивая продукты так, чтобы до них не добрались бурундуки и прочие прожорливые твари, Анфилогов вдруг осознал, что мелкие расхитители куда-то исчезли: ничто не шуршало, не возилось в прошлогодних стеблях, пронизанных упругими, вполне правдоподобными зелеными стрелками, на склонах и под кустами было безжизненно, будто на поверхности затоптанной и пыльной театральная декорации. С травой тоже было неладно: кое-где у самых корней она белела, будто седина в отросшей крашеной шевелюре, а местами отделялась от почвы войлочными лоскутьями, формой похожими на нечеловечески большие обувные стельки. Должно быть, наследили горные духи, обеспокоенные судьбой подземного клада, но они, конечно, не имели отношения к исходу обитателей травы, потому что пребывали со всеми существами в сложном симбиозе, в каком-то смысле состояли из их органических жизней. Причиной повреждений был, конечно, человек — например, какие-нибудь эксперименты с облаками, излучения космических станций, которые кишели над этой местностью, подобно металлическим муравьям.

Одновременно все это не было похоже на экологическую катастрофу. Если и произошли какие-то воздействия, природа им сопротивлялась. Густая мошकारа, краса и бич корундовой реки, по-прежнему толкалась столбами во всяком воздушном просвете, брызгая на кожу, будто масло с раскаленной сковородки. Невидимые птицы подавали голоса то тут, то там: звуки были механические, с хрипотцой, словно у старых, спросонок бьющих часов, а маленький черемуховый куст весь звенел, будто мешочек серебряных монет. Звуки блуждали, теряя свой первоисточник; розовое солнце не столько светило, сколько пропитывало мутный воздух, и гранитные скалы казались кляксами на рыхлой промокашке. Красота, которую профессор, отправляясь в экспедицию, надеялся не увидеть больше, никуда не делась, лишь приподнялась над почвой, отчего казалось, будто небо начинается буквально в метре над землей.

Анфилогов, озираясь, чувствовал себя отравленным. Впервые за многие годы незаконных экспедиций, всегда приносивших профессору деньги и чувство свободы, ему захотелось оказаться дома, укутать ноги стариковским пледом, побаловать себя чайком и чем-нибудь необязательным, вроде шахматной партии, которая давным-давно пылилась на доске, поставленная, как на тормоз, на застрявшего у черных белого коня, в то время как противник Анфилогова, профессор Сорбонны, обходительный каверзник с внешностью Бабы-яги, переодетой в мешковатые брюки и старый твидовый пиджак, четыре года как не звонил. Тут же Анфилогов осознал, что недоигранная партия обмелела до дна: из нее давно ушли энергия и мысль, фигуры, забывшие друг о друге, съехали со своих завоеванных клеток и стояли пыльные, со старыми следами пальцев, похожими на следы от моли на сером сукне. Теперь Анфилогов припомнил, что на этой доске сквозь все свои возможности и все гипотетические промахи милейшего Вальмона ему буквально черным по бе-

лому виделся проигрыш. Может, он зря держал у себя на полке натюрморт с таким содержимым. Распределение скальных и древесных групп у корундовых шурфов, отстоявшееся и отпечатавшееся в памяти за год отсутствия, внезапно тоже показалось Анфилогову недоигранной шахматной партией. Не напрасно ли он вернулся? Кто его настоящий противник? Не содержится ли все тот же проигрыш в этом почти невинном, а все-таки неуловимо грозном пейзаже? И с ним ли играют горные духи, опять повесившие над пришельцами маленькое НЛО, похожее в тумане на мягкий шерстяной клубок?

Тут Анфилогову впервые пришла идея, что невероятный корундовый фарт может быть не его, а Коляна. Не зря же его малахольный оруженосец так истово готовился к экспедиции, так целовал, пришептывая, свой похожий на муху пропотевший крестик. Анфилогов знал, сколь малую роль играют достоинства и заслуги человека, когда неизвестные силы выбирают из многих претендентов одного счастливец. Профессору всегда претила эта система обманов, неявных посулов, по которой некие высшие инстанции предлагают личности достигать совершенства, чтобы затем, за спиной ушедших вперед, внезапно обрушить дары на голову ленивого, никчемного оболтуса. Анфилогов никогда не соглашался с производом так называемой судьбы и последовательно накапливал заслуги, одновременно накапливая деньги. Но содержимое дурнопахнущей ямы, в которой копошился, распевая благим матом, перемазанный избранник, настолько превышало стоимостью все активы профессора, что Анфилогов никак не мог уразуметь этой фантастической разницы.

Он, может, для того и прибил к хитникам, чтобы как-то выманить в поле человеческого зрения бесформенное нечто, от которого все и зависит. Не эту местную живность вроде Великого Полоза или Каменной Девки — в оригинале бродящей по подземным полостям сле-

пой и лысой кремниевой куклы, — но то, что над ними, то, до чего добираются изредка только священники и авантюристы. Анфилогов, родившийся бестрепетным, выбрал путь авантюриста. Но как бы он ни пытался представить это высшее, как бы ни подавлял его на вмешательстве в разумный ход вещей, он все равно видел как бы внутреннюю стенку собственного черепа. Сейчас профессору мешало думать плохое самочувствие. Он задыхался и одновременно силился чихнуть. Беспомощно кружась на месте со стиснутыми легкими и с разинутым ртом, Анфилогов нашарил в кармане маленький платок Екатерины Сергеевны, уже подсохший. Когда щекотка чихания достигла предела и произошел мучительный, необычайно мокрый взрыв, профессор в него с презрением высморкался.

* * *

Только часам к четырем посиневший от холода Колян предъявил Анфилогову чистую яму, очень похожую на отдраенную пригорелую кастрюлю. После профессор мучительно жалел, что не повернулся и не ушел, не бросил туда, где взял, отравленный платок. Не бросил и не убежал, а спустился по угловатой стенке, набрав в рукава холодной, медленно сочившейся воды. Каменная затычка, которой хитники в прошлом году закупили сокровище, разбухла и напоминала израненное колено. Колян, улыбаясь пастью цвета марганцовки, торжественно подал профессору прошлогоднюю счастливую каелку. Анфилогов размахнулся и стукнул: трещиноватый доломитовый мрамор развалился, и Колян с профессором, упираясь, поволокли на свет скрежещущий, шелушащийся льдом полиэтиленовый сверток, похожий на упаковку замороженного мяса.

С треском распоров промерзлые лохмотья, Анфилогов поразился его комковатому содержимому, словно не сам

он заматывал и заваливал это богатство в развороченную каменную утробу.

— От добра добра не ищут, — произнес профессор, отдышавшись. — Если на этот раз не утопим рюкзак, можем лежать под пальмой до конца своих дней.

— Не хочу я под пальму, Василий Петрович, — пробормотал Колян, сникая и отводя от рубиновых кусков слезящийся взгляд. — Я ездил, видел. Не дерево, а швабра. Одни волосья по стволу и щетка на макушке. Жизни в ней никакой.

— Ну купишь себе иномарку, — сквозь зубы процедил профессор.

— Мы что, Василий Петрович, в камеру хранения шли?! — вскинулся Колян, едва не плача, мучительно шевеля короткими соломенными бровками. — Ну давайте хоть посмотрим, что там дальше!

— Лучше зажмурься, — тихо, страшно проговорил Анфилогов.

Но тут туман внезапно разошелся, маленькое НЛО по длинной параболе завалилось за каменный горб, и солнце, ударив в землю, будто звонкий мячик, осветило внутренность вскрытой корундовой жилы. Там Анфилогов увидел такое, отчего, ослабев в коленях, схватился за сердце.

Так началась вторая серия рубиновой лихорадки. Магнетизм корундовой реки вернулся, и хитники снова ощутили в руках, в плечах знакомую механическую тягу к ударам киркой. Будто заведенные, нечувствительные к ушибам и мелким сизым ранкам от каменной крошки, они крушили подземные дворцы.

Вернуться можно было, только исчерпав великолепии, что открывалось хитникам при свете двух налобных фонарей, лучи которых в тихом, как бы шуршащем воздухе пещерки напоминали серые тени. Чтобы двигаться дальше, приходилось разрушать то, что ежедневно возникало перед хитниками в трещиноватом доломите, в причудливых пустотах, одна из которых оказалась жеедой огром-

ной агатовой миндалины, что было почти невероятно, но было фактом. Каждый последующий слой подземной красоты отнимал у предыдущего всякую подлинность — как во время реставрации открывшаяся картина раннего мастера отнимает ценность у снятого слоя краски. Анфилогов завидовал горным духам, которые свободно передвигаются в подземной и каменной среде, как рыбы в водной и птицы в воздушной стихии.

Великолепию не виделось конца, но уничтоженное было ужасно, все это напоминало живодерню. Однажды вечером, устало разбирая дневную добычу, а вернее, вяло ковыряясь в мокрой куче корундовых останков, профессор вдруг задумался о природе таланта этого парня, Крылова, которого он когда-то распознал, увидав у Фариды, как парень общается с друзьями раухтопаза, будто с сидящими в клетке певчими птицами. Что он может против б е з о б р а з я этой кучи отрубленных корундов? Способен ли, отделяя часть от целого, сделать снова живым то, что добытчик делает мертвым?

Это были тяжелые мысли в тяжелой голове, словно залитой доверху горячей водой. Анфилогов злился на Крылова за то, что о нем приходится думать в таком состоянии, когда горят все слизистые и в носу, истерзанном платочком с незабудками, все стоит тошнотворный подземный запах, который не удастся ни высморкать, ни проглотить. Профессор все еще обманывал себя, будто всего лишь простужен. Между тем напарник тоже выглядел не лучшим образом: то и дело Коляна потряхивало, пасть его сделалась неестественно красной и напоминала, когда Колян зевал, какой-то чудовищный рыхлый цветок. Когда Колян сидел, отдыхая, свесив между колен набрякшие кисти, пальцы его подергивались сами по себе, словно играли гаммы. Однажды прямо в шахте его скрутила жесточайшая судорога: сведенный в комок, он намертво застрял между двумя еловыми распорками, и Анфилогову пришлось рубить одну, мозжа отсыревшую, размяк-

шую, как рыбье мясо, древесину. Когда распорка подалась и подломилась, сверху стреканули струйки каменной крошки, и свод над головами хитников сместился с медленным скрежетом, будто опустился, чтоб опорожниться, кузов самосвала. Анфилогов, торопясь, еле вывалил Коляна на траву, сильно потравленную едкой подземной водой. Судорога оказалась крепкой, будто арматура. Анфилогов еле размял сведенные мышцы, в то время как Колян задыхался и скалился кровянистым железом на крестообразные еловые верхушки. При первом улучшении бросив страдальца, Анфилогов спрыгнул к шахте: свод набух, но плиты, вылезшие косо, каким-то образом заклинили друг друга; под ногами еще дымились пылью доломитовые огрызки, среди них прекрасный образец с рубиновым огнем внутри, который Анфилогов пнул.

В тот день, ознаменованный цветением проснувшейся черемухи, выбросившей пушистые, как снег, горчайшим ароматом наполненные кисти, напарники больше не работали. Нагрели воды, помылись над рекой, яростно жамкая волосы, от которых оставались на головах какие-то намыленные сопли. После, отдыхая у прозрачного дневного костерка, Колян захотел поговорить.

— Как думаешь, Василий Петрович, сколько у меня денег теперь? — спросил он, шурясь в молочное небо с темнотами едва заметных серебристых облаков.

— Примерно восемьсот тысяч долларов, — сухо отозвался профессор, весьма преуменьшая цифру.

— Я вот все думаю, что мне с ними делать, когда вернемся? — медленно проговорил Колян, моргая розовыми глазками, похожими на язвы.

— Купишь иномарку, квартиру хорошую в центре, гараж, — стал перечислять профессор, раздосадованный необходимостью озвучивать мечты этого идиота. — Остальное положишь в банк и будешь жить на процент.

— Нет, Василий Петрович, не выйдет, — Колян со вздохом перевернулся на спину, подставляя бледному

солнцу тощий живот с растянутой шелкой дряблого пупка. — Иномарку, какую я хочу, братки отберут через неделю. Стукнутся и предъявят, что я им за фару полжизни должен. Если брать квартиру где-нибудь на Вознесенской Горке, там соседи будут крутые. Как я с ними рядом? Кто я перед ними такой? Я и галстука-то повязать не умею, с обслугой не знаю, как разговаривать. Запрезирают и заключают.

— Так заводи себе автосервис, сам становись крутым! — раздраженно воскликнул профессор, весь в коричневых и алых звездах от расчесанных укусов. Он яростно натирался едкой финской мазью, стараясь не драть ногтями плотные белые пуговицы, оставляемые на коже крошечными мошками. Резкий, вибрирующий ветерок с реки, единственно спасавший от жгучего гнуса, то налетал, то пропадал совсем, словно ложился на землю ничком.

— Я не так мечтал, Василий Петрович, — помолчав, проговорил Колян. — Я с детства воображал, как буду богатым. Лежу, бывало, на бабкиной койке, перина на мне тяжелая, будто медведь, а я представляю: вот будет у меня драгоценный камень. Вынул его из кармана, и сразу — будто президент! Почему нельзя быть богатым просто для себя? Так нет: банки, проценты, акции-облигации, контрольные пакеты, службы безопасности, костюмы с галстуками и белыми рубашками... Политикам отстегивай на выборы! Будто тебя с твоими деньгами втягивает что-то и крутит... Не понимаю я этого и не люблю.

— Ну хорошо, — терпеливо, глядя себе под ноги на крепкие, похожие на шахматные пешки местные цветочки, произнес Анфилогов. — Если камень у тебя в кармане, значит, ты его не продаешь. А жить на что, хлеб, бензин покупать?

— Так технику подержанную ремонтировать! — радостно выпалил Колян, удивленный, что профессор не понимает очевидных вещей.

— Тогда зачем тебе богатство? — усмехнулся Анфилогов, завинчивая липкий тюбик с мазью и между делом замечая, что пальцы у него тоже дергаются сами по себе, будто перестригают натянутые между ними невидимые ниточки. — Ты и так с этого живешь. В основном, не считая того, что я тебе плачу.

— Чтобы себя уважать! — ответил Колян голосом дрожащим и сердитым, приподнимаясь на локте. — И чтоб другие уважали, а не считали быдлом. Чтобы перед ментами погаными не трястись, когда ночью в метро тормознут. Чтобы жизни не бояться вообще!

В глазках замолчавшего Коляна блеснули злые слезы. Он всхрипнул и отвернулся к реке, которая под вечер сделалась глаже и была уже светлей скалистых берегов, перенимая у неба непередаваемо северный холодный перламутровый цвет.

— Как раз с драгоценным камнем в кармане следует бояться всего, — осторожно заметил профессор, укладывая в прогоревшие угли похожие на олени рога куски нарубленных березовых стволов. — Хочешь, так вон они, камни, бери и нагребай! — Анфилогов махнул рукой в сторону палатки. — Только если ты будешь предъявлять свое сокровище на манер документа, его у тебя отнимет в первом же переулке местная гопота. А у них отберет гопота покруче, и так будет, пока драгоценность не окажется у того, кто сможет просто носить ее на пальце. Камень, будь он Рубин Эдуарда, сам себя не обеспечивает. Ему много чего нужно... — Анфилогов задумчиво смотрел в косматый костерок, все еще блеклый, почти не сгущавший вокруг себя вечерней темноты. Так, какие-то сумеречные призраки подступали от леса, окружали, угадывались за спиной.

— Я ведь не дурак, Василий Петрович, — печально произнес Колян, прикурив из кумачовой горсти, и рыхлый красный огонек его папиросы размером с бутон гвоздики рассыпал длинные искры. — Мы лет пятнадцать уже

друг друга знаем. Был бы совсем дураком, вы бы меня уже погнали, верно? — спросил он с наивной надеждой, на которую профессору было нечем ответить.

Анфилогов пробурчал что-то неопределенное, хотя ему очень хотелось сказать наконец: да, дорогой, именно за дурость тебя и держу, за дурость и исполнительность. Потому и терплю твои слюнявые рассуждения, твои гнусавые молитвы и потупленные глазки, твои похожие на дохлых крыс вонючие носки. Потому и вытаскиваю тебя отовсюду — из реки, из шахты, из ментовки, куда ты попадаешь в состоянии алкогольного опьянения и полного изумления перед несовершенством мира. Но когда-нибудь я сообщу тебе, что в действительности думаю, и спрошу, по какому праву такие, как ты, не желают жить по общим серьезным законам, а желают иметь в кармане волшебную палочку.

— Видишь ли, друг мой, твои мечты вполне обыкновенны, — проговорил профессор мягко, по привычке демонстрируя реакцию, противоположную истинным чувствам. — Можно сказать, они законны. Ты всего лишь хочешь стабильности. Но стабильность в этой стране самая дорогая вещь, куда дороже виллы и личного самолета. Если она вообще возможна. Ты, конечно, знаешь притчу про лягушку, которая упала в молоко, но не утонула, а взбила лапками масло и выбралась из кринки. Это метафора трудолюбия и силы воли. Но дело в том, что каждый гражданин России, взбив масло в малом сосуде, выпрыгивает в такой же точно, только большой, и снова начинает там бултыхаться. При удаче он опять окажется в еще более глубокой и широкой посуде все с тем же смертоносным молоком, и так далее. Вопрос лишь в том, где именно он захлебнется. Насколько мне известно, окончательной победы не существует. Во всяком случае, до конца этой игры еще никто не проходил.

Говоря так, профессор внезапно вспомнил (впрочем, он частенько вспоминал этот ослепительный удар судь-

бы), как его грубо, по-хамски завалили на самой первой предзащите. Постаралась завкафедрой — всем известная блондинистая сука, имевшая репутацию университетской Цирцеи. В свои цветущие пятьдесят она носила мини-юбки, ее полноватые ровные ноги в остроносых туфлях напоминали перьевые паркеры. Многие находили красивыми ее тонкий розовый рот, сидевший близко к носу, будто усы, ее глубоко посаженные синие глаза под низкой чертой нордических бровей. Цирцея имела обыкновение и общепризнанное право брать себе в постель молодых аспирантов, но Анфилогов, когда ему предложили зайти на чашечку кофе, рассчитал, что отказ принесет ему больше метафизических очков, нежели пребывание в числе удостоенных и вознагражденных. На его провале Цирцея, разумеется, присутствовала. Сам не свой от неожиданности, с кривой усмешкой, болтавшейся точно на одном гвозде, Анфилогов сжимал в кармане что-то твердое, ключ или зажигалку. Сжимал до боли, до теплого пота, всем существом желая, чтобы это была волшебная палочка, способная единым взмахом, прямо сквозь карман, как киношный пистолет, разрушить ухоженное, медально-полированное личико Цирцеи, сосредоточие ее неустанных забот. Защищаться Анфилогову пришлось, конечно, не в своем университете, а в Прикамском педагогическом — в глухом городке, где заваленные снегом деревянные избы курились, как медвежьи берлоги, и на кафедре философии под всеми столами пылились бутылки. Быстро пролетело несколько лет. В совершенстве воплощая желание Анфилогова, личико Цирцеи стало разваливаться, на скандинавском крепком подбородке повисли как бы комья старой каши, в вырезе блузки образовалось пересохшее русло, которое не мог оживить когда-то соблазнительный, подмигивающий юношам хризолитовый кулон. Тогда Анфилогов, все еще молодой, наделенный академическим шармом и железным здоровьем колонизатора, выпил ту самую чашечку

кофе, дабы закрепить суровую победу. Кофе оказался приторным и слабым, будто детская микстура, женщина — сладкой и вязкой, будто курага. С тех самых пор Анфилогов с некоторым подозрением относился к содержанию собственных карманов. Он не любил волшебства, даже если оно совершалось в его интересах, и презирал малодушных, уповающих на высшую силу, даже не пытаясь померяться с ней или хотя бы поинтересоваться, в чем именно она состоит.

Костер опять прогорел. Спина профессора замерзла до ледяной ломоты, и сердце сделалось таким неловким и болезненным, что хотелось попросить его стучать потише. Под беззвездным, бесконечно гаснущим небом хитники были будто на ладони — они, их небольшие человеческие жизни, утратить которые было так же просто на этой реке, как потерять висящую на нитке полуоторванную пуговицу.

— Обедали мы сегодня, Василий Петрович? Или только вчера? — после долгого молчания спросил Колян, потягиваясь и крупно вздрагивая от пробирающего холода. И тем же тусклым извивающимся голосом проговорил: — Мечты всегда глупые, даже у умных людей. Я ведь все понимаю... Просто хотелось пожить. Хотелось, да, видно, не получится.

* * *

Хитники потеряли счет дням. Этому способствовали эффекты дежавю, заявившие о себе, как только лагерь окончательно устроился и вещи получили место, а люди вновь привыкли к очертаниям пейзажа. Сначала спутались двадцать четвертое и двадцать пятое числа, оказавшиеся какими-то дырявыми, с необъяснимыми провалами времени и общим занудным дождем, не начинавшимся и не кончавшимся, а словно бродившим по кругу,

волоча растрепанные водяные колтуны. Затем прореха стала расползаться. Уже нельзя было с точностью сказать, вчера или позавчера у Анфилогова закончилось лекарство; спутавшись, он принимал по несколько раз строго расписанные капсулы — но и это было недостоверно. В уме профессора была лишь приблизительная сумма дней, при ближайшем рассмотрении похожая на белое пятно. Сильнейшее дежавю возникало, стоило взяться за какую угодно работу; при любой попытке сделать шаг в будущее хитники оказывались в прошлом. Время остановилось; белые ночи проходили над лагерем, будто тени легких облаков.

О времени нельзя было судить по убыванию припасов: калорийные деликатесы лежали почти нетронутыми в крепких мешках из грубого пластика, отпотевших изнутри и плачущих кривыми длинными слезами, но Анфилогов ленился переключивать продукты. Хитники ели не больше, чем в прошлом году. Их желудки сделались недотрогами: стоило их побеспокоить, как в рот выплескивалась горечь все с тем же гнусным подземным привкусом, — и открытые банки паштета и ветчины валялись в палатке, хляпая рваными крышками, пока их содержимое не покрывалось покойницей кожистой плесенью.

Между тем таинственные воды, нагнетаемые перепадами подземного давления, регулярно затапливали разработки. При удаче на дне корундовой ямы, бывшей на полметра ниже маленькой шахты, скапливалась за ночь всего лишь округлая лужа, всегда затянутая тонкой катарактой. Чаще вода стояла в шахте длинным зеркальным языком, где темные отражения свода были так же неподвижны, как и сами камни — нависшие, но не издавшие после порубки еловой крепи ни одного опасного звука, — а в глубине куски породы, лежавшие в воде, казались металлическими. Но бывало, что лужа, сперва всосавшись в какую-то извилистую щель, вдруг возвращалась с бульканьем и переглатыванием, и вода, будто в засорившейся канали-

зации, за какой-нибудь час поднималась до самой травы. Что-то аномальное происходило в системе геологических разломов — и нельзя было вызвать сантехника, чтобы устранить причину неполадок. Насосу и движку хватало работы. Бочка бензина наполовину опустела. Вода, тяжелая, выпуклая, уже безо всяких сомнений была агрессивна. Прибывая, она словно цеплялась за неровности ямы округлыми мелкими щупальцами; опущенный в нее предмет она хватала толстыми губами и пыталась не отдать, снимала с хитников, причмокивая, рукавицы и сапоги. Анфилогов уже не мог себя обманывать насчет ее безвредности: алая пасть Коляна, его ярко-красные ноздри, словно там горели растущие из них волосья, были несомненными признаками отравления цианидами.

Тем не менее Анфилогов, как и в прошлый раз, медлил уходить. Воля его была парализована, в сознании плавали слои бесцветного тумана. То и дело профессора обдавало мятным ужасом смерти, стариковские колени становились слабыми, будто пустые картонные коробки. Но запредельный жидкий холодок, предупреждавший профессора об опасности, одновременно обещал освобождение от всех земных проблем, которые надоели так, что Анфилогов морщился, вспоминая трех своих последовательных жен или своего большого неприятеля университетского проректора, пятидесятилетнего надушенного карьериста, чья правая щека, стянутая старым шрамом, походила на лист лопуха, а на левую, румяную, хоть было не с руки, все время хотелось положить увесистую плоскую пощечину.

Собственно говоря, лучшего места для смерти Анфилову было не найти, хоть проживи он еще четыреста лет. Здесь, на корундовой каторге, он осознал себя и пленником, и противником той таинственной силы, до которой ему давно хотелось добраться. Страшная красота, стоявшая в распадке будто самый плотный, донный слой негаснувшего неба, начинавшегося здесь прямо от

земли, красота неуловимая, лукавая, разлитая повсюду, болезненно раздражавшая нервы профессора, стала наконец уязвима. Со всей несомненностью Анфилогов ощущал, что неправдоподобная корундовая жила есть в н у т р е н н и й, жизненно важный орган этой красоты. И теперь каждый удар киркой по очередному подземному чуду, видимому в бледном свете налобного фонаря точно сквозь пыльное стекло, был ударом по красоте, содрогавшейся наверху и постепенно редевшей. Вот уже река, где каждый солнечный блик прежде имел прекрасную форму улыбки, утратила блеск и текла угрюмая, с черными придонными тенями; пышная черемуха пожухла и стряхивала, как пепел с папирос, мелкий мусор своего недолгого цветения. Красота еще цеплялась ключьями за острые концы березовых ветвей, пытавшихся расправить ее, растянуть на просвет, еще держалась в скалах, кое-где отполированных косыми трещиноватыми зеркалами, кое-где заросших причудливым мхом. Но начинался день, и хитники брали в руки натруженные крепкие каелки.

Сами они по мере убывания красоты с каждым днем становились страшней. Корундовая местность неизвестным способом присоединила их к себе, превратила в свой биологический, природный элемент. Морда у Коляна сделалась кровавой и жирной, будто вяленый лещ, борода торчала рыбьими костями, на лапах, сожженных Пляшущей Огневкой, образовались красные сухие перепонки. Анфилогов будто в зеркало глядел на этого уroda, чувствуя и на себе какую-то мерзкую корку, которую больше не смывала речная потемневшая вода. Профессор, как никогда, был далек от людей. Однажды днем ему почудилось, будто от реки доносятся звуки, похожие на птичий гомон человеческие выкрики. Это была не иллюзия. Нырнув с ознобом в позвоночнике за маленькие скалы, пихнув туда же апатичного Коляна, Анфилогов припал к треугольному просвету, что образовали тяжело налег-

шие друг на друга заветренные плиты. Четыре байдарки, прыгая и брюхами вышибая пенные брызги, неслись по маленькому стрежню, норовившему сложиться вдоль и смять посудинки о мокрый гранит. Подгоняемые мощными гребками титановых весел, байдарки внезапно оказались под самыми скалами. Анфилогов мог разглядеть застежки на громоздких, как оранжевые чемоданы, спасательных жилетах, синие шлемы с забрызганными щитками, одного гребца без шлема с лицом, перекошенным от напряжения, сверкавшим от воды и пота, точно кусок серебра. Подавленные инстинкты выживания кричали Анфилогову, что надо замахать, вскочить, позвать на помощь, но он продолжал сидеть на корточках, обливаясь ужасом при мысли, что чужие заметят палатку и свежие соусные пятна разработок или одна из байдарок перевернется, и синеголовые чудовища с хрустом полезут на отмель чиниться, сушиться, душевно общаться.

Анфилогов знал, что не выдержит сейчас простого человеческого взгляда. Ему, затекшему, казалось, будто на спине у него выросли взбивающие воздух невидимые крылья или большая птица села ему на плечи, чтобы когтить его холодный позвоночник. Но ангел Анфилогова хлопотал напрасно: байдарки, будто иглы взлохмаченный шов, прошли перекат, весло последнего гребца сверкнуло, погружаясь в тугое и темное месиво воды, и водники скрылись в клокочущей расщелине, поглощенные плотной, пещерной каменной тенью. Анфилогов с трудом распрямил мурашливые ноги, чуввшие вместо тверди какую-то воздушную подушку, помог подняться полусонному Коляну, так и не взглянувшему на реку, простоявшему на четвереньках, спуская с бороды тягучую слюну. Колян, оскользаясь полупустыми, пудовыми от грязи сапогами, глядел на Анфилогова с извиняющейся улыбкой, и профессор вдруг поразился, как мало осталось от двухжильного оруженосца, как странно прерывается его дыхание, словно пытаясь забраться повыше, ухватить ино-

го, небесного кислорода. Но все-таки профессор не ожидал, что Колян на другое утро действительно умрет.

Тем более что и с утра все продолжалось как обычно. Колян, покопавшись в своих промасленных железках, пошел, как автомат, откачивать подземную водицу; шаткая его фигура напоследок показалась между валунами, будто его, как рваное знамя, несли на древке. Анфилогов принялся было кашеварить, но плюнул и забрался в неостывший спальник, затянув тугую молнию до самого носа. Он проснулся от необычной, просторной тишины. Какие-то звуки присутствовали: тонко, будто ложечкой о хрустальный стакан, звенела в самой вершине солнечной березы маленькая птица, ровно шумела река. Но пространство, сколько хватало восприятия, было такое, будто в эфире не осталось ни единой радио- и телестанции, будто исчезли спутниковые сети и сами спутники. В воздухе было абсолютно пусто, и профессор сразу понял, что остался один.

Колян лежал на дне корундовой ямы, ничком в остатках грунтовой воды, из которых насос еще пытался хлебать, забиваясь песком. Анфилогов что-то дернул, техника заглохла. Сверху Колян в измятой и ржавой брезентовой робе напоминал останки покореженного механизма, потемневшие волосы колыхались вокруг головы, будто вытекало машинное масло. Поначалу Анфилогов все же не поверил. Спустившись в три прыжка, профессор попытался приподнять тяжелого Коляна, но тело словно приклеилось к луже. Наконец Анфилогов вырвал его и взвалил на колено, шумно и бессильно хлынула вода. Но сколько профессор ни колотил кулаком Коляну по спине, сколько ни давил, перевернув длиннорукое тело, на неподатливые ребра, он не услышал спасительного кашля, петушиного крика вернувшейся жизни. Попытки делать искусственное дыхание в слипшийся усатый рот кончились тугими красными кругами в анфилоговских глазах. Наконец, когда грудная клетка треснула фанерой,

от чего Колян как будто улыбнулся, стало ясно, что дело безнадежно. Анфилогов немного посидел, сжимая звенящую голову руками, чтобы осталась на месте. Затем, прислоня и перехватывая, поволок напарника наверх, в траву.

В самом центре тишины и пустоты профессор действовал автоматически. Он раздел Коляна на расстеленном брезенте и обмыл его из котелка нагретой водицей. Исхудавшее тело с промятыми ребрами напоминало тубик с выдавленной пастой. Когда профессор осторожно, отводя сырые волосы, плеснул Коляну на лицо, стало видно, что напарник умер с извиняющейся улыбкой. Эта улыбка быстро каменела: сперва лиловый рот покойного покрылся как бы глянцем и начал истаивать внутри, подобно весенней сосульке, затем прозрачное сделалось твердым — и скоро под усами образовался колоколец сон-травы из волокнистого чароита, сквозь который железные зубы поблескивали, будто спайные трещины материнского кристалла. Анфилогов, впервые наблюдавший общеизвестную метаморфозу, не мог на ней сосредоточиться. Судороги потягивали его ослабевшее тело, плоть его словно садилась, как вещь после стирки, делалась мала и неудобна долговязому профессору.

Преодолевая странные дневные сумерки, Анфилогов отыскал среди вещей Коляна чистое бельишко, пахнувшее дешевым стиральным порошком. Видно было, что оно заранее припасено именно к такому случаю: пакетик был старательно заклеен скотчем, внутри болталась золоченая бумажная иконка с каким-то святым, напоминавшим елочную игрушку. Анфилогов было разозлился на такую подлую предусмотрительность, на приготовленный для смерти пригласительный билет, но чувство быстро прошло. Кое-как, приподнимая ноги мертвеца, будто галерные весла, он натянул на тело трикотажные линейные трусы. Затем настала очередь относительно белой футболки, которую пришлось надевать, держа Коляна в обнимку. Движения профессора были так же неловки и угловаты,

как неохотные повороты покойника: кукла обряжала куклу. Анфилогов чувствовал, что у него точно такие, как у мертвого Коляна, выпирающие кости, похожие на обмотанные тряпками палки, и не постигал, в чем же сейчас между ними разница.

Штаны и штормовку пришлось натянуть, лишь счистив с них платком засохшую морщинистую грязь. Платок! Профессор некоторое время смотрел на него, держа в горсти. Каждая нитка этого злосчастного кусочка ткани была накрепко пропитана отравой, которая всасывалась ниточками кровеносных сосудов, когда Анфилогов мучил простуженный нос, как его и приучили с детства, носовым платком! Если вспомнить, что Екатерина Сергеевна нарочно забыла свитер, то выходило некоторым образом убийство — истинно женское, невинное, оставляющее главную роль лукавой случайности, в тайной и тихой уверенности, что случайность обязательно на женской стороне. Ищите, кому это выгодно. Теперь, если профессор не вернется, Екатерина Сергеевна немедленно получит доступ по меньшей мере к третьей части денег, что лежат на счетах под паролем, и будет жить за Анфилогова, пользуясь всем, в чем профессор так долго себе отказывал, высокомерно и трусливо полагая себя бессмертным.

За что? Каменная Девка, Хозяйка горы, должно быть, осталась недовольна поведением профессора в браке. Чего-то ей, как видно, не хватило. Но Анфилогов был всего лишь тем, кто он на самом деле, был собой — единственным человеком, которому он никогда ни при каких обстоятельствах ни на йоту не изменял. Разве эта верность, эта неизменность ничего не стоит? Ведь Анфилогов всю жизнь только и делал, что повышался в цене! Даже сейчас, истощенный, отравленный, страшный лицом, как летучая мышь, он по-прежнему содержал это неизменное — свое почти не поврежденное «я», которое мог, собравшись с силами, донести до цивилизации. Мысль

о том, как он буквально за день переменит завещание, пароли и шифры, взбодрила профессора (в пятнадцати километрах к северо-западу в абсолютно темной карстовой пещере, пронизанной гигантскими пипетками мокрых сталактитов, четырехметровая матрица Каменной Девки оборотила голову-яйцо в сторону своих порушенных корундов, пытаясь через злую бодрость оживить полумертвого человека). Анфилогов отшвырнул отравленный платок и мысленно перечислил себе необходимые дела.

Колян лежал на брезенте довольный, застегнутый не на ту пуговицу, босой по причине того, что сапоги его, разом спекшиеся около костра, не лезли больше на расставленные в стороны, похожие на гусли деревянные ступни. Глаза Коляна, замутненные голубоватым молоком, все еще были открыты; профессор мазнул по ним ладонью и вытер о себя образовавшуюся влагу. Затем он отправился в палатку и копался некоторое время, выбирая лучшие камни, остальные запихивая без всякого бережения в расстегнутый спальник. Вернувшись, профессор набил отборными корундами все четыре кармана Коляновой штормовки, остальными обложил покойного, как гуся яблоками, и, завернув брезент, изготовил с помощью веревки длинную личинку. Спальник, набитый камнями и тоже обмотанный, получился такого же вида скрежещущей мумией. Ее профессор оттащил на свернутой палатке к отравленной яме, спихнул в прибывавшую, мелко шупавшую стены грунтовую воду, затем перевалил в осевшую шахту, где последняя крепь стариковски кряхтела под косым напором потолка. Туда же, к спальнику, усаженному в человеческой позе у оскверненной стенки, пошли движок с насосом, большая часть провианта, остальное имущество экспедиции. Себе профессор оставил лишь немного галет и вяленого мяса, которые собирался, завернув их в оставшийся спальник, нести на груди.

Наконец настала очередь ремней. Срезав их с рюкзака, Анфилогов перехватил Коляна, который должен был

служить контейнером для переноски добычи, под коленками и где-то под сердцем. Прилегши поперек спеленатого трупа, профессор проверил получившиеся лямки, подогнал их, пошевелил плечами, ощутив под брезентом неудобно выпирающий локоть. Все-таки он не мог закопать Коляна как собаку. Привести сюда спасателей, чтобы они забрали тело, тоже было невозможно: Анфилогов не собирался делиться тайной, допускать людей к месторождению, которым хотел один владеть издалека. Так он решил, вовсе не сообразуясь ни с какой гуманностью, не по причине заботы о товарищах по промыслу, которые рисковали, придя по следу Анфилогова, отравиться подземной водой. Корундовая яма оказалась — полней и явственней, чем специальные постройки с куполами, — местом встречи с несуществующим Богом, и профессор не собирался делать общедоступными личные катакомбы. Здесь он заработал шанс оставить Бога проигравшим — и взять добычу, вытащив ее обманом, одолжив на время мертвецу. Возле зимовья, насколько помнил профессор, росла приметная рыжая береза с корой как, промасленная бумага: под ней Анфилогов собирался, побеспокоив напарника, закопать отборные корунды до лучших времен, а затем налегке добраться до леспромхоза и сделать заявление. Договориться с местной милицией, представленной пузатым, как бы беременным и горько пьющим участковым, было не вопрос.

Ночь Анфилогов провел под открытым небом, по которому простиралось единственное плоское облако, протянувшееся рябью до горизонта. Он лежал головой на Коляне, как всегда устраивался на приготовленном к походу рюкзаке, но сверток с телом угловато отвердел, и шея профессора затекала. Анфилогов пытался дремать и одновременно общался с людьми. Среди них, естественно, не было Коляна, но появлялись по очереди враждебный проректор, Цирцея-старуха с искусственным золотом прически над золотыми тонкими очками, быв-

шие жены, обе неприятно-многозначительные, сын от первого брака, полужнакомый маленький мужчина с чубчиком в великоватом галстуке, заправленном в брюки под ремень, с повадкой воробья. Были тут какие-то партнеры по бизнесу, была, конечно, и Екатерина Сергеевна, не желавшая отвечать ни на какие вопросы. Одни собеседники представляли перед Анфиловым вживую, другие в виде знакомых фотографий. Последние были четкими, а первые размывались и норовили ускользнуть.

Было, разумеется, невозможно выспаться, как не удастся спать в переполненной комнате. Тем не менее с первыми стеклянными лучами солнца Анфилов был готов пуститься в путь. Хорошо устроив на груди спальник и продукты, он лежа впрягся в основную ношу. Встать получилось с первого раза. Было терпимо, только земля качалась, будто плот, нагруженный горами и куда-то плывущий. Тут Анфилов увидал в траве, примятой трупом, золотую мокрую иконку. Он честно попытался пристесть за ней с похрустывающим Коляном на шее, но тут же понял, что до иконки в этой жизни уже не дотянуться. Тогда профессор окинул прощальным взглядом исподлобья свою корундовую каторгу, обсыпанную росой и точно политую из душа, и двинулся вбок неровными пьяными шагами, с иглой, дрожавшей в сердце, будто стрелка компаса.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Дамы и господа, съехавшиеся на собрание кооператива «Купол», краешками глаз, острыми и блестящими, косились на демократично одетого Крылова, кое-как начистившего ради Тамары дырчатые летние ботинки. Всего собралось человек восемнадцать, и господ было больше, чем дам. Тут присутствовали заместитель председателя областного правительства Гречихин, абсолютно непроницаемый чиновник, длинный, с удлинненным, почти инопланетным черепом, с большими дряблыми ушами, покрытыми пухом; областной министр финансов Саков, полный молодой человек в превосходном костюме цвета лепестков японской вишни с плутоватым личиком Амура, и областной министр культуры Деревянко, старец с пылающим носом, бывший композитор. Командующий Рифейским военным округом генерал Добронравов прибыл в штатском, но было что-то неистребимо армейское в тугой осанке генерала, в манере вытирать, обкладывая его платком, привычный к фуражке розовый лоб. Депутат Государственной думы Саллиулин, плотный, как масло, татарин в круглых очках, с округлыми широкими бровями, словно подведенными сапожным кремом, без конца говорил по мобильнику, прижимая его ладонью к щеке и раскачиваясь. Олигарх Бессмертный, как всегда в по-

следнее время, был ироничен и печален, подсохшая голова его то и дело клонилась на грудь, на излишне легкомысленный галстук, украшенный какими-то радужными росчерками; с ним пыталась болтать дочь губернатора от предыдущего брака, по совместительству владелица сети аптек Евгения Кругель, самая юная из всех собравшихся, вислозадая, как оса, тридцатилетняя брюнетка, но олигарх только поглядывал на нее кроткими стариковскими глазами и невнятно мычал.

Общество в ожидании хозяйки мероприятия попивало мелкими глотками минеральную воду с голубыми, нежно сияющими при таянии кубиками фитнес-льда и легкое белое вино. Почему-то в приглашенную элиту затесался писатель Семянников, бескровный и безумный, колотивший облупленной тростью по ножкам породистой мебели, хлопая иногда и по ногам присутствующих; лысина классика, уже почти совсем лишенная седин, напоминала куриное яйцо с остатками помета, на пиджаке, не соответствовавшем сезону, глухо рдел советский орден. Семянников приставал к Деревянко, пытаясь всучить министру культуры какие-то бумаги, иные довольно ветхие, испещренные лянными печатями и насквозь проеденные какими-то фиолетовыми подписями. Деревянко морщился, но в бумаги глядел, из чего Крылов заключил, что не только классик, но и многие другие боятся супруги писателя, госпожи Аделаиды Семянниковой, возглавившей в городе сразу несколько женских комитетов и носившей в подражание супруге президента защитный френч.

— Добрый вечер, господа! — голос Тамары перекрыл ледяное шуршание общества, и она появилась в дверях, очень эффектная в плотном розовом шелку абсолютно строгого покроя, очень напряженная на высоких клиновидных каблуках. — Спасибо, что откликнулись на мое частное приглашение. Прошу в конференц-зал!

Конференц-зал Тамариного офиса, весь из закаленного стекла и мореного дуба, отливающего сталью, произ-

водил впечатление холодной стерильности. Здесь и вправду было холодно, нашатырная альпийская цветочность слабо размывалась живым и слабым запахом лилий, отражавшихся тут и там в темных полированных поверхностях и похожих на большие крапчатые звезды. Город за сплошными окнами, настроенными на слабое затемнение, стоял совершенно беззвучно, плавая на желатиновом солнце, и маленький самолет, заходивший на посадку в аэропорт Кольцове, золотился булавкой на фоне вспененных, прокипяченных зноем облаков. Далеко на горизонте два полотна дождя, светлый и потемней, находили друг на друга, будто косо задернутые шторы, и дрожали, озаряя недра тучи, электрические нити.

Приглашенные расселись согласно табличкам за овальным столом, напоминавшим небольшое озеро и не имевшим на поверхности ни единой пылинки; при этом несколько кожаных кресел остались свободны, и соседи искоса прочли фамилии отсутствующих. Видимо, это позволило самым осведомленным сделать какие-то выводы. Крылову с самого начала не понравилась атмосфера собрания. Тамара была очень хороша сегодня, розовый шелк озарял ее лицо, придавая нежный очерк волевому подбородку, но мужчины, отражаемые в глади столешницы жидкими пятнами, глядели на нее без обычного одобрения и готовности соответствовать. Самые важные из них скорее были раздражены, Гречихин, часто моргая, кусал карандаш, прочие сидели, будто жабы на листе кувшинки, и таранились в пространство.

Крылову досталось место не первое и не последнее, как раз посередине, но министр финансов Саков явно не одобрил его соседства. Он демонстративно отвернулся от Крылова, показывая ему похожий на детский кулич из песка рыжеватый затылок. Вместе с Евгенией Кругель они сделали вид, будто читают одну на двоих информационную брошюрку, что лежали перед каждым в фирменных, тисненых траурным муаром папках «Гранита». Вдруг Ев-

гения Кругель действительно прочла и с ужасом, таким же поддельным, как и ее ожерелье из устрашающе-бутылочных изумрудов, воскликнула:

— Кооперативное кладбище?!

— А вы что думали? — игриво отозвался Саков, залезая толстыми пальцами в бумаги, должно быть, в поисках финансовой цифири.

— Я думала — благотворительность! — с фальшивой растерянностью ответила губернаторская дочь и обвела присутствующих дивными фиалковыми глазами, внезапно их выпучивая, отчего становилось понятно, что дама носит имплантаты. — Зачем меня сюда пригласили? Я не собираюсь умирать!

— Никогда? — внезапно возвысил голос Бессмертный.

Все посмотрели на него: голое лицо олигарха наливалось темным гневом, словно заваривался чай. Это зрелище, хорошо знакомое команде прежнего Бессмертного, бестрепетного и беспощадного, заставило женщину пискнуть и ухватиться, стукнув кольцами, за подлокотники.

— Я полагаю, мы сейчас предоставим слово уважаемой Тамаре Вацлавовне, — дипломатично и холодно проговорил Гречихин, сплетая на бумагах плоские белые пальцы. — Насколько я могу судить, «Купол» скорее арт-проект, в котором все мы можем принять, хм, оригинальное участие.

Тамара уже давно ожидала возможности обратиться к собранию. Сидя во главе стола, она улыбалась самой яркой из своих улыбок, уже слегка отклеившейся. Крылов потупился, чтобы Тамара, встретившись с ним глазами, не начала излишне волноваться. Когда он вновь посмотрел в сторону председательского места, за спиной Тамары, заслонив половину законного города, возник голографический экран. На экране проплывал пейзаж: высокие сосны на закате, словно градусники с высокой температурой; тонкий лиственный подлесок, дикие поляны с валунами розового кварца, с мелкими белыми и си-

ними цветами, будто разбрызганными в воздухе; длинное озеро с полосами зеркала и полосами серебра, озерная заводь в крупных кувшинках с магнетическим блеском зеленой тяжелой воды, в которой под бликами и пылью темнеют зависшие стайки мальков. По сравнению с городом, которому мутно-желтая грозовая подсветка в соединении с яркими, плотными красками заката придавала что-то декоративно-зловещее, это было видением рая. Даже генерал Добронравов расслабился, его широкое лицо с надраенными красными щеками приобрело умиротворенное выражение отпускника на рыбалке.

— Здесь и будет построено наше элитное кладбище «Купол», — комментировала Тамара, указывая на экран, где летние съемки сменились осенью и птичий клин, словно нарисованный детской рукой, исчезал в облаках. — Фирма «Гранит» приобрела под него участок рядом с озером Щучье, что в сорока километрах от города. Это практически уже Илимский заповедник. Здесь через восемнадцать месяцев мы построим комплекс, аналогов которому нет ни в одной стране Европы. Это будет не просто кооперативное кладбище, но некрополь нового типа, оснащенный криотехникой последнего поколения, снабженный всем необходимым — подъездной дорогой, паркингом, зоной отдыха для родственников и туристов, включая игровую комнату для маленьких детей. Но главная задача «Купола» — воплотить новую философию свободы и позитивности. Все мы знаем, что культура нового века принципиально отличается от культуры традиционной, когда люди читали книги, интересовались борьбой добра со злом и культивировали негатив. Сегодня все символические ценности — а ими могут быть только ценности позитивные — воплощаются в вещах, имеют вид и форму вещей. Несмотря на потоки электронной информации, наш мир материален, как никогда прежде. Ценно то, что служит благу человека, а не отказ от этих благ. Жизнь по современной позитивной моде-

ли — это комфортабельный дом, дорогой автомобиль, коллекция арт-объектов и многое другое. Смерть, нравится нам или нет, тоже представлена вещами. Только вещи эти старомодны и уродливы, они угнетают человека, за них заплатившего.

Тем временем на экране настала зима, крахмальный снег, белей и жестче низких облачных небес, соединил пустыню озера с пустыми берегами, заиндевелые камыши торчали остро, будто перья из подушки. Затем сухие снежные покровы зазернились, разошлись, будто ошпаренные кипятком, лед на озере сделался как пожелтелая карта — с потемневшими тропинками, рыхлыми рыбацкими лунками. Бесконечным утомлением сквозило от этого таяния, мокрая весна была печальней осени — и по недосмотру монтажера на экране мелькнула черная деревня и край деревенского кладбища с памятниками, похожими на синие больничные тумбочки, с козой, дерущей старую траву.

Между тем Тамара после секундной заминки, которую генерал Добронравов заполнил, откашлявшись в голос и добавив в конце командирское «кгхм!», продолжила установочную речь:

— Смерть неизбежна. Сегодня нам не остается ничего иного, кроме как включить это событие в сферу позитива. Таково веление времени, что бы ни думали по этому поводу люди устаревшего формата. Прежняя громоздкая практика предполагала подвиг — религиозный или, например, патриотический. Сейчас продолжать эту практику было бы так же архаично и затратно, как пахать на лошадях или полоскать белье в речке. Патриотизм утратил всякий смысл, потому что мы живем в условиях мирового господства позитивности. Даже те граждане, что не пересекают черты бедности, все равно купаются в позитиве, как рыбы в водной стихии. Другой стихии им просто не дано. Господство позитивности позволяет мне предложить новую технологию обращения со смертью.

Эта технология при всей ее простоте стала возможна только теперь, когда все люди на земле объединились в стремлении к прямому благу: к миру, процветанию, положительным эмоциям. Радость смерти тоже заключается в вещи, которую пока никто не создал. Комплекс «Купол» и станет такой вещью для всех вас. Только так мы можем преодолеть проклятье смертности по эту сторону черты.

Общество заплодировало, следуя рефлексу так приветствовать молчание только что говорившего оратора. Однако хлопали глухо. Некоторые, переглядываясь, держали руки на коленях. Тут подала надтреснутый голос вторая из присутствовавших дам, до сих пор державшаяся незаметно и сидевшая по причине малого роста чуть ли не под столом. Это была генеральный директор Первого Рифейского государственного телеканала Петрова, седая, с прической болонки и в детских сандаликах, обладательница пугающе обширного и острого ума. Возвышаясь одной кудлатой головой перед стаканом минеральной воды, Петрова подняла, как первоклассница, морщинистую руку, похожую на туго свернутый зонтик:

— Значит, вы полагаете, что не существует трагического, из которого нельзя было бы сделать, как вы говорите, позитивность?

— Я дитя своего времени, — ответила Тамара, может быть, чуточку более резко, чем позволяла роль хозяйки собрания. — Я действительно стремлюсь работать так, чтоб людям в результате было хорошо. Только я хочу, чтоб это было правдой!

— Мне кажется, что вы человек грубый, склонный к насильственным действиям и выбирающий путь напролом, — заявила Петрова, залезая, как ребенок, поглубже в кресло и доставая из мрачной черной сумки, похожей на докторский саквояж, коробку папирос.

— Не стоит переходить на личности, — корректно вмешался Гречихин, автоматически проснувшийся оттого, что уровень шума в помещении повысился. — Тама-

ра Вацлавовна еще не показала нам своего проекта. Я думаю, это будет интересно. Тамара Вацлавовна, прошу!

— Спасибо, — Тамара поблагодарила вице-преьера, невозмутимо сияя на председательском месте, но Крылову было заметно, что она смущена и не может взглянуть на генеральную директрису, преспокойно дымившую какой-то дрянью с запахом дров. — Я представляю вам, господа, арт-директора проекта «Купол» Сергея Водопьянова и главного инженера комплекса Андрея Мурзина.

Крылов ожидал, что если арт-директор и будет из тех голокожих эстетов в хламидах, что работали на Тамару целой популяцией уже года полтора, то уж инженер окажется нормальным технарем в относительно белой рубашке с засученными рукавами, в бороде и при галстукке. Тем не менее оба существа, мягко прошлепавшие к экрану от боковых дверей, относились к одной и той же гуманоидной группе. Крылов впервые видел их настолько близко: существа были закутаны в тяжелую, сильно измятую ткань, видны были только пальцы на руках и на ногах — прозрачные хрящи с овальными ногтями, крашенными перламутром. Когда необычные Тамарины сотрудники, встав поодаль от горчичного отпечатка закатного солнца, откинули капюшоны, Евгения Кругель почти натурально взвизгнула. Главный инженер и арт-директор были безволосы, как кальмары, их лица состояли из складок, неглубоких, но скрывавших, казалось, все человеческое. При этом существа носили имена и фамилии, имели, должно быть, нормальные документы. Это явно не укладывалось в головах у собравшихся. Даже невозмутимый Гречихин привстал из кресла, улыбаясь вежливой улыбкой, выражавшей готовность сделать что-нибудь на всякий случай. Гуманоиды тоже улыбнулись вице-премьеру сухими тонкими губами, похожими на колбасные шкурки.

— Для чего надо было так себя увечить, скажите на милость? — выразила общее недоумение директриса Пе-

трова, со скрипом ввинтив папиросу в стеклянную пепельницу.

— Для того, что современное искусство начинается с самого творца, — совершенно нормальным, даже деловым баритоном отозвалось существо, что было повыше и поплечистее, с голыми надбровными дугами, напоминавшими какие-то древесные грибы. — Чтобы создать нечто принципиально новое, надо сперва преобразиться самому. В том числе трансформироваться физически.

— Вы кто, Водопянов или Мурзин? — бесцеремонно поинтересовалась генеральная директриса, оглядывая существо с бесформенной головы и до плоских пористых сандалий.

— Я Мурзин, — с достоинством ответил гуманоид и поклонился, свесив складки одежды мешком.

— Так предъявите нам свои, так сказать, достижения, — проскрипел министр культуры Деревянко с неприятной усмешкой, приоткрывшей крупные трещиноватые резцы. — А то я не знаю, что такое современное искусство! Два притопа, два прихлопа и килограмм понтов!

На этот раз оба гуманоида поклонились, сложив ладони домиком и показывая рыхлые белые макушки.

Следующие сорок минут общество провело в ошеломленном оцепенении. На экране держался все тот же пейзаж, но в нем появилась постройка не из этого мира. Между выпуклым, как закрытый глаз, сооружением и сосновым, травяным, напоенным горячими соками ландшафтом был умонепостижимый контраст, который поражал едва ли не больше, чем сам некрополь, не имевший ни единого прямого либо острого угла. Если это походило на что-то, разве что на обсерваторию — но и такая ассоциация была неправомерна. Всякая линия, стоило ее проследить, продолжалась, описывая все новые эллипсы, словно сооружение спроектировали за одну минуту, не отрывая карандаша. Некрополь был каким-то образом завернут сам в себя, и казалось, будто из него не-

возможно вырваться, но живые предполагались там точно так же, как и мертвые. По ленточным дорожкам, на разной высоте обвивавшим неправильный, как бы попытавшийся прилечь на левый бок розовато-свинцовый купол, семенили анимационные человечки: иные, женские, были в миниатюрном трауре, в вуалях, похожих на черные наперстки, а одна фигурка в клетчатой рубашке, избражавшая туриста, снимала необыкновенную архитектуру, держа перед лицом фасолинку видеокамеры. Нигде среди мрамора и стеклопластиков не было места обычным на кладбище мордастым, рыхло напудренным цветочкам. Зато метрах в двухстах от некрополя тянулась посадка пирамидальных тополей, похожая на полуразрушенную античную колоннаду, и земля между тополями и эллипсами была распахана. Это походило на обыкновенное фермерское поле где-нибудь в среднерусской полосе — но зрители, даже те, что собрались у Тамары, ощущали каким-то десятым чувством, что вскрытая земля, лишь кое-где подернутая ярко-зелеными нитками сорняков, демонстрируется намеренно: хотя умершие не в ней, она присутствует и странно тянет в себя, как могла бы тянуть морская пучина или горная пропасть.

Общество, казалось, позабыло, что перед ними на экране не реальность, а пока что компьютерная графика. Кончик носа Евгении Кругель блестел как намыленный, пепельница перед Петровой походила на рыбацкую банку с червяками. Депутат Саллиулин сидел, приоткрыв от удивления яркий крошечный рот, напоминавший вишню с вынутой косточкой. Мумия по фамилии Мурзин и мумия по фамилии Водопьянов по очереди давали толковые комментарии, объясняя, как и что будет устроено. Подробно были показаны погребальные камеры неправильной формы, спроектированные по подобию келий в пещерных монастырях; обстоятельно говорилось про высокотехнологичные саркофаги, которые исключают все некрасивые и неопрятные процессы, происходя-

щие обычно с трупами, и обеспечивают процессы эстетичные, основанные на поэтапном обезвоживании и превращающие тело в уникальный минеральный агрегат. Далее следовала виртуальная экскурсия по подземным помещениям, предназначенным для посетителей некрополя. Здесь действительно имелась детская игровая комната, спроектированная все по тому же принципу бесконечных эллипсов, так что малыш мог непрерывно двигаться и ни разу не ушибиться; предполагалось милое кафе с маленькими, как табуретки, квадратными столиками и горящими на столиках нежными свечками; просторный паркинг был рассчитан не только на легковые автомобили, но и на двухэтажные туристические автобусы — из одного такого зеркального гиганта вылезали обвешанные аппаратурой мультипликационные японцы, все до одного крашенные блондины, с бодрыми улыбками жуков-древоточцев. Завершилась демонстрация классическим Шопеном, но как-то так аранжированным, что бывший композитор Дервянко засопел и крикнул.

* * *

В конференц-зале повисло молчание. Будущие почетные покойники сидели, не глядя друг на друга, иные отодвигались от зеркального стола, словно больше не желали в нем отражаться. Крылов понимал, что все они испытывают шок, какой он пережил в Тамариной машине на подъезде к «Сошке». Это было слишком даже для Тамары. Даже она вряд ли могла себе позволить такую выходку — заставить стольких VIP'ов разом почувствовать себя мертвецами. А они почувствовали это — бледность разлилась по лицам, и на ней, как мелкий мусор на бумаге, сделались заметны жирные родинки, похожие на вошечные ниточки следы от косметического лазера, землистые старческие пятна. Все эти люди словно разом умень-

шились; включая дурака Семянникова, вцепившегося в палку, будто плеть гороха.

Широко раскрытые глаза Евгении Кругель, несмотря на имплантированные радужки, вдруг выкатили две громадные слезищи, ловко поползшие по обеим сторонам покрасневшего носа.

— Какой ужас, — забормотала она, нервно запуская пальцы в жесткие перья прически. — Тут что, издеваются над нами? Обезвоживание... Да ни за что не лягу в этот саркофаг!

— А не хотите, и не надо! — живо оборотился к Евгении Кругель раздраженный Бессмертный, по слухам, очень недовольный губернатором в связи с эмиссией бумаг Рифмашзавода. — Знаете, что такое обмыление трупа? Можете предпочесть!

Евгения Кругель трясущейся рукой набухала себе минеральной с газом, перелившейся из стакана и зашипевшей на столе.

— Вам-то что, вы и так Кощей! — выпалила она, с ненавистью глядя на олигарха, сломанной куклой развалившегося в кресле. — Только корону золотую на череп, и хоть в кино вас снимай! С Дымовым в роли зайца!

— Какого зайца? — проговорил Бессмертный вкрадчиво, и всем присутствующим стало ясно, что ради Мити он разорвет Евгению Кругель на цветные тряпки здесь и сейчас.

— Того зайца, который в сундуке, — пояснила губернаторская дочь. — В зайце утка, а в утке игла. Стрельнут в зайчика из двустволки, вот и все бессмертие!

Олигарх, не меняя позы, затрясся лицом, и чистая пепельница перед ним заплясала, будто блюдечко на спиритическом сеансе. Сидевший рядом с олигархом молодой человек, невзрачный, с черным квадратиком усов под водянистым носом, имеющий какое-то отношение к страховому бизнесу, поспешил отодвинуться вместе с заскрипевшим креслом.

— Женечка, Женечка, что вы в самом деле так уж конфликтуете! — Обеспокоенный Гречихин поднял вверх обе сухие ладони, словно испачканные мелом, как у преподавателя средней школы. — Павел Петрович! Ради бога! Ну вы же серьезный человек! Она сама не понимает, что спускает с языка!

— Все я понимаю, дядя Володя! — огрызнулась Евгения Кругель, подбивая лакированным ногтем тонкую, как стрекозка, безникотиновую сигарету. — А не надо меня доставать всякими обмылениями и саркофагами! Мне что, беспокоиться не о чем, кроме как о своих похоронах? Кручусь, как белка, сразу в нескольких колесах! Думаешь все время, как бы отдохнуть, кроишь минутки, вырываешься на благотворительное заседание, а тут — пожалуйста!

— Бабье и есть бабье, — вдруг громко сказала Петрова, щелкая сумкой.

На это Бессмертный ненатурально расхохотался, словно палкой протрещал по крепкому забору. Многие были смущены. Рифейскому обществу было превосходно известно, что собой представляют беличьи колеса Евгении Кругель. Она действительно все время думала, как бы отдохнуть, и металась по модным курортам, забывая тут и там привезенных с собой хорошеньких любовников. За ночь она могла объехать полтора десятка кабаков, врываясь бегом, ваясь с ног, пугая официантов вытаращенными глазищами и маниакальным блеском фальшивых драгоценностей. Ей всегда не хватало денег, времени, жизни, судьбы. Ее аптеками управляла мать, Маргарита Кругель; брошенная четверть века назад, она вырастила себе за это время железный позвоночник, на который, казалось, были нанесены деления, будто на школьную линейку. Маргарита Кругель была скупа, как провизор, составляющий снадобье с помощью аптечных весов, и, вероятно, даже домашние обеды ее были выверены в граммах; что касается чувств, то они если и отпускались, то

по какому-то специальному рецепту и предназначены были разве что для смертельно больных. Отношения с матерью Евгения Кругель искренне принимала за трудности бизнеса; состояли они главным образом в том, что молодую владелицу аптек не подпускали к банковским счетам. Мысль о смерти, вероятно, стояла у губернаторской дочки в одном ряду с мыслями о денежных долгах; собственно, все существование ее было долгом безликому кредитору, потому что, родившись у подобной матери, нельзя было иметь законного ресурса жизни, и приходилось бесконечно брать займы. С каждым днем метафизический долг нарастал; губернаторская дочь жила буквально в минус с неотвязной мыслью о какой-то посмертной отработке, с ужасом перед всяким трудом. Она всегда врала — даже когда сказанное соответствовало фактам, потому что подлинная жизнь у нее отсутствовала; фальшивые чувства и фальшивые драгоценности вместе выражали страсть Евгении Кругель к побрякушкам — лишь бы их было побольше.

Сейчас угроза в адрес Мити Дымова, брошенная в лицо Бессмертному, тоже была чистой фантазией, подобной куражливим заявлениям Евгении Кругель в кабаках, где, хватившись какой-нибудь потерянной серьги стоимостью в пятнадцать долларов, она грозилась вызвать ОМОН. Но здесь Евгению окружали не официанты. Общество, и без того шокированное презентацией некрополя, ощутило напряглось. За окном, будто выражая настроение собравшихся, сгущалась гроза: неприятная желтобурая туча напозла на померкший центр, дворцовый Алтуфьевский парк качало и штормило, и зеркальный стол с лежащими на нем руками, бумагами, мобильниками мерцал от трепета небесного электричества. Две одинаковые девушки в коротких гладких юбках, с одинаковыми гладкими птичьими головками, неслышно засновали позади гостей: зажглись спокойные лампы в медовых колпаках, перед каждым из сидевших вкусно задымилась

чашка кофе, покатались, чуть позванивая, сервировочные столики с мелкой аппетитной снедью. Но никто не пригубил из чашки, не притронулся к мозаичным сэндвичам; все сидели с вытянутыми лицами, словно опасаясь, что в угощение им подсыпали яду.

— Что ж, господа, хотелось бы услышать ваши впечатления, — радушно произнесла Тамара, делая двум невозмутимым мумиям, усевшимся поодаль и втянувшимся, как черепахи, в свои измятые хламиды, ободряющие знаки.

— Очень все хорошо, Тамара Вацлавовна, — певуче отозвался депутат Саллиулин, изрисовавший все свои бумаги ромашками и финтифлюшками. — Очень все красиво, да. А впечатление мое такое, будто вы нас туда прямо живьем приглашаете. Я бы, правда, хоть сейчас улегся! Дела только не дают!

— У меня вопрос! — Министр финансов Саков, уже давно добравшийся до договора и до сметы, изучивший страницы с обеих сторон и на просвет, теперь долбил волосатым указательным какую-то графу. — Вот здесь помимо паевого взноса, про который мне понятно, если будут выдержаны сроки строительства, нарисовано двести тысяч установочного взноса, про который я пока не понял. Сказано, что доходы от суммы будут употреблены на содержание комплекса. В каком банке вы собираетесь их держать?

— Это решит правление кооператива, — пожала плечами Тамара.

— Стало быть, «Рифейский промышленный» либо «Рифейский кредит», — насмешливо произнес румяный Саков, похожий почему-то уже не на Амура, а на клоуна в цирке. — Тогда я лучше выброшу свое тело на помойку, целее будет. — Сладкие шоколадные глаза министра ласково остановились на собравшихся, и некоторые принужденно усмехнулись, а чопорный Гречихин скривился, точно у него засвербело в боку, а он не решился почесать. — Ну, а что будет потом — я имею в виду совсем потом?

— Средства будут находиться в трастовом управлении фирмы «Гранит» под контролем наследников умерших, — пояснила Тамара ровным и любезным тоном. — Полноценными пайщиками «Купола» наследники стать не смогут, поскольку места, как вы понимаете, будут заняты.

— Тогда я не понимаю, что такое этот контроль, — заявил Саков, связав белые пальцы узлом на животе. — Земля под «Куполом» остается в собственности «Гранита»?

— Да, в уставе это прописано, — подтвердила Тамара.

— А почему бы не передать пайщикам в виде обеспечения часть акций вашей уважаемой фирмы? — воскликнул Саков с таким видом, точно эта мысль только что пришла в его округлую толстую голову. — Тогда и с наследованием проблем не будет никаких!

— У нас закрытое общество, — сухо сообщила Тамара, щурясь, будто внезапно сделалась близорукой. — Вам это известно не хуже меня.

— А вы откройте! — приветливо предложил министр.

Это была знаменитая стратегия Сакова: сначала он выманивал партнера в чистое поле каким-нибудь заманчивым проектом, затем бил его нещадно и на спинах отступающего врага врывался в крепость, так захватывая чужой, более или менее лакомый бизнес. Казалось, ему достаточно булавочного отверстия, чтобы просочиться и связать чужие деньги несколькими молекулами своего присутствия: все, к чему прикасался Саков, он превращал если не в золото, то в самого себя. Было понятно, что если Тамара поддастся на провокацию, то от «Гранита» через год останется скорлупка. Крылову министр напоминал кукушонка: однажды ему удалось подсмотреть, как голый и красный птенец, похожий на живую жареную курицу, со слепыми буркалами, похожими на куриные желчные пузыри, выталкивал спиной из гнезда рябое мелкое яичко с нерожденным конкурентом. Саков и был кукушонок: подброшенный в элиту крупным криминалом, он сноровисто выпихнул номенклатурных сынков с окс-

фордскими дипломами, и теперь гнездо становилось уже маловато для взъерошенного бройлера. При этом Сакова отличала поразительно ранняя многодетность: трое детей от первой жены и четверо от второй плюс неустановленное число побочных отпрысков в России и за рубежом. Все известные миру маленькие Саковы были мужского пола, толстые, бойкие, брыкливые, сильно топаящие пинетками и сандалетами, очень похожие щекастыми мордашками на собственные попы. Судя по тому, как сходны были между собою братики Саковы, все они преданно следовали одному оригиналу и льстили ему уже самим фактом своего существования. Повторенный во множестве своих упругих толстячков, молодой министр чувствовал себя оправданным — экзистенциально оправданным во всех своих действиях, включая лихие стрелки с ураганной пальбой, на одной из которых сам генеральный директор «Рифмаша» Чингизов был буквально перерублен крупнокалиберными, и от распада на части его спасло одно набухшее пальто. В сущности, Саков был дитя своего времени гораздо в большей степени, чем скромная Тамара: он выражал собой стремление мира существовать в многочисленных копиях, множиться, дробиться, превращать любую ситуацию в подражание чему-то или кому-то, в самодеятельный спектакль с условными декорациями и исполнителями ролей. В результате тот, кто стрелял в Чингизова сразу из двух раскаленных стволов, и тот, кто захватывал, круша компьютеры, офис конкурентов, был не совсем папаша Саков: последний слишком походил на бандита (то есть на сотни и тысячи коротко стриженных особей с резиновыми затылками, совершающих примерно такие же действия), чтобы нести за что-то личную ответственность. Мощный инстинкт размножения был у министра Сакова инстинктом бегства от подлинности. Возможно, семейство Саковых в перспективе было способно пойти дальше армии, где люди могут убивать благодаря одинаковой форме: братики-буту-

зы не только имели сходные черты, но и росли по одному проекту, так что младшие с течением лет буквально замещали старших и могли присвоить не только их игрушки, но и их фотографии.

Тамаре следовало быть очень-очень осторожной. Она молчала и улыбалась вопросительно, давая понять, что не услышала последнюю реплику министра.

— Да, кто-то на этом хорошо зарабатывает, — вздохнул страховщик с квадратными усиками, заполняя нечаянную паузу. — Плюс доходы от туризма...

— Да не будет никакого туризма! — возмущенно воскликнул ревнивый Деревянко. Нос его из красного сделался лиловым и блестел, как стеклянная чернильница. — Тоже мне шедевр современного зодчества! Мы вон не можем заманить иностранцев ни фестивалем народных промыслов, ни музеем рифейской иконы! Не покупают туров!

— Музей писателей пять лет не отремонтирован! — тут же подхватил старик Семянников, потихоньку щупавший на блюде лакированные пирожки.

— Туризм будет, можете не сомневаться, — сообщила Петрова, возникая из табачной завесы, которую тянула вверх бесшумная вентиляция. — Я поздравляю вас, господа, — обратилась она к зашевелившимся мумиям, чья мимика в глубине капюшонов напоминала варку лапши. — Комплекс «Купол» действительно станет рифейской достопримечательностью, знаковым объектом нашей культуры, если, конечно, будет построен.

Гуманоиды разом поднялись и поклонились очень низко, хором проговорив что-то вроде стихотворения, лишённого не только согласных, но как будто любого человеческого смысла. Тамара благодарно просияла.

— Я была уверена, что вы оцените художественный уровень «Купола», — обратилась она ко всем, хотя большинство сидящих за столом не выражало никакого энтузиазма. — Вы обратили внимание, что наша презентация проводится накануне Праздника города. Если позволите

выразиться пафосно, «Купол» станет подарком Рифейскому краю. До сих пор наш четырехмиллионный город считается глухой провинцией. Да, к нам пришли все транснациональные бренды, у нас на каждом углу по «Макдоналдсу», и на поверхностный взгляд иные наши улицы можно принять за европейские. Но и в этом мы подобны стандартно оборудованной кухне, куда не водят экскурсии. Так будет, пока мы не предъявим миру чего-то оригинального, именно знакового. Проект «Купол» дает нам шанс. Мы, здесь сидящие, соединившись, дадим городу памятник нашего времени. Мы, элита, станем фундаментом, на котором вырастет, быть может, новая рифейская ментальность.

— А быть может, все-таки лопух, — пробормотал генерал Добронравов, задумчиво наводя перед собой какой-то порядок из папки, ручки, нетронутой кофейной чашки, карандашного огрызка, двух кубиков тростникового сахарку.

Генерал был вдов пятнадцать лет и уже не горевал, а скучал, но скука эта была такой крепчайшей силы, что все, попадавшее в поле зрения генерала, словно покрывалось тонким слоем мелко размолотой земли. Супруга его, как рассказывали, была ревнительница чистоты и порядка; теперь генерал Добронравов все прибирал сам — и одежду, и посуду, и множество мелких мусорных предметов, включая термобигуди супруги, принимаемые генералом за какие-то игрушки. На танке с кумулятивной броней, словно сложенном из грубых камней, он носился по полигону под Нижним Тагилом, репетируя с войсками шоу вооружений. Никто не мог так, как лично командующий округом, пролететь по «гребенке», провальсировать на месте, вращая башней, разминая грунт в мелкий рубленый фарш, перелезть через баррикаду бетонных блоков, беря препятствие гусеницей, будто рукавицей. Воодушевляя личный состав, генерал творил на бронетехнике собственный мир — пыль, рычащий танковый чад, жирные лужи, висящие на серых кустах всей

своей позавчерашней грязью и уже наполненные, сизое металлическое марево над горными мишенями, темневшими на склонах, будто надписи на карте. Этот мир был точно таким, каким генерал Добронравов видел все остальное. Его супруга лежала на Северном под плитой и каменной вазой с посаженными в ней голландскими тюльпанами: когда они, упругие, раскрывали вверх свои глубокие горла, ваза походила на гнездо, полное некормленных птенцов. Рядом лежал их сын, погибший в первую чеченскую кампанию: его генерал уже не помнил. В оградке оставалось еще немного места — меньше, чем требовалось дородному Добронравову, но он был готов поспать и на боку. Сейчас на его устаревшем пиджаке с морщинами поперек расплывшейся спины все пуговицы были пришиты разными нитками.

— Если я не ослышался, мировое господство позитивности отменяет патриотизм, — меланхолически произнес депутат Саллиулин, поднимая круглые брови как можно выше на тыквенную лысину. — Вы очень красиво говорите, уважаемая, но противоречите сами себе.

— Ну, мы у себя патриотизм не отменяли, — вполголоса, но внятно проговорил Гречихин. — На местном уровне патриотизм вещь необходимая. В этом отношении...

— Да какхая тут патриотичность! — вдруг перебил вице-премьера писатель Семянников, у которого вдруг стала как-то отваливаться длинная нижняя челюсть. — Гхоспожу Крылову послушать, так у нас ничего и нет, кроме ее проекта! А Рифейский нарходный хор? А наша филармохния? Дипломанты международных кхонкурсов! Эти в тхогах — кто они такие?

Присутствующие поморщились. Пока Тамара говорила патриотическую речь, ликуя голосом и празднично играя искристыми глазищами, настроение общества понизилось еще на несколько градусов. Господа и так уже добрых два часа ощущали себя собранием мертвецов, коллективом кладбища, и каждый обособлялся, делая вид,

что он за этим столом случайный человек. Теперь им вдобавок предложили послужить общественному благу — не только деньгами (судя по всему, немалыми, хотя Крылов не знал, какими именно, потому что в его комплекте документов вместо сметы и договора лежал готовый, весь парчовый от тиснений и впечатанных нитей паевой сертификат), но буквально физически. Их тела, превращенные за их же счет в какие-то страшные и вечные «минеральные агрегаты», должны были, по проекту госпожи Крыловой, лечь в фундамент чего-то общего — стать полезным для сограждан веществом. Это с гротескной буквальностью означало «отдать всего себя» — что было в высшей степени несвойственно представителям элиты, регулярно говорившим подобные фразы в микрофоны, тем спонсируя нечто весьма от себя далекое, а именно идеалы. С идеалов и того было довольно — ведь иные слои рифейского общества даже и не обращались к ним, думать забыли об их существовании. Заскорузлые работы с тощими красными шеями, словно натертыми перцем, так называемая интеллигенция в плащиках, вечно застегнутая не на ту пуговицу, гастарбайтеры всех мастей, живущие по подвалам в норах из землистого тряпья, готовящие себе на спиртовках густую сургучную еду, — все они заботились только о насущном куске, только о нем и говорили, жизнь их была опутана мелочными расчетами, омрачена недоброй подозрительностью. На этом неблагородном фоне элита, по крайней мере, не уставала озвучивать тексты вроде «Мы обязаны заботиться о стариках и молодежи» или «Я отдам все силы, чтобы мои земляки жили достойно». Таким образом, идеалы сохранялись хотя бы как предмет для разговора, хотя бы как слова, и на предвыборных листовках кандидаты стараниями высокооплачиваемых имиджмейкеров действительно п о х о д и л и на людей, которые способны все это осуществить. Элита регулярно жертвовала обществу ту тонкую сущность, тот драгоценный покров, который бук-

важно снимает с человека фото- и телекамера; многие политики после съемок ощущали усталость, сосущую пустоту кровеносных сосудов, мокрую тяжесть мозга, полопавшегося в черепе, будто ком белья в барабане стиральной машины, — и был известен случай, когда депутат Салиулин, вышедший на постерах в виде сияющего будды, в результате заболел экземой, чьи пятна напоминали присохшие к коже старые газеты.

Но одно дело отдавать слова и образы, другое — самую плоть, которой, по замыслу авторов «Купола», предстояло превратиться в стройматериал для местного патриотизма. Сейчас многие из сидевших над холодным кофе были только телами, в которых мерзла кровь и говорили тихими голосами старые болезни. Каждый был у себя один, каждый слишком дорого сам себе обходился: если просуммировать затраты на медицину, отдых, фитнесы, профессиональную косметику, то любой из присутствующих, за исключением Семянникова и Крылова, стоил больше, чем его золотая статуя в натуральную величину. Это были очень дорогие, очень имплантированные тела, пусть несовершенные от природы (та же Петрова была прокорректированная горбунья, десять лет назад ее умная голова росла на теле, будто опенок на пне), но ухоженные и умашенные: даже жир на них лежал красивыми складками, а в коже, в зависимости от возраста, было от десяти до ста процентов шелка. Жертвовать все это — в сумме не меньше центнера элитной плоти — представлялось абсурдом.

— Кгхм! Однако гроза... — заметил генерал Добровров, щурясь в потемневшее окно.

За окном беззвучно бушевали массы воздуха, выше тополей летели, кувыркаясь и мелькая, какие-то картонные коробки, припаркованные автомобили, мутно мигающая сигнализацией, застилались мусорным прахом, волочились, сцепившись, точно в драке, пластиковые стулья. Все белое сделалось свинцовым. Сгорбленные прохожие

боролись с неосмотрительно раскрытыми зонтами, которым ветер обламывал спицы с такой же легкостью, с какой обрывают лапы насекомым; звукоизоляция не справлялась с раскатами грома, который слышался сидящим в офисе будто звук гигантского зевка. Вдруг на мигну все затихло, полосатый тент, сорванный с какого-то кафе, с необыкновенной нежностью опустился на недавно восстановленную статую Якова Свердлова, укутав революционера подобием шали, и в наступившей резкой отчетливости было буквально видно, как падают первые капли, похожие в уличной пыли на раздавленные виноградины. Тут же, налетев стеной, ударил ливень. Все поплыло сверху вниз в потоках густой расплющенной воды; контуры зданий исчезли, остались только краски, и казалось, будто из города прямо на окно Тамариного офиса выдавливают сок.

В конференц-зале еще добавили света. Однако лампы выглядели какими-то маленькими и не придавали уюта холодному помещению с погасшим экраном, похожим на кусок обледенелого асфальта. Под уставшими задами элиты сдобно похрустывали кожаные кресла.

— Я бы все же попросил уважаемую хозяйку вернуться к финансовым вопросам. — Саков, язвительный, румяный, равнодушный к явлениям природы, не торопясь спустил в карман серебряную плитку персонального компьютера, с которым до того общался долго и любовно, как девица с косметическим набором. И действительно, пригожее лицо министра посвежело, яркие губы цвета семги блестели, точно тронутые увлажняющей помадой. — Вы, значит, предполагаете сделать наши деньги вечными? То есть в том же смысле вечными, как вечно место, куда мы все со временем попадем?

— Но существует же Нобелевская премия, — терпеливо произнесла Тамара, из последних сил держа себя в пределах вежливости. — Цифры обоснованы, и мы готовы предоставить вам...

— Да бросьте вы, девушка! — сварливо перебил хозяйку юный министр, бывший моложе Тамары как минимум на десять лет. — Что вы нам тут моете мозги? Вы хоть понимаете, что такое в натуре деньги? Деньги — жидкость. Учили в школе физику? Вода принимает форму сосуда. А разбил кувшин — воды не собрать! Вечность! Не знаю, из чего она сделана, но деньги точно из другого материала. Где вы видели вечный банк? Хоть один? Вон, в Промбанке этом пол-литровом форму пошили персоналу зеленую с кантиком. Ихние бабы будут донашивать ихние юбки, когда от банка мокрого места не останется. И не вам, дражайшая Тамара Вацлавна, изображать, будто не знаете, как иногда и кое-где испаряется кредит. Да-да, не вам!

— Что вы имеете в виду? — лицо Тамары вспыхнуло так, что на щеках сделался заметен легчайший фруктовый пушок.

Около нее на столе белело несколько комочков измятой и рваной бумаги, очень маленьких и плотных. Зная ее, Крылов предполагал, что на ее дрожащих стиснутых коленях, на шелковой розовой юбке, трясется еще немало таких несчастных комочков, и Тамара боится, как бы все это не просыпалось на пол. От сердитого министра, от его драгоценного тела, наполнявшего белую рубашку, будто молоко, налитое в пакет, исходил тяжелый, близкий дух парфюма и сырого самцового волоса — злобный запах кабана, готового сожрать и нежную Тамару, и ее любимый «Гранит». Крылов с трудом удерживался, чтобы, сидя рядом, не врезать Сакову в сочное ухо. В эту минуту он остро жалел о разводе, отменившем его мужское право огрывать Тамару перед всем этим обществом хотя бы от хамства, если не получается вмешаться в большие финансовые процессы. Словно уловив его нехорошие мысли, Саков обернулся и посмотрел на соседа: это был не взгляд, а заморозка, обработка парализующей мутью, живо напомнившей Крылову одноклассника Леху Терентьева и его приятелей с глазами как плевки, что оставили ему на память

о детстве пару незагорающих шрамов и сотрясение мозга. Тут же министр опомнился и одарил Крылова гнусной улыбкой, словно развернул подтаявшую конфету.

— Да что вы, уважаемая, так волнуетесь, все мы грешны, никто не ангел с крыльями, — произнес он пренебрежительно в сторону Тамары. — Я всего лишь хочу обрисовать перспективу затеянной вами богадельни. Да, богадельни, уважаемые господа! Ибо взносы наши, как вы понимаете, уйдут в песок. Дай бог, чтобы это случилось при нашей активной жизни, дабы мы успели перелечь на другое место. Но очень даже может быть, что наша общая Хеопсова пирамида нас дождется. И вот тогда остатки средств на наше содержание утекут обязательно. Мы станем нищими на иждивении государства. Такими же точно, как те, что ползают по метрополитену, только минеральными. А какая, на хрен, разница? Это будем мы, мы, пощупайте себя! Дом минеральных престарелых в статусе памятника архитектуры! Какой-нибудь благотворительный фонд с очкастой молюю во главе будет оплачивать нам ремонт и электричество. Или отправят нас, грешных, на заработки в качестве научных экспонатов, как вот Ульянов-Ленин гастролирует. Поедем в холодильниках в Европу, будем скалиться из-под стекла на тамошних белобрысых гусынь и ночью им снится! Вы, кстати, в курсе, что на Ленина в Индии напала плесень? Ученые не могут справиться, и лежит наш Ильич, будто сыр «Блю Кастелло», с бородой как лебеда. А ведь его коммунисты любят, памятники его везде обратно ставят. Кто позаботится о нас? Я вам скажу: никто. Детки наши в лучшем случае будут судиться с «Гранитом» или с тем, что от него останется. Вы этого хотите? Лично я — против! Сегодня ехал сюда, полез ко мне на светофоре мужик, весь в язвах, словно торт ему в морду бросили, с каким-то жмыхом вместо глаза и с балалайкой в лапе. Мол, подай копеечку, сыграю и спляшу! А у самого вместо ноги какая-то кочерга! Я подумал — не дай бог!

— Язвы у него из пластокерамики, фокус известный. А нога в штанине! — хладнокровно сообщил генерал Добронравов, по ошибке присоединивший к устроенному перед собой порядку вещей чужие десертные вилки и ветхие бумаги старика Семянникова, словно засыпанные пеплом.

— Мы-то будем целиком из пластокерамики, понимаете, нет?! — воскликнул министр финансов, привставая из кресла. — Целиком одна такая язва, в чистом виде нищие, без натуральных частей, чтобы евроцентов в кружку побольше бросали! Прикиньте, как круто: не одна какая-нибудь накладная болячка или там ни к селу ни к городу протез, а полный труп! Беспомощный, как малое дитя! Вот я вас спрошу: мы что, для этого снуем, по жизни гробимся, чтобы в богоугодное заведение попасть, причем бессрочное? Умереть-то не получится, мы уже умрем к тому времени, а по второму разу оно не дается никому! Сам повидал!

Последние слова министр буквально выпалил, словнодохнул на собравшихся каким-то жарким метафизическим перегаром, и некоторые, судя по наморщенным лбам — сбитым в складки тем, что мысль запнулась, — попытались представить, что именно министр имел в виду. Было похоже, что это никому не удалось. Зато собравшиеся отлично представляли и нищих, и богадельни: многие в имиджевых целях посещали дома престарелых, расписанные, будто детсады, сценами из сказок, дарили там телевизоры и фрукты, а уж попрошайек с их театральными лохмотьями и цирковыми номерами не заметил бы в городе разве что слепой. Возможно, нищенство как образ, воздействующий куда сильнее обыденной бедности, стимулировал и гнал этих людей к вершинам благосостояния, из грязи в князи. Теперь, вообразив перспективу навсегда оказаться именно в том социальном положении, уйти от которого стало целью жизни в нестабильной стране, многие побледнели тусклей и мертвенней, чем

когда представили себя покойниками. Даже олигарх Бесмертный выглядел испуганным: он весь укрылся где-то в себе, забыв костлявые руки на подлокотниках и оставив бесстрастное лицо на произвол законных молний, словно пытавшихся, трепеща от усилия и дергая за бровь, содрать со старика какую-то приклеенную маску.

— Наша вера учит нас, что в день Страшного суда воскреснем во плоти, — вдруг произнесла дрожащим голосом Евгения Кругель. Съезженная, с воспаленной красной под мокрым носом, она казалась пьяной, хотя набраться ей было решительно негде.

Все покосились на нее неодобрительно. Обеспокоенный Гречихин взял на палец мутную каплю, что сползала по его набухшему виску, и проанализировал ее на язык.

— В общем, все, хорош! — Саков, опираясь растопыренными пальцами о зеркальную столешницу, по-ораторски навис над собранием. — Я уйду! Спасибо, посмотрел ваше кино, давно в кинотеатре не был. Но я на это погребальное дело не подписываюсь и другим не советую. А проект ваш я потом куплю, в смысле архитектуру. Нормальный выйдет ресторан. — С этими словами Саков собрал со стола какое-то свое имущество, демонстративно оставив лежать папку с договором, шумно похлопал себя по карманам и решительно двинулся на выход, где навстречу ему вскочили два одинаковых молодца в двубортных костюмах, стриженные на манер садовых кустарников.

Вслед за Саковым стали подниматься остальные. Кто-то воровато забирал документы «Купола», кто-то оставлял их на месте. По стесненным движениям было видно, что многим нужно посетить туалетную комнату, но все предпочитали поскорей убраться из Тамариного офиса; даже гроза, немного поредевшая, но пустившая по улицам бурные зеленые потоки, которые сосали и не могли всосать решетчатые люки, никого не могла остановить. Уходящие столпились; гуманоиды, переваливаясь, будто тяжелые белые гуси, что-то тихо гогоча друг другу, пода-

лись к служебному выходу. Тамара, надменно улыбаясь, прошагала к главным дверям, где стала церемонно прощаться с каждым из гостей, подавая мужчинам руку для поцелуя, но большинство просто дергало вниз этот неудобно повисший предмет.

Маленькая Петрова с чудовищной сумкой на локте, застревавшей между беспорядочно отодвинутых кресел, вдруг вцепилась в Тамару жилистой лапкой и оттащила ее в сторонку, предоставляя замешкавшимся задницам протираться к выходу самостоятельно. Там они довольно долго о чем-то говорили. Петрова на тонких ножках в коричневых чулках, в юбке-стаканчике с каким-то нелепым белым пояском не доставала Тамаре до груди, но что-то жестко ей втолковывала, не отпуская ни глазами, ни рукой, а крупная Тамара глядела на нее с каким-то нежным удивлением, время от времени трогая на шее золотую мелкую цепочку. Наконец собеседницы расстались, обменявшись короткими кивками, причем Петрова напоследок едва не оборвала Тамаре шелковый рукав.

В зале уже не было никого, кроме ожидавшего Тамару напряженного Крылова. Устало вздыхая, Тамара под села к нему и сбросила туфли, горячие внутри, точно в них пекли пироги. Ее большие покрасневшие ступни пылали, и Крылов недобросовестно сравнил их с другими, совершенной формы, бывшими изящней самой лучшей обуви. Мысли о Тане, как всегда, вызывали боль, и, как всегда, без видимых причин. Стоит вообразить ее мокрые следы из ванной, как охватывает ужас перед миром. Этого Крылов не мог себе позволить. Глаза Тамары, например, были куда красивее Таниных светлых, как бы потрескавшихся внутри своей прозрачности, не украшенных, а просто защищенных колкими короткими ресницами, — но это не имело ровно никакого значения. Крылов был носитель несправедливости, о масштабе и мере которой он мог только гадать. С тем большей нежностью он взял Тамару за отяжелевшую руку с ягодными поду-

щечками длинных, словно по линейке выровненных пальцев. Пальцы дрожали, и ягоды были красны.

— Что тебе наговорила эта гарпия? — спросил он, сбиваясь на тон обеспокоенного мужа.

— Ты знаешь, хорошая женщина... — Тамара мечтательно глядела на прояснявшееся небо, на золотые чернила расплывающейся тучи. — Предостерегала меня, советовала затихнуть на время, переждать какой-то опасный момент. Очень, между прочим, отговаривала идти на шоу Мити Дымова...

— Так и я тебе то же самое говорю! — воскликнул Крылов. — Это же элементарный здравый смысл. Тем более мне совершенно не понравились намеки господина Сакова на какие-то кредиты. Ты понимаешь, что именно имел в виду наш замечательный министр?

— Да брось, не стоит волноваться, — Тамара, не отнимая руки у Крылова, другой пыталась расчехлить коробочку сенсорного пульта. — Я много раз кредитовалась под разные проекты. До сорока процентов суммы всегда идет на откаты, на мелкие взятки, иначе ничто не сдвинется с места. Ну и норма прибыли по белой бухгалтерии всегда занижена, ибо налоги абсурдны. — Тут Тамаре удалось нажать на нужную кнопку, и затемнение окон исчезло, хлынули влажные звуки, зажурчали полные хлябей мутно-золотые улицы, зашумел, как ни в чем не бывало, многоводный Алтуфьевский фонтан.

— Мне кажется, это твое высшее общество тебя не любит, — мрачно проговорил Крылов, ощутивший при упоминании о Дымове ту самую темную дурноту, какой реальный Митя никогда не вызывал, а вызывали типы вроде Лехи Терентьева и его глумливых отморозенных дружков. — Я, например, вижу это невооруженным глазом. Причем не залюбили они тебя именно в последнее время. Может быть, стоит...

— И не подумаю! — отрезала Тамара. — Не буду брать отпуска, не уеду из страны, не передам бизнес в управле-

ние наемным людям. И пусть эта презентация провалилась, пусть они все намочили штаны от страха, но я все равно построю «Купол», хотя бы только для нас двоих.

— Ну какого хрена ты все время лезешь на рожон! Чего тебе мало, чего ты хочешь, что за шило в заднице сидит! — в отчаянии Крылов почти отбросил душистую руку Тамары, в которой сила, как золото, была тяжела и лежала беспомощным грузом на большой раскрывшейся ладони.

Крылова охватило раздражение, в котором он, бывало, ей грубил, вызывая не слезы, но влагу слез, от которых ее ассирийские глаза становились еще темней. Всякий раз Крылову делалось не по себе, он думал, что несчастному человеку часто грубят, а Тамара с ее сентиментальными подарками и двумя необжитыми спальнями дошла именно до этого положения вещей. Крылова немного утешало, что никто, кроме него самого, не получает от Тамары призывов о помощи, чтобы раздраженно отвергнуть притязания лишнего существа. Но теперь ему казалось, что защита Тамары разрушена, и разрушена почти бесстыдно, раз какой-то Саков смеет обращаться к ней в подобном тоне.

— Послушай, не сердись, — Крылов опять придвинулся поближе и привалился плечом к ее плечу, как, бывало, сидели они вечерами на кухне вдвоем над одним журналом и тарелкой с розовым сушеным миндалем. — Мне и правда не нравится твоя погребальная деятельность, куда теперь мешается политика. Зачем тебе все это? Ведь у тебя и деньги, и здоровье, и красота. Путешествуй, книги читай хорошие, ты ведь и сотой доли не брала в руки, или наряжайся, танцуй, веселись! Ты еще совсем молодая, даже юная по нынешним меркам. Почему ты не можешь просто жить?

— Потому, что мы с тобой в разводе, — просто ответила Тамара.

Это был удар ниже пояса — и одновременно это была чистая правда. Тамара имела привычку отвечать на во-

прос так, как он поставлен. Крылов почувствовал, что его, как пылесос соринку, затягивает логика его семейного сюжета. Как сладостно было бы сдаться прямо сейчас, сколько облегчения принесли бы ему три-четыре фразы вроде «Давай опять поженимся» или «Пусть все у нас будет, как в прежние времена». Крылов понимал, что может буквально единым словом развеять все эти наглые, плотные химеры: и Митю в беленьком приталенном костюмчике, и Сакова с его министерским, заляпанным кровью портфелем, и даже «Гранит» — веселенькое казино на границе небытия, где по свидетельству о смерти якобы можно выиграть счастье. Все это, конечно, не исчезнет, но потеряет значение и будет просвечивать на солнце. Крылов сознавал, что для него настала одна из немногих, редких в жизни минут, когда он может не только выйти в ноль в своем непрерывном матче со всем человечеством, но и закрепить за собой серьезное превосходство. В конце концов, будет просто противоестественно не сделать Тамаре предложение — сейчас, когда ей так досталось.

Но именно противоестественное было для Крылова единственно возможным. Если бы он только мог пожаловаться Тамаре, в какую ловушку попался! На самом деле его интересовало одно: добавила ли Тамара к привычному, родному соглядатаю еще и своих профессионалов наружки. В то единственное свидание, что было у них с Татьяной между сегодняшним днем и разговором в «Сошке», Крылов протащил ее через несколько жестоких автобусных давок и кишашщих прелыми голубями проходных дворов, так что собственный шпион едва поспевал, отдуваясь и отмахиваясь от бурлящих птиц. Никто не показался подозрительным, никто не нарисовался против света в кривых певучих арках, имевших в качестве зеркала дополнительного вида мертвые лужи. До самого последнего момента, когда Татьяна, помахав Ивану и соглядатаю — ответившему шаловливым жестом, словно грозил пощечно-

тать и не мог дотянуться, — укатила в такси, никакого лишнего внимания Крылов не засек. Это, впрочем, ровно ничего не значило. Сейчас, взглядываясь в спокойное, чутьточку слишком обтянутое от усталости Тамирино лицо, Крылов пытался прочесть, знает ли она о Тани, получила ли от своих неуловимых профи Танины снимки.

— Ну хорошо, засиделись мы с тобой, — прерывая неловкую паузу, Тамара ненатурально рассмеялась. — В моем кабинете у меня полно работы. Вызвать для тебя машину?

— Нет, я прогуляюсь. Кстати, спасибо тебе за подарок. Я сунулся было с твоими шестьюстами долларами в обменник, и там мне сказали, сколько на самом деле стоит портрет Памелы Андерсон.

— Попался честный кассир! — уже от души улыбнулась Тамара, снова вставшая на каблуки. — Банкнота и правда коллекционная, выпущена минимальным тиражом. Так что, если захочешь продавать, найди небедного специалиста по бонистике. А лучше оставь Памелу себе: она будет расти в цене покруче, чем почти любая ценная бумага. А теперь, мой друг, тебе действительно пора.

* * *

Праздник — это время, когда всякий человек хочет быть как все. Поэтому Крылов не любил праздники: для него и гулянье, и застолье были пустыми ситуациями, когда он, хмуро притворяясь участником веселья, таранился на грибные споры трескучего фейерверка или танцевал с очередной Тамириной «подругой» — на густом ковре, в ботинках, будто полных вязкого песка. Сам себе он тоже не умел устраивать праздники, не понимал, как это делается, поэтому жизнь иногда казалась бесконечным предисловием к жизни. Но на этот раз Крылов решил попробовать.

В обнимку с Таней он мог беззаботно пошляться в толпе. Да и Таня очень этого хотела: была оживлена накануне и много смеялась, кидаясь в комически покорного соглядатая солеными орешками. Даже шпиономания Крылова, принятая ею за боязнь разоблачения со стороны законной супруги (что в некотором смысле было правдой), не привела к тяжелой полуссоре. Они расстались довольные друг другом, предвкушающие развлечения — то есть, по сути, первый выходной за десять недель тяжелого эксперимента. Чтобы сразу начать веселиться, Таня и Иван изменили обычный порядок: не стали гадать по атласам, а сразу назначили встречу на Вознесенской площади, где намечались главные события — ярмарка народных промыслов, парад военно-исторических клубов, выставка цветов. Проставляя у себя на замятой в гармошку схеме городского центра очередную, не вполне законную точку, Крылов попытался, как всегда безуспешно, вычитать в довольно густой уже россыпи свиданий какую-то закономерность. Он увидел только, что многие улицы напоминают исколотые вены наркомана. Еще его неприятно поразила какая-то захватанность, залапанность атласа, этим похожего на перещупанные секундовые тряпки из лавочки крыловского работодателя; почему-то на обложке, превращая Оперный театр в подобие торта, расплылось кондитерское жирное пятно. Крылов подумал, что давно пора купить себе и Тане свежие комплекты городских гадательных карт.

Но даже и этот небольшой расход уже составлял для Крылова проблему. Оказалось, что у него почти совсем закончились деньги. Подаренная Тamarой коллекционная банкнота не меняла положения дел: Крылову было не до поисков богатого бониста, в любом случае это требовало и усилий, и определенной осмотрительности. А сдавать «Памелу» в какой-нибудь из заурядных обменников, вытеснивших собою кошачьи парадные и бесплатные туалеты, было уже обидно. В этом щедром подарке Тамара

выразилась целиком: блага, какими она осыпала Крылова, были вдохновенно-избыточны и не предназначены для жизни. В случае утилитарного использования даров этот уникальный избыток, через который и проявлялись Тамарины чувства, оказывался утрачен: оплывала красота шелковистой свечи, банально, на манер обычной бормотухи, употреблялось коллекционное вино из каменной бутылки, словно взятое из самых глубоких, придонных слоев бытия и упокоенное в деревянном саркофаге под правильным углом. Крылов так и не узнал его богатого букета. Главное было не вино, а вот этот ненарушаемый угол хранения и драгоценная, дороже позолоты, пыль на бутылке, которую Крылов не решился тронуть своими грубыми пальцами.

Получалось, что вся суть подарка в том, что им нельзя воспользоваться. Перетряхивая в поисках мелочи все свои карманы — гораздо более ветхие, чем сама, как будто еще приличная, летняя и зимняя одежда, — Крылов еще раз осознал, что Тамара совершенно не представляет себе его повседневной реальности. Тут в ее организованном уме держался туман — и причиной, как понимал Крылов, было все то же чувство к нему, переходящее в зависть, что он сам у себя есть по определению, а у нее, Тамары, больше нет этого человека, Крылова. Даже и в лучшие их времена ей всегда не хватало его, она всегда оставалась неутоленной — и потому завидовала его васильковым глазам (сказать по правде, сильно уже попорченным усталостью, солью и кровью), при том, что собственная пара была настолько хороша, что писавшие Тамару художники вопреки законам построения портрета всегда начинали с глаз. Вероятно, Тамаре было обидно, что Крылов больше не делится с ней собой и собственной жизнью, потому она ни разу не спросила, как он существует и сколько зарабатывает.

Всего мелочи набралось одна тысяча девятьсот восемнадцать рублей двадцать копеек, и весило это состояние

примерно полжило. Крылов понимал, что через несколько дней придется занимать у Фарида — все занимали у Фарида, — но на скромные народные развлечения и праздничную ночь в суровой, как советское учреждение, зато господствующей в квартале обветшалого конструктивизма гостинице «Центральная» хватало с лихвой. Крылов вышел из дома, толкая бедрами тупую тяжесть денежных мешочков, в которые превратились пиджачные карманы. Окруженный ими, будто планетоид спутниками, он при переходе границы своей территории и пространства, контролируемого Богом, едва не убился на лестнице, вдруг скруглившей под его подошвой скользкую ступеньку. По пути ему пришлось зайти в три, не то четыре торговые точки, украшенные ради праздника портретами мэра в ряд по несколько штук и гирляндами трущихся шаров. Везде процедура избавления от монетного металла была сложна, будто партия в шашки, и везде Крылов проиграл, особенно много — большой кавказской женщине с усами и заостренными пальцами, похожими на стручковые перцы, лихо гонявшими монеты по влажному прилавку. Но эти мелкие потери не были поводом для расстройств. Со дня на день ожидалось прибытие экспедиции — и Крылов глазами будущего хозяина жизни смотрел на недоступные пока что горы черного дымного винограда и рыжие коньяки.

В тугом похолодавшем воздухе чувствовался праздник: многочисленные духовые оркестры, не столько слышные, сколько ощущаемые по росту давления на перепонки, казалось, надували день, словно громадный, вот-вот готовый отплыть воздушный шар. На Вознесенской площади толпа валила из метро, едва не выволакивая за собой турникеты и державшихся за руки молоденьких милиционеров, смотревших выпученными глазами на растиравшую их людскую массу. Из метро горожане попадали в торговые ряды, колышущиеся, хлопающие парусиной, будто кочевые цыганские кибитки; внутри палаток, в розовом

и желтом полотняном сумраке, матрешки громоздились горами, будто тропические фрукты, и тут же богородицы с младенцами, работающие как от батарейки, так и от розетки, испускали электрические лучики и мерцали золотыми нимбами, устроенными как миниатюрные пропеллеры. Ювелирные лотки торговали бойко: женщины с простыми лицами-горшочками толкались за круглыми бусами и ягодными перстеньками, разбирали клееные шкатулки и похожие на скалки толстые подсвечники. Камни, насколько мог судить Крылов, были водянистые и жилистые, с неприятными болезненными включениями, и он беспечно радовался тому, что не прикладывал руки к этому жуликоватому ассортименту.

До назначенного времени оставалось более часа, но Крылов предпочел сразу же занять условленную позицию. Он поднялся на верхнюю из десяти широких, как обеденные столы, полированных ступеней, над которыми возвышалась трибуна и как бы парящий в небе памятник с канонически простертой дланью и черной головой, похожей на заgrimированное в треугольной ленинской бородке пушечное ядро. Праздник полоскался в огромной и холодной солнечной ванне, бушевали голуби, хлопали флаги, надувались на ветру рекламные растяжки, полотно их, просвеченное на солнце, было будто тающий в различного цвета жидкостях сахар-рафинад. Никогда еще в поле зрения Крылова не было столько людей одновременно; от осознания этого факта сделалось тревожно. Крылов то и дело приподнимался на цыпочки, с кулаками в карманах, с морозом в пальцах. Народу все прибывало; восторженные дети покачивались на плечах отцов, будто бедуины на верблюдах. Мимо Крылова прошагали два священника в плоских, точно вместе с рясами проглаженных бородачах, следом спешили артистки в фольклорных сарафанах, с глазами, намазанными как сливы, в побитых красных сапожках. Неподалеку возле патрульной машины, мирно терпевшей гуляющих граждан, толстый, похожий на от-

личника милицейский сержант по-приятельски общался с ряженым белым офицером, хлебавшим пиво и игравшим желваками; шашка у офицера была забавна, как игрушечная деревянная лошадка. Повсюду ряженные перемешивались с теми, кто был при исполнении; среди толпы разгуливали куклы — плюшевые гиганты на тонких человеческих ножках, полые внутри, будто неправильно разросшиеся глобусы. В небе, абсолютно чистом, но ничего не дающем рассмотреть, уже давно зарождался авиационный вибрирующий звук: вдруг почти одновременно там возникли, точно ими брызнуло, лепестки парашютов. Сразу парашютисты пропали из глаз, словно оказались в слое невидимости, возможно не единственном в воздушной толще; одну фигурку понесло наискось на фоне проступившей «поганки», у которой отчетливей всего были видны старые проломы, серебрившиеся, точно трещины в стекле. Отвлекаясь, Крылов не отследил момент, когда спортсмены материализовались над прудом, где для них была приготовлена белая платформа с нарисованными красными кругами. Первый парашютист, словно съехав на заднице с невидимой воздушной горки, приземлился аккуратно на цель, другой же промахнулся и, вылезши из воды и вытянув оттуда на себе обширную лужу, долго выбирал пузырящийся, играющий телесными пятнами мокрый парашют.

Должно быть, не все намеченные развлечения удавались сегодня. Татьяна еще не опаздывала, но по растущему объему ее отсутствия Крылов уже понимал, что опоздает непременно. Между тем праздник города готовился перейти в решающую фазу. На трибуне, прямо над Крыловым, уже возникли первые члены городского руководства; еще необязательные, похожие на случайно рассеявшихся голубей, они рассеянно вертели головами, но было ясно, что вот-вот ожидается появление мэра. Ряженный офицер побежал, придерживая шашку. Пробно и невнятно пролаяли мегафоны. И вот он появился — кра-

шенный старик с благообразной головой на узких плечах калачом, перед собственным, растянутым на полфасада мэрии портретом, словно на Страшном суде. Крылову были видны его брезгливые морщины, длинные, будто темным соусом запачканные бакенбарды. Мэр был на голову меньше любого из своих подчиненных, но ему, должно быть, подставили табуретку, и он внезапно вырос, положив на гранитный бортик пеструю маленькую руку, похожую на черепашку.

Тут же перед мэром возникли микрофоны; гулкая речь его отдавалась вдаль, эхом катила с другого берега пруда, так что казалось, будто оттуда отвечают пушки. Там, над выставкой цветов, над ярусами чугунных оградок и мерцающих березок, памятник основателям города, не то свежепокрашенный, не то облитый чем-то вроде шоколада, липко поблескивал. Тем временем милиция, растянувшись цепью, раздвинула толпу; обнажилась брусчатка, кое-где замусоренная яркими бумажками, однако же грозная, словно в горбатый камень добавили железа. Слева, на помосте, замер, приподняв в готовности горящие медные жерла, военный духовой оркестр. Внезапно дирижер сделал отчаянное движение, будто, решившись, прыгнул с небоскреба, и грянул марш.

Крылову ничего не оставалось, кроме как стоять на месте. Он так и знал, что Таня не успеет к началу парада военно-исторических клубов, и вытягивал шею, стараясь разглядеть в текучей каше у метро знакомую стрижку, плоскую утиную походку. Томясь, он ощущал себя утопленником, к ногам которого привязан камень. Между тем на площади разворачивалось действие. Первыми по брусчатке прошагали пучеглазые усачи в зеленом обмундировании и тесных белых панталонах, в каких-то шахматных шапках на головах; на плечах они тащили ружья в собственный рост, похожие на прикрепленные к дереву куски водопровода. Восемнадцатый век сменило казачество, прогарцевавшее лихо на лоснящихся шелковых лошадках

с игривой музыкой копыт, прелестной, будто это плясали женщины в лаковых туфлях, ударяя в ладоши.

Затем настала выжидательная пауза: что-то серьезное строилось в глубине Вознесенского проспекта, раздавались петушинные крики команды, подравнивались тени. Дирижер, нацелившись палочкой, свирепо глядел на оцепеневших оркестрантов, словно собирался сию минуту превратить их в лягушек и крыс. Едва дотерпев до дирижерского взмаха, оркестр ударил «Прощание славянки». Мэр на трибуне приосанился, поблескивая пуговицами полувоенного пальто.

Господа офицеры шли красиво. Крылов даже удивился тому, как глупо они выглядели по отдельности и как внушительно смотрелись в строю. Шаг их в жесткую складку был с просверком, на груди у каждого горело солнце. Каждый белогвардеец многократно повторялся в шеренге, отчего казалось, будто силы его возрастают в геометрической прогрессии; маршевая музыка, доходившая на предельной высоте до какого-то печального, отчаянного крика, не могла заглушить удары слитных сапог по брусчатке. Впереди офицерского строя реяло на ветру черное бархатное знамя, с него улыбался узкий череп и, словно молнии в туче, посверкивали золотые скрещенные кости. Линия за линией, шеренга за шеренгой, белогвардейцы брали содрогавшуюся площадь; промаршировала одна офицерская рота, за ней, под водительством бритого тучного полковника, несшего свою выправку чуть запрокинутой навзничь, вступила другая, за ней угадывалась третья. Сухо трещал барабан.

И тут из глубины проспекта Космонавтов, словно из самой толщи пестрого народа, раздалась иная, рваная музыка. «За власть советов... и как один умрем...» — доносились сквозь ветер какая-то старая хоровая запись, и почему-то становилось понятно, что все поющие уже и правда умерли. Праздничная толпа отхлынула с проезжей части, дрогнули, как декорации при повороте сцены, по-

лотняные торговые палатки. В раскрывшемся проеме показались красноармейцы. Строй их по сравнению с офицерским был беспорядочен, они шагали, расталкивая ногами длинные полы тяжелых, словно отсыревших шинелей. Красноармейцы не столько маршировали, сколько валили вперед, под островерхими суконными шлемами белели скуластые лица, издали похожие на сжатые кулаки. Казалось, будто вся эта угрюмая масса вышла в солнечный день из-под какого-то бесконечного холодного дождя; над шеренгами висели, склеиваясь, красные транспаранты, пузырились огромные бумажные гвоздики. Слева перед строем печатал, как мог, военные шаги невысокий человечек, наряженный комиссаром, похожий в широких галифе на бабочку-махаона; из-за короткости шага он словно бы порхал на месте, поднимая ноги в воздух, гонимый в спину напором революционного элемента. Крылов, к своему удивлению, узнал человечка-бабочку, несмотря на большую фуражку и узкую, шнурком, вертикальную бородку: это был его однокурсник, старательный истафаковец с параллельного потока, должно быть забывший, подобно Крылову, университетскую науку, но оставшийся, как и сам Крылов, как многие, с нестерпимой исторической мечтой, которую теперь и пытался прилюдно воплощать.

Однако похоже было, что появление красноармейцев на площади не входило в программу праздника; вероятно, они представляли конкурирующий клуб либо не сделали заявки в оргкомитет. Милиция забеспокоилась, забормотали, плюясь раскаленным эфиром, встревоженные рации. Патрульная машина, возле которой совсем недавно мирно пили пиво мент и белый офицер, включила мигалку и, улюлюкая, попыталась стронуться с места, но неповоротливые граждане только сновали перед бампером туда и сюда, каждому надо было непременно на другую сторону, у кого-то от толчка вылетела из руки банка с шипучим напитком и залила капот машины сладкими пузы-

рями. Нервы Крылова были уже на пределе. Он ненавидел отсутствие Тани всеми силами души — и вдруг увидел, как она поднимается по ступеням метро, роясь в сумке, висевшей на плече, напоминая курицу, решившую покопаться клювом у себя под мышкой. Первым порывом Крылова было броситься навстречу, но людская гуща между ним и Таней ходила ходуном, разминуться было проще простого, и Крылову оставалось только ждать, когда Татьяна сама проберется к условленному месту. Теперь он досадовал на все: на тесноту, на ветер, на заслонившего Татьяну плюшевого монстра цвета чернослива, на какого-то самодеятельного оратора, залезшего на крышу торгового фургончика и втащившего туда же здоровенное красное знамя какого-то наглого цвета на древке, словно выдерганном из ближайшего забора. Из фургончика, задирая голову в пластмассовом кокошнике, что-то кричала перепутанная продавщица; не обращая на нее ни малейшего внимания, оратор топал ногами в армейских ботинках и сорванным голосом выкрикивал стихи.

Напряженно отслеживая Татьяну, то пропадавшую, то вновь возникавшую, Крылов не увидел, как красноармейцы повернули на Вознесенский. Мельком бросив взгляд, он обомлел. Ряженые войска сближались в лоб. Пространство свободной брусчатки между ними, отмеченное посередине воздушным, вибрирующим на ветру стаканчиком из-под мороженого, стремительно сокращалось. По обе стороны парада толпа буквально висела на цепи милиционеров; менты, распятые этим чудовищным весом, не разнимали напряженных рук, словно связанных мертвыми, набухшими кровью узлами; с некоторых давкой посбивало праздничные светлые фуражки. Быстро глянув вверх, Крылов увидел, как отцы рифейской столицы спешно покидают трибуну, прикрываемые прямоугольными спинами охраны.

Между тем красноармейцы поменяли шаг — и вот уже первый вал шинелей, рассредотачиваясь, бухая сапожища-

ми, тяжело перешел на бег. Задние ряды, приотстав на несколько секунд, неудержимо потянулись за первыми, точно под красноармейцами накренили площадь, сливая их вперед, на классового врага. Шеренги белогвардейцев споткнулись, черное знамя плеснуло и словно попыталось краем ухватиться за падающее древко. Передние буденновцы уже скакали, как кони, далеко обгоняя ряженого комиссара, ковылявшего точно на иголках; оркестр захлебнулся; чей-то огнедышащий громкоговоритель, перекрыв оркестр, принялся выкрикивать не то угрозы, не то панические сумбурные команды.

Между тем ряды белогвардейцев выровнялись и перешли на гражданский скорый шаг; некоторые офицеры делали странные движения, будто на ходу поглядывали на часы. Один, светловолосый, с пеликаным мешком второго подбородка, приотстал, копаясь; потом, будто делая что-то сугубо частное, не касающееся посторонних, прицелился.

Сухой и крепкий выстрел прозвучал, словно об колене сломали сук; ряженный комиссар подпрыгнул, как вратарь, берущий мяч у верхней штанги, и скорчился на брусчатке. В первый момент от него отхлынули свои, давая увидеть, как сучат короткие ноги в морщинистых сапожках. Тут же одиночные выстрелы заскакали, будто блохи; еще один красноармеец тяжело, по-бабьи, осел и повернулся к небу плачущим лицом; другой перескакнул через него, раскручивая в воздухе свистящую, воркующую цепь. Многие сдирали на бегу тяжелые шинели, доставая железные прутья, похожие на гири от ходиков самодельные нунчаки. Какой-то милиционерик выпрыгнул наперерез бегущим, завертел головой, паля из табельного в воздух; его немедленно сшибли, раздался чмокающий звук, похожий на звук чудовищного поцелуя, и милиционерик пополз, весь неестественно вывернутый, зажимая красной рукой набухшее под сердцем черное пятно.

Крылов смотрел на бойню совершенно отстраненно, точно в мозгу у него отключился переводчик с внешне-

го на внутренний язык; он совершенно не чувствовал ног, только ботинки, туго зашнурованные, словно накачаные каким-то бесплотным гудением. Татьяна, работая локтями и изворачиваясь, пробиралась наискось через людскую массу, все еще спокойную, даже ленивую; время от времени она выбрасывала вверх растопыренную руку в задравшемся зеленом рукаве, и Крылов ответно вскидывал свою. Солнечная картинка на том берегу сине-полосатого пруда была нереально отчетлива: там, по-видимому, еще ничего не знали, и фольклорные артистки, похожие в кокошниках на бумажные кораблики, плыли хороводом по яркой лужайке, потряхивая треугольными платочками. Мельком взгляд Крылова зацепился за еще одно знакомое лицо. Разумеется, это был соглядатай. Он сидел буквально в десятке метров от Крылова, взгромоздившись на один из гранитных шаров, что украшали крыльцо старинного горного колледжа; карикатурно напоминая Мюнхгаузена на пушечном ядре, соглядатай пришпоривал каменную сферу каблуками, при этом не выпуская из рук тяжелой, норовившей его перевесить пластиковой сумки. Обзор у шпиона был превосходный; на физиономии его, где все черты напоминали предметы на поехавшей скатерти, отражался ужас. Вдруг соглядатай запрокинулся, вперившись взглядом в неестественно чистое праздничное небо: там нарастал какой-то грозный клекот, сопровождаемый гладким, почти беззвучным свистом, от которого губы Крылова занемели, обметанные дрожью.

В ту же минуту из-за мэрии, из-за торчавших на крыше статуй колхозниц и сталеваров, похожих на завернутых в старые газеты Аполлонов и Артемид, вылезли, темнея и сверкая против солнца, тяжелые федеральные вертолеты. Подхваченные в трех местах мерцающими винтами, крутившимися словно бы в разные стороны, грузные машины напоминали кувалды со стрекозиными крылышками и были нелепы в воздухе, будто тяжкое дневное сновиде-

ние. Распространяя низкий ветер, которым захлебнулись праздничные флаги, вертолеты зависли над площадью, где битва белогвардейцев с буденновцами превратилась в сплошное чавкающее, матерящееся месиво. Крылова, выдавшего всякие драки, замутило от этих окровавленных куч, от скользкого шевеления раненых, придавленных убитыми. До конца поверить в реальность бойни было невозможно: в рядах, прижатых к милицейскому оцеплению, было почти не слышно женских криков, и глаза у многих зрителей были такие, точно они смотрели в стенку. Со своего проклятого места, до которого Таня, относимая в стороны начавшейся качкой, все никак не могла добраться, Крылову было видно то, что осталось от комиссара: казалось, будто он внутри своей одежды разбился на части, как фарфоровая фигурка, и на лбу его темнела словно убитая муха. Крылов понимал, что стоит ему спуститься на брусчатку, как он перестанет видеть Таню и все почти наверняка будет кончено. Слово «кончено» отдавалось в нем, как одновременный удар по всем клавишам какого-то чудовищного черного рояля. Он взглядом пытался передать Татьяне силы, и она, в перекрученной кофте, с яркой царапиной от кисти до локтя, делала новый рывок в тяжелых человеческих волнах. С момента ее появления на лестнице метро прошло каких-то полчаса, и за это время на площади успели умереть десятки человек.

Между тем из вертолетов кольцами выкинули снасти, и по ним заскользили вниз плечистые фигуры, упакованные в нечто вроде рыжего хитина. Одновременно из переулков в пеструю толпу вклинились, бликуя шлемами и работая похожими на цинковые корыта глухими щитами, двойные цепочки ОМОНа. И тут Крылов впервые ощутил тектонический сдвиг раскачавшейся толпы: все, стоявшие рядом, повалились, будто в резко затормозившем вагоне метро, потом сдавило, дернуло, ступени под ногами превратились в ямы опасной глубины, куда ряды

стоящих осыпались, как земля. В глазах у Крылова мелькнула зеленая Танина кофта, тут же поблизости сверкнуло и охнуло, словно из мира деревянными клещами выдрали кусок воздушной и каменной плоти. Над Крыловым затряслись слоистые ветви порозовевшего клена, и оттуда вдруг посыпалась какая-то черная ягода, резко хлестнувшая Крылова по плечу.

* * *

Два с половиной часа, проведенные Крыловым на оцепленной площади, показались, как водится, вечностью. Толпу штормило. Зажатый со всех сторон перепуганными, близкими к обмороку людьми, Крылов влачил-ся то вбок, то назад, стараясь не попадать ногами в невидимые донные ловушки, из которых самыми опасными были предательски округлые, верткие бутылки.

Сперва он пытался пробиваться в направлении, где в последний раз мелькнуло зеленое пятно, но скоро понял, что никаких направлений не существует. Кусок небесной синевы, обрезанный контурами словно накренившихся зданий, виделся будто из колодца; пару раз в колодец заглядывал черный каменный гость в рифленой острой бороде, не то протягивая людям спасительно простертую длань, не го грозя упасть на обезумевшие головы, растрепанные вертолетными винтами. Вихрь от стрекочущих федеральных машин то слабел, то вновь налетал, не давая дышать; бешено колотились, вибрируя крашеной мутью, гроздя воздушных шаров. Торговые палатки тонули, будто парусники; оратор на продуктовом фургончике, не удержав равновесия, упал на колени, из-под его просторной куртки мягко шмякнулись и тут же взмыли, застилая площадь, белые листовки.

Некоторое время Крылов стоял на одной ноге, уткнувшись в какие-то тонкие женские волосы, облепившие его

лицо легчайшей паутиной; потом, попытавшись двинуться туда, где было посвободней, он едва не наступил на ребенка — девочку лет четырех, заплаканную, с глазами такими мокрыми, будто из каждого вытекло по озеру воды. Ослабевший ребенок пытался сесть на брусчатку, оглядываясь и подбирая клетчатую юбочку; молясь неизвестно кому, чтобы только не потерять равновесие, Крылов подхватил ребенка под мышки и, крикнув, посадил себе на плечи по примеру других мужчин на площади, державших детей наверху, подальше от месива ног. Тельце ребенка было тяжеленькое, отвисающее вниз; внезапно шее Крылова стало мокро и тепло, запахло куриным бульончиком, и девочка, всхлипывая шепотом, залепила Крылову глаза холодными ладошками. Ухватив ребенка за мягкие ручки в бисерных браслетках, весь изнывая от уязвимой нежности существа, которое даже не успел рассмотреть, Крылов потряхивал пассажирку, изображая коняшку, и одновременно старался расслабиться, послушно подаваясь туда и сюда вместе со всеми сдавленными телами.

Он уже ни о чем не думал, только настраивал зрение на зеленое, выхватывая взглядом то какую-то куртку со ссадинами грязи, то карнавальную гигантскую лягушку, из которой, как из бочки, высовывался человек, бледный, будто белый хлеб, напитанный водой. Тополя перед колледжем заливались и захлебывались побелевшей зеленью, листья клена плавали в собственном соку, на нижней узловатой ветви сидела, как показалось Крылову, русалка — крупная женщина в тесной серебристой юбке, с бедрами как маленькое озеро в разошедшихся белыми дырками черных колготках. Минутами Крылову представлялось, что ничего плохого еще не случилось. Главное было не упасть. Инстинктивно Крылов уклонился от застрявшего в давке пакета, в котором хрипло терлись и испарывали пластик горбатые куски раздавленной посуды. Толпа, спрессованная в брикет, несла в себе множество неорганических примесей; невиннейшие предметы — чьи-то

праздничные покупки, зонтики, даже авторучки — могли изувечить не хуже бомбочки, взорвавшейся на поле классово-битвы и обсыпавшей Крылова какой-то едкой крошащейся дрянью. Крылов удивлялся тому, что еще способен соображать. На большинстве запрокинутых лиц, качавшихся вокруг него и сомлевшего ребенка, лежала, как тесто, сонная одурь; иные, обнаруживая привычку к часу пик в общественном транспорте, деловито поправляли о плечо соседа сползшие очки.

Через какое-то время качка прекратилась. Давка встала, а потом начала потихоньку редеть. Крылов обнаружил себя перед цепью омоновцев, по-видимому, разделивших человеческую массу на небольшие неопасные части. «Уважаемые горожане и гости рифейской столицы! — разнесся, многократно отдаваясь, приятный женский голос, в котором к официальности было густо добавлено меду. — В связи с произведенным терактом просим всех пройти проверку документов. Пожалуйста, предъявляйте паспорта на выходе из милицейского оцепления. Пострадавших ожидают бригады скорой помощи. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Наш мэр Сергей Игнатьевич Крупский выражает глубокое возмущение действиями бандитов, сорвавших рифейцам долгожданный праздник».

Между тем праздничный, искусственно безоблачный день по-прежнему длился, ветер утих, и солнца было столько, что оно лежало слоем золотого жира на глади пруда, калило битые стекла, присыпало измученные лица белой светящейся пудрой. На щите ближайшего омоновца темнели какие-то заваренные кляксы — будто на плите от пролитого супа. Невдалеке долговязый подросток в фиолетовой прическе, словно созданной разрядом тока, мочился, расстегнув тефлоновые штаны, на один из сомкнутых щитов. Но стражи порядка оставались невозмутимы и не обращали никакого внимания на виляющую струйку народного протеста; их рты в округлых дырах трикотажных масок были словно кружки копченой колбасы.

сы. Объявление о проверке документов повторялось, как в метро, через каждые пять минут. Кто-то в толпе решил закурить, поплыли струйки вкусного дыма; вдалеке, за оцеплением, мелькнула и пропала чья-то зеленая панاما.

Вдруг по направлению к Крылову каким-то отчаянным кролем устремился ослабленный тип, его глаза казались смеющимися, хотя на самом деле это дергались в тике сизые мешочки.

— Папа, папа, меня дядя наверх залез! — закричал ребенок и блаженно перевалился в трясущиеся руки, освободив Крылова от влажного бархатного ярма.

Сразу Крылов почувствовал себя словно на Луне. Мужчина, упав на колени, ощупывал и дергал, хватал и перехватывал малышку, пытался оттирать ее физиономию наклоненным пальцем, обернутым в платок.

— Цела, целая, нашлась, Машка, — бормотал мужчина, — маме, маме сейчас позвоним... Ой-ей! — он обнаружил мокрые колготки и вскинул на Крылова беспомощное круглое лицо с короткими бровками, похожими на перья воробья.

— Ничего, — проговорил Крылов каким-то застывшим голосом. — Закурить у вас не будет?

— Конечно, конечно, — мужчина вскочил и протянул помятую пачку «Парламента», в которой болтались слабые, как макаронины, последние сигареты. Щелкнула зажигалка. От глубокой затяжки голова Крылова поплыла, мозг разжался, будто кулак, выпустив какие-то быстрые образы, сразу юркнувшие за щиты легионеров. — Вам такое спасибо, я даже не знаю, как выразить... — продолжал говорить мужчина, жадно чмокая свою сигарету и выпуская дым из дырок крошечного носа. — Все, что нужно от меня: помощь, деньги... У меня есть. Немного, но есть. Я программист, работаю в «Рифейвидеоплюс», пишу разные игрушки для коммуникаторов, мобильных, детских ноутбуков... Дронов! Павел Александрович... — мужчина протянул Крылову все еще трясущую-

ся руку, пожатие которой неожиданно оказалось теплым и великоватым для Крылова, будто овчинная рукавица. — Вот, я вам визитку дам! — Новый знакомец распахнул бумажник и извлек оттуда несколько карточек с фирменными голограммами «Рифейвидео»: одну он дал Крылову, другую для верности опустил, будто письмо в почтовый ящик, в карман крыловского пиджака, прожженного спекшейся химической крупой. — И кстати! У вас ведь одежда испорчена! — За визиткой в карман последовала зеленая сотня, шелковая от долгого ношения в бумажнике, должно быть, глубоко резервная. — Нет, не отказывайтесь! — Глаза мужчины сделались умоляющими. — Ну судите сами, хорош я буду, если за Машкой не подотру!

— Уговорили, не буду, — засмеялся Крылов. — Крылов Вениамин Юрьевич, историк. Преподаю. Между прочим, у вас одежда тоже не в лучшем виде!

Мужчина с комическим отчаянием развел на стороны полы велюровой куртки: изодранная подкладка висела, как мочало, под мышкой трепетала дыра. Только теперь сделалось заметно, что новый знакомец выше Крылова на целую голову; несмотря на носик пуговкой, в облике Дронова Павла Александровича ощущалась серьезная добротность, какая-то н о р м а л ь н о с т ь — и Крылову, вдруг оказавшемуся без Татьяны в почужевшем, беспощадно-солнечном мире, сделалось немного легче от его массивного присутствия. Девочка, уже забывшая о существовании Крылова, висела на ноге у отца, будто котенок на дереве, и ела, зарываясь в него вместе с мокрым резиновым носом, огромное рыхлое яблоко.

— Ну и трянуло же меня, когда Машка вдруг исчезла из-под рук! — счастливым голосом сообщил программист, предлагая Крылову разделить последние две сигареты из раздавленной пачки. — Между прочим, вам повезло. Взорвали самоделку, вроде школьного опыта по химии, но вредную: попади брызги на кожу, проело бы до кости. Говорят, был еще один взрыв, посерьезней,

на Космонавтов, ближе к Дому актера. Пока я Машку искал, вокруг такие народные телефоны работали! Будто бы это рифмашевская группировка переделалась красноармейцами, чтобы разобраться с «синяками», которые крышуют исторические клубы. Вот уж надо бандюкам переодеться, они наоборот себя рекламируют. Заказывают у дизайнеров фирменный стиль, джипы свои расписывают и разъезжают по городу, что твой цирк на колесах. Нет, это не рифмашевские. А кто? Если это были музыкальные фанаты — так староваты для фанатов. И не исламские террористы, они бы, по крайней мере, басмачами нарядились. Вы-то, как историк, что об этом думаете?

— Две тысячи семнадцатый год, в этом все дело, — замедленно произнес Крылов, которому вдруг показалось, что он действительно улавливает что-то, какую-то логику этого вторичного мира, существующего на месте настоящего. — Сейчас по всей стране пойдут такие глюки. Везде ради круглой даты будут напяливать буденовки и белогвардейские погоны, и везде это будет заканчиваться эксцессом. Прямо на важнейших общественных мероприятиях. Форма одежды потребует, понимаете меня?

— Нет, — честно ответил программист, поднимая бровки на выпуклый лоб. — Не знаю, видели вы или нет, но там крови — лужи. А ведь люди шли всего-то на праздничный парад. Должна же быть реальная причина такого безобразия?

— Причина ровно та же, что у Великой Октябрьской социалистической революции, — проговорил Крылов, машинально озираясь в поисках Татьяны. — Верхи не могут, низы не хотят. Только у нас, в нашем времени, нет оформленных сил, которые могли бы выразить собой эту ситуацию. Поэтому будут использоваться формы столетней давности как самые адекватные. Пусть они даже ненастоящие, фальшивые. Но у истории на них рефлекс. Конфликт сам опознает ряженых как участников конфликта. Конфликт все время существует, еще с девянос-

тых. Но пока нет этих тряпок — революционных шинелей, галифе, кожанов, — конфликту не в чем выйти в люди. Он спит. А сейчас в связи со столетним юбилеем тряпок появится сколько угодно. Так что веселые нас ожидают праздники...

— Ну, это скорее мистика, чем наука, — Дронов неуверенно засмеялся, накрывая голову малышки, будто шапкой, своей вместительной ладонью. — Люди ведь не куклы на ниточках. Меня вон как ни одень, я-то стрелять не буду и в драку не полезу.

— Так вы и рядиться не станете, — возразил Крылов. — А тех, кто станет, революционная одежда вдохновляет. У них ведь нет ничего другого, верно? Ни знамени, ни лидера. Как еще прикажете драться?

Программист озадаченно пожал покатыми плечищами. Крылов слезящимися от усталости глазами посмотрел на линию омоновцев, не стронувшуюся с места, но как бы несколько осевшую. Вот войска, которым не суждено войти в историю, потому что история прекратилась. Форма легионеров даже на первый взгляд казалась в ы д у м а н н о й, а при внимательном рассмотрении распадалась на разнородные детали вплоть до модных лет пять тому назад воротников «собачьи уши» и словно споротых с костюмов киношной массовки желтых аксельбантов. В результате омоновцы выглядели как одинаково одетые дезертиры. На месте нашего фальшивого мира должен был существовать настоящий, думал Крылов; мир подлинный во всяком своем проявлении; теперь же приходится интуитивно отличать органические части от искусственных, задавать себе вопрос, подлинны ли страдания раненых и хладность убитых. Впрочем, последние, как утверждает Тамара, как раз пересекли черту, подлиннее которой нет ничего во всей человеческой действительности.

Тут на поясе программиста заиграл полифонического «Чижика-пыжика» вспыхнувший коммуникатор.

— Ой-ей, маме не позвонили! — Дронов спешно отцепил прибор и закричал в него, на всякий случай хватая ребенка за шиворот: — Леля! Да! Все хорошо! Машка со мной, мы целы! Нет, никуда не ходи, тут уже выпускают... Что передавали?.. Да глупости! Нет! Не вздумай! Мы скоро, скоро! Жди нас, обед накрывай! — Программист отключил телефон и обратился к Крылову виноватое красное лицо: — Вот, жена дома волнуется, того гляди сорвется бежать за нами на площадь. Мы уже, наверное, двинемся, там, говорят, с детьми выпускают в первую очередь...

— Конечно, — Крылов улыбнулся так широко, что у него заболели уши, все еще закупоренные ватным воздухом взрыва. Отчаяние, на время приглашенное разговором со случайным знакомцем, подступило и лизнуло сердце. Поглядев туда, куда потихоньку утягивались истерзанные граждане, Крылов убедился, что там, у выхода из загона, действительно предъявляли детей, словно усыпленных лошадиной инъекцией реальности: все они, даже большие, напоминали обреченных младенчиков, которых нищенки таскают по метро завернутыми в тряпки.

— Вы только визитку мою не выбрасывайте, — заторопился Дронов. — В таких случаях, я понимаю, обычно не звонят, а вы возьмите и позвоните! Вашего телефона я не спрашиваю, никто случайным людям не дает, но вы-то для меня теперь не случайный человек. Приходите к нам на пироги, мы с женой очень рады будем. Все в жизни случается зачем-то, а не просто так. Вдруг у нас дружить хорошо выйдет? Ведь не исключено! Тем более такая предыстория. Машка еще мала, она даже не поняла ничего, но я, правда... — Тут глаза программиста косо блеснули слезой, он обеими жаркими лапами сграбастал руку Крылова, подержал и выронил.

— Я позвоню, — пообещал Крылов. — Счастливо вам выбраться отсюда.

Глядя на могучие плечи программиста, из-за которых взятая на руки Машка строила, высываясь, энергичные

рожицы, Крылов запоздало сообразил, что мог бы вместе с ними миновать без очереди милицейский кордон. Он решил, что никогда не будет им звонить. Мысленно он посылал сигналы Татьяне, которая могла оставаться еще совершенно поблизости, — и если бы существовала телепатия, в его напряженном мозгу зазвучал бы дельфиний ответ. Но мозг сканировал какой-то общий фон, потрескивания, бормотание бурно лезущих пузырями пустоты, мелкий лепет чьих-то нечленораздельных мыслей, а над этим — просторное ничто, облегчение от боли, свет, прозрачный и несокрушимый, торжествующий и недоступный. Одновременно Крылов наблюдал, как двое в прорезиненных комбинезонах, хляпая, не замечая потустороннего света, случайно находившего на их плечах какие-то блестящие застёжки, проволоки на страшную брусчатку пустые рукава пожарных шлангов. Дали напор, шланги напряглись, переложили кольца с боку на бок — и пена, поплывшая по площади, была такая, как в кастрюле, где варится мясо. Струя, бурча, выедала кровь из липких камней, ерзала по щелям, но розовое, казалось, было неистребимо. Шустрый телеоператор попытался из-за плеча пожарного пристроиться к картинке, но, получив водой по камере и в морду, внезапно свалился в обморок вместе с ослепленной, аварийно мигающей техникой. Опережая переполненное облако, медленно наползавшее на оставленное без присмотра праздничное небо, ветер хлестнул толпу обрывками дождя. Тут и там, раскрываясь, подпрыгнули зонты.

На выходе Крыловым занимался тот самый милицейский сержант-отличник, которому не дали спокойно выпить пива во время и после дежурства. Лицо у сержанта было серым, вылезшая щетина напоминала железные опилки. Он несколько раз переводил непонимающий взгляд с Крылова на паспортную фотографию и обратно; казалось, он мог открыть опухшие глаза только до половины и потому не в силах был сопоставить часть изобра-

жения и часть человека. Затем Крылова провели через магнитную рамку — под ней была натоптана нежная сиреневая слякоть. Затрещал звонок. Чьи-то усталые толстые руки отволокли Крылова в сторонку, уткнули в измазанную, будто классная доска, коричневую стенку. Магнитная палка грубо его обыскала, постучав между ног, будто трость слепого. Верещала слипшаяся гроздь Татьянинных ключей, и точно тем же звуком вскрикивало сердце Крылова, только милиционер с засученными рукавами и руками прачки, изымавший железо, этого не слышал. Вовсе без металла, будто ангел, Крылов беззвучно вслед за какой-то узкой девичьей спиной с боязливо сведенными лопатками проплыл через рамку на волю, туда, куда, словно водоросли по течению реки, тянулись вечерние тени. Ему безо всякой вежливости вернули изъятое имущество. Перед ним лежало забитое людьми и автомобилями пространство пустоты. У Крылова было такое чувство, будто он освободился из тюрьмы, отсидев десяток лет, и попал в совершенно неизвестный, непривычный мир, где его давно никто не ждет.

На зыбких ногах он направился туда, где энергично, словно голубые рыбки в пол-литровых банках, вились мигалки медицинских «мерседесов» и бесплотно двигались белые халаты. С носилок, загружаемых в автомобили, свешивались руки в суконных форменных рукавах, темные, будто недавно копались в земле; иногда из-за странной изломанности тел казалось, будто под бурым одеялом лежат, обнявшись, двое раненых; тут же, неподалеку, на вихрастой травке, уже присыпанной мертвенно-зелеными, до срока слетевшими листьями, лежали в ряд застегнутые черные мешки. Их было десять, не то двенадцать штук. Крылов поймал за локоть косолапившую мимо грузную врачиху, вытаращившую на него сердитые глаза из-под свялящегося пуха розовой прически.

— Фамилия женщины?! — рывкнула она, перебив Крылова, пытавшегося сквозь мерзлую дрожь, обметав-

шую рот, сообщить Татьянины приметы. — Там списки! — Врачиха, больше не разговаривая, вывернула локоть, большой, как цветочный горшок, и заторопилась, подрагивая белыми глыбами, к навесу травмпункта.

Крылов, не зная, что это может дать, поплелся в противоположную сторону. Там все на той же длинной коричневой стене, к которой его припечатывал усатый мент с грубыми бабьими руками и где сейчас еще стояли в ряд распластанные мужчины с беззащитными затылками, трепались длинные листы бумаги, вкривь и вкось исписанные разными маркерами. Возле каждого тянули шеи сощуренные люди; время от времени к листам проталкивался кто-нибудь из медицинской obsługi и, протыкая бумагу, добавлял одну или две размашистые строчки, на которые бросалось сразу несколько заплаканных женщин. Освобожденные граждане поспешно уходили от площади по мокрым, перетянутым лужами переулкам, их напряженные спины уменьшались быстрее, чем позволяла маленькая перспектива. Каждый оставлял после себя для Крылова немного пустоты, и Крылов медленно вращался в этой пустоте, словно в невесомости, не чуя под ногами горбатого асфальта, на котором уже золотились тут и там пивные пятна фонарей.

Вдруг он увидел у соседнего с тем, из которого вышел, пропускного пункта знакомую округлую фигуру: соглядатай, морщась, рассовывал по карманам своих, как всегда, безобразных, тыквой собранных на поясе штанов изъятые при обыске вещички. Вид у него был такой, будто Крылов его зачем-то только что выдумал, не поставив предварительно в известность. Собственно, вариант был только один: наконец-то взять подлеца за ворот, из-за которого, как всегда, торчал какой-то замусоленный клочок.

Терять Крылову было совершенно нечего. Сокращая путь, он полез на скользкий, словно намыленный газон; одновременно память его напряглась и вздрогнула. Каким-то образом вот это сочетание: милицейские и меди-

цинские мигалки, черные мешки с телами, принявшие грибной лиловый оттенок на блеклом лиственном ковре, белые фигуры сидящих на корточках медиков — пробудило воспоминание о самом первом разе, когда соглядатай впервые появился в жизни Крылова. Воспоминание, зевая, готовилось выбраться из нагретой постели. Затаив дыхание, Крылов остановился — и память тут же заволокло. Зашагал — и снова что-то заработало в подкорке, засветился смутный образ, по сравнению с которым соглядатай, тянувший из груди досмотренных сумок свой скользкий мешок из тягуче рвущегося, кружевами расплывшегося пластика, был неприятно материален, излишне тяжел.

В первый момент при виде Крылова капризное лицо соглядатай выразило полное отсутствие личного интереса, всегда превращавшего его непрошенный надзор в оскорбление подопечным. В следующую секунду глаза шпиона округлились, он подскочил и как бы щелкнул каблучками. Бросив застрявшее имущество — чего ни разу не делал прежде, — соглядатай скорым шагом и семенящими перебежками устремился наискось через переулок, туда, где лабиринты сырых строений и пристроек спускались к реке. Крылов похромал за ним вприпрыжку, тоже не решаясь на виду у милиции броситься бегом. Шпион, еще манерничая, сбежал по маленькой, как саночки, железной лестнице в кривую подворотню и попытался проделать свой обычный фокус: заскользнуть за воздушную складку. Однако в механизме что-то заело, и соглядатай, тесанувшись плечом о раскрошенный столбик, припустил с неожиданной прытью, мелькая плоскими, как ласты, черными ботинками. Крылов, издав угрожающий хрип, устремился за ним.

Теперь уже шпион мотал подопечного по проходным дворам, причем делал это куда изобретательнее и извилистее, чем Крылов неделю назад. Он улепетывал с энтузиазмом мультяшной фигурки, плюхая ногами в лужи, ко-

торые после него ходили так, будто шпион с разбегу в них утопился. Но, видно, он прекрасно знал эти дикие лабиринты. Он водил Крылова кругами. Пару раз они пронеслись друг за другом мимо беленой стенки из старых кирпичиков, похожих на пачки творога, залитые сметаной, — сначала в одну сторону, потом в другую. То и дело возникала — то справа, то слева, то в проеме осевших воротец — одна и та же, словно растущая корнями вверх, узловатая яблоня. Рыхлые, как ангинозные горла, глубокие арки выводили их в неправильные тесные пространства с ветхими желтыми окнами, какими-то наваленными досками, опасными ямами, в глубине которых сочились, подпитывая жижу, разрытые трубы. Повсюду шныряли тощие кошки, похожие на гусениц, а редко попадавшиеся люди, страшноватые, как выброшенные на помойку мягкие игрушки, провожали погоню шаманскими жестами. У Крылова кололо в боку, ноги гудели и норовили понести под уклон, туда, где листом железа изгибалась за домами закатная река. Но он наддавал, напрягая в беге обленившееся тело: усилие бега как-то заводило мотор то и дело глохнувшей памяти, и ему казалось, что он вот-вот настигнет воспоминание, мелькающее впереди лукавым стремительным пятном.

Соглядатай, петляя, словно двоился в глазах на себя настоящего и себя в прошедшем времени; вдруг он, проделав какой-то хитрый маневр среди черных, с заросшими дверьми дощатых сараев, который Крылов, разогнавшись, не смог повторить, выскочил прямо на преследователя. Лицо шпиона было мокро, словно размыто дорожками пота на мутные части, он дышал, как будто пытался вскрикнуть. Впереди был глухой, без единого лаза, кирпичный тупик. Крылов, kloкоча, не в силах отдышаться, медленно пошел на шпиона, делая ему приглашающие пассы неверными руками. Соглядатай попятился. Минуту они обменивались кривыми глупыми улыбками, толстяк словно пытался подмигнуть Крылову левым заплыв-

шим глазом, посверкивающим на манер жемчужинки в складках моллюска. Вдруг по этому подмигиванию, по конвульсивным стригущим движениям растопыренных пальцев Крылов догадался, что шпион боится, боится до полусмерти — и боялся всегда, прикрывая наглыми выходками вот эту внутреннюю дрожь, животный ужас перед свиданиями подопечной пары, перед их любовью, бившейся, как бабочка, в фанерных гостиничных комнатах, перед чем-то еще, что могло явить себя на месте встречи: быть может, перед Богом. Внезапно у Крылова так заболело сердце, будто соглядатай поднял пистолет и выстрелил.

— Я ж тебе, сука, башку оторву, — прохрипел Крылов, держась на расставленных ногах и закрывая собой неширокий путь в родной шпиону лабиринт человеческих курятников. — Я тебе задам интересный вопрос, а ты мне споешь интересный ответ...

— А поцелуй меня в жопу, мудачок, — прошептал шпион одними белыми колючими губами, глядя именно туда, где у Крылова под ребрами все разрывалось от боли.

Тут же он, точно давая противнику возможность осуществить предложенное, повернулся и полез на кирпичную стену. То, что выглядело сквозь соленую муть тенями мощных рыжих сорняков, оказалось вдруг какими-то решетчатыми ящиками, словно нарочно приготовленными для экстренного бегства. С карикатурной резвостью отчаяния шпион забрался по этой недостоверной, прозрачной конструкции, разрушавшейся под ним, пока он лез и тянулся к верху стены, на котором росла пучками волосатая трава. Опора уходила из-под ерзающего негодея, но все-таки ему удалось ухватиться за верх крошащейся кладки. Минуту он пицал и задыхался, выплясывая ногами, как марионетка на ниточках, потом зацепился носком башмака за какой-то кирпичный волдырь, вскарабкался, хватаясь за протянутые с той стороны темные ветки с обвисшими листьями. Перевалил, сверкнув

оплывшей складкой между штанами и задравшейся курткой; слышались сотрясение дерева, жалобная ругань, хруст.

Только тогда Крылов опомнился. Взяв в обе руки по сломанному ящику, он встал перед стеной, не понимая, как приставить друг к другу эти хлипкие, тряские штуки с торчащими в разные стороны лентами жести. Неподалеку справа раздались надсадные звуки, словно кто пытался высморкаться; это уцелевший негодяй заводил свою верную «японку». Наконец мотор схватился, заработал, два неодинаковых луча от фар — один посильнее, другой словно засыпанный пылью — махнули по вялым листовым массам, по какой-то страшной, как чума, изъязвленной штукатурке. Подлец благополучно отбыл. Снова сделалось темно и тихо, стало слышно речную воду, точно она причмокивала буквально под ногами. Крылов зачем-то разбил друг о друга гнилые ящики, повисшие у него в руках, будто птичьи скелеты с вывихнутыми крыльями. Он стоял на месте и одновременно тонул, чувствуя, как вода отчаяния тугим холодным кольцом поднимается все выше, трогая пах, желудок, сердце, как надевается чулком холодная темнота. Но и в этой неживой темноте нельзя было умереть совсем: тело оставалось живым, хотело курить, и голод, пробудившийся от свежести вечернего воздуха, от наплывающих запахов чего-то жареного, подгоревшего на сковородке, скручивал желудок в пустую ракушку. Если бы можно было, никуда не двигаясь, на что-то присесть, Крылов, вероятно, остался бы тут замерзать. Но кочковатая травка была сырой и мерзкой, и недружелюбное существо кошачьего рода, словно надевшее на ночь солнцезащитные зеркальные очки, следило за чужаком из густых, точно мокрой ватой обвешанных будыльев, как бы взяв на себя обязанность шпиона, укатившего ужинать. Унимая эхо сердечной боли, Крылов потихоньку потащил себя все в гору да в гору к далекому метро.

Спал Крылов беспокойно и всякий раз, выныривая из водянистой мути сновидений, вспоминал о катастрофе. Говоря себе, что экспедиция вернется, быть может, послезавтра, он чувствовал, что, если он и Таня найдут друг друга через Анфилогова, все пойдет не так, как они устроили с самого начала, как они научились друг у друга. Все будет на виду, вполне легально, подконтрольно, поставлено в ряд явлений неподлинного мира — и тем самым уничтожено.

Однако оставалась надежда — одинокая скала среди черной кипящей воды, на которой Крылов держался, не позволяя себе соскользнуть, сдаться огромному пространству бедствия, бывшему неизмеримо больше точки опоры и потому как будто истиннее. Надежда, собственно, заключалась в следующем: Крылов не верил, будто Тамара и правда воздержалась от слезки за ним, тем более в такой нестандартной ситуации; это было бы абсолютно на нее не похоже. Следовательно, при ее систематичности она уже имеет подмынное Ф. И. О., адрес, иные координаты женщины, с которой у Крылова понятно какие отношения; очень может быть, что нанятые ею невидимки раскопали и такую подноготную, которой муж с десятилетним стажем не знает о собственной жене. Но Крылову вовсе не требовались информационные деликатесы, с душком или без, ему был нужен всего лишь адрес квартиры, от которой у него имелись ключи на колечке. Все остальное Тамара могла оставить себе для медитаций.

Холодные сонные хляби отпустили Крылова к четырем пополудни. Еще через два часа он трясся в полупустой, пробитой солнцем электричке, прячась, как за шторкой, за складками своего повешенного на крюк шелковистого плаща. Сегодня он постарался выглядеть наилучшим образом: добыл из глухого прессы давно не ношенных костюмов светло-рыжий, кстати высунувший ру-

кав пиджак от Kenzo, нашел относящиеся к нему кофейные брюки, погладил вялую шелковую рубашку, пахнущую под паром из утюга спекшимися персиками. Крылов понимал, что на приеме у Тамары предстанет точно вырядившийся из секунда; но не для приема он старался, а для той минуты, когда позвонит в неизвестную дверь и услышит за ней знакомые неровные шажки. Он верил, что это произойдет уже сегодня; представляя «ах!» и потрясенную, счастливую улыбку, он улыбался заочному пейзажу, который, пуская вдоль вагона смазанную полосу деревьев, заборов, построек, то и дело замирал вдалеке, сосредоточившись на какой-нибудь гипнотической точке вроде крошечной, с капелькой золота, деревенской церкви или группы тонких ветряков на палочках, тихо вращающих стрелками, точно там одновременно переводят воздушные часы.

Каждый год на второй день патриотического городского праздника Тамара принимала у себя в особняке разношерстную элиту, несколько помятую, отгулявшую накануне кто на славном жаркими паркетам и мощной водкой губернаторском балу, кто на приеме у мэра в хитро иллюминированном, словно заминированном Татищевском парке, а кто и во дворце президентского наместника, где праздновали стоя среди военного построения белых колонн и государственной символики на стенах, способных выдержать прямое попадание серьезного снаряда. Расслабившись, перемешавшись, элита отдыхала у Тамары уже без галстуков, пила и ела, обнималась и чмокалась, дразнила крокодила, валялась на привольных бархатных диванах, дудела друг другу в уши про свои дела — и оставляла по себе наряду с живописным свинством некую золотую тонкую пыльцу, придававшую Тамариному вокзалу статус резиденции, быть может, четвертой в рифейской столице.

Обычно часам к семи особняк уже сиял. Однако сегодня на сумрачно-светлом фасаде не было лишних огней,

высокие окна первого этажа горели одинаково и как-то пусто. Освещенный вполсилы песок подъездной аллеи был бледен и ровен, будто нетронутый снег. Вряд ли эти перемены объяснялись только траурными лентами, темневшими на приспущенных флагах: государственном и флаге города с геральдическим крысовидным медведем и стилизованной домной. У Крылова, когда он проходил под шевельнувшимися полотнищами, в душе проснулась добавочная тревога. Он вспомнил про «Купол» и подумал, что Тамаре дорого встанет эта египетская затея и коллектив будущих минеральных агрегатов едва ли захочет поддерживать ее своим присутствием.

Вопреки его худшим опасениям в зале для приемов все-таки маячило некоторое количество гостей. Правда, при внимательном взгляде обнаруживалось, что персонажи собрались в основном второстепенные: средней руки чиновники в курино-пестреньком твиде, обвешанные ливнями бус пожилые дамы-референты, какие-то юные помощники по связям с общественностью, напыщенные и растерянные, похожие на манекены в витринах готового платья, — всего человек двадцать, не больше. Всем было неуютно без своего начальства, гости плавали по залу с отсутствующим видом, держа перед собой почти нетронутые рюмки, иногда осторожно нюхая свои аперитивы, словно мелкие букетики. Все это напоминало сцену возле памятника или фонтана, где десятки принарядившихся горожан назначили свидание и маются каждый сам по себе, потому что к ним никто не пришел. Три или четыре девушки-модели, на голову выше любого из гостей, с открытыми длинными спинами и модными колючими прическами, прогуливались без дела среди непрезентабельной публики, мелко выставляя одну перед другой бархатные туфли. Гвардейского роста официанты в ломких белых рубашках и красных парчовых жилетах несли караул у почти нетронутых фуршетных столов, где янтарной мозаикой сияли сыры, свисал из многоярусной фрук-

товой вазы курчавый виноград и налитые водочные стопки на круглых подносах горели жарко, будто свечки в церкви.

Крылов обнаружил Тамару в соседней курительной. Она вскочила ему навстречу, уронив незажженную, давно завядшую в пальцах сигарету.

— Ты был там, на этой площади! — воскликнула она, близко и прямо глядя Крылову в глаза. — Слава богу, что остался цел! Ты хоть понимаешь, чем могла закончиться твоя прогулка?

Крылову показалось, что Тамара вот-вот расплчется. Но она только шмыгнула носом, ватным от обилия пудры. Облитая от мочек ушей и до щиколоток черно-чешуйчатым вечерним платьем, с голыми белыми руками, с каким-то искусственным, пышно-усатым цветком на плече, она сегодня выглядела утомленной, против воли нарядившейся на ночь глядя, тогда как ей было бы лучше посидеть в халате с чашкой молока. Она взяла Крылова за руку и повела к диванам, где под сенью гофрированных тропических листьев и мандариновых фонариков расположилось общество получше того, что маялось в приемном зале на голом зеркальном паркете; правда, и это общество было ощутимо разреженным, отчего разреженным казался самый воздух курительной, где сквозь голубизну сигаретного газа как бы просвечивал космос.

На удивление, первым, кого увидел Крылов, был золотоволосый Митя Дымов. Дивное дитя вблизи казалось не таким уж дивным: молодильные нанотехнологии не справлялись с бурным возмужанием кумира, и прозрачная кожа на лукавой мордочке начала засахариваться. Одетый как принц, в приталенном сизом костюмчике и в шелковом жабо новорожденной белизны, Митя, развалясь, сажал себе на колено любимого Тамариного плюшевого мишку, жившего всегда наверху, но почему-то оказавшегося здесь, среди пьяных гостей. Крылову вспомнилось, что этого самого медведя с курносой мордой

и потертым пузом Митя голубил еще во время своего недолгого жительствова в Тамариной спальне.

— Этот откуда здесь? — спросил он шепотом у Тамары, указывая глазами на безобразное явление.

— Всего лишь приехал извиниться за срыв эфира, — ответила Тамара негромко, куда-то вниз. — Опять приглашает в студию. Вон букет приволок такой, что еле нашли, во что установить.

И точно: в одной из ужасных лоханей заирского маляхита, всегда оскорблявших профессиональный вкус Крылова, красовался фирменный Митин подарок: букет размером с Австралию, каждая роза как кочан капусты.

— Надеюсь, ты ответила отказом, — проговорил Крылов сквозь зубы, стараясь не думать о спальнях, зеленой и голубой, где медведь-сирота коротал свои дни без места, валяясь кверху параллельными лапами на голубом либо зеленом дизайнерском ковре.

— Разумеется, нет. Я пойду, так и знай. Еще не хватало теперь бояться журналистов! — воскликнула Тамара громче, чем нужно, за что подслушивавший Дымов поблагодарил ее невинной улыбкой и взмахом кружевных, тщательно покрашенных ресниц.

Разозлившийся Крылов собрался было сообщить во всеуслышанье, что Дымов не журналист, а мелкая сволочь на содержании старого идиота, но тут его внимание отвлекло явление еще более радикальное. В курительную, деликатно отбросив завесу из нанизанного на нити перламутра, вошла живая, средних размеров аккуратная свинья. Сидевшие на диванах заготовили и потянулись к алкоголю. Свинка была седая, с умными глазками, похожими на полузакрытые, с пухом, мелкие цветочки. Ступая на чистых копытцах, будто полная дама на высоких каблуках, свинья приблизилась к стоявшему среди бутылок блюду с таралетками и принялась с удовольствием закусывать, пошевеливая мыльным пятакон в поисках лакомых кусков.

— Это мне тоже подарок к празднику от госпожи Аделаиды Семянниковой, — сообщила Тамара с ненатуральным смехом, предупреждая вопрос ошеломленного Крылова. — Она буквально подложила мне свинью по доброте душевной. Сегодня утром привезли специальной зооперевозкой с открыткой и пожеланием счастья.

— Это потому, что ты захотела похоронить ее супруга? — поинтересовался Крылов, не отводя глаз от блаженствующей скотины, которая, оставив на блюде жирные раскопки, стала с фырканьем чесаться о задрезавший антикварный столик, на котором подпрыгнули пепельницы.

— Супруг пока что жив и здоров! — объявила Тамара оптимистично и добавила вполголоса: — Вообрази, наш классик вдруг решил приударить за мной, как это ни смешно. Такой оказался предприимчивый господин, что о его высокой страсти уже известно половине города. Говорит, что опять, как в юности, стал писать стихи, избавь нас боже от этого продукта. И ведь напечатает, книжкой издаст!

— Да уж обязательно, — пробормотал Крылов, потирая холодный лоб, на котором, будто влага на стекле, стала конденсироваться боль. — У тебя, по-моему, открылся дар нарываться на неприятности. Аделаида размажет тебя по стенке, поверх напишет лозунг и откроет митинг. Мало тебе проблем с твоим погребальным кооперативом? Захотела потягаться со сворой теток во френчах?

— Меня не интересуют политические тетки, — надменно парировала Тамара, блеснув провалившимися от усталости глазами. — А что прикажешь делать, гнать старика от порога? Он позавчера три часа просидел у меня в приемной, а потом ему вызывали кардиологов из американского центра.

— Ну, не знаю, раньше ты как-то умела избавляться от лишних поклонников, — желчно проговорил Крылов, отворачиваясь от маленькой маслянистой азиатской офи-

циантки, рискнувшей сунуться к нему с раскрытой сигарной шкатулкой. — Значит, теперь это тебе зачем-то нужно, все эти мити дымовы, семянниковы и прочие уроды, которые вокруг тебя вьются.

Тут же он пожалел о сказанном. Тамара, вяло пожав плечами, опустила в первое попавшееся кресло и, казалось, потеряла всякий интерес к окружающей действительности. Все эти валяжные типы с грушевидными мордами, развалившиеся тут и там в ожидании ужина, не должны были видеть Тамариной слабости, тем более ее нечаянной слезы. Усевшись рядом прямо на чей-то брошенный, скользкий внутри кашемировый пиджак, Крылов налил в пустой бокал, чья ножка была ядовито окрашена остатками чужого алкоголя, немного коньяку. Ему следовало выпить, прежде чем приступить к основному делу. Откладывать дальше было невозможно. Но вдруг Тамара подняла холодное лицо и, саркастически прищурившись куда-то поверх Крылова, объявила:

— А вот и мой сегодняшний кавалер!

Старик Семянников в каштановом, сбитом набок паричке, с носом красным, будто насосавшийся крови гигантский комар, двигался к Тамаре, держа перед собою блюдечко с помятым эклером, на котором красовался отпечаток его указательного пальца. Видимо, классик имел постоянную привычку щупать пищу. Каждый шаг писателя по паркету был как ход конем по шахматной доске. Казалось, его забавляло передвижение без трости: он то и дело припрыгивал, радуясь своей свободе в воздухе и предвкушая развеселое падение на пол. Еще издали, обнаружив Тамару, он затрубил на всю содрогнувшуюся курительную:

— Милая! Г-хм! Дорогая! Извини, что задержался! Смотри, что я тебе несусь! А-кха-кха!

Тамара поднялась, отступая, Крылов вскочил и поддержал ее под руку. Старик Семянников уже почти достиг нужной ему точки помещения, как вдруг подложенная

его супругой резвая свинка заинтересовалась содержимым блюда. Не ожидавший наскока писатель заплясал, валясь на маленькую пальму, быстро обшарившую его своими жесткими листьями, свинка по-собачьи хапнула в воздухе напудренное лакомство, и все повалилось, звеня, шелестя, бухая об пол. Тотчас, словно порожденные углами комнаты, происшествие окружили прямоугольные темные пиджаки охраны. Сидя задом в вываленной из пальмовой кадки сдобной почве, рядом со своим паричком, похожим изнутри на порванный мяч, кавалер Семянников хихикал сквозь пьяные слезы.

— Дорогая! — кричал он Тамаре снизу вверх, точно на десятый этаж. — Аделаида меня выперла! Целиком и полностью! Теперь я целиком и полностью твой! С сегодняшнего дня я остаюсь здесь жить!

— Разумеется, Аристарх Семенович, мы о вас позаботимся, — холодно ответила Тамара, машинально сжимая руку Крылова. — Для вас приготовят гостевую спальню. Вам лучше пойти отдохнуть.

— Н-н-ни-и-из-за что! — визгливо запротестовал писатель, которого охрана поднимала кое-как под растопыренные локти, а он словно расплзался в разные стороны на отдельные дряхлые части.

— Пойдем отсюда, — шепнул Крылов Тамаре, загоразживая ее собой от полуразвалившегося кавалера. — Нам надо поговорить. Прямо сейчас.

— Хорошо, — тихо ответила Тамара, не поднимая головы. — Займитесь им, — обратилась она к взъерошенным охранникам и запыхавшейся горничной, домашней, а не нанятой на вечеринку, прибежавшей на шум в кое-как натянутом форменном платье и без обязательного фартука.

— Может, доктора вызвать? — Горничная гневно тарщила на посиневшего гостя эмалированные ржавые глазищи. Эта простая афрорусская женщина по имени Зина и по фамилии Красильникова служила у Тамары уже

четвертый год и все принимала близко к сердцу, бывшему, вероятно, размером с ведро. Весившая добрый центнер, с мощным львиным носом и курчавой гривой, Зина очень походила на горничную из старых голливудских фильмов, за что и была принята на службу. Но вела она себя как нормальная русская баба, то есть всегда высказывала мнение, никого не боялась, кроме крокодила, и жалела хозяйку за женскую глупость, а Крылова любила за то, что он пострадал и при этом не пьет. Было понятно, что если назюзившийся классик попадет безраздельно в ее чугунные черные руки, то ему несдобровать.

— Позвоните Михаилу Семеновичу, — спокойно распорядилась Тамара, на что рассерженная Зина выпустила пар из широких лоснящихся ноздрей.

Легко покачивая свой немалый вес, словно вращаясь на ходу под просторным платьем, горничная пошла звонить домашнему доктору Тамары, квалифицированному молодому человеку с тремя продвинутыми образованиями, умеющему не только поставить диагноз, но и уладить конфликт. Тамара с озабоченным и любезным видом хозяйки, спешащей решить небольшую проблему, скользнула между гостями за плотную дверь в большой слабо освещенный холл, где призрачная лестничная спираль развивалась прямо в воздухе и походила на спящий в музее скелет динозавра. На ступенях зажигались под тяжестью шагов маленькие лампочки, освещая остроносые, на граничных серебряных шпильках Тамарины туфли и ботинки Крылова, впитавшие пыль.

* * *

Во втором этаже двери обеих спален были приоткрыты. В комнатах стоял почти одинаковый сумрак — справа позеленее и погуще, слева чуть полегче, с просинью. Ночь не признавала разницы между зеленым и синим,

выделяя лишь немногие светлые вещи, словно сделанные из папиросной бумаги; обе кровати были туго затянуты шелком, и ни единая складка не говорила о недавнем присутствии Дымова здесь, наверху. У Крылова вырвался облегченный вздох; сразу же он почувствовал себя таким виноватым, что заискивающе тронул локоть вздрогнувшей Тамары — мягкий, похожий на привядший абрикос. Запнувшись, Тамара обернулась, и Крылова пронзило осознание ее бездомности — потому что сколькими спальнями ни владей, а своя должна быть у человека одна, как сам человек у себя один.

Замешательство продолжалось буквально секунду, а затем Тамара, усмехнувшись неприятно, словно выпустив из уголка накрашенного рта тонкую иглу, заспешила дальше по коридору мимо широкобедрых напольных ваз и глухих в полумраке масляных картин, из которых самые маленькие и старые напоминали в своих глубоких рамках золоченые ларцы. Крылов догадался, что задерживаться перед спальнями не следовало ни в коем случае; голые руки шедшей впереди Тамары были прекрасны, будто чудом найденные руки Венеры Милосской. Но при мысли об их тяжелых объятиях, за которыми должно было последовать падение в жидкий шелковый омут, Крылова забрала холодная тоска.

Тамара между тем направлялась в сторону двух домашних офисов, устроенных совершенно одинаково и менявшихся строго одновременно. Сейчас изменение было видно от порога: вместо прежнего РС, очень элегантно, но все-таки похожего на дорогое кухонное оборудование, на хозяйском столе красовалось нечто принципиально новое. С первого взгляда казалось, будто широкий прозрачный монитор вплавлен в гигантский потек золотого янтаря, в глубине которого угадывались крупные, питанные медом насекомые, соринки, радужные пузырьки. Было непонятно, как включается этот инопланетный аппарат, как будто не имеющий портов. Но переливчатая

Тамара, с шорохом обильной чешуи упав в тугое кресло, погрузила указательный в первый попавшийся наплыв вещества, и сливовый отпечаток пальца медленно налился красным, будто крошечная электроплитка. Сразу перед хозяйкой проступила сенсорная клавиатура, а на мониторе засияла заставка: комплекс «Купол» с птичьего полета, патрулируемый чередой плавных, с лоснящимися шеями двуглавых орлов.

— Новое только в дизайне, по железу и программам ничего особенного, — небрежно заметила Тамара, цокая маникюром по кнопкам и быстро листая меню. — Ну, помнишь, я тебе говорила, господам ученым теперь не дают разгуляться. Но все-таки этой машины хватит, чтобы при желании угнать американский военный спутник.

— Вот это да! — Крылов осторожно потрогал «янтарь», оказавшийся мягким и немного липким, будто мармелад.

Тотчас Тамара дала клавиатуре быстрого щелчка, пальцу сделалось холодно, и машина мертвым серебряным голосом сообщила: «Отпечаток принят».

— Ничего себе, — Крылов, посасывая палец, в который словно впрыснули ледяного шампанского, ошарашенно наблюдал, как на мониторе быстро собирается из каких-то туманных кубиков его, Крылова, голограмма, с перекошенным воротом рыжего пиджака и кривой улыбкой где-то на щеке. — Никогда бы я с этой техникой не разобрался!

— А стоило бы, — натянутым голосом заметила Тамара, перемешивая в выдвинутом ящике какое-то хрусткое содержимое. — Это, собственно, твоя машина и твой кабинет, если бы ты когда-нибудь захотел вернуться. Да где же эта кассета, никак не найду...

Крылов молчал, ощущая, как едкий жар поднимается по лицу и наворачивается влагой на глаза. В ужасе от того, что все это можно принять за скупые мужские слезы по прекрасному прошлому, он поспешил схватить со сто-

ла первую попавшуюся безделушку — все того же двуглавого орла, серебряного, с драконьими головами и с ювелирным ключиком между полированных крыльев, похожим на секретный пропеллер, при повороте которого со звоном открылся пустой зеркальный тайничок.

— Ну хорошо, оставим лишние темы, — Тамара задвинула плавно чпокнувший ящик и, положив холодные руки на льдисто-черную столешницу, посмотрела Крылову в лицо. — Рассказывай, во что ты влип на этот раз.

— Все в то же самое, о чем мы говорили в «Сошке», — хмуро ответил Крылов, пытаюсь вправить скользкому орлу отскочившую грудь. — Только, знаешь, теперь все гораздо хуже. Извини, но я не верю, что ты, ну, скажем так, не полюбопытствовала. Я, конечно, не видел твоих профессионалов, но уверен, что они витали где-то поблизости. В общем, мне очень нужна информация, которую ты собрала.

Выпалив все это единым духом, Крылов почувствовал, что провалился на экзамене. Тонкая рубашка липла к нему под глухим пиджаком, и выпитый внизу коньяк банным жаром поднимался к голове. Точно так же Крылов волновался, когда после потасовки с двоечником Зотовым впервые предложил Тамаре посидеть после уроков в популярном баре «Динозавр». Денег на коктейли у него, однако, не нашлось, и они отправились бродить по мартовскому, разлинованному синими тенями Алтуфьевскому парку, где солнце вышибало радужные слезы, вытаивали из слоеных сугробов яркие скамейки и под толстой розовой стеной, отделявшей парк от мокрого проспекта Космонавтов, жарила капель, и жарила так, будто там, под сводами мощных сосуллек, пылал, треща дровами, огненный камин. Непрошеное воспоминание мелькнуло и исчезло, оставив по себе туманную дыру, куда готовы были провалиться решимость Крылова, самостоятельность Крылова. Почему-то присутствие Тани, ее необъяснимое воздействие оживляло и заглохшее было, уже совсем поч-

ти забытое обаяние бывшей жены. Что с этим делать, Крылов не понимал.

Вероятно, взгляд его, устремленный на спокойную Тамару, был затравленный. Выдержав еще немного, она ответила Крылову доброй торжествующей улыбкой.

— Ладно, не буду лукавить. Я ведь знала, что ты за этим прибежишь, — произнесла она, небрежно набирая на клавиатуре резкие команды. — Только мне не нравится слово «любопытствовать». Я не кумушка, от праздности собирающая сплетни. Но, как я уже говорила, твоя любимая хита есть, со многих точек зрения, клуб самоубийц. Предоставить тебя самому себе было бы с моей стороны по меньшей мере легкомысленно. И я действительно попросила присмотреть за тобой людей из одного цивилизованного агентства. Они, по-моему, никак тебя не побеспокоили.

— Были как воздух, — угрюмо подтвердил Крылов, подумав про себя, что воздух, пожалуй, был тяжеловат.

— Начнем с того, что агентство, где работают мои друзья, имело в деле встречный интерес, — продолжила Тамара, покачивая туфлей. — Мне сообщили, что в вашем клубе примерно год как выются слухи о какой-то грандиозной находке. То есть такая брага постоянно бродит в ваших лохматых головах, но на этот раз образовалось что-то более конкретное. В сухой остаток выпали твой приятель Анфилогов и еще один поляк, по которому рыдает Интерпол. Эти два вредителя, с точки зрения моих знакомых, готовятся попортить рынок ювелирных корундов. Этого им, разумеется, никто не позволит. Тут, собственно, даже не российские, а другие интересы. Агентству не удалось отследить, где именно господин профессор нарыл подземные богатства. Но на выходе его поджидают и продать добычу ни в коем случае не разрешат.

— Вот как, — пробормотал Крылов, пряча глаза. Ему казалось, будто самая кровь его внезапно выцвела. Надежда, которой он дышал и жил все это время, уходила от

него так внезапно и просто, что все картины будущего процветания, которые он с упоением тайно себе рисовал, сделались чужими, точно рекламные ролики про красивую жизнь, выученные наизусть всем населением страны.

— Чего приуныл? — Тамара глядела на Крылова с суровой и нежной насмешкой. — Понятно, ты рассчитывал крупно заработать. Я так и знала, что без тебя не обошлось. Но пойми: в этом мире уже есть все, что он реально вмещает, и есть у того, кому оно принадлежит. Новые ценности, будь то уникальные камни или, например, сколь угодно гениальные картины, просто не принимаются к рассмотрению. Имеет смысл производить только то, что потребляется и спускается в унитаз. Продукты питания, телевизионные сериалы, дешевое жилье, которое через тридцать лет пойдет под снос. Разбогатеть сейчас, конечно, можно, но очень постепенно и с разрешения тех, кто контролирует процессы.

— А как же ты? Кто, интересно, тебе разрешил?

Прежде Крылов никогда не задавал жене этого малодушного вопроса и сейчас пожалел, что слова сорвались с языка. Было похоже на запоздалую ревность к полным молодым мужчинам комсомольского, кажется, происхождения с часами рубчатого золота на белых запястьях и в долгополых, забрызганных сзади каменной рифейской грязью кашемировых пальто, в обществе которых Тамара сделала первые деньги чуть ли не на студенческой скамье. Крылов стоически верил Тамаре, когда она возвращалась за полночь, щупая стенки, из неизвестных ему ресторанов, когда улетала и не звонила, обрекая Крылова на бессонницу, от которой тупели пальцы, сжимавшие ограничную головку. Претензий к Тамаре было сколько угодно, но в глубине души Крылов понимал, что правда — в слепой спокойной вере, а не в чем-то другом. Вместе они радовались первым серьезным покупкам, особенно первой машине — белой, изящной, как фарфор из благородного сервиза, спортивной БМВ семьдесят мохнатого

года выпуска, которую Тамара водила еще неумело, и БМВ продвигался рывками, будто игрушечная машинка на веревке, среди рассерженно гудящих «Жигулей». Тамара никогда не скрывала от мужа подробностей бизнеса, но слушать ее повествования про войну черной и белой бухгалтерий было почему-то неприятно, и Крылов особо не вникал в недостоверные процессы создания денег из воздуха. Единственное, на что он был готов в любую минуту, — положить себя за Тамару в случае бандитского наезда, перед этим успокоив как можно больше единиц братвы из тугого, как ручная кофемолка, старого нагана, что хранился у Крылова в прихожей на верхнем косяке. Но все как-то обходилось, участие мужа в делах жены не требовалось, и Крылов мог только любить свою сильную женщину, а больше не мог ничего. И теперь тем более не имел оснований спрашивать с нее за прошлое.

Впрочем, Тамара и не собиралась перед ним отчитываться.

— Просто я вскочила в последний вагон уходящего поезда, — сообщила она раздраженно. — Сегодня от того состава и хвоста не видно. Все-таки я не понимаю, чего тебе не живется. Надо денег — возьми у меня. Поверь, не обеднею. А ты вместо этого занимаешься самодеятельностью, с Анфиловым связался, а что такое Анфилов? Ископаемое с шилом в заднице. Денег, которые я заплатила в агентстве, хватило бы тебе на год безбедной жизни. Лучше бы я их тебе отдала, как думаешь?

— Стоп! — Крылов сощурился, стараясь не потерять из виду какую-то важную догадку. — Значит, место, куда пошел профессор, не обнаружено. Но как такое может быть, если со спутников, по твоим же сообщениям, видно сквозь землю, как сквозь воду? Да и сам профессор не иголка, будет покрупнее любого корунда...

— Тут какая-то ерунда, — неохотно признала Тамара. — Якобы у нас на севере появились аномальные зоны. Разумеется, никаких особенных месторождений там

не обнаружено. Но со спутников уже давно поступают картинки с датами двухлетней и более давности, причем даты сменяются от настоящего к прошлому. Впечатление, будто кто-то передает на спутник старые записи, идущие в обратной перемотке. Вот... — Тамара быстро искоса взглянула на Крылова, словно извиняясь за абсурдность сообщения. — Знаешь, там реки такие странные, на этих пятнах, будто кто дергает за нитки и распускает свитер... Сама видела, как вертолетом, упавшим в Каватуйские болота, помнишь, передавали во всех новостях, выстрелило вверх, будто из пушки. Вот туда и нырнул твой старый хрыч, а границы у зоны нехорошие, такие как бы мокре. Сам посуди, пойдет ли тебе на пользу то, что он оттуда притащит.

Крылов, не зная, что ответить, промолчал. Информация, сообщенная Тамарой, была невероятной, все это плохо влияло на будущее, но сегодняшним вечером было совершенно лишнее. Сейчас его гораздо больше волновало, успеет ли он найти Татьяну, удобно ли будет зайти к ней глубокой ночью. Правильно истолковав его лихорадочную рассеянность, Тамара со вздохом положила руку, увенчанную крупной, как виноградина, черной жемчужиной, на засветившуюся мышку.

— Хорошо, приступим к делу. Мне ведь не жалко, для тебя старалась...

На прозрачном мониторе, видимом Крылову с обратной стороны, вдруг буквально выскочила из ливня картинок знакомая рожа. Соглядатай был голографирован, должно быть, несколько лет назад: он выглядел моложе, чем теперь, и одновременно потрепанней. Тесная, севшая от стирок зеленая футболка казалась надетой задом наперед, во рту на месте одного переднего зуба зияла квадратная черная дырка, а волосы, что удивительно, были длинные, собранные в подобие неаккуратного хвоста и напоминали там намотанные на вилку макароны. Сразу же голограмма обросла убористым текстом, выверну-

тым для Крылова наизнанку. Он подался вперед, пытаюсь разобрать ползущие значки.

— Завалихин Виктор Матвеевич, — представила Тамара Крылову его зачатого знакомого. — Восемьдесят третьего года рождения, русский, образование ниже среднего, женат гражданским браком на такой же, как сам он, хрущобной крысе, имеет дочь Варвару восьми месяцев от роду. Проживает на Сварщиков, шестнадцать, квартира номер три. В юности боксировал за деньги, был тем, кто по договоренности идет в нокаут в третьем раунде. Дважды судим. В первый раз получил по малолетке два года условно за ограбление книжного магазина, где были взяты исключительно деньги. Второй раз его закрыли серьезно, за разбой, на четыре года строгого режима. Вышел не так давно, в пятнадцатом. Пробавляется случайной работой на близкого родственника, остальное родственник дает ему по доброте душевной. И знаешь, кто этот добрый человек? Твой работодатель, который, в свою очередь, работает на Анфилогова и крадет у профессора все, что плохо лежит.

Тамара удовлетворенно откинулась на спинку кресла, любуясь шпионом, который тоже как будто осматривался в офисе, придумывая, какую бы выкинуть здесь непотребную штуку. Сведения Крылова не удивили. Память, играя с ним в «горячо-холодно», неизменно «теплела», когда Крылов соединял сегодняшний образ шпиона со старой подвальной камнерезкой. Однако Крылов мог бы поклясться, что среди приятелей босса, заходивших к нему на пиво и по характеру внешности почему-то всегда совпадавших с упитанным соглядатаем, соглядатая не было. Память устраивала Крылову что-то вроде милицейского опознания, когда перед свидетелем выстраиваются несколько одного и того же типа людей. Память подсовывала ему приблизительное сходство, предлагая согласиться и на этом успокоиться, но Крылов не соглашался, потому что знал: мучения не прекратятся. Сейчас он подумал, что, может быть, мнемонический зуд объясняется

родственным сходством шпиона с хозяином камнерезки. Он попытался как можно яснее вообразить физиономию своего работодателя, мысленно снимая с него потупленные очки, убирая характерные брови галочкой, второй подбородок. И вдруг взбодрившаяся память, сделав пируэт, выдала ему картинку: хозяин, вздрогнув толстенькой спиной, замирает в птичьей позе возле вешалки, где пиджак Крылова почему-то вытянут поверх горба другой одежды и распластан, точно работодатель по своей доброте решил его почистить щеткой; вот босс с незаинтересованным видом, почему-то держась к Крылову боком, мелкими шажками уплывает от его рабочего стола. В столе или в пиджачном кармане обычно болтался атлас города с заранее проставленными точками. Крылов чуть не расхохотался от того, как все просто объяснилось: и кухонная залапанность заветного атласа, и вездесущность соглядатая, почти всегда прибывавшего на место прежде подопечных. Никакой, стало быть, мистики не оставалось в действиях Завалихина Виктора Матвеевича, мелкого уголовника. Но тут же Крылов почувствовал, как возвращается холодок сверхъестественного. Голограмма смотрела на него неприятными глазами, похожими на ложки остывшего супа, как бы говоря: но я же опять здесь, вот он я, хочешь ты того или не хочешь.

Тамара, хмурясь, наблюдала за переменами в лице Крылова, и видно было, что какая-то задняя мысль ставит ее откровенности жесткий предел.

— В общем, ты не зря сюда прибежал такой взъерошенный, опасаться этого типа действительно нужно, — сообщила она, убирая шпиона с экрана. — Почти наверняка, что он работает на большого заказчика, такие, как он, не проходят фейс-контроля. Скорее всего, два родственника решили банально ограбить вас с профессором и тоже ждут, когда Анфилогов выйдет из леса. Но именно по глупости и жадности они могут, например, прыгнуть ножом. Сам ты вряд ли справишься, но на всякий

случай я тебе сейчас все сброшу на кассету. Хотя нет, ты же отказался от ноутбука, который я тебе пыталась подарить. Ладно, сделаю распечатку...

Тамара покружила мышкой, и из плоского принтера выпали, сворачиваясь в воздухе, несколько страниц. Крылов нагнулся их собрать и в тесноте стола, подлокотника, маленького измельчителя бумаги, полного курчавой трухи, неловко задел Тамарино бедро, крупно вздрогнувшее под кисеей и чешуей. Поспешно вернувшись с разлохмаченной добычей в гостевое кресло, он увидел, что утрюмые глаза Тамары наполнились слезами.

— Подожди, еще не все! — воскликнул он, предупреждая ее попытку резко встать и направиться к выходу. — Меня интересует второй человек. Та женщина, худая блондинка в очках. Ну, ты понимаешь, о ком я говорю...

— Что?! — Глаза Тамары моментально высохли и стали двумя неодинаковыми пятнами. — Да, я понимаю, о ком ты говоришь! Запись, которую мне принесли, не оставила сомнений в характере ваших отношений! И ты спрашиваешь у меня, кто она такая?

— Вот чем хочешь клянусь, — замороженным голосом проговорил Крылов, — не знаю ни имени ее, ни фамилии, ни телефона, ни адреса. И она ничего не знает про меня. Мы потерялись на площади и теперь не можем друг друга найти.

Тамара глядела на Крылова так, как смотрят на катастрофу. Снизу через приоткрытую оконную панель донесся размывчивый гомон голосов и сразу — шипучий пышный взрыв и свет. Алая ракета, вычерчивая фосфористый след, мерцающая огненной сердцевиной, низко прошла над ошпаренным садом и погасла в темноте, будто уголь в воде. Должно быть, гости, позабыв об официальном трауре, добрались до запаса фейерверков. Звонко лопнула разбитая посуда.

— Даже не знаю, что тебе сказать, — Тамара, не обращая внимания на беспорядки, сидела очень прямо, в фа-

раоновой позе, где была совершенно лишней ее высокая женская грудь. — Крылов, ты сумасшедший. Правда. Это противоестественно, это хуже всего, что ты проделывал раньше. Даже не могу сообразить, в чем тут гнусность, но ты издеваешься не только надо мной. Как будто тебе мало жизни... Вот и доигрался!

— Хорошо, я гнусный, я подлец, — раздраженно согласился Крылов. — Только я знаю одно: ты собрала информацию на эту женщину. Понимаю, как все это тебе неприятно. Извини. Но отказать мне, скрыть от меня ее адрес, хотя бы адрес, ты не сможешь.

Тамара сдержанно вздохнула, опустив глаза куда-то себе на колени. Пыхнула еще ракета, протрепетала, плюнула, внизу нестройно заорали, распахивая, судя по тугому звону, высокие окна. Тамара поморщилась.

— Да, ты неплохо меня изучил, — произнесла она наконец. — Я и в самом деле не смогла бы утаить такие данные. Только вот проблема: у меня на эту твою очкастую блондинку ничего нет.

— Врешь, — прошептал Крылов, чувствуя себя так, словно его чем-то тяжелым и вязким хватили по затылку. — Нет, не врешь, — проговорил он, присмотревшись к Тамаре, к ее пустому лицу, на котором словно не было ничего, кроме красной помады. — Но почему, а? Почему именно на этот раз? Ведь ты всегда шпионила за мной. Крайне интересовалась моими женщинами. Смаковала каждую, каждой завидовала, сама подсовывала мне девиц, чтобы только поучаствовать, не оставаться в стороне. Так почему теперь такая щепетильность? Решила поиграть в настоящую леди? Поставить меня на место? Придумала что-то еще?

— Может, ты все же прекратишь? — ровным голосом перебила Тамара, глядя мимо Крылова в пространство.

— А почему, собственно? Ты достаешь меня четыре года. Может, разлюбила? — Крылова несла какая-то горячая и мутная волна, он словно опьянел от горя и стал не-

естественно весел. Ему вдруг показались уморительно смешными выющееся растение за Тамариной спиной, с листьями как поданные для поцелуя дамские ручки, и этот янтарный компьютер, похожий на удивленную амёбу.

— А ты думал, я буду вечно тебя дожидаться? — проговорила Тамара самым ледяным из своих голосов, но лицо ее пылало пятнами, будто жар переливался по угольям. — Думал, буду опекать тебя, беречь, ревновать к каждой юбке, за которую ты уцепился? Ты считал, сколько их у тебя было на одного моего Дымова? Восемнадцать, блондинка девятнадцатая! И иди ты вместе с ними к черту! — Она внезапнохватила кулаком по подскочившему столу, монитор плаксиво поморщился, а серебряный орел угловато свалился Крылову на ботинок, достав какую-то болезненную выпуклую косточку.

— Полегче! — Крылов вскочил, ковыльнул, отвалив с ноги тяжелого орла, снова упал, дотянулся из кресла до птицы, зарывшейся, точно в распаханную почву, в густейший ковер.

— Что, больно? А вот переживешь. — Тамара, некрасивая, вся набрякшая гневом, глядела на Крылова исподлобья. — Да, я завидовала им, блондинкам и брюнеткам, я мечтала стать одной из них, чтобы начать все сначала с тобой, как с другим человеком. Я боялась, что ты нарвешься на оторву и принесешь мне от нее какую-нибудь мерзкую инфекцию. Я тряслась над тобой, как мамочка. Но мне надоело, ты слышишь? Меня абсолютно не интересует эта твоя бумажная цапля, на которую ни один мужчина со вкусом даже не посмотрит. И знаешь, что это означает? Это означает, что меня больше не интересуешь ты!

— Вот и слава богу! Наконец-то! Я уж думал, не дождусь! — Крылов с трудом поднялся, хватая в обе горсти рассыпанные распечатки. — Я тоже устал быть у тебя на привязи. Выбор у тебя шикарный, бери себе хоть Семянникова, хоть Дымова. А меня уволь!

Тамара тоже встала, дрожа и оступаясь, стараясь держать как можно выше свою идеально посаженную голову, словно вокруг нее поднималась вода.

— Отлично, Крылов, — проговорила она спокойно, глядя ему в лицо как бы поверх этой высоко подступившей воды, как бы не видя его целиком. — Если бы не сегодняшней случай, я бы еще долго не заметила, насколько ты изменился. Теперь я вижу, каким ты стал равнодушным и подлым. Ты играешь с вещами, которые каждый вменяемый человек обязан уважать. Ты презираешь простой дар жизни и ищешь извращенные формы отношений. Потому ты не со мной, а с этой женщиной, которая согласилась разделить с тобой глумление над вашими же обоюдными чувствами. Но с меня довольно. Убирайся из моего дома и из моей жизни. Я уже забыла, как тебя зовут.

После такой Тамариной речи медлить было нельзя ни в коем случае, но Крылов тем не менее медлил, стоя перед бывшей женой с разведенными в стороны руками, полными бумаг. Прекрасное лицо Тамары все еще переливалось жаром, как уголья, когда они становятся хрупкими и как бы стеклянными, когда прогорел костер, бывший временным домом на трудном пути, и со всех сторон подступает глубокая, шумная, ветреная тьма.

— Лучшее, что я могу сделать для тебя, — это дать тебе разочароваться во мне, — произнес Крылов и тут же пожалел о сказанном, потому что это следовало осознать, но не говорить вслух.

Кажется, с Тамарой все было закончено. Не так он представлял свое расставание с ней. А как? Это была очень личная, очень туманная греза, где Тамара, заплаканная и сияющая, быстро-быстро говорила ему что-то сердечное, а потом уходила первая и не оглядывалась, каждым своим длинным божественным шагом расширяя Крылову пространство для будущей жизни. Но теперь-то Крылов понимал всю невозможность такой счастливой

процедуры. На самом деле, если люди так долго и сильно любили друг друга, они могут расстаться, только изловчившись обернуться друг другу врагами — чтобы можно было как-то вытерпеть эти безумные спазмы памяти, эти ведра крови, заливающие сердце.

Дверь из офиса в коридор была приоткрыта, и Крылов, наткнувшись, произведя с виляющей дверью серию неловких рокировок, оказался на темной стороне. Сразу он ощутил себя картинкой на странице — на перевернутой странице Тамириной жизни; он стоял в коридоре, будто в пространстве тускнеющего прошлого своей несчастной женщины, ни единым звуком себя не проявлявшей. Чтобы удержаться и ненароком не попасть в очаг нехорошо разгоревшегося праздника, он устремился к неровной, очень узкой лестнице, ведущей на задний двор и напоминавшей поваленные книжки. Навстречу ему поднималась необъятная Зина с пустым и липким изнутри пластмассовым контейнером; она позволила ему себя обтечь, оказавшись под своею чернотой ярко-розовой — словно пастила, измазанная нефтью; она как будто хотела что-то сообщить Крылову, но только дважды раскрыла рот и вытаращилась.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Дом соглядатая, найденный Крыловым по оскверненному атласу, оказался рыжим трехэтажным инвалидом, построенным почему-то в сочной, полной грязи и буйной зелени яме, много ниже асфальтового полотна, по которому враскачку и вскачь неслись грузовики. Штукатурку дома покрывали извилистые трещины, разделявшие сырой фасад как бы на разные государства, по три-четыре окошка в каждом. Дом был до отказа набит одутловатыми жильцами, гулявшими по узенькому дворику в домашней застиранной одежде. Разновозрастная жизнь переполняла кривые квартирки; то и дело распахивались ветхие рамы, содрогаясь по диагонали, словно бросая быстрый взгляд на улыбчивое небо, и в проеме взгромождался безгрудый подросток с допотопным зарешеченным кассетником либо крупная мать семейства, остывая от кухонного жара, нежно глядела на природу, представленную шерстяными астрами и мелкими рябыми воробьями. Окна квартиры номер шесть, относившись, по-видимому, к куску фасада, похожему на Францию, были мертвее остальных; сколько Крылов ни вглядывался, он не видел никакого движения за сизыми стеклами, только в раскрытой форточке надувалась и опадала волглая марля.

Прежде соглядатай так часто маячил возле подобных строений, дожидаясь подопечную пару на самом видном месте, что и теперь Крылову казалось, будто он вот-вот материализуется из воздуха. Но шпион не появлялся. Вот уже неделю Крылов терпеливо торчал за углом стоявшей на отшибе трансформаторной будки в обществе собственных мокрых окурков, заселивших нитяную старую траву. Отсюда отлично просматривался нужный подъезд с тюремного вида металлической дверью, при открывании бившейся с лязгом о бетонный борт просевшего крыльца. Несколько раз из подъезда выбиралась широкобедрая женщина с неразличимым личиком и петухом волос на голове, тащившая знакомую Крылову синюю коляску — ту самую, с которой соглядатай однажды носился по городу, вызывая гнев водителей и возмущение старух. Молодая мама лениво прогуливалась, погружаясь в приятную щекотку лиственной тени, по-кошачьи прогибаясь и отставляя наливной задок, когда препятствие побуждало приподнять коляску на дыбы; иногда она вынимала тугого человечка, норовившего ухватить родительницу за большую щеку; должно быть напоминавшую младенцу ее же молочную грудь. Присутствие ребенка исключало для Крылова простую возможность позвонить в шестую квартиру и предложить затаившемуся Виктору Матвеевичу мужской разговор по существу. Оставалось выжидать благоприятного случая, согреваясь глотками глухого теплого чая из отдающего баней маленького термоса.

Между тем хозяин камнерезки тоже куда-то исчез. Его косматый пиджачок висел на стуле в курилке, по его безгрешную душу то и дело приходили обозленные заказчики, но босс не появлялся и не отвечал на телефонные звонки. Мастера мрачнели, сбрасывались, выскабливая карманы, на дешевое пиво. Всем уже было понятно, что мастерскую ожидает скорый и бесславный конец. Однако проблема денег как-то не беспокоила Крылова; мыс-

ленно нажив и потеряв большое состояние, он не заботился о крохах, что еще болтались в кошельке. Гораздо больше его волновала информация, которой наверняка располагал неуловимый соглядатай. Крылова сжирала надежда отыскать в каторжных городских катакомбах реальную Татьяну, имевшую, как и он сам, непосредственное отношение к запропавшей экспедиции. Он ощущал себя странно оттого, что еще вчера у него были и Тамара, и Тания — и вдруг не стало ни той ни другой. Только теперь он обратил внимание, что женщины на улицах гораздо многочисленней мужчин; лучше одетые, ярче парфюмированные, самоуверенные, они были точно солдаты и офицеры оккупационной армии и даже не глядели на коренное население, тоже пытавшееся кое-как носить клеенчатые пиджаки в обтяжку и цветные каблуки.

Теперь Крылов по большей части ночевал на старой квартире, где еще работал пропыленный телевизор, державший тряскую картинку как бы наклонно от зрителя. Преодолевая недовольство матери, жившей по расписанию популярных сериалов, Крылов прилипал к новостям. О мясорубке на площади центральные каналы дали краткие сюжеты с малоузнаваемыми панорамами рифейской столицы и одним и тем же ряженым буденновцем, вздымающим в синее небо могучее красное полотнище со свежим и мокрым пятном посередине. Местные телекомпании показали подробнее последствия взрыва на Космонавтов: развороченный угол пассажа, окровавленные, слипшиеся ежом волосы милиционера — и странную, дырявую листву там, где сыпануло гранулами неизвестной химии, по счастью, почти не задевшей демонстрантов. «А-студия», известная фирменной глумливостью своих журналистов, пустила в эфир большое интервью с председателем ассоциации военно-исторических клубов: то был насмерть напуганный, апоплексического вида господин с лысиной как атмосфера Марса, начисто отрицавший все, включая собственное существование. Мэр мель-

кал на экране лишь изредка, словно летучая мышь; губернатор, наоборот, сидел основательно — весь добротный, плотный, улыбчивый, играющий большими пальцами рук, сцепленных в крепкий замок.

Ничего нельзя было понять из комментариев, кроме того, что по некоторым фактам (не по всем) возбуждены уголовные дела. Только Первый Рифейский канал, руководимый старухой Петровой, предоставил зрителям толковые сводки о потерпевших, включая тех, чьи личности не были установлены. Крылов, с душой, то и дело улетающей в пропасть, всматривался в проплывавшие по экрану сверху вниз скорбные фотографии: прижизненные, отмеченные печатью обыкновенности, и посмертные, одутловатые и словно бы засиженные мухами. Никого похожего на Таню не было среди одиннадцати погибших женщин, к которым на исходе недели присоединилась двенадцатая: маленькая старшеклассница с круглыми глазенками в квадратных очках, словно выдвинутых перед лицом на сантиметр, умершая от внутреннего кровоизлияния в Четвертой городской. Крылов, почти ныряя в наэлектризованный экран, думал, что, может быть, и Таня смотрит сейчас ту же самую программу, с ужасом выискивая своего Ивана среди мужских бородатых и бритых теней, плавно спускавшихся в небытие.

Но очень скоро потусторонние свидания прекратились. Телевидение захлестнули более поразительные новости, для которых рифейские события послужили лишь бледным прологом. Крылов не ожидал, что его идея о ряженой революции в России, походя высказанная случайному знакомцу, начнет воплощаться столь быстро и повсеместно. Сначала, подтверждая мысль Тамары, что мир состоит из вещей, перемены выразились в вещах. Популярность красноармейской и белогвардейской формы опустошила театральные костюмерные. Швейные фабрики, торопясь удовлетворить бешеный рыночный спрос, перешли на военное положение: машинки, строча, бук-

важно зарывались в волны грубоокрашенной ткани и топили там вместе с сосредоточенными мотористками. Расторопные торговцы повезли шинели и галифе из вступившегося Китая: эта продукция часто оказывалась подбита ватой либо хрустким, дурно пахнущим пером. Отдельные мастерские изготавливали погоны, кокарды, нарукавные углы. Повсюду в рыночных рядах стояли стопки островерхих буденовок, остро пахнувших новенькими валенками.

Сотни тысяч российских граждан желали переодеться и присоединиться к одной из играющих сторон. Политические дамы, уже давно носившие в подражание первой леди тугие защитные френчи, стали украшать себя эмалевыми и бриллиантовыми орденами в совершенно неразумных и даже вызывающих количествах. Чтобы сбить волну декоративного милитаризма, первая леди появилась на благотворительном приеме вся в кудрявых рюшках и в шикарной белой шляпе, лихо рассекавшей кокетливую бровь. Однако эта перемена стиля не возымела действия. То был, как чувствовали все, тревожный знак для президента, внешне похожего не столько на своего непосредственного предшественника, сколько на великого Путина, служившего теперь для кандидатов идеальным образцом. Нельзя было не заметить во время официальных интервью, что президентские плоские пальцы нервно-чески подрагивают и норовят утянуться в безупречные манжеты, а глаза, посаженные с двух сторон буквально на нос и словно соединенные проволочной дужкой, что-то беспокойно выискивают за плечами журналистов. Президентский рейтинг уже от этого тихонько пошатнулся. Но худшее ожидало впереди, потому что страна собиралась сыграть в 2017 году свой долгожданный любительский спектакль.

Первоначально поводом для побоищ служили городские празднества и иные увеселения, которыми изобилует августовский календарь. В Перми красные, стре-

ля всей толпой из одного гранатомета, удачно потопили ни в чем не повинный нарядный теплоходик, на котором местное белое казачество собиралось проплыть до Астрахани за тамошними сладкими арбузами. В Астрахани в деревянной и горючей части города другое белое казачество в день народного гулянья запалило принадлежавшие коммунистам рыбные склады; в ответ скуластые комсомольцы, набросив прямо на взмокшие майки глухие комиссарские кожанки, размазали казаков о белые стены Астраханского кремля. В Красноярске костюмированные колчаковцы, решившие заново взять оплот Сибири, когда-то так несчастливо утраченный Верховным, штурмовали гигантский, похожий на многократно увеличенную американскую автозаправку оперный театр, где засела труппа, переодетая в хаки и в фуражки с красными звездами. Одновременно в старом чистеньком Иркутске, где деревянная и кирпичная архитектура вся белела освеженными к началу школьного года кантиками и кружевами, других колчаковцев сотнями топили в Ангаре — за непригодностью обмелевшей, еле шевелившейся речки Ушаковки, которая столетие назад приняла расстрелянного Колчака под белый, как мороженое молоко, сибирский лед.

В Питере революционные матросы захватили филиал военно-морского музея, а именно крейсер «Аврора», и попытались жхнуть из бакового орудия по отсыревшему Зимнему, увенчанному зелеными, как лягушки, и такими же мокрыми статуями, но все на крейсере было заварено и толсто покрашено, поэтому дело кончилось всего лишь большим железным грохотом и приводом хулиганов в ближайший участок. Между тем в крупнейшие газеты Петербурга поступили факсы, в которых о своем существовании заявлял Отдельный Псковский Добровольческий корпус Северной Армии под командованием генерал-майора Вандама. Заинтригованные репортеры осадили пожилую голливудскую звезду, пытаясь

выяснить, почему актер принимает участие в русских беспорядках; на это Жан-Клод Ван Дамм, похожий после косметической клиники на самого себя в роли замороженного Универсального Солдата, внятно сообщил, что все его контакты с русскими ограничились давней дракой с русским конгрессменом в каком-то ресторане и на этом раз и навсегда закончились.

То, что показывали по телевизору в участвовавших новостях, не было голливудским боевиком. Жертвы костюмированных столкновений исчислялись сотнями — и это только по официальным сводкам. Самая большая кровь пролилась в тишайшем Тобольске. Городок, казалось бы, давно уснул на плоском, будто пролитом на стол Иртыше, подтопившем деревянные гнилые терема, некогда составлявшие гордость исторической сибирской столицы; стены кремля парили над этим дровяным болотом мирно, будто развешенное на веревках мокрое белье. Не бывает ничего хорошего для таких городков, когда названия их появляются в СМИ на всех мировых языках. В Тобольске романтически настроенные студенты, объявившие город новым Галлиполи и одетые дроздовцами, завели привычку собираться возле старинных, рифейской работы, чугунных пушек, чей грозный черный ряд служил в кремле для развлечения туристов. Стояла последняя летняя теплынь, пушечные жерла были забиты сладкими бумажками от сливочного пломбира, мальчишки в великоватых фуражках с малиновыми околышами репетировали пьесу. Красные появились строем, все с билетами в музей. Обнаружив неприятеля между собой и началом осмотра, часть красноармейцев бросилась в атаку, размахивая кривыми, как козлиные ноги, муляжными винтовками, другая часть тихонько куда-то исчезла. Студентов, теряющих бутылки с колдой и листочки с ролями, оттеснили в сторону Шведского спуска — широкого мощеного желоба, ведущего из верхнего города в нижний, в спасительные лабиринты развесистой зелени и покосившихся развалин.

Но на выходе из ловушки дроздовцев встретили предусмотрительные красные бойцы, вовсе не ушедшие от драки по домам, но оперативно занявшие стратегическую позицию.

Пока подросли вызванные работниками музея силы правопорядка, Шведский спуск превратился в кровавую ванну. Малиновые фуражки теснились и уменьшались в числе, точно их ели напиравшие сверху и снизу рабоче-крестьянские массы. Тех, кто пытался выбраться по гладким бортам на травянистый откос, встречали грамотно рассредоточенные стрелки, палившие в упор из самоделок, похожих на протезы с выставленными вперед механическими указательными. Стреляли в том числе и по своим, по перепуганным одумавшимся лицам, моргавшим навстречу толстой свежеиспеченной пуле.

Побоище удалось остановить, только пустив в бесформенное месиво усыпляющий газ. Когда развалились и осели тяжелые кучи дерущихся, когда рассеялась ядовито-радужная дымка, никто поначалу не мог отличить погибших от живых. Мальчики (среди красных тоже оказалось много совсем молоденьких) лежали вповалку, с алыми пулевыми дырками и густыми кровоподтеками на лицах, точно зацелованные старыми жадными любовницами, употребляющими жирную помаду. Число жертв инцидента составило две тысячи сто тридцать два человека. Мэр Тобольска, круглоголовый добряк, известный своим хлебосольством и хорошим ремонтом дорог, поначалу крепился, но на другое утро после битвы вдруг подал в отставку и, отряхивая слезы обеими руками, сияя лицом, точно мокрым серебряным рублем, вдруг начал раздавать налево и направо скандально большие денежные суммы — вследствие чего прокуратура, помявшись, потянув резину, вынуждена была завести на бывшего мэра уголовное дело по экономической статье. Были также арестованы некоторые рьяные участники побоища. Перед телекамерами они уверяли, что на них нашло неиз-

вестное науке помрачение и что теперь их поврежденные мозги работают как радиоприемники, круглосуточно принимая новости и популярные песни. Арестованные и правда все время трясли головами и мычали попсу, что было сочтено симуляцией в целях избежать суда. В СИЗО попали главным образом красноармейцы, но взяли и командира дроздовцев, в миру учителя географии, странно, как сквозь сон, похожего на генерал-майора Михаила Дроздовского — крепкой хрящеватостью, раздвоенным, словно завернутым снизу подбородком, ловкой посадкой железного пенсне. Часть красных ушла по Иртышу на растаявшей в тумане проржавелой барже — по мнению специалистов порта, ходить решительно неспособной. И многие другие чудеса случились в тишайшем Тобольске — какие уютно, только не воскрешения. Дальние, еще непочатые участки кладбищ разом приняли пополнение и сделались похожи на военные биваки; по Шведскому спуску, вымытому с шампунем и огороженному траурными лентами, текли нехорошие, липкие ветерки.

Разумеется, никаких победителей в ряженной революции быть не могло, потому что и самих воюющих сторон, строго говоря, не существовало. Общее впечатление, будто побеждают красные, объяснялось, вероятно, большей их органичностью для неподлинного мира, потому что самая их выразительная, знаковая форма изначально создавалась как маскарадная. Крылов не помнил точно (остатки исторического образования утекали в прорехи судьбы), для какого события по распоряжению последнего российского государя создавались шапки-«богатырки», впоследствии буденовки, и шинели с «разговорами»: не то для трехсотлетия дома Романовых, не то для русского парада Победы в Берлине, намеченного на лето 1917 года. В каком-то смысле этот призрачный, никогда не бывший парад тоже требовал осуществления и гнал юнцов с пятиконечными звездами во лбу на кровавые репетиции.

Так или иначе, «русский стиль», разработанный затейливым Васнецовым под влиянием грезы о богатырских заставах и стрельцах-молодцах, не мог не породить такой же исторической мечтательности в слабом впечатлительном потомстве. «Нестерпимая мечта», — шептал Крылов колючими небритыми губами, вперяясь в мерцающее окошко телевизора. Теперь его поражал размах, с каким столетие назад готовилось маскарадное действо: большевикам, разграбившим царские военные склады, хватило потешного обмундирования, чтобы одеть реальную армию, раздавившую Россию со всей ее цветной и позолоченной историей. Он думал, что было бы интересно проследить роль грабежа как фактора развития дизайна. Вообще грабеж представлялся теперь Крылову действием метафизическим. Благодаря грабежу что-то из предметов подлинного мира отходит в игрушки, потому что грабитель не понимает их назначения. А что-то несамделишное, как вот маскарадные мундиры, вдруг приобретает подлинность и переворачивает мир.

Словно отвечая мыслям Крылова, сразу по нескольким каналам прошла информация, будто бы в Гатчине вблизи от вокзала ищущие нашли хорошо замаскированные склады все с теми же царскими «богатырками» и слезавшимися шинелями, на которых выросли нежные, как сыр, съедобные грибы. Богатство это вышло из подполья ровно тогда, когда приобрело значение и смысл. Обнаружившие склады молодые бизнесмены заработали хорошие деньги. В новостях показали московских и питерских счастливых, успевших отхватить антикварную форму: сукно, насколько позволяла судить телевизионная картинка, за сотню лет поблекло и стало цвета желтой и белой травы, какая бывает под камнями: рукава шинелей не расправлялись и висели на плечах комсомольцев длинными кусками скукоженного войлока, шапки разлезались на куски. Казалось, будто румяные ребята натянули на себя одежду покойников, добытую из гробов.

Приходилось напоминать себе, что в этой форме пока никто не погиб.

Впрочем, Крылов понимал, что антикварной одежде недолго оставаться девственной. Весьма платежеспособная Москва, всосавшая более всех обмундирования и, вероятно, оружия, пока молчала. Над притихшей Тверской, над малахитовой головой одурманенного Пушкина барражировали вертолеты. С горячих улиц исчезли легкомысленные тенты, пропали из продажи все цветные, веселые, летние напитки. ВВЦ, построенный как идеальный сталинский колхоз, колхоз-дворец, вдруг предстал чем-то вроде маленькой военной базы, экспонаты-модели в ряде павильонов оказались настоящими. В столичном метро стало необыкновенно много угрюмой милиции и крупных, как дикобразы, беременных крыс.

Как ни пытались власти делать вид, будто ничего не происходит, ряженая революция сказывалась на самой чувствительной русской субстанции, то есть на деньгах. Цены в супермаркетах экономического класса осторожно полезли вверх. Частные банки, всегда играющие с государством в «двадцать одно», вдруг резко перебрали очков; попытавшись заморозить вклады перепуганных граждан, они получили от государства лошадиную инъекцию успокоительного в виде кредитов, после чего тихонько поменяли собственников. Банковский кризис был подавлен за сорок восемь часов. Граждане, набегавшиеся от банкомата к банкомату, из очереди в очередь, выдравшие трудовую наличность, вдруг оказались с этими пачечками на руках, будто с остатком собственной жизни, которая могла быть истрачена за несколько дней. Почти поголовно они принесли наличность обратно, будто прошлогодний снег в большой промышленный холодильник, где он, по крайней мере, не очень быстро таял от разогревавшейся инфляции.

Как всегда бывает в подобных случаях, население смело с магазинных полок дешевые продукты долгого хране-

ния: макароны, консервы, даже седые просроченные крупы и комковатую муку. Но государство действовало на удивление грамотно: буквально тут же и на тех же самых полках появились аналогичные товары, правда непривычного вида и вкуса. Крупные, грубые упаковки, серая, словно просоленная бумага, жестяные банки в густой, будто оружейной смазке, с выдавленными рядами цифр на непробиваемых крышках — видимо, в ход пошли запасы советских военных складов. Гражданскому населению предлагались пористые серые галеты, которые можно было есть, только распарив кипятком до состояния пластилина; сахар, похожий на гранит; сухое и глинистое хозяйственное мыло в кусках, словно нарубленных топором. В век победивших зажигалок странным товаром казались спички: они продавались блоками по двадцать шершавых коробков, причем коробки не имели этикеток и отламывались от блоков вместе с фанерной щепой. Среди мясных консервов преобладала тушенка из оленины, нежная, в кровянистом бульоне, с жирным лавровым листом в каждой промасленной банке. Крылову смутно помнилась история про ядерные испытания на Таймыре, проводившиеся, кажется, в пятидесятых. Оленей, щипавших радиоактивный ягель, тогда забивали стадами и замораживали, будто мамонтов, в вечной мерзлоте, чтобы извлечь, когда распадется стронций и иная опасная дрянь. По всей вероятности, это и было то самое мясо; экзотичность его создавала иллюзию богатого выбора и даже роскоши, парадоксально сочетавшуюся с толстой жестью и голым картоном упаковок.

Крылову казалось странным употреблять продукты, которым больше полувека: в этом было что-то биологически неправильное, нарушающее естественные циклы. Но граждане под воздействием генной памяти о голоде и войнах (разбуженной еще и суровым обликом запасов) кинулись расхватывать армейское продовольствие, стоившее сушие копейки. Впрочем, продолжалось это недолго.

Как бы ни опустошались магазины в течение дня, наутро полки снова были полны и высились перед покупателями, как военные укрепления. В конце концов, исчерпав возможности домашних антресолей и тощих кошельков, граждане сдались и отступили от продовольственных крепостей, которые не получилось взять и не вышло разрушить. Мать, натаскавшая вопреки протестам Крылова целый угол килограммовых банок с оленьей тушенкой, даже дома более всего напоминавших противопехотные мины, теперь спотыкалась о них и не решалась есть — не потому, что боялась радиации, а потому, что самый вид их создавал ощущение надежности будущего, обеспеченного Родиной. Казалось, что в каждой жестянке на случай войны содержится жизнь, а может быть, смерть, что было практически одним и тем же в стилистике советского государства, вдруг вышедшего из подземных складов на житейскую поверхность.

* * *

Странные и страшные события ряженой революции (уже ощутимо заглушаемые в СМИ штатными новостями внешней и внутренней политики) привели к тому, что люди, годами не видевшие друг друга, снова стали перезваниваться и встречаться. Вновь появились темы для разговоров; вновь стало тесно на ночных бессонных кухнях, в сигаретном дыму закружились путаные мысли. Собрались, стянулись старые компании: обнаружилось, что многих нет, что остальные очень устали от жизни, особенно женщины, сидевшие с разрушенными лицами над стынувшей кофейной гущей. Тревога висела в воздухе и мешалась с каким-то бессильным возбуждением; общественные страсти не разгорались, но тлели и чадили во всеобщем душевном сумраке, сквозь который еле пробивалось стеклянистое августовское солнце.

Крылов все собирался и все не решался позвонить Фариду, чтобы взять займы, спросить насчет работы и вообще поговорить. Фарид сам отыскал Крылова, подняв его звонком в половине двенадцатого ночи, и сообщил о сборе в ближайшее воскресенье. Крылов, оставив дежурство у телевизора и пост у дома соглядателя (там на четырех балконах теперь топорщились новенькие флаги малинового ситца), устремился через город в знакомую хрущевку, где у подъезда сильно разрослась и выцвела до серости широких листьев жилистая старая сирень.

Общее представление, будто у Фариды все всегда благополучно, держалось только потому, что Фарид не допускал иного. На самом деле дни его проходили в размеренной, глубоко запрятанной скорби; казалось, будто Фарид принимает эту скорбь по часам, будто гомеопатические шарики, и тем остается жив. В позапрошлом году он женился на юной, только что закончившей одиннадцать классов красавице Гульбахор, очень сильно его тогда любившей. Через небольшое время Гульбахор смиренно, виновато, оставив все подарки Фариды, ушла от него к молодому, золотому от молодости, густоволосому, как конь, Гумару, дальнему родственнику Фариды по матери. Несчастье соответствовало ходу вещей, восставляло природный порядок, нарушенный браком между полупрозрачной девочкой и выветренным, как кирпич, пятидесятипятилетним стариком, — поэтому событие не было несчастьем в строгом смысле слова, что усугубляло одиночество Фариды. Он не протестовал, тем более не сетовал, только как-то вдруг сощурился, словно теперь постоянно глядел на яркое солнце. Друзья Фариды возмущались, особенно бушевал румяный от портвейна Рома Гусев, напоминая, что девчонка сама вешалась Фариду на шею, партизанила около дома и просилась мыть полы. Скаутмастер Серега Гаганов, знаток устройства старшекласниц, распечатавший пятый десяток без единой сединки в гладких, как вороньи перья, волосах

и без единой царапины на совести, авторитетно пояснял, что женщина в столь раннем возрасте представляет собой говорящий организм и совсем не понимает собственных слов. На это Фарид отмалчивался. Внутри у него что-то отвердело и встало колом, так что ему сделалось трудно завязывать ботинки. Голограмма Гульбахор по-прежнему стояла у Фариды на компьютерном столе: юная женщина была светла, как первый снег, в нарядной розовой блузке с гранеными пуговками, с бархатной куклой в руках.

Крылов прибежал, когда основные давно сидели за столом. Гаганов был уже хорош: откинувшись на спинку стула, он мечтательно скалился в потолок, по которому вилось, жужжа и словно обжигаясь друг о друга, несколько мух. На столе розовела все та же оленина, вываленная на блюдо из нескольких банок; в глубокой фаянсовой миске стыли лохмотья пельменей, слипшиеся в гриб. Должно быть, сидели несколько часов — и пили больше, чем ели. Водка стояла на обсыпанной крошками клеенке в трех початых бутылках, рюмки, опорожненные и недопитые, были мокры, точно их купали в тазу. Крылова поприветствовали нестройными возгласами, дружески огрели по костям, втиснули, пожимая руки, на свободный табурет. Сразу сделалось хорошо в этой круговой, исполненной силы тесноте, плечом к плечу со всеми старыми товарищами — и правда очень постаревшими. По грубому загару, по черным обезьяньим лапам с побитыми ногтями было видно, что большинство основных недавно вернулось из лесов. Всегда на исходе августа хитники, приходившие из экспедиций, выглядели так, будто им резко прибавилось лет; но сейчас они казались не загоревшими, а какими-то проржавевшими; истянутые жилы, пегие затылки с беззащитными красными лысинками — все это было уже стариковское.

С удовольствием приправляя горчицей плотный холодец, Крылов оглядывался в знакомой и милой квартире,

носившей пятнистые следы холостяцкой уборки. Все так же на застекленных полках перед схватившимися намертво томами стояли мытые друзы цитрина, раухтопаза, розового хрусталя. При виде этих великолепных гнездовий, полных существами, которые за крепкими зеркальными либо рубчатými шкурами сохраняли дивные, немые области прозрачного, Крылов почувствовал, как ремесло запело в сердце и в кончиках пальцев. Он хотел и мог обнажать эти вечные души, давать им новую граненую броню, заставляя говорить на резком, властном языке преломленного света, чтобы невозможно было отвернуться. В соединении с мыслью о существовании Тани это было как предвкушение рождественского праздника; Крылов подумал, что он счастливее многих за этим столом, хоть и знал наверняка, что товарищи, наоборот, сочувствуют ему, просидевшему лето в городской жарнице, бледному, как уличная пыль.

Разговор гудел, переходя от тревожных, никому не понятных общественных перемен к свежим лесным историям и обратно. Двое — Гаганов в Лялинском, маленький Витя Шуклецов недалеко от озера Уткул — видели древнего оленя с серебряными копытами, самого старого из горных духов, в последний раз являвшегося в начале пятидесятых, чтобы показать «хвосты» золотого песка какому-то горемыке по фамилии Макейкин, севшему за это счастье на пятнадцать лет. По словам Сереги и мелко моргающего Вити, палеонтологический призрак был высок, едва скрывается бушующим березняком, четырехметровые в размахе рога напоминали костяные орлиные крылья и вспугивали птиц. Плейстоценовый зверь улыбался черной замшевой пастью, показывая саблевидные клыки, темный желатин первобытных очей в грубых шерстяных ресницах казался одновременно зрячим и слепым, серебряные копыта на мощных передних ногах, испачканные болотистой почвой, были сильно окислены. Судя по довольным и загадочным физиономиям

Сергеи и Вити, Серебряное Копыто не оставил их без богатого клада.

Остальные добытчики тоже не жаловались. В очищенных и странно освеженных рифейских местностях появилось много драгоценных ящерок: узенькие, словно вышитые бисером создания совершенно не боялись человека и резвились, выписывая восьмерки, на зернистых валунах. В горячей шелковой траве струйками масла скользили ужи, что тоже было благоприятным признаком. Несколько раз добытчики снимали с веток, с шершавых скальных выступов живую режущую нитку — волос Златовласки, дочери Великого Полоза, трехметровой женщины с клубящейся жидким золотом безглазой головой, способной превращаться в сильно намагниченную подземную змею. По недостоверным свидетельствам, изредка на лице существа, похожем на обтянутый тканью кулак, все-таки разверзались стеклянные трещиноватые глазищи — и тогда зарвавшийся старатель, обливаясь потом и смертельным трепещущим светом, мгновенно превращался в золотую скорченную статую. Как всякий горный дух, рифейская горгона была своенравна; однако волос ее, помещенный в обыкновенную бутылку, жил, ничем не питаясь, несколько лет и приносил владельцу, если он не жадничал, сказочный фарт. Бесшабашный Рома Гусев притащил похвастаться свой роскошный экземпляр: синяя лекарственная склянка, залитая сургучом, напоминала милицейскую мигалку, ослепительная нитка в ней плясала, оставляя на сетчатке бешеную белую спираль.

В общем, сезон выдался для хитников удачный. Как это было принято среди основных, сидящие за столом помалкивали насчет своих находок, но много говорили про перемены ландшафтов. Лица при этом становились растерянными и умиленными. Рассказывали, что даже яркие, охупками зелени и желтых лаковых купальниц покрытые болота в этом году напоминали райские кущи. Вновь забили лесные родники, тонкие песчинки в них

кружили, будто в холодную сладкую воду все подмешивали и подмешивали сахару. Русла ручьев стали настолько чисты, что, выложенные сердоликовой и кварцевой галькой, напоминали ювелирные витрины. В горах безумно пахло ягодой, смолой. Бесчисленные птичьи голоса, звучавшие то близко, то далеко, давали на слух ошутить лесные глубины — сырые дымные бездны, пронизанные папиросными лучами солнца и столь же бесплотными темными стволами, из которых тут и там ткались более сложные, подвижные, странные призраки. Горные поляны, опушки, даже откосы протертых, каменной крупой засыпанных шоссеек выглядели словно раскрытые Красные книги. Здесь в изобилии цвели курчавые дикие лилии, полные пудры, и синие призрачные ирисы, и губастые, с простроченными листьями венерины башмачки — не говоря о простых гвоздиках-«часиках», обильном клевере, мелких мятых маках на тонких стеблях, похожих на шерстяные нитки. Небольшие черные озера таинственно белели сырыми звездами кувшинок; крупные, плотные, как яблоки, цветы окружали очарованную лодку, их стебли, подсвеченные солнцем, уходили в золотую, живыми частицами играющую мглу. Трудно было удержаться от соблазна, руки сами тянулись присвоить красоту — и лодку головокружительно водило на привязи, пока где-то далеко, в стороне и глубине, не обрывалась тугая пуповина и добыча вместе со своим резиновым шлангом не оказывалась на коленях восхищенного браконьера. Что касается Илимского заповедника, то он представлял собою действующий храм. Массивы скал и массы прозрачного синего воздуха были одинаково каменны, одинаково воздушны; круглое озеро Илим стало настолько прозрачно, что увеличивало, будто лупа, затонувший лет двести назад, похожий на недоеденную курицу маленький баркас: редкие орланы-белохвосты, выпущенные из Центрального Рифейского зоопарка без особой надежды на успех, вывели птенцов.

Крылов мог бы кое-что порассказать своим восторженным товарищам про эти необыкновенные явления. Он со страшной живостью воображал видные со спутника аномальные пятна, их мокрые края, пожирающие реальность. Все, кто описывал невиданную роскошь освеженной природы, побывали там, под мантией призрачных мерцающих медуз, но вернулись живыми и здоровыми, совершенно настоящими, хотя Крылову все время хотелось их потрогать.

* * *

— Петрович, кстати, еще не пришел с северов? — как бы в пространство спросил нахохленный Меньшиков, весь вечер просидевший над полной стопкой, точно рыбак над поплавком.

Все вопросительно покосились на Крылова. На это он только молча пожал плечами. Сейчас, в последних числах августа, отсутствие Анфилогова становилось не просто томительным, а очень тревожным. Его одного не хватало в кругу старейшин рифейской хиты, и это отсутствие исподволь переживали все.

— Я слышал, будто на северах чуть не рай земной, а одновременно яд, — пробормотал, потирая грудь под мятой клетчатой рубашкой, выпученный Рома Гусев. — Будто в Каме рыбы до краев, даже осетры откуда-то заходят. Но будто видели, как мелочь вся плавает кверху брюхом. Нехорошо...

— Может, из-за водорослей? — предположил с надеждой маленький Витя. — Бывает, когда резко прогревается вода.

— А может, глушат взрывами, — тихо проговорил громадный и седой, словно собравший башкой паутину и пыль со многих потолков, Вадя Солдатенков. — Только не браконьеры там хозяйничают, а вроде как война.

Вадя в отличие от большинства принципиально пеших хитников предпочитал путешествовать на лодке. У него имелся надувной полипластовый «Окунь» с компактным мотором, который можно было укладывать на дно необъятного Вадиного рюкзака. Этим летом Вадя шарил по притокам Камы и видел ужасные вещи. Первым делом он напоролся на перетянувшую устье Чусовой притоленную цепь, лишь слегка заметную на поверхности воды, будто перфорация на месте отрыва шелковой бумаги. Полипласт завизжал, носовая камера вывалила груду желтых пузырей, и Ваде пришлось выгребать скакавшей, как мячик, кормой вперед на низкий бережок. Утром его разбудил сырой, тяжелый запах гари; туман, стоявший вокруг, был странно землистый, будто легкие курильщика. Припрятав имущество в мокрые кусты, Вадя налегке пробежался вверх по течению километров на десять. Сначала ему попадались торчавшие из реки толстые сизые головы, местами такие частые, что напоминали чудовищные камыши, и бесформенные останки судового железа; вода на месте этих затоплений темнела студенистыми пятнами, похожими на пятна ожогов. Тут и там по реке проплывали, разваливаясь, шипя, воспаленно розовея в тумане, какие-то огненные клочья; тихо, пустым угловатым призраком, проскользила выгоревшая баржа, напоминавшая везомый на платформе четырехметровый стул.

Далее Ваде показалось, будто он видит два въехавших друг в дружку, сильно измятых теплохода. Но по мере того как он, исхлестанный ветками, полными воды, подбирался поближе, становилось ясно, что судов в искореженной куче значительно больше. С каждым десятком метрами приближения обнаруживалась еще одна единица — то измятой, хлебающей воду трубой, то едва проблескивающими, будто леска, натянутая низко над волнами, очертаниями кормы. Перепуганный, с сердцем, бьющим во всю ширину груди, Вадя остановился: ему померещилось, что если он подойдет вплотную, то груды

вспученного, жеваного, рваного металла разрастется до размеров многоэтажного дома. Хоронясь, он повернул назад — тем более что за спиной его теперь туго, почти беззвучно били горные орудия и боковое зрение ловило тут и там под луговым и скальным берегами плотные пятна, вполне способные оказаться мокрой человеческой одеждой.

— В девятнадцатом году белые, отступая, именно так уничтожили камский флот, — сообщил эрудированный Меньшиков, поднимая на Вадю слезящиеся глаза в ярко-розовых, словно отклеившихся веках. — Может, ты все это не видел, а вычитал в каком-то журнале?

Обиженный Вадя засопел и заворочался на маленькой, как пенек под медведем, кухонной табуретке. Поочередно вытягивая ножищи, он выволок из тесных джинсовых карманов два заношенных конверта.

— Все, конечно, может быть, — проговорил он с мокрой одышкой, присвистывая, как резиновая игрушка с пикулькой. — Может, у меня на старости лет мозги набекрень. А вот что вы, судари, на это скажете? Что это, по-вашему, такое?

Из конвертов Вадя вытряхнул, как увиделось сперва, зубчатые обрезки кожи и пересохшей бумаги. При ближайшем рассмотрении это оказались березовые листья — мелкие, приполярные, рано пожелтевшие. Странность, впрочем, была не в преждевременном осеннем увядании, а в характере его, в распределении красок. Не было обычной березовой веснушчатости, северной ржавчины. Узорчатая, как бы чешуйчатая поверхность листьев напоминала шкуру рептилии. Казалось, будто прутьяные смуглые деревца, на которых они росли, всосали из почвы что-то необычное, и листья словно подверглись неизвестной инъекции.

— По-моему, какая-то промышленная химия, — неуверенно проговорил Гаганов, разглядывая на просвет удивительно прочную, нервущуюся листовую плоть. — Или даже радиация. Явная отравка. Вот так, господа: что

природа восстановит, то человек обязательно снова изгадит.

— Не факт, что это человек, — бесстрастно возразил Фарид, собирая грязные тарелки и расставляя перед товарищами чистые, с сияющими растресканными васильками, подавая эту холостяцкую чистоту как лучшее угощение, от которого хитники отвыкли в лесах возле едких костров.

За столом помолчали. Снова разлили водку, выпили, утерлись рукавами. Потом заговорили, понизив глухие, уставшие от слов голоса, про странное исчезновение времени. С феноменом столкнулись практически все, кто побывал этим летом в экспедициях. Поначалу время двигалось нормально, а потом внезапно уходило, как река под землю, оставляя сияющий мир в блаженной неподвижности, в отчетливости всякого существования, в каком-то детском бессмертии всего, от черных, будто камни великанского очага, ледниковых валунов до тончайшей водомерки, бегущей, как курсор по жидкому экрану, движимый беспроводным устройством невидимого пользователя. У всех экспедиций наступал момент, когда участники сбивались со счета дней. Тогда и дни, и ночи становились удивительно прозрачными: переставали работать какие-то повседневные механизмы забвения, все происходившее было сегодняшним. Возможно, причиной тому была красота, растворенная в воздухе, выразительно обновлявшая всякий камень и всякую тварь; красота, куда ни бросишь взгляд, отсылала в вечность. Пребывание в вечности — вот что такое были для хитников экспедиции лета 2017-го. Они не знали ни числа, ни часа, не соznавали, живы или умерли. А когда по стечению обстоятельств, казавшемуся там совершенно случайным, они, человек за человеком, вышли к железным дорогам и автобусным станциям, то очутились вдруг в незнакомой стране. Не то революция столетней давности разыгрывалась в виде кровавых мистерий, не то случился, на беду,

разгул уголовщины, не то таинственные политтехнологи играли населением в целях сварить в своих котлах какого-то нового лидера, возможно, прячущего в элегантных туфлях заскорузлые козлиные копыта.

— И что характерно: будто ничего и не происходит, — рассуждал, с шорохом почесывая в бороденке, маленький Витя Шуклецов, испуганный более других. — Никто вокруг не потерял работу, рубль не упал, все на прежних местах. Если не включать телевизор, то вообще можно жить как у Христа за пазухой.

— Уже очень давно ничего не происходит, — отозвался Фарид, сидевший во главе стола. — Ничто не имеет последствий. Никаких перемен вокруг. Нервных просят не смотреть.

На это Меньшиков, меньше всех принимавший участие в дискуссиях, ответил каким-то новым, прежде ему не свойственным пожатием плеч, будто проверял этим неосознанным движением наличие головы.

— Хотите увидеть, что с нами случилось? — предложил он, не адресуясь никому конкретно. — Я сейчас покажу.

Поморщившись, Меньшиков нагнулся под стол, где у него, будто пес у ноги, всегда лежала на разношенном днище бесформенная сумка, и вытащил пухлую книгу. Глянцевые корки, липкие от новизны, были словно залиты фруктовым желе.

— Это что? — потянулся любопытный Рома Гусев. — Опять твоя? Ну ты писатель! Молодец! Дай-ка я погляжу!

Под одобрительный гул голосов книга пошла по рукам. Хитники щупали вещь, заглядывали, приоткрывая, в щелки между страницами, точно там могли быть заложены деньги. Все показывали друг другу фотографию Меньшикова, где он, самодовольный, был похож на консервированный абрикос. Автор, гораздо более бледный, чем на обложке, даже более блеклый, чем собственная его заношенная рубашка, расплзавшаяся по сгибам, будто

старая газета, пожимал протянутые руки и через эти пожатия двигался к темному книжному шкафу, напоминающему поставленный вертикально, с рядами темных клавиш музыкальный инструмент.

— Фарид, я тут пошарю у тебя? — спросил он через плечо, отодвигая тугое стекло.

— Все мое — твое, — церемонно, по-восточному ответил Фарид, хотя в его персональном случае эта формула вежливости то и дело оборачивалась чистой правдой.

Меньшиков пробежался пальцами по корешкам и выдернул небольшую книжку наивного синего цвета, относившуюся, видимо, к тем баснословным временам, когда на последней странице обложки типографским способом проставляли цену экземпляра. Минуту он нежно улыбался ей, будто старому знакомому или, скорее, собственной детской фотографии. Потом положил обе книги на расчищенную от посуды и крошек середину стола.

— Вот это, — он указал на синенькую, — мои первые рассказы. В общем, ничего особенного. Брезжило кое-что в голове, но я тогда мало что умел и природы своей не понимал совершенно. А вот это, господа, моя лучшая вещь, отвечаю. — Меньшиков, будто давая присягу на Библии, положил на фруктовую обложку узкую, бледным волосом подернутую руку. — Сравните и сделайте выводы.

Не все, но многие за столом действительно увидели то, на что Меньшиков пытался указать. Синенькая книжка имела плотность и вес, в ней будто заключалось нечто помимо самой книги — некий ценный слиток, ощущаемый рукой, невольно взвешивающей и ласкающей предмет. Другая, новая, была пуста, как вылушенная шишка, — и эта п у с т о т а совершенно не зависела от текста, а существовала самостоятельно. Книга была бескнижна. Крупный шрифт для малограмотных занимал едва половину ее желтоватых, с опилками, страниц. Казалось, будто роман нанесли на бумагу слишком тонким

слоем, как экономная хозяйка размазывает баночку икры на полсотни бутербродов, — и роман от этого утратил некие свойства, во всяком случае вкус.

— М-да... — протянул посмурневший Вадя Солдатенков, имевший, между прочим, кандидатскую степень по романо-германской филологии. — То-то я в последнее время ничего читать не могу. Раскроешь и видишь: текст для того, чтобы я не забыл буквы. А я их и так вроде помню... Кстати, интересно, какой урод тебе обложку рисовал...

Красотища обложки бросалась в глаза за километр, но как-то сразу становилось понятно, что изображенные на ней блондинка с прической как эклер и красавчик гей в скромных деревенских кружевах не имеют никакого отношения к героям романа. Обложка была для книги будто чужая одежда. По сравнению с этим изданием синенький томик выглядел породистым объектом культуры и действительно увековечивал каждое напечатанное слово — быть может, за счет узнаваемой литературности шрифта, пошедшего и на Владимира Меньшикова, и на Александра Пушкина. От книжки с молодым мелколицым автором на внутреннем фото тянуло почтенным, стариковским запахом библиотеки, тогда как новинка явно не была предназначена для долгого хранения: казалось, где-то среди ее выходных данных должен быть проставлен срок годности “Best before...”.

— Я в своем новом романе, быть может, не меньше Булгакова или какого-нибудь Олеши, — сообщил невозмутимый Меньшиков, игнорируя недоверчивые ухмылки. — Только это никому сейчас не интересно. Ничего не происходит — и не должно происходить. И даже новости по телевизору, в газетах — для того, чтобы не было новостей. Поток информации смывает все, что может иметь хоть какое-то значение. И книгу мою издали, только чтобы не было неизданной рукописи. Чтобы не болталась. Чтобы в тот же поток. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.

— Да брось, Володя, — примирительно осклабился Гаганов, подливая в его нетронутую рюмку так, что водка словно вывернулась наизнанку и расплылась по скатерти мокрым пятном. — Вечно у вас, писателей, какие-то обиды. Жизнь-то в целом нормальная. Роман не оценили, подумаешь, катастрофа...

— Ладно, — Меньшиков махом проглотил очень мокрую водку, дернув кадыком. — У меня один экземпляр, кому подписать? — спросил он, отдышавшись в рукав словно присыпанного содой серого пиджачишки.

— Мне! — выскочил радостный Гусев, опередив зашевелившихся товарищей. — Вы же знаете, как я люблю книжки, — оправдывался он, девически зардевшись в ожидании подарка.

Меньшиков, криво улыбаясь, распахнул до треска свое незадачливое детище и кропотливо намарал для Ромы несколько строчек, приделав к ним свою хвостатую писательскую подпись. Рома принял книгу бережно, будто боялся, что свежие слова осыплются с листа. Пока он сиял и скалился, разбирая узелки мелкого вязаного почерка, Меньшиков снова нагнулся к сумке. То, что он оттуда вынул, было офицерской фуражкой с нашитой вместо кокарды георгиевской лентой.

— Ты что, сдурел? — вытаращился Гаганов, случайно столкнув со стола аптечную склянку, в которой реликтовый волос, прилипший было к стенке, затрепетал, как маленькая молния.

Меньшиков обеими руками, будто делал это впервые в жизни, надел фуражку на свою костистую, грубыми зарубками остриженную голову. Сразу словно исчез пустоватый и длинный штатский пиджак, очертились туго обтянутые скулы, и глаза в хищной тени козырька сделались прозрачными, точно мозг светился сквозь растресканное старое стекло.

— Что ж, схожу повоюю, — произнес преображенный Меньшиков, глядя откуда-то издалека на круг своих това-

рищей, на их большие сутулые плечи и седые макушки. — Хочу, чтобы Господь сказал несколько слов мне лично.

— Кто ж не хочет... — проворчал, поднимаясь, поддавая снизу стол с подпрыгнувшей посудой, грузный Солдатенков.

Остывшее мужское застолье стало разваливаться, гости вслед за Меньшиковым потянулись в тесную прихожую. Там на пустоватой вешалке по соседству со сморщенной, как чернослив, кожаной курткой Фариды, обнаружилась рыжая, какого-то лошадиного цвета самодельная шинелька. Меньшиков, несмотря на теплый вечер, натянул ее, сквозившую кривыми слабенькими швами, и, запахнувшись, стал окончательно не похож на себя прежнего. Хитники, осторожно толкаясь, разбирали погрызенную рифейскими камнями тяжелую обувь, хлопали друг друга по спинам, закуривали на лестнице. У многих на физиономиях был написан новый интерес к происходящему в городе. Ночь была тиха, как погремушка, взятая матерью у заснувшего ребенка, и только чуть пересыпалась мелкими звуками далекой перестрелки.

Крылов, замешкавшись, вопросительно посмотрел на Фариду, и Фарид глазами сделал знак остаться. Прислонившись плечом к косяку, Крылов с печалью глядел на уходящих, остро сознавая, насколько все они уязвимы, потому что желают быть всегда в контакте с собственной судьбой и дергают ее за хвост, чтобы она обернулась. Этим они и были родными Крылову и друг другу: ощущая повсюду присутствие некоей нечеловеческой силы, они не терпели ее пренебрежительного молчания и искали способ вызвать ее на разговор. Тамара была права, утверждая, что эти люди стремятся не б ы т ь. Неопознаваемые для человеческих систем контроля, не имеющие доли ни в одном из дележей, они словно ставили себе на лбы светящиеся метки.

Сейчас трое или даже четверо держались в толкотне чуть-чуть особняком, с крошечными огоньками в сощу-

ренных глазах — что говорило о заразительности примера писателя Меньшикова, явно собравшегося двинуть от дома Фариды прямо на выстрелы. С необыкновенной ясностью Крылов понимал, что в сегодняшнем составе они не соберутся больше никогда.

Через небольшое время в маленькой, насквозь прокуренной квартире был погашен свет. Пьяненький Гусев, укрытый косматым и ветхим клетчатым пледом, похрапывал на диване, прилипнув щекой к подаренной книжке. Через распахнутые форточки тянуло черным, виноградным воздухом августовской ночи, медленно вымывались из комнат серые, как мелкий снегопад, табачные завесы.

Крылов, с ломотой в костях, сидел на квадратной крошечной кухне, под ярко-белым потолком, на котором трепетали, будто звездочки на старой, рвущейся черно-белой киноплёнке, крупные ночницы. Деньги — тысяча долларов в долг — были, как само собой разумеющееся, уже получены и убраны в потолстевший, окрепший бумажник. Теперь Крылов рассказывал свою историю — не торопясь, по нескольку раз возвращаясь к наиболее трудным эпизодам, особенно к тем, где Таня упрямо твердила про несуществующего мужа. Фарид, по локоть в мыльной пене, купал ворчавшую посуду, расставлял сияющие зеркальца тарелок в проволочной сушке и время от времени присаживался напротив Крылова, брал мокрыми пальцами сигарету, отчего табак вылезал из размякшей бумаги рыжими нитками.

У Крылова было смутное чувство, что нехорошо рассказывать Фариду, брошенной серебряной красавицей, про свою любовь, в которой Крылов по-прежнему считал себя счастливым. Однако Фарид внимательно слушал, длинные восточные морщины, бывшие с некоторых пор его настоящими чертами лица, немного размякли, желтые рысьи глаза смотрели спокойно.

— Значит, и к тебе пришла Каменная Девка, — произнес он наконец, наливая себе и Крылову густой, до

кирпичной красноты заваренный чай. — Не искал бы ты ее, если хочешь остаться в живых.

— Извини, но, когда возникают отношения с реальным человеком, как-то уже не верится в сказки, — с вызовом проговорил Крылов и сразу кое-что вспомнил. Странная призрачность всего Таниного состава, блеклость ее всегда вызывала сомнения в ее реальности, которые Крылов сам от себя прятал. На самом деле Татьяна всегда казалась фигурой, просвечивающей с обратной стороны страницы, на которой изображен реальный мир, — и оттого наполненной светом, без которого Крылов теперь не мог существовать.

— Какие же это сказки... — усмехнулся Фарид, не вдруг отвечая на запальчивую реплику Крылова и словно к чему-то прислушиваясь. — Что же вы тогда по-простому не могли? Сняли бы квартиру...

— По-простому было бы... недостоверно, что ли... — Крылов в смущении царапал ложкой в сахарнице, обросшей изнутри шершавыми сладкими комьями. — Понимаешь...

— Да понимаю я все! — перебил Фарид, надрывая кубический плотный пакет и направляя в сахарницу шелковую сыпучую струю. — Кстати, насчет ее супруга. Женщины, в которых вселяется Каменная Девка, говорят, берутся вовсе не из воздуха. У них и свои биографии имеются, даже дети иногда. Такая загубит человека, заведет его в горы, а потом как ни в чем не бывало возвращается на службу и в семью. Ну расцарапает личико ветками, потом врет, что ничего не помнит. Насчет мужа я думаю, что не надо искать сложные варианты, когда на самом деле все просто. Это Анфилогов.

— Да ты что! — Крылов ненатурально рассмеялся и едва не свалился на пол, забыв, что у табуретки нет спинки. — Тут и с возрастом не выходит... — проговорил и сразу вспомнил впечатление, какое Таня производила в сумерки и иногда во сне, когда она не теплела, не

разгоралась румянцем, как это бывает со всеми молодыми существами, а как-то странно остывала, и рот ее делался тонким, с мягкими мешочками в углах. Женщина совершенно без возраста, с несколькими условными морщинами, словно проведенными карандашом по воценой, не берущей грифеля бумаге, — ей запросто могло оказаться пятьдесят с лишним. — И кстати, я как-то раз мельком видел жену Василия Петровича, — поспешно добавил Крылов. — Пожилая, полная, рыжая, в розовой юбке...

— А я видел блондинку лет сорока, костюмчик в талию, на попе бант, — едко сообщил Фарид. — Тебе Петрович прямо сказал, что эта полная приходится ему женой?

— Нет, ты же знаешь, он ничего такого никогда не говорит, никого никому не представляет... — растерянно пробормотал Крылов, чувствуя, как глоток горячего чая немедленно выступает испариной на лбу.

— То-то, — произнес Фарид наставительно. — У Петровича может быть хоть четыре жены, и не потому, что он мусульманин. Ему что Аллах, что Христос — все равно. Он сам по себе. И принцип у Петровича такой: никто и ничто не может быть для него единственным. Ни жена, ни друг, ни паспорт, ни дом. Есть у него знакомец, тихий старикан с дамской стрижкой. Торговец поддельными документами. Что хочешь может выправить. Не видал такого?

— Видал... — Крылов предпочел умолчать, что на старикана вышел сам, чтобы выяснить насчет фальшивых паспортов для побега с Таней в Зазеркалье. Как недавно это было по календарю и как давно: дальний нестриженный угол Алтуфьевского парка, благодушный дедок в грубом, как ряса, коричневом плащике с матерчатой кошелкой на коленях, в которой помимо детских книжек для внука сохранилось, возможно, нечто не совсем легальное...

Значит, Анфилогов. Не зря о профессоре ходили смутные слухи, будто он двоеженец, не то троюженец — и не

из любви к прекрасному полу, а, как догадывался Крылов, ровно наоборот. Во всяком случае, это было как раз похоже на конспиратора Анфилогова: уходить от определенности, клонировать себя, свою судьбу, буквально каждый час собственного времени за счет других людей, их жизни и судьбы.

— И кстати, о доме. — Фарид, ссутулившись, глядел в светящее окошко, где остатки бледной луны напоминали таблетку аспирина. — Петрович наш, ты знаешь, богатый. Мне приходилось слышать, будто он купил особую квартиру, про которую решил, что туда никто не зайдет до самой его смерти. Будто он там выращивает, вот как помидор выращивают в теплице, собственное привидение. И будто, когда он умрет, этот его дубликат станет стеречь нажитые Петровичем сокровища...

Крылов, давно борющийся с зыбкой полудремой, вздрогнул, будто в него попали камнем. Теперь он в точности знал, какие именно двери открывает «сувенирная» Танина связка — ключи и сейчас были при нем, на нем, как нарост на дереве, как лапчатый железный паразит.

— Вот, а в привидения веришь! — воскликнул Фарид, по-своему истолковавший движение Крылова, вдруг испугавшегося спросонок, что потерял дареную связку, и лихорадочно щупавшего складку брючного кармана, грубо набитую железом. — Ладно, утро уже, петухи пропели, призраки растворились. Пора и нам спать. Сейчас разложу тебе кресло. Только вот один последний вопрос, — Фарид неожиданно близко заглянул в глаза Крылову, дохнув на него нагретым спиртом. — Спрашиваю только для того, чтобы понимать, насколько плохи твои дела. Скажи, рубиновые копи, про которые болтают, будто Петрович их нашел на северах, — они существуют?

Крылов беспомощно улыбнулся. Он хорошо помнил правило хиты, по которому о больших находках не положено говорить и не положено спрашивать. Но Фарид продолжал смотреть, нависая над засыпанной сахаром

клеенкой. Тогда Крылов несколько раз кивнул, качаясь вместе с табуреткой над какой-то сонной бездной и странно заходясь сердцем. Он бы многое отдал сейчас за предельную простоту жизни. Но отдавать ему, выходит, было совершенно нечего.

— Значит, так, — угрюмо произнес потемневший Фарид, — теперь выполняй, что я скажу. Никого больше не ищи. Никого не выслеживай. Сиди тихо, жди Василия Петровича, только с ним говори и разбирайся. Ну а если что случится — быстро беги к дяде Фариду, никуда не сворачивая.

* * *

Разумеется, Крылов Фариду не послушал.

Он честно пытался освободиться от женщины, незаконно, безо всякого права, им завладевшей. Мысленно он находил в Татьяне массу недостатков. Но как только прекращалась эта адская работа (чем-то напоминавшая усилия зашить прямо на себе безнадежно изорванную одежду), образ немедленно восстанавливался. Похоже, этому образу нельзя было нанести ни малейшего вреда.

Урон терпел один Крылов. С одной стороны, ему было бесконечно лестно предательство Татьяны: только Крылов понимал, что такое отдать любовнику ключи от убежища мужа, пусть даже не сообщая адреса. С другой стороны, ощущение, будто в собственной его квартире кто-то бывает в его отсутствие, многократно усилилось. Почему-то при уборке набиралось слишком много мусора: столько не могло получаться в полупустом помещении и от одного человека. Заметая в совок порождаемую этим пространством призрачную пыль, в которой не было ничего земляного, Крылов обнаруживал в ней лепестки целлофана, какие-то комочки сморщенной гнили, мелкие железки, объяснить происхождение кото-

рых было невозможно. На всякий случай он проинспектировал запасные ключи, всегда хранившиеся внутри квартиры, никогда из нее не выносившиеся. В гулком ящике легкой оранжевой тумбы болтались две запасные, вошными шнурками обкрученные связки: вместе с комплектом, который носил с собой Крылов, получалось три. Но ему почему-то мерещилось, что изначально их было четыре.

Поглощенный всеми этими переживаниями, он на какое-то время совершенно забыл про Тамару, точно ее никогда не было на свете.

Он уже почти не смотрел телевизор, по которому вместо новостей теперь крутили старые фильмы. Изредка оставаясь у матери, он машинально прошаривал каналы и натывался то на кваканье голливудской комедии, то на павлиний вопль очередной певички, одетой в сеточки и блески. Заслышав бравурный марш «Покойника года» и увидав во весь экран мерцающую, обрамленную засахаренными локонами физиономию Дымова, Крылов уже хотел нажать на кнопку пульта. Но тут Дымов отплыл, открылась рукоплещущая студия с зеркальным полом, на который как раз вступала, смело ставя туфли на свое танцующее отражение, великолепная Тамара.

Видимо, начинался тот самый эфир, по поводу которого так долго велись переговоры. Чувствуя тягостное раздражение и странную покинутость оттого, что все происходящее его больше не касается, Крылов приготовился смотреть. Тамару со всем почетом препроводили в кресло главного гостя — тяжеленное сооружение темного дерева без подлокотников и с готической спинкой, чей не различимый для глаза угол наклона, как было известно Крылову, не позволял сидящему распрямиться. Тамара, однако, сумела сесть красиво, скрестив светлые ноги и держась прямой спиной в неуловимом миллиметре от пригибающей доски. На ней было незнакомое Крылову пламенистое платье, в высоко заколотых волосах что-

то рассыпчато взблескивало — сквозь пыльное стекло экрана подробностей было не разглядеть.

Камера прошла по студии, и Крылову крайне не понравился состав приглашенных. В первых рядах не было ни одного значительного, холеного лица, то есть ни одного серьезного оппонента, способного гарантировать своим присутствием вменяемый уровень шоу. Лица были сплошь народные, простые, все с глубоким оттиском неудовольствия, который не разглаживался от вызываемых Дымовым умиленных улыбок. Преобладали женщины лет сорока с тонкими наслюенными бровками и лучистыми ресничками, словно нарисовавшие косметикой собственные юные мордочки на той широкой и пористой массе, которая имелась ныне в их распоряжении. Все это вместе напоминало заводское профсоюзное собрание. Декоративные гробы, в очертаниях которых было что-то военно-морское, корабельное, плавали по воздуху резными кормами вперед, приводимые в движение сложной системой серебристых блоков и шнуров. Голенастые девицы, исполняющие в программе танцевальные номера, щеголяли на этот раз в шелковых буденовках, коротюсеньких жакетках, усаженных крупными красными орденами, и в умопомрачительных сетчатых колготках.

— А теперь встречаем наших экспертов! — праздничным голосом провозгласил ангелоподобный Дымов. — Андрей Андреич Горемыко, кандидат технических наук!

Вызванный господин робко раздвинул бисерную завесу, из-за которой появлялись гости, высунул до половины, затем вышел весь. Телом, узким в плечах и равномерно расширявшимся от подмышек, он напоминал какого-то крупного грызуна; седая полоска растительности маскировала, как могла, отсутствие подбородка, вместо которого свисал мешок. Вид у господина Горемыко был дрессированный. Осторожно, приставными шажками эксперт пересек предательское зеркало и сел, вцепившись

двумя руками в края квадратного столика, на котором у него лежали какие-то папки.

— И председатель Рифейского женского комитета, депутат городского собрания Аделаида Валентиновна Семянникова! — выкрикнул Дымов, перекрывая бешеный, как взлет тяжелой голубиной стаи, взрыв аплодисментов.

Госпожа Семянникова, несомненно, была в отличной форме. О борта и лацканы превосходно отутюженного френча можно было порезаться, голова, вбитая в плечи, сидела крепко, не оторвешь. Если бы Крылов по какой-то причине создавал для личного пользования образ врага, он не смог бы вообразить ничего лучше этих радостных глаз навывкате, этой щучьей улыбки. Усевшись за столик, симметричный горемыковскому, Аделаида залпом выпила стакан минеральной воды и тут же, обмахиваясь платочком, выпила еще.

— У нас сегодня особенный эфир, — начал Митя вкрадчиво и необычно для него литературно. — К нам пожаловал гость, которого мы ждали с тех пор, как открылась наша программа. Госпожа Тамара Крылова известный в городе человек. Ее знают как блистательную светскую львицу и щедрую благотворительницу. Но у этой ослепительной женщины совсем не женский бизнес. Фирма «Гранит», ритуальные услуги. Причем услуги, скажем так, оригинальные. Тамара, — сердечно обратился он к вытянутой в струнку гостье, видной всем от макушки до кончиков туфель, — расскажите, что нас ждет, когда после смерти мы все попадем к вам.

— После смерти вы попадете не ко мне, — возразила Тамара с мягкой улыбкой, держа на отлете пушистый, на синюю гвоздику похожий микрофон. — Там, где мы будем, каждому воздастся по вере. «Гранит» работает здесь, по эту сторону черты. Мы стараемся для живых людей: родных и близких усопшего. Мы рядом, чтобы смягчить утрату и облегчить труд похорон.

— Расскажите, расскажите подробнее! — нетерпеливо воскликнул Митя, жадно вглядываясь в жертву, не выказавшую пока ни малейшего признака замешательства. Многие в студии подались вперед, тут и там женские глаза увлажнились, какой-то тощий активист, морщинистый, словно почерканный карандашом вдоль и поперек сердитого лица, уронил с колен исписанные листочки.

— Я постараюсь объяснить как можно понятнее, — начала Тамара, доброжелательно глядя на собравшихся. — Мы все хотим жить хорошо, на современном уровне. Нас интересует мебель, бытовая техника, одежда. Но прощание с близкими — тоже часть нашей жизни. Каждому из нас однажды приходится это делать. Разве не важно, чтобы ритуал прошел достойно? Разве не смягчается горе, если усопший уходит от нас, окруженный красотой? Но смотрите: все вокруг усовершенствуется, только не похороны. Меняются стили, технологии. А у нас по-прежнему эти вульгарные цветочки из бумаги, гробы с кружевцем. Все это отдает инвалидностью, тюрьмой. Кто обычно подвизается в нашей сложной области? Инвалидные артели и бандиты. Уже это одно бросает на ритуал угрюмую тень. У близких, провожающих усопшего, возникает чувство обреченности, многие потом страдают депрессией...

— А вы праздник, что ли, хотите устроить из похорон? — петушиным голосом выкрикнул с места активист.

— Друзья, вопросы госпоже Крыловой зададите после, — осадил активиста нарумяненный Дымов. Было, однако, заметно, что он доволен разогревом аудитории, толкавшейся локтями и ерзавшей на стульях.

— Отчего же, я отвечу, — откликнулась Тамара, посылая тощему гаду одну из самых мерцающих и драгоценных своих улыбок, какой многие большие персоны мечтали удостоиться. — Не праздник, конечно, но благородное, эмоциональное действие, как в хорошем театре. Для этого мы хотим убрать весь традиционный убогий анту-

раж, предложить нашим клиентам совершенно иные концепции ритуалов...

— А про чувства у людей вы подумали?! — вдруг раздался в студии скандальный крик.

Камера быстро нашарила кричавшую: заплаканную женщину с желтыми волосами цвета банановой кожуры, в черном газовом платке и в черной майке с растянутым на рыхлом бюстгальтере логотипом Adidas.

Аудитория сочувственно зашумела. Дымов, картинно сдаваясь, развел руками в белых кружевных перчатках. Одна из девиц, придерживая буденовку, побежала к женщине с микрофоном. Другие девушки из кордебалета, явно оставшиеся на сегодня без работы, столпились у декоративных надгробий и о чем-то темпераментно шептались, вхолостую пританцовывая одинаковыми сетчатыми ногами в лакированных туфлях.

— Да я уже спросила, пусть ответит, — сказала тетка в микрофон неожиданным мокрым басом. — Интересно, как она инвалидов поувольняла со своего «Гранита»...

— В самом деле, хотелось бы узнать, — перехватила микрофон уверенная дама в светлом деловом костюме, довольно тесно на ней сидевшем, — какова судьба работников из Общества слепых, которых, как известно, защищает закон?

— Ни один из инвалидов не уволен, просто мы перевели артели на выпуск другой продукции, — ответила Тамара с той особенной, отчетливой любезностью, по которой было понятно, что она уже общалась с уверенной дамой и мнение о ней составила невысокое. — Сейчас слепые клеят елочные игрушки и гирлянды, а мы у них все это закупаем для детских домов. Уверяю вас, такая работа, в которой много праздника, больше подходит для инвалидов. Они ведь наивны и чутки, как дети...

— У меня другая информация, — продолжала настаивать дама, крепко держа микрофон, к которому тянулось сразу несколько рук. — У нас есть жалоба от Се-

ребрякова Геннадия Петровича, которого вы освободили от работы...

— Серебрякова мы именно освободили и отправили на лечение в наркологическую клинику, — перебила Тамара, быстро и некрасиво поморщившись, после чего вернула на лицо ледяную любезность. — Если бы мы этого не сделали, то Геннадий Петрович очень скоро оказался бы в числе льготных клиентов «Гранита». Меня удивляет, как вы сумели подбить этого бедного, ничего не соображающего человека на составление жалобы...

Последние слова Тамары потонули в кипучей набегающей музычке, под которую девицы, не успевшие рассредоточиться по местам, автоматически сделали несколько синхронных движений.

— Мы вернемся после рекламы! — выкрикнул, аварийно выныривая в кадре, кукольный Дымов.

Гробы закружились каруселью. Видимо, Митя все-таки трусил, несмотря на санкцию устроить судилище, спущенную, надо полагать, из медиаслужбы самого губернатора. По экрану пошла рекламная заставка «А-студии» — солнце, видимое из водной толщи, похожее на синюю яичницу, и веселый, с головой как калоша, прорезиненный дельфин. Далее длинноволосая фея, утопая в наслаждении, подставила сосуд под гладкую струю безалкогольного дамского пива — и Крылов, спасаясь от роковой красоты плавных рекламных существ, отправился на кухню, где бормотал пластмассовый, густо населенный тараканами радиоприемник. Мать, сердитая и сонная, сидела на табуретке перед чашкой желтого чая, на коленях у нее мурчала, растекшись толстым пятнистым блином, беспородная кошка.

— Значит, по телевизору показывают твою бывшую, — сказала мать бесцветно, почесывая пальцем щетинку на кошачьем нахмуренном лобике. — Она мне тут на все праздники подарки присылает. Сама глаз не кажет, боится. Отправляет шофера. Ну а я все заворачиваю обратно,

даже не смотрю. Сама бы явилась, я бы с ней поговорила. А то ишь, шоферов присылать, да еще разных, и все молоденькие, совести нет у нее...

Крылов, залившись краской, кое-как сдержался. Тамара всегда была хорошей, терпеливой невесткой, и если бы мать не вцепилась мертвой хваткой в эти прогнившие, шубой старых обоев покрытые стены, давно бы жила в приличной квартире. За свою почтительность и щедрость Тамара получала от свекрови только нелюбовь — органическую, с поджатыми лиловыми губами, без объяснений и причин; подарки от нее принимались только в виде украшений из жирного желтого золота — должно быть, и сейчас золотой перепутанный ком с крупными мухами сережек и калачами массивных браслетов хранится где-то в недрах отсыревшей мебели, куда и мать не заглядывает годами.

— Ну давай, беги обратно к ней, любуйся. Она уж и думать про тебя забыла давно. — Мать, сбросив с колен меланхоличную кошку, у которой вместо ушей были куцые рваные клочки, прибавила громкости радиопередаче, что-то толковавшей про неопознанные летающие объекты.

* * *

Пробиться сквозь безумие матери было невозможно. Похоже, сегодня все отказывали Тамаре в справедливости. Кое-как соорудив из ватной булки и зачерствевших, красных, как ссадины, ломтей ветчины подобие сэндвича, Крылов вернулся к телевизору. Реклама уже закончилась, и во весь экран красовалась, поигрывая ожерельем из крупных шелушащихся жемчужин, госпожа Семянникова.

— ...у Крыловой хорошие юристы, — говорила она грудным, немного булькающим голосом, который почему-то всегда завораживал слушателей. — Мы не найдем у «Гранита» мелких нарушений. Но не в этом же суть, не в этом суть! Духовность и нравственность! Духовность

и нравственность! Вот что волнует людей! А людей, скажу я вам, не проведешь. Нет, не проведешь! — Семянникова светлыми глазами навывкате обвела внимающую студию, мазнув взглядом по девицам, рефлекторно стиснувшим шикарные коленки. — Госпожа Крылова думала, что эта программа станет бесплатной рекламой ее процветающей фирмы. Нет, но мы же с вами не идиоты, — Семянникова недобро хохотнула, словно пробурлила закипающая жидкость. — Нам известно очень хорошо, что в «Граните» над чувствами людей проводятся эксперименты. Людям, только что потерявшим близких, предлагают сыграть в лотерею! Что это такое, если не кошунство?!

— Ее уже за это били! — выкрикнул с места, привскочив, хрящеватый тип в очочках, сверкнувших наискось стеклом и сталью.

— А вот в этом нет ничего положительного, — назидательно проговорила госпожа Семянникова, и тип, смешавшись, шаря позади себя, опустился на стул. — Мы, Рифейский женский комитет, принципиально против подобных эксцессов, и если госпожа Крылова обратится к нам за содействием по этому факту, мы окажем ей всю необходимую помощь.

Студия заплодировала. В сторону разомлевшей Семянниковой полетели мелкие букетики. За симметричным столиком эксперт Горемыко сидел в дисциплинированной позе, на лбу его образовалась водяная баня. Должно быть, Горемыко плохо понимал происходящее и сильно волновался перед собственным выступлением. Если бы Крылов мог уничтожить гнусное действо, грохнув об пол пыльный телящик со всем его содержимым, он бы сделал это непременно. Но он продолжал сидеть и рвать зубами вязкий сэндвич, глотая тугие куски и мыча бессильные ругательства.

Тамару почему-то очень долго не показывали. Но вот она появилась в кадре, сидя уже на самом краешке средневекового кресла.

— Вы говорите: чувства людей. И когда вы так говорите, вами движет не гуманность, а трусость. — Голос Тамары звучал отрешенно, она глядела широко раскрытыми глазами куда-то мимо студии с ее гробами, девицами и замершим Дымовым, похожим на шоколадного зайца в серебристой фольге. — Когда мы провожаем близких, мы подавлены страхом. Нам кажется, что в этот день мы обязаны всеми своими чувствами принадлежать смерти. Мы совершаем символическое жертвоприношение, не позволяя себе даже думать о том, что жизнь продолжается и что у жизни тоже есть права. Не позволяем себе быть живыми. И потому даже скорбь наша — фальшива...

— Да как вы смеете! — выкрикнул хрящеватый очкарик, наморщив пятнышко лба.

— Вот так и смею, — отрезала Тамара, даже не повернувшись к злопыхателю, нервно поправлявшему похожий на перо жар-птицы шелковый галстук. — Я заставляю провожающих выйти из вагона. Разрушаю кабальный договор, якобы заключенный между ними и старухой с козой. Поскольку все загипнотизированы, требуется резкое действие, выходка, если угодно. Наша лотерея для этого вполне подходит.

Камера уже держала наготове крупным планом уверенную даму, собравшую губы в крученую ниточку.

— Позвольте-позвольте, — перебила она Тамару, быстро скосив глаза на чью-то оставшуюся за кадром режиссерскую отмашку. — Три года назад главный приз вашей лотереи, тур на Карибы, выиграла Кучерова Нина Сергеевна. Известно ли вам, что стало с пожилой женщиной, поддавшейся вашим соблазнам?

— Разумеется, — Тамара пожала прекрасными крупными плечами, вспыхнувшими под легкой тканью. — Тогда на Карибах погибло от стихийного бедствия много российских туристов — всего сто восемнадцать человек.

— Не кажется ли вам, что это был ответ природы на вашу лотерею? — вкрадчиво вмешалась госпожа Семян-

никова, указывая на возникший перед зрителями студии экран.

Хроника наплыла и раздвинулась во весь телевизор. Море, неправдоподобно зеленое, мятное, с полосами дымчатых нежнейших миражей, внезапно вспухло и хлестнуло, вынося из хорошеньких бунгало плетеную обстановку. Следующие кадры были знакомы по трехгодичной давности новостям: мертвые серые пляжи, словно налитые жидким свинцом; граница кипящего моря и суши, заваленная обломками, похожая на баррикаду, которую море никак не может разрушить и растащить, а суша не может удержать. Апофеоз урагана — бешеная мгла и тени во мгле, крутящиеся, машущие, угловатые; пальмы враскачку, словно снимающие через голову мокрую рванину; и вот она — та самая тень, не то человеческая, не то коровья, с нелепо заломленной головой, русского, как утверждали, происхождения, косо взлетает в небеса.

— Остановите и увеличьте, пожалуйста, — раздался за кадром спокойный голос Тамары.

Хроника, дрогнув, отмоталась чуть назад, силуэт человека-коровы застыл и стал толчками расширяться, приближаясь к зрителю. Но вместо того чтобы делаться детальнее и четче, он становился все бесплотнее, все прозрачнее, пока не показалось, что зрители просто проходят сквозь него, будто сквозь притемненный воздух.

— Это графика, — прокомментировала Тамара с удовлетворенной улыбкой. — Фальшивка, и даже не очень качественная...

— Не меняет дела! — закричали ей из студии.

Впрочем, кое-кто из приглашенных, несмотря на классовую неприязнь к прекрасной гробовщице и полученные перед эфиром строгие инструкции, явно начал сомневаться, на той ли стоит стороне. Грубые лица смягчились. Желтоволосая женщина в нелепом трауре, открыв рот, недоуменно глядела на серый экран, на котором остановилась пустота.

— Это не вы кричите, это ваш страх кричит. Но я вам говорю, что можно не бояться смерти, — Тамара, бледная, с мокрым бликом на переносице, слегка раскачивалась на стуле, сама себя держа за запястье руки, державшей близко к лицу махровый микрофон. — Знаете ли вы, что многие патологоанатомы втайне пишут стихи? Я это обнаружила, когда стала заниматься «Гранитом». Вот вам одна из загадок пограничной области между жизнью и смертью. Я не очень люблю поэзию. Но как раз на таких, как я, не употребляющих стихов, сильно действуют отдельные строчки. Когда я только начинала ритуальный бизнес, устраивала первый офис, мне попала вместе со старой мебелью тетрадка без корок. Она осталась от врача, которого на тот момент тоже не было в живых. Не вспомню сейчас фамилии автора, но вот что он написал: «Хочу, чтобы остался отпечаток / На морде смерти от моих перчаток». Я поняла, что это про меня. Хочу, чтобы смерть не смела брать больше, чем ей положено. А коль скоро мы живем в материальном мире, я пытаюсь достичь этого материальными средствами, вот и все.

Крылов на своей истонавшейся кушетке расслабился и вздохнул, только теперь осознав, что уже довольно давно не вдыхал вдоволь воздуха. Ему не хотелось дальше смотреть на Тамару, явно опять победившую. Тем более не хотелось любоваться Дымовым, непринужденно, в позе денди, облокотившимся о позлащенное надгробие, украшенное овальным портретом какой-то красноротой блондинки.

Но что-то в выражении мордочки поганца вновь зацепило Крылова, и он остался на канале, в распоряжении щедрых на крупные планы операторов студии. И сделал это не напрасно, потому что на экране, словно по недосмотру режиссера, вдруг пошла совершенно другая хроника. Судя по горному очерку, по преобладанию в нем прямых углов, это был рифейский север, довольно близкий к Приполярью. Показывали большую площадку со-

вершенно голой земли — земли, не похожей на землю, а скорее на какую-то окаменелую накипь, без следа пестровой рифейской узорчатости, без единой травинки на пологих горбах. Площадку окружал по периметру невысокий лес, скучный, как забор. Камера вгляделась, и стала понятна причина этой скуки: лес был полумертвый. Шершавые останки маленьких сосен напоминали прожженные железные прутья; на листовенных породах тут и там торчали голые, мертвые ветки, реденькие кроны были цвета желчи.

— Дорогой Андрей Андреич, теперь нам нужна ваша помощь, — ласково обратился Дымов к вскочившему Горемыко. — Сядьте, сядьте, пожалуйста! — Эксперт неловко плюхнулся, перепуганно глядя на Дымова мутными сизыми глазами двухнедельного котенка. — Скажите, вам знакомо это место? — Дымов сдержанным жестом указал на экран.

— А-кх-да. Знакомо. Конечно. Да, — Горемыко бросил быстрый взгляд на мертвую картинку и поежился. — Это один из участков кучного выщелачивания золотообогатительной фабрики «Северзолото». Бывшей фабрики, так сказать...

— А какую должность вы занимали на «Северзолоте» с тысяча девятьсот восемьдесят восьмого по девяносто четвертый год? — вкрадчиво спросил ведущий.

Тут Горемыко сделался бледен, будто запотевшее стекло.

— Главный инженер, — выдавил он, промокая лоб каким-то серым комком.

— Теперь расскажите нам, что такое цианирование. — Дымов упругими шагами мерил периметр с экспертом внутри, и камеры преданно держали то тот, то этот выгодный ракурс его до лунного блеска напудренной физиономии.

— Цианирование — это один из способов переработки золотосодержащих руд, — послушно забубнил Горемыко, дрожащими пальцами шевеля приготовленные бу-

мажки. — Способ основан на свойстве цианидов растворять благородные металлы в присутствии кислорода. В растворе используется цианид натрия...

— Токсично ли это вещество? — перебил эксперта Дымов, никогда и ничего не понимавший в химии, равно как и в других предметах школьной программы. Теперь ему, похоже, очень нравилась роль лощеного прокурора, который допрашивает в суде трепещущего свидетеля.

— Дело в том, что цианид-ион образует соединения со многими элементами, — продолжал бормотать Горемыко, бегая глазами, чтобы не смотреть ни на кого конкретно. — Есть токсичные, есть относительно безопасные. Самой токсичной формой является молекулярный цианистый водород. Но это недолговечный токсин. Поэтому на «Северзолоте», как и везде в мире, использовался метод пассивного обезвреживания площадок кучного выщелачивания...

— То есть руду, политую цианидами, просто оставляли лежать и обезвреживаться? — уточнил сообразительный Дымов, не обративший внимания на ученые объяснения оппонента.

— Под рудные штабеля кладется усиленный экран! — плачущим голосом выкрикнул эксперт.

— Ну хорошо. — Дымов, заложив руки за спину, остановился напротив Горемыко, который попытался уменьшиться, как можно плотнее оседая на стуле. — Если этот ваш экран треснет и вещества попадут в грунтовые воды, могут они снова стать ядовитыми?

— При известных обстоятельствах, — прошептал Горемыко, жмурясь.

— А это что такое?! — патетически воскликнул Дымов, указывая на экран, где показывали под мертвыми ветвями какое-то дохлое животное, от которого осталась грязная шерсть да мелкий костяной оскал.

— Известные обстоятельства... Вернее, неизвестные... — еще тише прошелестел Горемыко. Там, на траве,

были видны непонятные пятна, как будто по подсохшим перьям и будылям прошлись зеленой масляной краской. Камера дала панораму: два, не то три участка перекипевшей земли, разделенные редкими, будто ресницы, полосами березняка, и похожее на воздушный детский шарик маленькое НЛО, которое низко плыло над этими бесплодными полями, пробуя почву спущенной ниткой.

— И что же произошло с вашей фабрикой в девяносто четвертом? — снова задал Дымов наводящий вопрос.

— В девяносто четвертом фабрика была закрыта, — сообщил Горемыко, слегка задыхаясь. — Месторождение «Заячье» истощилось и было признано неперспективным. Было сочтено наиболее безопасным слить растворы в специально построенные резервуары с противофильтрационной защитой. И остатки цианистых солей с химического склада также были законсервированы...

— То есть закрыли фабрику и бросили отраву без присмотра? — язвительно прокомментировал Дымов, глядя сверху вниз на бледного эксперта.

— Да поймите вы! — вскричал Горемыко, поднимая кривое от горя лицо к своему нарядному мучителю. — Вывозить цианиды по тем разваленным проселкам... Только недавно была большая авария в Китае... А у нас ни транспорта, и очистные уже не работают, все задом наперед! Если бы при строительстве хранилищ соблюдались технологии, не было бы ровно никакой опасности! Гарантированно!

— Если бы! — Митя многозначительно поднял тонкий указательный. — Какое интересное сослагательное наклонение... Но к нему мы вернемся позже, а пока посмотрим еще немного хроники!

На экране возникла как бы внутренность огромного бетонного яйца. Свет, то скошенный и бледный, то округлявшийся до полной яркости летнего дня, проникал в сырое подzemелье через верхний люк. Сырость сгущала застоявшийся воздух, ползла по стенам, будто остатки

варенья. Там, на стенах, отчетливо просматривались темные полосы — то тоньше, то жирнее, то ближе, то дальше друг от друга, словно подземелье было вазой, из которой пил зацветшую воду чудовищный букет. Из люка свисала тонкая, норовившая закрутиться веревочная лестница — и по ней медленно, по очереди спуская толстые ноги в бесформенных бахилах, слезали две неуклюжие фигуры, целиком обшитые мятой серебряной тканью.

Чем-то эти фигуры напоминали меловые контуры, какие остаются на полу от убранных покойников для нужд дальнейшего следствия, — как если бы эти контуры поднялись и стали передвигаться. Съемка не была профессиональной: камеру мотало, было понятно, что снимает такой же третий, иногда попадали в кадр его рубчатые толстопалые перчатки. Сбоку на стене обнаружился технический балкончик изъеденного железа: там первые двое, отражаясь друг у друга в лицевых щитках, принялись монтировать аппаратуру, состоявшую из каких-то спиральных проволок и зеркальных цилиндров, а камера вместе с лучом фонаря, почти от корня растворявшегося в серой рассеянной мгле, заглянула вниз. Внизу лежало дно: растресканное, оно напоминало матерую мертвую паутину в заброшенном углу, полную мусора и кусков штукатурки. Было видно, что бетон подземной емкости изначально представляет собой пирожок из песка. От цианидных растворов, слитых сюда пятнадцать лет назад безо всякой очистки, осталось что-то вроде темного желе — осадок зла, чью вязкую влажность поддерживали не остатки растворителя, но грунтовые воды, дышавшие и сопевшие вокруг разрушенного хранилища, в котором словно плавали серебристые мятые космонавты.

— Похоже, ваши растворы целиком ушли в землю, — произнес Дымов за кадром и тут же оказался в кадре, румяный, как редис.

— Так сэкономили много, — устало и язвительно произнес Горемыко. — Ни тебе гидроизоляции, ни дренаж-

ного слоя, и бетон самых дешевых марок. Да еще песку в него побольше... — Облокотясь, он закрыл бледное лицо темной рукой с оттопыренным мизинцем, похожим на седую набрякшую гусеницу.

— Так, Андрей Андреич, не расклеивайтесь, пожалуйста, — забеспокоился Дымов, подступая поближе к эксперту. — У нас остался один, самый главный вопрос. Кто именно сэкономил? Кто украл деньги, отпущенные правительством области на захоронение цианидов?

— Генеральный подрядчик и украл, — эксперт, всхрипнув, отер лицо и покосился куда-то за спину. — ЗАО «Стройинвест». Директор и владелец — госпожа Крылова Тамара, вон она сидит.

Но Тамара уже не сидела. Она стояла возле незыблемого трона в неодернутой юбке, дрожа на каблуках.

— Какая дата съемки?! — выкрикнула она девчоночьим голосом, отмахивая волосы со лба. — Я видела цифры в углу, дата съемки, пожалуйста!

— Госпожа Крылова, сейчас мы не с вами говорим, сейчас выступают эксперты! — Дымов замаечил рукой кому-то из студийной obsługi. — Да выключите первый микрофон! Аделаида Валентиновна, прошу!

Тут же помолодевший голос Тамары исчез из акустической системы; собственный ее почти не слышный крик перекрылся воркованием Семянниковой, державшей свой микрофон как лакомство и трогавшей заостренными пальцами мелкий барашек прически.

— Вот так нам и открываются простые человеческие истины, — говорила Семянникова, матерински улыбаясь всем, и даже поскучевшему Горемыко. — Вот таково происхождение денег, на которые госпожа Крылова построила загородный особняк, на которые основала фирму «Гранит». Но не деньги она украла, нет, не деньги! Она украла жизнь у природы и, возможно, у людей, да, у людей! В районе экологической катастрофы четыре населенных пункта! В одном расположена средняя школа!

И после этого госпожа Крылова будет утверждать, что она противница смерти? Да она и есть Госпожа Смерть! Смотрите на нее!

Все и без того смотрели на Тамару, вдруг швырнувшую бесполезный микрофон куда-то за резное кресло. Шагая высоко и нетвердо, будто пытаюсь выпутаться из своего прилипчивого отражения в зеркальном полу, она направилась к Дымову, вдруг заулыбавшемуся какой-то человеческой, жалкой, дрожащей улыбкой. Пощечина, которую отвесила ему тяжелая, с золотой плитой на ладони рука госпожи Крыловой, была сокрушительна. Митя, теряя равновесие, повис на карусели с закачавшимися гробами, на левой щеке у него вспухла багровая лепеха, изо рта потянулась, наполняясь алым, нитка слюны. Глаза у Мити были плачущие и совершенно бессмысленные. Вся студия вскочила на ноги, и Крылов вскочил тоже. Он успел еще увидеть, как Митю поднимали, выпутывая из перекошенных карусельных снастей, и как сшибались в воздухе гробы, растрясая цепкие вороха искусственных цветов. Затем по экрану безо всяких титров побежала анимационная заставка «Покойника года»: скелетики, похожие на канцелярские скрепки, отплясывали канкан.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

Первым порывом Крылова было немедленно звонить Тамаре на мобильный, вероятно, оставшийся на время эфира где-то в гримерке. Много раз он собирался с духом и подступал к нахмуренному, словно глядящему исподлобья телефону, но на третьей или четвертой цифре набора волнение становилось нестерпимым, и он, проклиная себя, хлопал трубку на рычаги. Ему мерещилось, будто Тамара может по телефону схватить его за руку. Он крутился возле старого желтого аппарата, будто медведь возле злобного и лакомого улья. Наконец, настучав на стертых кнопках родной, как собственная дата рождения, восьмизначный номер, он выслушал любезное сообщение, что абонент недоступен.

И на следующий день, и на другой все известные Крылову номера оказывались либо отключенными, либо отвечали бесконечно длинными гудками. Между ним и Тамарой вдруг возникла стена телефонной немоты, словно сделанная из непробиваемого и упругого стекла: при каждой попытке пробиться Крылов ощущал ее тугую силу, ответную вибрацию враждебного пространства. Лишь однажды офисный мобильник, обычно находившийся при Тамарином шофере, отозвался харкающим голосом Кузьмича, бывшего владельца фирмы «Гранит». Даже ему

Крылов обрадовался, будто родному. Только Кузьмич не был склонен к долгим беседам. Он надсаживался, перекрикивая гул и вжиканье какого-то шоссе, и временами пропадал, точно срезанный бензопилой.

— Нашу-то, видал, закрыть хотят! Дело уголовное завели! Ты сюда больше не звони давай, нечего тут тебе названивать, бывшему! — С этими словами Кузьмич отключился и канул туда же, куда провалились все сотрудники и обслуга Тамары, вся ее деловая машина, еще недавно превосходно работавшая, а теперь рассыпанная на мелкие части.

По утрам Крылов скупал газеты, чего давненько не делал из естественной брезгливости к испачканной бумаге. Теперь он рылся в пестрых толщах с единственной целью: отыскать информацию о Тамаре и что-то вычитать в сереньком пространстве между слепеньких строк. Вконец одичавший «Рифейский комсомолец», состоявший из одних картинок и оттого похожий на ворох тряпичных лоскутьев, дал целую полосу, посвященную отношениям Тамары и Дымова, причем лица у всех персонажей были колбасного цвета. Более культурные «Губернские ведомости» поместили комментарии юриста и эколога: выходило, что благосостояние Тамары зиждется буквально на беде всего Рифейского края и в действиях ее имеются составы многих преступлений, включая нанесение увечий средней тяжести, поскольку телекомментатор Дымов получил в прямом эфире сотрясение мозга. Много было еще зловещего, мутного, тревожного. Бойкие перья писали про «цианидную осень» в рифейском Приполярье, про мумифицированные деревья и массовую гибель рыбы, плавающей в водоемах, как разбухшие окурки. Писали про якобы виденные егерями трупы туристов, у которых слизистые были как гнилые помидоры, что явно свидетельствовало об отравлении цианидами. Все это напрямую связывалось с Тамарой Крыловой, Госпожой Смертью: журналисты не опасались исков и перли напролом,

из чего Крылов заключал, что им была дана команда из весьма высоких, практически недостижимых сфер.

К высочайше санкционированной травле присоединились все, кто только мог. В «Рифейском наблюдателе» — склочном таблоиде, пересыпанном зернью опечаток, — появилось между прочим полосное интервью с бывшим владельцем «Гранита». Там добрейший Кузьмич, показанный на фото с разведенными руками и разинутым ртом, похожим на дупло, душевно делился подробностями, как у него отнимали взлелеянную, насквозь традиционную и очень законопослушную похоронную фирму. При этом про «Купол» нигде не было ни слова. Должно быть, организаторы кампании все-таки боялись неопровержимой истины, каким-то образом заключенной в немом и бесконечном сооружении, созданном в стороне от привычных путей человеческой архитектурной мысли — и словно безо всякой мысли о живом человеке. Но, скорее всего, главная причина газетного молчания заключалась в страхе предполагаемых клиентов «Купола» вновь почувствовать себя не просто мертвыми, а коллективно мертвыми. Крылов предполагал, что неприязнь друг к другу, возникшая на памятном собрании в Тамарином офисе, через какое-то время даст свои плоды. Рифейская элита развалится просто потому, что страшно будет оставаться вместе — и может быть, что все финансовые, политические, криминальные связи, делавшие этих персонажей буквально семьей, в какой-то яркий миг покажутся каждому из них ничтожными перед лицом небытия.

Мистическое чувство всякого рифейца, что все, происходящее с лесами, водами, зверьем, имеет отношение лично к нему, у Крылова как-то притупилось. Сказать по правде, сейчас ему было плевать и на экологическую катастрофу, и на сомнительное происхождение Тамариного бизнеса. Ему хотелось одного: поговорить с Тамарой полчаса, убедиться, что она не пала духом и знает, что делать. Ее раздражающее отсутствие было особенно болез-

ненно на фоне мыслей о пропавшей Тане, точно женщины сговорились устроить Крылову персональный ад. От Анфилогова до сих пор не было вестей. Крылов старался не думать о том, что экспедиция профессора направилась как раз туда, где, по заверениям газетенки, все живое дошло и сошло на корню. Наверняка реальная опасность была гораздо меньше, если существовала вообще. Но в судьбе Крылова работала дурная логика распада: не отвечали телефоны бывшей жены, молчал мобильник работодателя, все люди исчезали куда-то — и по этой логике он мог никогда не дожидаться профессора, не задать ему нескольких важных вопросов. Впрочем, профессор умел не отвечать — а вернее, умел устроиться так, чтобы люди не знали, как его спросить. Крылов, бормоча себе под нос, тоже не находил формулировки, которая вынуждала бы профессора поделиться информацией. «Василий Петрович, не дадите мне телефон той беленькой девушки, что была на вокзале, она случайно забыла у меня какие-то ключи?» — «Не беспокойтесь, друг мой, бросайте ключи сюда, на днях передам». Или: «Профессор, мы с вашей женой встречались два месяца, мы любим друг друга, но так получилось, что она не оставила мне телефона». — «Но, дорогой мой, как же я могу дать вам номер, если она сама этого не сделала?»

Все исчезало куда-то, даже соседи, долбившие снаружи убежище Крылова, словно повымерли, и в сыром подъезде было настолько тихо, что звуки шагов, даже если лезешь всего лишь на четвертый, поднимались сами собой до самых верхних этажей. Выбираясь из дома, вдыхая тонкий и холодный запах начинающейся осени (пахло, как всегда, белым вином от умирающих листьев и сладким кагором от роскошных фруктовых прилавков, похожих на распродажи оперных костюмерных), Крылов ощущал вокруг странную неотзывчивость пространства. Эта неотзывчивость давала понять, что Тамарины профессионалы продолжали опекать Крылова до самого по-

следнего момента — а вот теперь ушли, и сделалось пусто, свободно. Население города словно уменьшилось вдвое. Прибавилось разве что милиции, переодетой по случаю всеобщего милитаристского маскарада в новую сизую форму, перекрещенную белыми ремнями, и в головные уборы, похожие на шляпные коробки с кокардой и козырьком. Чем больше было стражей правопорядка, тем они становились мельче и тщедушней — словно из одного милиционера делали двух. Тем не менее эти малыши, у которых из-под ремней великоватая форма вылезала мятыми пузырями, были вездесущи, будто воробы, и весьма свирепо проверяли документы у лиц, носивших поддельное обмундирование либо имевших при себе объемные сумки.

Брошенный, всеми забытый, никому, кроме старого Фариды, не нужный, Крылов имел теперь единственное стоящее занятие: дежурить у логова соглядатая. Он и дежурил, приспособившись сидеть на старом, похожем на граммофон с пластинкой громаднейшем пне, время от времени стряхивая с джинсов настырных муравьев. Он не поверил глазам, когда Завалихин Виктор Матвеевич собственной персоной выбрался на подлеченные цементом руины крыльца. Он пополнел и был бледен грибной сероватой бледностью. Он был одет в какую-то детскую курточку с пуговичками и погончиками, очень ему короткую; на круглой голове шпиона лежала кожаным блином кепка-семиклинка. По бледности его Крылов догадался, что шпион все время сидел внутри, за этими сизыми стеклами и выгоревшей шторой цвета глины, ни разу не шевельнувшейся. Теперь уголовник по-хозяйски шурился на бледное солнце, будто на лично им вкрученную и исправно загоревшуюся лампочку.

Крылов усилием воли остался на месте. Нельзя было позволить Виктору Матвеевичу снова юркнуть в логово, где его безопасность гарантировали трущобная мадонна с кислым младенцем. Одновременно нельзя было допус-

тить, чтобы соглядатай опять уехал на своей «японке», чью проржавелую плоскую задницу Крылов засек неподалеку, на кое-как охраняемой, рваной сеткой огороженной стоянке. К счастью, шпион не выказал намерения садиться за руль. Неторопливо, хлопая себя ладонями по толстым коленям, он стал подниматься к шоссе, направляясь по скрипучей гравийной тропинке к автобусной остановке. Посвистывая носом, он прошел буквально в метре от застывшего Крылова, которому казалось, что скрывающие его черемуховые листья, уже слегка бумажные и ненадежно прикрепленные, предательски шевелятся от его стесненного дыхания. На круглой спине соглядатай, на ворсе курточки, похожем на кабанью щетинку, Крылов увидел следы чего-то присохшего — быть может, светлой масляной краски. Подождав еще немного, пропустив медлительную бабку с рваной пластиковой сумкой, шумно перетиравшую гравий плоскими ботами, Крылов осторожно двинулся вслед за своим мучителем, прикидывая, как будет правильнее к нему подступить.

Он едва успел пролезть в зашипевшие двери автобуса, который тут же отвалил от остановки со своим многоголовым спрессованным грузом. Соглядатай хватко перебирался по поручням, будто паук по лично им сплетенной паутине; на лапе его, далеко торчавшей из волосатого рукава, красовался перстень с сердоликовым кабошоном, похожим на бородавку. Автобус, перетряхивая пассажиров, скакал галопом в сторону центра, и Крылов, боясь упустить неприятеля, маячившего ближе к передней площадке, держался у самого выхода, представлявшего собой на остановках что-то вроде пролома в корпусе подводной лодки. Он пока оставался незамеченным, и это самопроизвольно порождало воспоминания: Таня у пыльного, налитого солнцем автобусного окошка, смотрит вовне на одинаковые блочные дома, постаравшиеся встать неодинаково, не имеющие отношения к сегодняшнему их свиданию, и на шее у нее плавится огнем прилипшая цепоч-

ка. По логике дежавю, Крылов ощущал себя в этом прытком автобусе будто в мире соглядатая — в душном окружении его друзей и родственников. Внезапно шпион извернулся всем коротеньким телом и буквально вывалился из автобусных дверей на тротуар. Крылов с секундной задержкой проделал тот же маневр и, пробив упругую человеческую пробку, вытащив с собой большую, словно надувную женщину в пластмассовой панаме, явно собиравшуюся войти, задышал холодным, острым воздухом свободы. Между тем кепка негодяя уже мелькала вдалеке коричневым пятном. Преодолевая головокружение, Крылов на ломких, странными углами встававших ногах устремился за ним.

Теперь город казался Крылову перенаселенным — словно вернулись все исчезнувшие жители и к ним еще прибавилось миллиона полтора. На каждом шагу он налетал на прохожих, точно бился о встречные волны безликой и мутной стихии, стараясь не упустить из виду юркую коричневую крапинку. Иногда удары о встречных были настолько сильны, что у Крылова едва не отламывалась голова, в которой, будто в яйце, шевелился тяжелый птенец. Стихия становилась все плотней, все агрессивней. Вслед Крылову неслись возмущенные крики и нелестные словечки, раз под ногами заскакали, словно размножаясь среди острых туфель и бледных, как рыбыны, летних ботинок, рассыпанные яблоки.

Шпион не давал Крылову передышки. Внезапно он исчез, словно провалился под землю. Крылов пробежал вперед на сотню метров, растерянно вернулся, кружась и переступая, словно исполняя танго без партнерши. Он был погружен в глубокую стеклянную тень зеркальных башен Экономического центра, по которым, словно фильм по гигантским плазменным экранам, проходили отражения многоэтажных облаков. В сквозном бесконечном пространстве витрин тропическими бабочками горели дамские платья; внезапно у самых ног гладко расстилались, унося

наверх и вниз похожие на ноты неподвижные фигуры, бесшумные эскалаторы; скользили, обвитые зеленоватыми водными каскадами, прозрачные лифты. Невозможно было понять, стоишь ты в витрине, в пассаже или под открытым небом; только лужи на розовой плитке да сырая полоса застиранной травы давали Крылову почувствовать, что он еще не втянут в сквозные аквариумы, где люди, казалось, проходят сквозь стены. Впервые в жизни прозрачность показалась ему враждебной. Если даже соглядатай утратил свою способность ускользать в пустые складки воздуха, лучшего места, чтобы исчезнуть, было не найти.

* * *

Неподалеку белели в стеклянистом сумраке легкие столики летнего кафе. Крылов упал за крайний, пошатнувшийся под локтем. Птенец в тяжелой голове долбил затылок, собираясь пробить костяную скорлупу. Сразу перед Крыловым возникла официантка в отглаженной теннисной юбочке, высоко открывавшей длинные бронзовые бедра, с ракеткой под мышкой. Цены в меню, украшенном снимками Уимблдона и Кубка Кремля, показались Крылову запредельными; гуляя с Таней, он никогда с таким не сталкивался.

— Вы можете сами взять еду и выпивку в баре, там дешевле, — сочувственно сказала девушка, видя замешательство клиента.

Она была симпатичная, с облупленным вздернутым носиком и темными веснушками, похожими на подтаявшие крошки шоколада. Крылов догадался, что нравится ей, несмотря на свою поношенную одежду с отвислыми карманами, явно пустыми. Такое с ним случалось часто до встречи с Таней, и порой бывало, что такие случайные девушки с плачущими глазами дарили Крылову не-

сколько праздничных недель. Но теперь мускулистая красота загорелой спортсменки была ему так же чужда, как красота породистой лошади. Невольно повинуясь взмаху ее золотистой руки, он через силу повернулся к бару и тут же вскочил с повалившегося стула.

Соглядатай как ни в чем не бывало мелкими шажками отходил от стойки, держа перед собой мягкий от тяжести одноразовый стаканчик красного вина и шепотом уговаривая жидкость не шевелиться. Пробежавшись словно по туго натянутой ткани, Крылов настиг негодяя со спины и с наслаждением ухватил за толстое предплечье. Полпорции плеснуло подлецу на рыжие ботинки. Соглядатай прынул и каким-то внутренним усилием сделался вдвое тяжелей, упершись ногами во весь земной покачнувшийся шар.

— В чем дело, я не понимаю. — Глаза его, налитые кровью, косили за плечо, за складку жира между воротом и кепкой. — А, господин Крылов! Вы еще живы, какая приятная новость!

— Тема есть к тебе, урод, — тихо проговорил Крылов в его горячее, будто ватрушка с повидлом, нечистое ухо. Оттого, что он задыхался, получилось слишком тихо, и Крылов добавил погромче, с ненавистью: — Дернешься — убью.

— Да ладно, чего ты сегодня резкий такой! — тонким голосом запротестовал соглядатай. — Присядем давай, присядем и перетрем. Так ведь говорили, когда ты тырил товар в «Восточном»? А теперь говорят «перепушим». И не «тема», а «пойнт». Ближе надо быть к простому народу!

— Стой на месте, ты, филолог, — Крылов опять увидел на лопатке у соглядатая присохшую дрянь, словно кто пытался нарисовать дерьмом ангельское крылышко. Пятно раздражало нестерпимо, и Крылов принялся сладострастно драть его ногтями. Негодяй кричал и жмурился, куртка на его спине превращалась в шерсть и дым. На

них уже смотрели; курносая официантка что-то испуганно возражала юному румяному секьюриту, который озабоченно, двумя руками, приглаживал зализанные волосы, готовясь к выступлению.

— Может, ты, дорогой, и ботиночки мне почистишь? — невинно попросил шпион, выставляя вперед одну за другой короткие ножки в рыжих треснутых опорках, на которых пятна от вина напоминали сырую печень. Одна помятая брючина тоже была залита от самого колена. Сокрушенно цокая языком, шпион щепотками приподнял брюки, и этот дамский жест открыл похожие на кухонные тряпки неприличные носки. Свойство шпиона вызывать в руках чесотку было неистребимо, и Крылов, не сдержавшись, легонько дал ему ребром ладони по желтоватой шее, оказавшейся какой-то нечувствительной, вроде диванного валика.

Юный секьюриту, залившись румянцем до корней волос, склеенных гелем в плоские сухие ленточки, нерешительно двинулся вперед.

— Все в порядке, все в порядке! — закричал шпион, останавливая охранника на полпути. — Это мой приятель! А что он убить меня грозит, так это он шутит! Это у него шутки такие! Между прочим, Крылов его фамилия, — хвастливо добавил негодяй, приобнимая Крылова за талию. — Супруг той самой госпожи Тамары Крыловой, про которую пишут в газетах!

Сообщение подлеца вызвало оживление за белыми столиками. На странную парочку стали оборачиваться хорошо одетые посетители, оставляя свое вино и мерцающие, будто стайки моли, голографические игрушки. Несмотря на то что чтение газет давно считалось простонародным делом, эти люди явно были в курсе, видимо, черпая информацию из более технологичных и уважаемых источников. Некто кудрявый, с прической как букет из мелких желтых розочек и с носом в виде карандашика, поспешно менял насадки на трубе профессио-

нальной фотокамеры. Мягко прошелестело, белая вспышка облила Крылова, как холодная вода из шланга. Шпион, довольный, запоздало приосанился, приподнимая свой испачканный стакан за здоровье присутствующих.

— Сетевой журнал «Рифейские иллюстрации»! Еще один снимок, пожалуйста! — Кудрявый теперь выцеливал Крылова снизу, перекатываясь с колени на коленку, весь обтянутый узеньким костюмом в серебристую полоску.

— Не надо! Уберите! — Крылов загородился локтем, и охранник, почтительно кивнув, стал наступать на репортера с широко раскрытыми руками, будто пытался поймать курицу.

— Вы знали о преступлениях вашей жены?! Как вы относитесь к ее любовной связи с Митей Дымовым?! Правда ли, что госпожа Крылова консервировала покойных для будущих воскрешений?! — выкрикивал теснимый репортер, напрыгивая на секьюрити и высоко поднимая камеру, которая клекотала и вспыхивала у него в руках, будто сумасшедшая.

— А интересные вопросы, между прочим, — заметил соглядатай, бочком, с видом бедного родственника, присаживаясь на свободный стульчик. — Я бы вот почитал такую статейку! Ну чего ты, садись тоже, или сразу бить будешь? Дай хоть допить, что осталось, а потом уж и бей!

Крылов, потоптавшись, уселся напротив. Он видел, что репортер наконец счел за благо юркнуть в горбатый маленький автомобильчик и, вильнув с парковки, повез свой прометеев огонь в родную редакцию. Негодяй, прихлебывая вино, красившее его широкий рот в сургучный цвет, с деланным испугом посматривал на Крылова, белки его глумливых глаз были розовые, будто вареные креветки. Что-то подсказывало, что за его поддельным клоунским страхом прячется страх настоящий — вот бы вытащить его на свет.

— Что же тебе надо от меня, убогого? — проговорил соглядатай, печально вздыхая. — Ух ты, какая хорошая! —

это относилось к спортивной официантке, которая молча поставила перед Крыловым чистую мокрую пепельницу, в которую было словно наплакано слез.

На славном личике официантки огорчение боролось со жгучим любопытством, отчего ее серые, джинсового цвета, светленькие глазки и правда были на мокром месте. Крылов догадывался, что она, поглядывая на него из-под слипшихся ресниц, думает о Тамаре, о платьях Тамары, об интригующей славе Тамары. И эта девушка была как та субтильная бомжиха, что малевала обвисшее личико перед зеркалом Тамариного «порше». Крылов в который раз подумал, что Тамара действует на женщин магнетически, словно играет для них на каком-то незримом инструменте.

— Эй, а ты ей нравишься! — хихикнул негодяй, налегая грудью на покачнувшийся столик. — Везет же некоторым: и жена богатая, как кошка влюбленная, и девок полно! И чего они только находят в тебе, невымытом-небритом? Эх, мне б такие удовольствия...

Соглядатай сладко зажмурился, и Крылов обратил внимание, что перед выходом из дому неприятель тщательно побрился, сбрил, должно быть, дикую бородку. К тому же подлец благоухал ядовитым одеколоном, будто свежераздавленное насекомое.

— Как здоровье дорогого дядюшки? — вежливо осведомился Крылов, вместо того чтобы врезать по бледной лоснящейся морде, на которой запекся побеспокоенный бритьем раздражительный прыщик.

Неожиданно вопрос попал в какую-то болевую точку. Лоснящаяся морда испытала несколько мгновенных перемен одной нездоровой бледности на другую, и страх, настоящий, а не наигранный, заплясал на кончиках его тупых и твердых пальцев, мелко дрожавших на столе.

— Дядюшка временно в отпуске! — взвинченно сообщил соглядатай. — А как же! Он мне про тебя много рассказывал... Гений, говорил! Один такой! Все тебя, мастер, очень уважают! И для меня большая честь...

— Заткнись, — Крылов прервал словесный поток негодяя, и тот немедленно заткнулся, дробно барабанив по столешнице. Отчего-то напоминание о дяде вызывает у него истерику, понял Крылов. Странно, почему эта морда прежде казалась настолько знакомой, точно Крылов сам ее вылепил когда-то. — В общем, так. Мне не очень интересно, ради чего ты таскался за мной и моей любимой женщиной. Мне от тебя нужен ее адрес и телефон. Скажешь — свободен. Совсем не обижу, несмотря на то что хочу.

— О-па! — короткие брови шпиона полезли под кепку. — И почему это она так тебя опасается? Значит, даже не дала адресочка? Ну и плюнь ты, дорогой, на эту мышь лабораторную, — вдруг проговорил негодяй задушевым голосом, придвигаясь к Крылову вместе с подпрыгнувшим стулом. — Ей-богу, официанточка наша намного лучше! Как близкий друг тебе говорю! А уж госпожа Тамара Крылова! Даже представить невероятно, что мужчина может делать с этой дамой, кроме как любоваться ее красотой!

— Адрес давай, — устало произнес Крылов. У него опять возникло ощущение, будто в соглядатае заключена какая-то часть его самого и что он общается с собой, отчего наливается усталостью перегруженный мозг.

На последние слова Крылова соглядатай обиделся, уселся бочком, закинув ногу на ногу и демонстрируя безобразную подошву.

— Да пожалуйста, — пробормотал он, скривившись. — Я же для тебя хотел как лучше. Пожалуйста, записывай: Радищевский проезд, восемнадцать — шестнадцать.

Все в Крылове полетело куда-то вверх, а может, вниз, с громадной высоты. И тут же уткнулось в темный тупик.

— Врешь, — сказал он упавшим голосом, пытаясь достать из пачки увертливую сигарету.

— Ну ты детектор! — восхитился шпион и даже хлопнул себя по тугой полотняной коленке. — Да, вру. Я же,

ты знаешь, честный человек: если случается сказать неправду, то так и отвечаю — да, мол, соврал! Ладно, за сообразительность вот тебе настоящий адресок: улица Прикольная, сто тридцать, корпус восемь, квартира двести восемь.

— Нет у нас в городе никакой Прикольной улицы, — усмехнулся Крылов, добывая слабый, как пух, огонек из почти зачашшей зажигалки.

— Ах да, ты же у нас специалист, — спохватился шпион. — Все время с атласом в кармане, чуть вечер — сразу на экскурсию. Только вот что я тебе скажу, дорогой специалист, если уж тебе так приспичило. Если уж очкастая дамочка зацепила тебя и кинула...

Тут негодяй бросил на Крылова испытующий взгляд, но Крылов сдержался. Господи, подумал он, если ты есть, сделай, чтобы она тоже меня искала. Ему казалось, что, не издавая ни звука, он весь поет и хрипит, будто устремленная к небу медная труба.

— Короче, давай, дорогой, поговорим как серьезный человек с серьезным человеком, — продолжил подлец, развалившись тушей на ажурном стульчике. — Иногда бывает, что к людям в руки попадают очень большие материальные ценности. Тогда эти люди начинают вести себя беспокойно, что хорошо заметно со стороны. Дома они прячут ценности в нижнее белье, в банки с рисом, в морозилки и прочие хитрые места. В детстве у меня был хомячок Рекс, он жил в аквариуме. Рекс — это потому, что я собаку хотел, — пояснил соглядатай, сентиментально вздохнув. — В общем, животное делало запасы по уму. Запихивало себе за щеки семечки, потом вываливало по углам и сеном прикрывало. Оно-то думало, что сделало правильные захоронки, а мне сквозь стекло все его подгнившие сокровища были видны. Вот так и люди, дорогой мой: не подозревают, что их тайнички с зерном отлично видны стороннему наблюдателю. Поэтому отъем излишних материальных ценностей у тех, кому они не по зубам, не составляет особого труда.

Крылов понимал, о каком зерне толкует подлец. Тамара была права: дядюшка с племянником, два трусоватых толстячка с мягкими вместительными брюшками, нацелились на добычу экспедиции. Со стороны Анфилогова было ошибкой продавать прошлогодние камни. Хотя большие находки сами по себе испускают колокольный гул, при том что никто не дергает за веревку. Интересно, а по зубам ли самим толстячкам злые анфилоговские корунды?

— Теперь переходим к теме, — соглядатай важно поднял указательный с желтым волнистым ногтем, похожим на ракушку. — Вдруг двое участников нашей истории про зерно, он и она, начинают вести себя неправильно. У них возникает, так сказать, взаимная симпатия и какие-то общие планы. Этого не было предусмотрено! Есть вероятность, что они договорятся взять зерно себе для устройства новой счастливой жизни? Есть, и очень большая! Им теперь надо много, этого нельзя не учитывать! Вот почему третьему человеку, занятому, заметим, и семейному, приходится за ними присматривать. Таскаться по городу, не имея личного времени! Вызывая подозрения законной супруги! Всем тяжело, неприятно, хлопотно. Но ведь можно и по-людски договориться! Например, один из двоих, кому зерно непременно попадет на обработку, делает по телефону коротенький звонок. Его совсем несильно стучают в подъезде. А потом он получает не только адрес дамы, но и симпатичный маленький процент!

— А в рожу за такое предложение? — перебил Крылов, которому процедура вызова грабителей по телефону, вроде такси или разносчика пиццы, показалась настолько дикой, что он едва не рассмеялся.

— Далась вам всем моя рожа! Знаю, что не красавец! — Соглядатай дернул козырек заскорузлой кепки на самые глаза. — Что, думаешь, обману? Никак нет, я честный человек! Вот веришь — закрыли меня на четыре года, а я был честнее всех, кто меня прессовал, судил, на зоне

держал. Может, не по делам, а по сути, по сердцевине человеческой, понимаешь, о чем говорю? Мало ли чем приходится заниматься, а человек я по природе добрый. Природа важнее всего! Вот хочешь, еще предложение сделаю? — Соглядатай выщипнул из пачки у Крылова пучок сигарет и одну небрежно закусил трещиноватыми, похожими на щепки крупными резцами, сдобрив ее высоким языком огня из зажигалки поддельного золота размером с маленькую фляжку. — Я понимаю — талант и творческие планы! Большой профессиональный шанс! — продолжил он с энтузиазмом, извлекая из пышущей сигареты гораздо больше дыма, чем было предусмотрено ее производителем. — Ведь можно камушки забрать и после обработки. Вот веришь — договорюсь! Все равно у них в этих их израилях и амстердамах никого лучше тебя нету. А ты, мастер, станешь автором уникальных камней. Уникальных! Им имена дадут! Люди за них тысячу лет будут друг другу глотки рвать! Их вставят в королевские короны и все такое прочее. Каково это — сделать самому, сфабриковать подлинники той истории, которая только будет, когда ты сам уже давно травкой порастешь? Подбросить им всем мешок игрушек! Сыграть в историю задом наперед! Ты ведь истфак закончил, так чего, давай соглашайся! И денег тебе за это заплатят побольше, чем твой прибабахнутый профессор!

Крылов, пораженный, смотрел на соглядатая, точно на самого себя в какое-то живое выпуклое зеркало. Точно шпион был отполированным зеркальным предметом вроде автомобиля или игрового автомата, в котором Крылов отражался целиком. Этот толстый болтун сумел угадать глубинные желания Крылова, который в своей профессии искал именно того, о чем мечтал подростком, посмотрев попсу про Индиану Джонса. Если нельзя находить артефакты, путешествуя налегке по экзотическому миру, их следует подделать и запустить в будущее. Самому выточить тело Кокинора, Рубина Эдуарда. Мир Та-

ни тоже был для Крылова его личным загадочным будущим, куда он подбрасывал малахитовые и яшмовые безделки, уповая, что нет в обиходе ничего долговечнее, чем перепутанное содержимое женской шкатулки.

— Ну что, договоренность достигнута? — самодовольно осклабился соглядатай. Их сигареты, одновременно опущенные в мокрую пепельницу, столкнулись и, зашипев, размякли. Это заставило Крылова очнуться от посторонних мыслей.

— Ты чего, придурок, не понимаешь, что камни не мои? — спросил он со злым удивлением, досадуя, что позволил предложить себе подобную пакость.

— А чьи?! — взвился шпион. — Может, государства? Или Каменной Девки? Ты что, совсем дурак? Хороших книжек начитался? Да твой профессор, знаешь что, он всех кидает, дядьку моего двадцать лет душил! Они с дядькой сперва партнеры были, с равным капиталом, вместе попали, Анфилогов потом свои деньги вытащил, а дядьку оставил ни с чем! Хотя мог и дядьку свести со своими людьми из ментовки, от него бы не убыло. Но у профессора, видите ли, всякий человечек по отдельности, типа коллекция. Принцип у него такой!

Крылову показалось, что соглядатай, ставший вдруг лиловым, будто виноградина в давяльне, буквально и немедленно лопнет от злости. Но шпион отдышался; сдернув кепку, он вытер рукавом вспотевший лоб, пересеченный ужасной, похожей на слепок прикуса розовой вмятиной, и снова нахлобучил головной убор, от которого на столе остался, будто от стакана, мокрый полукруг.

— Я у своих не крысятничаю, — внятно произнес Крылов, у которого от напряжения рвались в душе какие-то тонкие нитки.

— Ска-ажите на милость, какие мы бла-ародные, — шпион оскорблено надулся и снова стал наливаясь дурной перебродившей кровью. — Ну и как вам будет благоугодно. Я, выходит, опять теряю с вами мое драгоцен-

ное время. А знаешь ты, герой-любовник, что, пока я пас тебя с твоей девицей, у меня одно дело обломалось, выгодное? И зубы болели так, что череп трескался! Думаешь, профессору твоему дадут нажиться безмерно? А хрен вам с ядерной боеголовкой! Припомнишь мою доброту, да поздно будет! Эй, гарсон! — закричал соглядатай охраннику, и тот немедленно подскочил, свешивая в полупоклоне полосатый, как кошачий хвост, ацетатный галстук. — А скажи-ка, любезный, где тут у вас туалет?

— В кафе отсутствует, есть в пассаже, направо и вниз по эскалатору, — четко отрапортовал секьюрити, бросая опасливые взгляды на неведомо как забредшего в их рядовое заведение господина Крылова.

— Эй, куда? — Крылов попытался придержать шпиона за полу короткой куртки, в которой ощущались тяжело груженные карманы.

— Что, отлить нельзя? — буднично проворчал соглядатай. — Да вернусь я через пять минут, а надо, так пойдем со мной, — и он вразвалочку двинулся к раздвижным стеклянным дверям, разошедшимся перед его концентрированным весом с лихим разбойничьим свистом.

* * *

Некоторое время Крылов просидел, тупо глядя в тропическую, полную искусственного солнца глубину пассажа. Стыдно сказать, но его удерживала мысль о десятке или даже тридцатке, которую берут в таких местах за пользование туалетом. Вдруг он вскочил, хлопнув себя по лбу.

В три прыжка скатившись по пологому эскалатору, накормив хихикающее, словно его щекотали спускаемые монеты, нутро автомата, Крылов ворвался в мужское отделение, бывшее здесь размером со станцию метро. Среди немногих мужчин, стоявших с напряженными затылками вдоль зеленых писсуаров или мыливших бледные руки пе-

ред ртутными зеркалами, никакого соглядатая не было. Из кабинок доносились звуки смываемых унитазов, словно там стартовали шаттлы, но и среди выходящих господ, не без самодовольства застегивающих штаны, соглядатай отсутствовал. Минуты Крылову хватило, чтобы сообразить, что подлец сюда и не собирался. Так и не воспользовавшись благами элитной, словно пенным шампанским омываемой сантехники, он с дикими глазами снова ринулся наверх.

Его окружила просторная, бальная пестрота стеклянных и зеркальных торговых помещений. В бутиках, сиявших вдоль прохладной, мятным ветерком обвеваемой галереи, было выставлено удивительно мало одежды; биопластовые манекены с черничными ротиками, в низко, по бедрам, перехваченных шелках, казалось, ожидали приглашения на грамофонно звучащий фокстрот. Обувные отделы напоминали птичьи вольеры, где узкие мужские модели походили на гусей и уток, а дамские — на колибри. Настоящие птицы перепархивали в высоте под зелеными, полными слепого солнца стеклянными сводами, напоминая веселых купальщиков в огромном перевернутом бассейне. И повсюду были кабинки для переодевания — пригласительно открытые или задернутые тканью, с топчущимися там ногами, которые никак не удавалось рассмотреть. Пробежавшись по двум или трем этажам, обнаружив новые торговые бесконечности, в глубине которых работали одновременно сотни плазменных телевизоров и сверкали чем-то похожие на планетарии ювелирные миры, Крылов остановился отдышаться на ажурном мосту, висевшем над элегантной, стрелявшей цветными куполами, словно дававшей салют в собственную честь, презентацией зонтов.

Было маловероятно, что шпион пустился делать покупки. Скорее всего, он попросту смылся. На каждой ноге Крылова висело по четыре пуда свинцового веса. Делать в торговом раю было совершенно нечего, и, выбравшись

из пассажа с совершенно незнакомой, непарадной стороны — в узкий, словно заваливающийся вбок, забитый машинами переулоч, — Крылов поплелся, точно в кандалах, прочь от своей неудачи. Прокручивая в голове беседу с негодяем, он думал, что надо было соглашаться, заговаривать зубы, что теперь шпион, конечно, затаится, и снова его отловить, чтобы вступить в переговоры, не остается ни малейшего шанса.

Но в этот день судьба, как видно, твердо двигала людей к намеченной развязке. Она присутствовала и собиралась осуществиться. У Крылова в волосах зашевелился лютый мороз, когда он увидел соглядатая в щели между выпотрошенными, укрытыми хлопающей пленкой старыми особняками, где он с наслаждением поливал хулигански изрисованную стенку — бывшую ему куда как более сродни, чем парфюмированный платный туалет. Была непостижимая мистика в его очередной материализации, в его возникновении на фоне этих полных затхлости и тлена архитектурных парников — будто он и правда был порождением крыловского ума, проекцией Крылова на некие подходы и пейзажи и обстоятельства. Крылову вдруг померещилось, что он и не может потерять соглядатая, потому что все время держит его при себе: так человек гуляет сам с собой, но видит свое незнакомое в первый момент отражение, только если на пути встречается случайное уличное зеркало.

Шпион между тем хозяйственно упаковывался, перетягивая в петлях грубый брючный ремень и поводя располневшей, туго обтянутой задницей; обширное мокрое пятно на стене удачно дополняло граффити, изображавшие текучих монстров. Довольный собою соглядатай направился к выходу и тут заметил на другой стороне переулочка все того же Крылова, разинувшего рот.

— Ах ты мой родной! Да что за жизнь моя такая! — Шпион хлопнул себя по бокам и, едва не плача, раскинул в стороны короткие ручки. — Ну никак мне от те-

бя не отвязаться! Том и Джерри, блин! Ты что, до сих пор меня не узнаешь? Это же я, я! Ну смотри, смотри на меня!

Крылов отшатнулся. Ему показалось, что апоплексическая физиономия Завалихина Виктора Матвеевича как-то странно вибрирует и лезет в глаза. Пленка на руинах с шорохом всосалась в зияющие впадины и тут же прыгнула с легким хлопком: точно так же в мозгу у Крылова надувалось и опадало какое-то мутное препятствие.

— Ну ты тупой! — издевался и страдал, потихоньку пятясь, жирный негодяй. — А я-то думал, ты на разобразишь, следил за тобой будто с гранатой в жопе! И чего же ты тогда так чуешь меня? До чего ты хочешь меня довести? Опять до греха? А я не хочу! Слышишь?! Я лучше драпать буду от тебя, чем опять соблазнюсь! Я теперь в Бога верую!

С этими странными словами соглядатай сдернул свою карикатурную кепку и с чувством перекрестился. Затем, отшвырнув головной убор, полетевший, виляя, в кучу мертвого, спекшегося от дождей строительного мусора, соглядатай нагнул багровую крепкую башку и, как пушечное ядро, бросился вперед. Крылов инстинктивно шархнул, освобождая шпиону путь к свободе. Дико поозиравшись, соглядатай рванул под уклон кривого переулка — словно по светящимся меткам направляясь туда, где скоро все произошло.

С этой минуты (а может быть, и раньше) события развивались с той невероятной точностью, которая поражает в видеозаписи, пущенной в обратную сторону: мокрые осколки стягиваются по полу, забирая лужу, в невредимую тонкую вазу, которая, поцеловав место своего падения, волшебным образом взмывает на полку; самоубийца, бросившись в море, выскакивает, словно выплунутый собравшимся, вывернувшимся наизнанку кругом воды, и, моментально обсохнув, с грацией циркового гимнаста встает на скале. Все участники дальнейшего действо-

вали синхронно и ловко, словно команда профессионалов, в деталях отработавшая ограбление банка. Отзывы этой нечеловеческой ловкости Крылов ощущал, когда бежал за удиравшим неприятелем по скользким трубам, по хлипкой ликующей досточке, переброшенной через какие-то ремонтные раскопки. Дальше, что было уж и во все удивительно, он вслед за шпионом (иначе тому было никак не успеть) птицей взлетел на решетчатый, точно из железных иксов сваренный забор и слез с другой стороны по тем же косым перекладинам, со странным чувством, будто совершил для чего-то вылазку в пустоту. Одновременно двое трезвых и серьезных сантехников, радуясь теплой погоде, сидели на загрубевшей матерчатой травке над насупленным обрывом, в глубине которого тянулись словно облитые светлой водой железнодорожные рельсы. Мужчины не спеша выхлебывали из кожаных корок спелую, висевшую петушиными гребнями мякоть астраханского арбуза и толковали о заработках. Одновременно с сортировочной станции тронулся тяжким шагом длинный товарный состав, причем изрядный сегмент его состоял из открытых платформ, на которых в два этажа ехали, закрепленные фермами, новенькие «лады», и один автомобиль скромного бежевого цвета словно сигналил кому-то острыми вспышками солнца в углу ветрового стекла.

Точно такая же машина, только изрядно потрепанная, едва не задавила Крылова, когда они с соглядатаем вместе запрыгали среди прянувшего, точно сельдь из невода, автомобильного потока. Однако это было бы не по сегодняшним правилам, поэтому Крылов даже не испугался, и водитель машины, чьи руки, вывернувшие руль, показались Крылову затянутыми в белые перчатки, тоже остался равнодушен. Время от времени Крылов пытался привлечь внимание шпиона призывными криками. Тот, не оглядываясь, надавал. Они, как в кино, прогрохотали по шиферной крыше какого-то склада, трясущей же-

стким прожаренным мусором, словно поддон давно нечищенной духовки, хотя над крышей было только небо; потом они лихо, будто красотики, танцующие на столе, прошлись по верху длинного фургона, внутри которого что-то таскали гулкие грузчики, и спрыгнули один за другим перед носом у сердитого экспедитора, листавшего папиросные накладные. Все это было слишком фантастично. У Крылова кололо в боку. Краем глаза он то и дело улавливал присущие обратной перемотке мультипликационные эффекты: прохожие при виде погони пятились, словно на маленьких ходульках, и делали кукольные жесты, вода в городской реке, через которую недруги проскакали по пустому Царскому мосту, волочилась из-под сводов задом наперед. Что-то такое Тамара рассказывала про аномальные зоны; возможно, локальная аномалия возникла прямо посреди четырехмиллионного города и держала недругов под колпаком.

Тем временем серьезные сантехники внезапно ощутили прилив энтузиазма и решили немедленно вернуться к прерванной работе. Они аккуратно, чтобы не портить пейзаж, замаскировали арбузные корки над самым обрывом и дружно направились к построенной неподалеку кооперативной башне, где монтировали сложные джакузи, похожие на марсианские аппараты из книги Герберта Уэллса. Бодрящей ловкости, сообщенной сантехникам их ладным участием в рассчитанном по минутам осуществлении судьбы, хватило еще и на то, чтобы выполнить тройную норму и действительно неплохо заработать. Уходя от железной дороги, они успели увидеть, как выползает из-за поворота товарняк, бесконечный, будто Китайская стена, — и убрался как раз вовремя, чтобы шпиону, продравшемуся сквозь клочковатые заросли дикой малины, путь вдоль обрыва показался совершенно свободным.

Крылов, ломившийся вслед, теперь все время кричал. Голос его был немедленно заглушен гулом товарного по-

езда, словно тащившего по рельсам кузнечные цеха. Тропинка над обрывом, убитая до гончарной твердости, то поднималась, то спускалась; у Крылова было ощущение, будто он преследует врага внутри состава — из вагона в вагон, из тамбура в тамбур, против движения поезда, и потому остается на месте. Внизу навстречу его нелепому бегу ползли, ускоряясь, открытые вагоны с серебристым углем, чумазые цистерны; от тяжести, шедшей по рельсам, вздрагивали, словно облитые щами, жирные кусты. Шпион, выставив зад, похожий на восходящую луну, карабкался на кручу; сердце Крылова внезапно сделало паузу и словно проглотило острую наживку; он остановился, боясь пошевелиться. Шпион уже почти долез до верхней точки, после которой ему предстояло скрыться в изгибе тропинки. На глазах у Крылова выступили слезы, загорелись цветные пятна — автомобили на платформах.

— Стой! Подожди! Я согласен! — крикнул он не очень громко, стараясь не порвать в себе какую-то натянутую нитку.

Тут товарняк рванул, грохот прошел от головы к хвосту, словно состав был артиллерийским орудием, давшим торжественный залп; должно быть, судьбе не хватало нескольких секунд, хотя по-человечески было совершенно непонятно, почему именно бежевая «лада» ей так приглянулась. На этот раз вопреки железному гулу слова Крылова донеслись до соглядатая: он наконец услышал, что хотел услышать. Подбоченясь, он встал, как статуя, напротив солнца, протыкавшего его одежду острыми лучами. Но вдруг он быстро извернулся и, словно на видео в обратной перемотке, как бы заплясал кадрили задом наперед. Эта нелепая пляска позволила ему с силой оттолкнуться от комковатого края обрыва, как не удалось бы в результате долгих тренировок. В следующую секунду тело его мелькнуло в воздухе и шмякнулось о ветровое стекло бежевой «лады», как раз подоспевшей; движением поезда его, с головой набекрень, отбросило вперед, в сер-

дито ахнувшие заросли, и «лада», с морозом трещин на месте солнечной вспышки, плавно проследовала мимо Крылова, стоявшего на полусогнутых ногах.

Вместо того чтобы спуститься к полотну по оплывшим и окаменелым глиняным ступеням, отходившим от тропы, Крылов почему-то стал карабкаться наверх, туда, где только что выплясывал шпион. Сердце его, с крючком в разбухшем клапане, трепетало, будто рыба на лесе, и леса тоже тянула Крылова наверх, но несколько вбок. Осторожно сопротивляясь, ощущая всеми фибрами гибкий кончик удилица, Крылов все-таки заставил невидимого рыболова подвести его через сорняки и зернистую маленькую осыпь к нужной площадке. Там, на дряблом травянистом хохолке, нависшем над обрывом, розовели размазанные арбузные корки и темнели на сырой газетке спекшиеся семечки. Вдруг товарняк закончился, точно обрубленный, настала тишина, в которой с целлофановым шорохом носились сухие стрекозы. Крылов с трудом разогнулся от арбузного месива, которым питалась, то сворачиваясь золотой серьгой, то перебирая свежеекрашенными члениками, крупная оса. Именно отсюда, с хохолка, было отлично видно неподвижное тело: шпион развалился в порушенной зелени, будто гуляка на съехавшей постели, голова его, исцарапанная в кровь, была как-то странно подвернута, словно соглядатай попытался взять ее под мышку.

Внезапно Крылова прохватила высота — точно прохватила резкая простуда. Точно кто смычком провел по струнам, натянутым в ногах, в паху, в холодном животе. Высота была совсем небольшой, но казалось невысказанным преодолеть расстояние от размазанного арбуза до кружевного кустика акации, державшего в объятиях мертвое тело, — и остаться в живых. Должно быть, где-то здесь проходила граница, которую все время чуяла бедная Тамара. Железнодорожный овраг с пустыми рельсами внизу теперь казался до половины налитым прозрачной

с м е р т ь ю — и невозможно было в нее окунуться. Теперь Крылову вспомнился — даже не вспомнился, а проступил огромным призраком сквозь шершавую реальность — недавний сон: фантастически глубокое горное ущелье, очарование пропасти. Сразу ему захотелось прижаться к земле и во что-нибудь крепко вцепиться. Он снова видел далеко внизу взлохмаченную нитку горного потока и похожие на стальную молнию крошечные рельсы, слышал тающий гул, чувствовал водяную пыль на стянутом лице. Снова вместе со своими угловатыми тенями на солнечных скалах в пропасть прельстительно летели предметы одежды: каждая тряпка была будто парус Крылова, будто его парашют, вот-вот готовый сдернуть тело в море дымчатого солнечного воздуха, чтобы под ним гранатой взорвалась пустота.

Тем не менее следовало спуститься к пострадавшему и поискать на теле ниточку пульса. Формально еще оставалась надежда, хотя отсюда, сверху, было виднее, чем вблизи, что никакого пульса у соглядатая нет. Крылов постарался сосредоточиться на предметах реальности, проступавших сквозь давний сон, будто сквозь нежный утренний туман. Он, как в тумане, не видел, куда ступают его скособоченные ноги, только хватался за все, пропуская сквозь кулак обжигающие ветки с размочаленными листьями. Он улыбался и ежился, и стучал костяными зубами, и сердцем чувствовал косую, чуть вибрирующую леску рыболова; спускаться, не держась за сердце, было все равно что не держаться за перила на огромной высоте. Вдруг он нырнул в неглубокую яму, полную листовенной прели и разинутых капканами консервных банок, — и сразу наткнулся на сырую ногу в перепачканном рыжем ботинке.

Как он мог так долго его не узнавать? Черты лица — будто убитая муха на белой стене. Вероятно, для узнавания, прозвучавшего в душе Крылова безмолвным громовым аккордом, должно было проступить вот это выраже-

ние — будто кто-то страшно обманул доверие согляда-тая, совершил над ним что-то невообразимое. Вот он — убийца Леонидыча. Сильно постарел, хотя прошло всего двенадцать лет. Выглядел тогда как недокормленный подросток. Смерть тогда прошла через него разрядом тока, но он отскочил и спасся. На месте белого хохолка, по всей вероятности крашеного, — пустота и пух, и тусклый глянец лысины, покрытой вздутыми царапинами.

Несомненно, мертв. Крылов, постанывая, попытался найти на толстой шее биение пульса, но под пальцами была лишь вялая теплота разогретого парафина. Неподвижное тело казалось в холодном воздухе неестественно теплым и пухлым — теплее косяных и мокрых рук Крылова, обзеленных мочалом листвы. Голова покойника не лежала, а в а л я л а с ь — как-то совсем отдельно — и перекатывалась с боку на бок, будто пустая пивная бутылка. Сейчас Крылова легче, чем любого другого, можно было убедить, что это он убил гражданина Завалихина: столкнул, например, с обрыва, предварительно сломав основание черепа. Он бы поверил в это охотнее, чем грузчики и экспедитор, наблюдавшие дикую погоню. Охотнее, чем секьюрити и официантка, собственными ушами слышавшие, как гражданин Завалихин произнес: «А что он убить меня грозитя, так это он шутит! Это у него шутки такие! Между прочим, Крылов его фамилия...»

Вот, значит, как. Значит, возле камнерезки тогда ошивался не чужой. Этот знал, что мастера получили жалование и, подвыпив, выйдут с деньгами. Вот, наверное, попало племяннику от дядюшки за то, что нагадил, где ест. Завалихина сажали за воровство и грабеж, но «мокрого» за ним не числилось. Вполне вероятно, что убийство Леонидыча, совершенное призрачным июньским вечером, обладавшим многими свойствами сновидений, было у Завалихина единственным опытом. Должно быть, он так и прожил под впечатлением. Краски на той картине

для него не сохли — особенно красная краска. И тут любезный дядюшка отрядил его «присматривать» за тем самым недобрым парнем, что шел немного впереди окутанных хмелем мастеров и единственный из всех увидел преступника в упор. Интересно, кстати, что за образ, что за моментальный снимок Крылова хранился все эти годы в памяти Завалихина? Скорее всего, туманный мазок, стеклянный сосуд, заполненный дымом. Или, наоборот, отчетливая, страшной крепости маска, которая не налезает на живое лицо и не выражает ничего, кроме угрозы. Тем не менее Завалихин, отправляясь шпионить, знал, с кем именно имеет дело. Постоянная опасность быть опознанным припекала его физиономию жарче летнего солнца, оттого он и загорел так сильно за время блужданий. Теперь, после безвылазного месяца в сырой труппе, следы загара похожи на серые пленки, какие бывают на бледных поганках. И все-таки выдержку его нельзя не уважать. Что он там такое говорил про соблазн? Паника орала ему в волосатые уши, чтобы он, наплевав на дядюшкины планы, быстро убирал опасного свидетеля. Он помирал со страху, но не предпринял попытки. Они с Крыловым все это время будто перебрасывались гранатой с выдернутой чекой, а Крылов не понимал.

Влажные волосы Крылова пошевелило ветром — мимо проползал, повизгивая жаркими колесами, сибирский скорый. В окнах, словно на кадрах старой фотопленки, в одиночку и группами стояли пассажиры, уже запаковавшие сумки и готовые выйти на вокзале. Что они видели в темных кустах под откосом? Как один алкоголик, еще стоящий на карачках, пытается растолкать другого, отрубившегося. Но вот вам и еще как минимум сотня свидетелей. Востренький репортер в полосатом костюмчике, сделавший снимки господина Крылова и его несчастной жертвы, дующей вино, еще не догадывается о собственном счастье. Утверждает ли обвиняемый, что он не хотел летального итога? Нет, обвиняемый этого не утверждает.

Он вернул окружающей действительности смерть Леонида — то есть вышел в ноль, к чему всегда стремился. И вышел в ноль настолько чисто, что теперь связи обвиняемого с миром практически отсутствуют. Он полностью отделен, полностью свободен, хотя сотрудники правоохранительных органов могут с этим не согласиться. Отчего же тот, первичный соглядатай, которого Крылов никак не мог обнаружить в событиях прошлого, казался ему порождением собственного мозга? Видимо, потому, что Крылов думал о маленьком убийце гораздо больше и интенсивнее, чем о погибшем мастере, отчего мелькнувший человек приобрел таинственные свойства выдуманного объекта. Крылов, как истинный рифеец, все камни, брошенные в его огород, держал за пазухой — а этот оказался ж и в у ч и м, пустил корешки. Все эти годы соглядатай действительно был частью Крылова. Теперь Крылов наконец-то исторг паразита, сосавшего сердце, — и тот лежал тоже совершенно свободный и отдельный, с комаром на челе. Глаза его, вытарашенные от удара и р а з н ы е, словно брошенные на стол игральные кости, потихоньку спрашивали Крылова: «Ну что, ты и теперь считаешь, что чувства человека есть плод его воображения?»

Всякому гражданину, оказавшемуся рядом с трупом, самое время подумать о себе. Следовало позвонить Фариду и посоветоваться, что говорить ментам и еще журналистам, которые, пронюхав, не замедлят прибыть. Как обрисовать свои отношения с покойным Завалихиным и обойти при этом тему месторождения корундов. Как не подставить лишний раз Тамару и самому не попасть под колеса затеянного против нее оголтелого процесса. Не потому, что Фарид немедленно во всем разберется, а потому, что только Фариду это все будет интересно. Надо теперь в пролетарском районе, обступившем железную дорогу мутно остекленными панельными трущобами, как-то отыскать случайно работающий телефон-автомат.

Леска невидимого рыбака тонко натянулась, снова возникнув из воздуха, и Крылову даже показалось, что он видит накрест к параллельным темным проводам ее убегающий блеск.

И вдруг, мельком глянув, он заметил на безвольном теле биение жизни. Не пульс, не сердце, а, что поразительно, печень: она буквально вылезала из-под ребер мертвеца и вся тряслась, словно готовая лопнуть под задравшейся курткой. В суеверной, ужасной надежде Крылов прикоснулся к напряженно вибрирующей опухоли и сразу осознал свою ошибку: в кармане у мертвого подавал вибросигнал его допотопный мобильный телефон.

Напряженно улыбаясь, Крылов приподнял щепотью тяжелую полу, под которой круглился словно вышитый шелком расстегнутый живот. Карманы у куртки были маленькие и спекшиеся, что говорило о ее происхождении из дядюшкиного секунда; мобильник еле выпростался, сопровождаемый градом шершавых, словно засахаренных монеток. Был он лопата лопатой, в грубом черном корпусе со стершимися кнопками, однако дисплей оказался плазменный, трехмерный, и на нем крутилась, подтверждая вызов, юркая заставка. Безмерно удивленный, Крылов машинально нажал на соединение и увидел голограмму своего работодателя, снятого где-то за праздничным столом, ввевшегося по уши в пышный бутерброд со стекающей икрой.

Тотчас раздался и голос хозяина камнерезки — вовсе не праздничный, а, как показалось Крылову, чем-то передавленный.

— Витек! Витек, это я, — сообщил работодатель иронически, словно самый факт его существования являлся анекдотом. — Новости у нас плохие и очень плохие. Господина профессора нашли на северах, возле зимовья, мертвого. Валялся под березой скрюченный, вроде рыл себе яму, как собака, да так и помер. И ассистент при нем, такой же зажмуренный, даже, по сведениям, на недельку

пораньше представился. И никаких корундов, ничего, ноль. Оба пустые, как кассы в моих магазинах. Витек, ты теперь внимательно слушай меня, — голос работодателя приблизился, и Крылову показалось, будто он чувствует ухом его горячий, как сода в кислоте, мокро шепчущий рот. — Сам знаешь, партнеры наши люди серьезные, не нам, убогим, чета. Мы им наобещали горы добра и взяли аванс. Дело то было верное! А теперь, выходит, мы тоже перед ними пустые. Партнеры могут обидеться. Они у нас обидчивые. Поэтому придется пока поехать в семейный отпуск. Быстро забирай своих и вези к любимому дядюшке, сам знаешь куда. Глядишь, потом и рассосется. Объяснимся, рассчитаемся. С дядюшкой не пропадешь! — Хозяин камнерезки нервно хохотнул, точно взбалтывая перед употреблением свое всегдашнее уныние, которое употреблял постоянно, будто тихий алкоголик домашний самогон. — И давай, Витек, не мешкай! Если сильно боишься, памперс у дочки возьми и на себя надень!

С этим язвительным пожеланием работодатель отключился; его голографический портрет, изображавший полное счастье, медленно померк. Теперь он некоторое время будет оставаться в уверенности, будто поговорил с племянником около шести пополудни. Сколько раз, бывало, он разглагольствовал у себя в кабинетике, уверенный, что дает указания менеджеру, а менеджер, бывший вовсе не в ближней подсобке, а на выходе в торговый зал, думал, что старик болтает сам с собой, поскольку выжил из ума. Ленившийся проверить наличие собеседников, хозяин камнерезки постоянно разговаривал с призраками; то, что призраки не выполняли его распоряжений, он воспринимал с саркастическим смирением и жил в тряпичных руинах собственного бизнеса, отчаявшись вразумить человечество. Можно ли верить его сообщению, вдруг возникшему ни с того ни с сего из кармана покойника? Или работодатель преувеличивает, потому что всегда предпочитает худшее?

Если профессор и правда погиб, тогда Крылову только и остается... Ничего ему не остается. Развеиваются красным дымом уникальные рубины, исчезает окончательно потерянная женщина. Можно ли это пережить? Ответ появится в каком-то послезавтра, а пока все похоже на стоматологический наркоз, когда упругий кончик носа, видный, если скосить глаза, отдельным пятнышком, и по ощущениям торчит перед лицом совершенно отдельно. Крылов чувствовал себя таким замороженным Буратино. Совершенно перестала болеть голова, и щекотный крючок безвредно шевелился в толстом сердце, будто жук в кулаке.

Отойдя подальше по прожаренному, черным маслом залитому полотну, точно мертвый соглядатай мог подслушать разговор, Крылов, словно бы считая на ладони последнюю нищенскую мелочь, набрал на толстых кнопках домашний номер Фариды. И крупно вздрогнул, услышав из телефона вредный голос его законного владельца.

— Для пользования аппаратом введите пароль, — предложил соглядатай, чьи раскинутые ноги широко торчали из кустов. — Если три раза ошибетесь, вся информация в моем телефоне будет уничтожена. Хрен вам с ядерной боеголовкой, сраные уроды! — добавил он с каким-то детским удовольствием, и Крылов, отняв от уха взмокшую трубку, увидел на дисплее упомянутый орган, чем-то страшно похожий на рассерженного индюка.

Поспешно нажимая на отбой, Крылов согнулся от внезапного смеха. Его буквально рвало густыми массаами хохота в жесткую траву — и одновременно чуть отпускало. Нет, что бы ни сказал по этому поводу Фарид, он не пойдет немедленно сдаваться ментам. Пусть его бегство от мертвого тела станет аргументом для следствия — он из-за слабости и чувства вины сам накидает дознанию еще больше роковых аргументов. Его сейчас можно запросто убедить в совершенном преступлении — так убедить, что он потом не вспомнит, как все произошло в дей-

ствительности. Бросив последний взгляд на комфортно разлегшегося соглядателя, словно получавшего удовольствие от новых ощущений небытия, — тело, вероятно, еще какое-то время будут принимать за неприхотливого пьяницу, устроившего себе в кустах одинокий пикник, — Крылов опустил в карман мобильник с непочатой информацией и побрел, спотыкаясь, по рыжим промасленным шпалам среди грохочущих бешеными стенами встречных поездов.

* * *

Вот для чего он купил и оборудовал свое убежище. Войдя к себе, он испытал привычное превращение в облако свободных молекул и моментальное схватывание — с потерей, быть может, каких-то частиц. Это было похоже на резкий спуск в скоростном зеркальном лифте — только на один этаж. Воздух в убежище был таким, каким он его оставил: синело немного чада от колбасы, пригоревшей неделю назад, и в низком солнечном луче, состоявшем из нескольких по-разному натянутых лент, танцевали все те же мохнатые пылинки, иные размером с маленьких морских коньков.

Здесь Крылов действительно был в безопасности — большей, чем когда бы то ни было. Никто не войдет сюда, пока он жив, а если все-таки проникнут менты, или соседи, или, например, таинственные партнеры бывшего работодателя, значит, самого Крылова уже не будет на свете. Все это описывалось простейшей математической моделью — элементарным уравнением: «Крылов = человечество». Сегодня он наконец достиг того, к чему стремился всю сознательную жизнь: уравнение с безобразно громоздкой, не поддающейся учету неизвестных правой частью получило истинность. Перенос любой составляющей из одной части уравнения в другую происходит с пе-

ременой знака. Из этого следует, что любой визитер, проникший в убежище, немедленно станет отрицательной величиной — либо, если ему удастся разрушить суверенность территории, получит всего лишь минус-Крылова.

Поскольку на территории не было Бога, все причинно-следственные связи запускались вручную. В раковине стояла целая гора скопившейся посуды, полная воды, будто многоярусный заброшенный фонтан с плавающими в нем пищевыми лохмотьями и черными листьями петрушки. Поскольку надо было из чего-то есть и пить, Крылов принялся за мытье, напуская побольше жидкого мыла и осторожно поплескивая. Всякую работу здесь приходилось делать с а м о м у, добавляя к физическому усилию гораздо больше усилия воли, чем в любом обычном месте. В старом, еще старухином холодильнике, хранившем продукты не столько холодными, сколько мокрыми и обросшем изнутри по задней стенке ледяными шершавыми слезами, лежали три, и только три железные банки оленьих консервов и кукожился кусок резинового сыра, покрытый белыми вспухшими пятнами. Крылов решил, что продержится с этими запасами несколько дней. После скупого ужина, состоявшего из сырной стружки и гнутых серых сухарей, которые приходилось точить передними зубами с упорством грызуна, Крылов полез под душ, надеясь смыть подаваемой из внешнего мира жесткой водицей переживания и пот сегодняшнего дня. Душ с проржавелыми дырками походил на перечницу, и струи драли покрасневшую кожу, вызывая озноб. Кое-как промокнувшись блеклой и ветхой тряпичей, на которой попадались костяные пуговицы, Крылов с размаху бросился на диван и уставился в потолок с желтыми следами давней протечки, за которую честный мужчина до сих пор порывался расплатиться при непременно честном условии, что ему позволят лично оценить нанесенный ущерб. Теперь для Крылова настало время все спокойно оценить и выработать план.

Но тут снаружи, возле сейфовой двери, заклацал пустой, давно отключенный звонок и сразу же раздался внятный, с твердой косточкой, стук.

Неужели так скоро? Как они успели? Крылов вскочил бесшумно, словно поднялся в воздух. Планы резко менялись. Что следует делать, если вдруг они начнут ломиться? Ответить за базар, как говорили в отрочестве Крылова. С такими вещами не шутят. Поскольку отсутствие Бога заставляло Крылова поддерживать максимально разреженный порядок и всякую вещь держать в уме, он не смог хранить на территории оружие: верный друг, любовно смазанный наган, безвредный по жизни, как куриная нога, здесь оказался предметом, чересчур тяжелым для сознания, и был оставлен у матери в нижнем ящике рассохшегося серванта сентиментально завернутым в Тамарин выцветший платок. Теперь Крылов об этом безумно сожалел. Что оставалось еще? Кухонный ножик с виляющим лезвием, слишком короткий, чтобы достать до сердца, и старухина веревка на балконе, твердая и ломкая, будто лапша, вряд ли годная на то, чтобы соорудить петлю. Такая вот конкретика, как это ни смешно.

Стук повторился, ни на тон не изменившись. Все-таки это слишком скоро для милиции, не прошло и четырех часов. А если?.. Если Татьяна искала и нашла? Ведь может такое случиться, он просил... И хотя Крылов не собирался даже приближаться к сейфовой двери, он внезапно обнаружил, что уже стоит в прихожей, темный в темноте, глядя на светящийся, словно каплей горячего масла заполненный глазок.

— Открой, это я, — раздался очень близко, на расстоянии шага, до ужаса знакомый женский голос. Голос был шелков от волнения, в глазке колыхалась низко надвинутая, с полями как юбка, белая шляпа.

— Сейчас, подожди одну минуту, — хрипло ответил Крылов. Почему-то на цыпочках он побежал обратно в комнату, в панике схватил с единственного стула изма-

занные зеленую единственные джинсы. Запрыгал, влезая в какие-то излишне длинные, махавшие в разные стороны штанины, потом натянул не очень свежую майку и, уже почти спокойный, вернулся к дверям, взял со стола ключи, аккуратно распечатался.

Не Тамару он ожидал, но именно она, как никто, была пригодна и предназначена, чтобы принести в убежище несуществующего Бога. Тот, кто ее создавал, не пожалел на нее ничего. Она буквально светилась в гулкой, с зыбкими темнотами внизу и наверху, пещере подъезда. Она была бледнее льняного светлого пальто, ненакрашенный рот ее напоминал обтрепанный ветром розовый мак. У ног ее, в которых скопилась видная невооруженным глазом мертвая усталость, стоял овальный чемодан с лошеным лоскутом на ручке — багажной карточкой Unated Airlines.

— Здравствуй. Пустишь? — спросила Тамара, не переступая порога, тесно составив туфли у невидимой черты, словно в аэропорту перед зоной проверки паспортов.

— Что ты спрашиваешь, заходи! — Крылов поспешно втащил ее в прихожую и подхватил чемодан, уложенный, как видно, второпях и напоминавший пухлую оладью с непропеченными твердыми комьями. — Не представляешь, как я рад тебя видеть, — сказал он, глупо улыбаясь и не зная, куда девать в тесноте свои нелепые, странно свинченные руки, норовившие обнять внезапную гостью.

— Знаешь, мне бы сейчас не разреветься, — весело сообщила Тамара, ногтем убрав от моргнувшего глаза черную соринку.

Крылов помог ей стащить измятое сзади пальто, отчето сильнее запахло знакомыми теплыми духами; оставшись в гладком платье из того же льна, в котором тело ее походило на асексуальный портновский манекен, она обеими руками сняла свою волнистую, жесткой тесьмой простроченную шляпу. Волосы под шляпой были войлочные, будто шиньон из чужих, давно слежавшихся кудрей, под прекрасными усталыми глазами лежало по куску угля.

— Послушай, ты один? — внезапно спросила Тамара, вытягивая шею.

— Да, а что? — удивился Крылов.

— Нет, ничего. Показалось, — пробормотала Тамара, продолжая глядеть через плечо Крылова в раскрытую комнату.

Тут Крылов сообразил, что призрак, о котором он фантазировал здесь одинокими глухими вечерами, все-таки успел образоваться. Сразу же он испугался, что феномен, по всей вероятности, разгуливает голышом — и еще неизвестно чем занимается, учитывая прошлую нужду Крылова в женском обществе. Присутствие Тамары дало ему почувствовать, что суть его, его душа больше всего напоминает обезьяну в зоопарке. Однако сам он, быстро оглянувшись, увидел только пластиковый стеллаж с цветными полками, похожий на сооружение с дворовой детской площадки, и синюю подушку на полу.

— Ну, показывай, как живешь, — бодро произнесла Тамара и, следуя пригласительному жесту Крылова, прошла в пустую комнату, откуда скользнула на кухню, посветив молочными ягодицами, смазанная тень. Больше не обращая внимания на призрак, объявленный несуществующим, она присела на край измятого дивана и, потеряв, как муха, ногу о ногу, сбросила туфли, упавшие тяжело, словно на них налипли тысячи километров пешего пути.

— Ты сейчас из Кольцова? — спросил Крылов, поднимая с пола подушку, полурассыпанную книжку, похожий на кокон пыльный носок и держа все это в руках.

— Нет, я летела до Оренбурга, — откликнулась Тамара, обводя мечтательным взглядом детсадовскую обстановку. — Оттуда на такси. Водила, не будь дурак, содрал с меня тысячу евро! — Она рассмеялась, болтая ногами, как школьница. — Я сделала вид, что плохо понимаю по-русски. Мой добрый драйвер всю дорогу объяснял, что в России стреляют, сильно опасно. Пиф-паф, большевик! — Она состроила уморительную мину, делая вид,

будто целится из пальца. На пальцах ее, всегда отягощенных крупными, колючими от бриллиантов дизайнерскими драгоценностями, на этот раз не было колец, и свирепая физиономия «большевика» из-за усталых теней получилась замурзанной.

— Чем же покормить тебя с дороги? — растерянно проговорил Крылов. — Давай я быстро сбегаю на угол, салатов принесу!

— Нет, не ходи никуда! — Тамара еще больше побледнела, по губам словно проступил крупитчатый иней. — Водка есть?

— Есть немного, — Крылов извлек из памяти стоявшую на голой полке початую бутылку.

— Неси!

Крылов, поозиравшись, снова кинул на пол все, что держал в охапке, и неуверенным шагом отправился на кухню. Там, как он и ожидал, он увидел самого себя сидящим на табурете, который просвечивал вместе с наброшенным на него горелым полотенцем. Крылов представлял себя более мускулистым, не с такими обглоданными мослами и не с таким выпирающим позвоночником, спускавшимся по сторбленной спине, будто девичья коса. Призрак можно было принять за неудачную, низкого качества голограмму. Соответственно он был непрочен. Первыми растаяли поджатые, обросшие рогом пальцы на ногах, затем исчезла рука, державшая блик фаянсовой кружки, — и все видение вытянулось, дало глубокую складку и растворилось, взглянув напоследок на Крылова длинными туманными глазами из-под шелушащегося потолка.

Крылов, улыбаясь, смахнул со лба холодный пот. Затем он извлек из полупустого шкафчика бутылку «Столичной», вспорол оленину, обложенную жиром, точно старым, семидесятилетней давности, северным снегом, подхватил свежевывмытые кружки, две из трех.

Когда он вернулся в комнату, Тамара распечатывала пачку соленого французского печенья, должно быть из-

влеченную из чемодана. Перед ней на пластиковом стуле нежно розовел паштет, лоснилась жирным бисером баночка икры, а рядом, на диване, белела файл-папка с какими-то бумагами. Крылов присоединил к деликатесам оленину, внятно пахнувшую кровью, и набулькал водки в толстые кружки, где она казалась водой.

Чокнулись, брякнув, будто стукнулись камнями. Тамара выпила, сморщилась, прикрывая лицо, и внезапно укусила себя за руку. На запястье остался мокрый сливовый след.

— Мне сейчас никак нельзя в Кольцово, — сообщила она, отдышавшись. — На меня заведено уголовное дело, и я в розыске. Все это полная чушь, спектакль для устрашения. Губернаторская команда сдает меня по полной программе. В полную программу входят обыски с погромами, задержание и следственный изолятор. Я же в СИЗО не хочу. Там за неделю теряют здоровье на годы. А эти — они, понимаешь, успеют...

— Настолько серьезно? — Крылов, которому теплая скверная водка после всех сегодняшних приключений током ударила в мозг, сильно сжал Тамарино плечо с трогательной, выпроставшейся из-под платья шелковой бретелькой.

— И да, и нет, — Тамара, не отстраняясь, продолжала смотреть перед собой горячечными темными глазами, страшными, как у актрис немого кинематографа. — На меня уже работают солидные лойеры. Дело они развалят. Да там и разваливать-то нечего... Сейчас ведутся переговоры о мере пресечения, скорее всего, будет формальное задержание и освобождение под залог. Но я должна скрываться еще несколько дней. Я за этим к тебе и пришла. Видишь ли, — она с улыбкой поежилась, — никому и в голову не придет, что у тебя может быть какая-то недвижимость. По этому адресу ты не зарегистрирован. Пока сообразят... Кроме того, всем, кому надо, известно, что мы с тобой поссорились насмерть. По-

мнишь, как орали друг на друга? Этажом ниже все ушки были на макушках...

— Конечно, оставайся, живи, сколько хочешь! — с жаром воскликнул Крылов. — Я на всякий случай под дверью буду спать. Только вот за револьвером к матери схожу.

— Глупости! — Тамара резко дернула плечом. — Нет, правда, не сердись. Чего нам сейчас не хватает, так это, конечно, пальбы. Желательно по милиции. Все вокруг действительно стреляют, но нам в обозримом будущем всякое лыко в строку. Когда ты только повзрослеешь?

Крылов насупился, уставившись в мокрую кружку, где нехотя сползались прозрачные, словно бы жирные капли водки и воды.

— Может, и глупости, — сказал он утрюмо. — Но я ничего другого не могу. Объективно. И те, кто воюет на улицах за белых и красных, тоже ничего другого не могут. Ну просто в детство впадают. И как будто ничего не происходит. Нет ни дефолта, ни кризиса, ни обращения президента. Подумаешь, образовалась где-то сотня другая трупов. Кровь стекает, как с гуся вода.

— Помнишь, мы как-то говорили, что гуманизм закончился, — устало ответила Тамара. — Ты же историк. Много стоила человеческая жизнь в каком-нибудь Древнем Египте или в Средние века? Ну вот, она и сейчас стоит примерно столько же. Коммунистическая модель провалилась тридцать лет назад, а сейчас потихоньку сдувается западная модель демократии и либеральных ценностей. Все это ужасно, может быть. Одновременно все происходит наилучшим образом. Наилучшим из возможных. С наименьшими потерями. Только мало кто способен это оценить.

— Но правда и то, что существует сорт людей, которые не могут ничего не делать. Понятно, что они лишние, никакой роли им не отведено. А они рефлекторно размахивают руками, пыжатыся, хврятся. Вот я такой. В ре-

зультате выгляжу полным придурком. И собираюсь так же выглядеть в дальнейшем. — Крылов похлопал по дивану в поисках сигарет, нашел измятую пачку под тяжелым Тамириным бедром. — Я, правда, не знаю, почему таким получился. Но еще смешней меня выглядят больные, калеки, инвалиды. Те, у кого не хватает денег заплатить за квартиру, отправить детей в нормальную школу, где хоть чему-то учат. Ну, чего они страдают, жалуется? Ведь это все понарошку. На самом деле где-то в главной научной колбе хранится новый дивный мир, где все они здоровы, образованны, обеспечены. Им, правда, об этом не сказали. Вот они и ломают комедию, смотреть противно.

Крылов, сощурившись, прикурил кривую сигарету. Вкус у нее был совершенно навозный. После всех сегодняшних приключений глаза слезились, рот то и дело наполнялся горячей, словно гадючий яд, слюной.

— Не понимаю причины для твоего сарказма, — на лицо Тамары напал, как туча, густой бархатистый румянец. — Я признаю тебе кое в чем. Ненавижу так называемых простых людей. Стоит заговорить о недостатках общества, все тут же клянут продажных чиновников, тупых политиков, все укравших олигархов. И никто не смеет сказать, что главная причина идиотизма этого мира — в них, в этой массе социальных идиотов. В этом страшном, глобальном пассиве. Их нельзя подарить самим себе. Они самих себя не вынесут. Главная тайна нового дивного мира — не в замороженных научных разработках, а в ненужности основной массы населения для экономики и прогресса. Стоит это обнародовать, в какой угодно форме, как мы окажемся в метре от фашизма. — Тамара перевела дух и продолжила, кроша печенье на тесно сдвинутые колени: — Простые люди угрюмо подозревают, будто их обманывают, чтобы сделать мир хуже. Но вот в чем парадокс: если кто-либо захочет сделать мир лучше, ему придется точно так же их обмануть. Всех! По-

тому что им нужен праздник, как они его себе представляют. Им следует говорить только то, что они хотят услышать.

Крылов пожал плечами, чувствуя, как странно все: вот они с Тамарой встретились, соскучившиеся друг по другу, оба попавшие в тугой переплет, а говорят о мировых проблемах. В открытой форточке громада тополя чернела, словно гора каменного угля, и ветер ворошил ее, точно лопатой; жидко горело лунное пятно. В комнате между тем как будто менялось давление воздуха. В ушах Крылова и еще в каких-то внутричерепных болезненных пазухах туго шуршали пузыри.

— Будто все еще лечу на самолете, — пожаловалась Тамара, запуская острые пальцы в слежавшиеся волосы. — Странно тут все-таки у тебя. И живешь ты, будто подросток, оставленный родителями. Мебель эта детская, тушенка... Поешь, — она протянула Крылову печенью, на котором влажной, словно поцелованной горкой блестела икра, и тому сразу вспомнился работодатель, по уши в счастье. Душу стиснуло, будто и хозяин камнерезки тоже умер. — Знаешь, я ведь сильно изменилась за последнее время, — призналась Тамара, ковыряя паштет огромной чернозубой вилкой из остатков старухино серебра. — Всех жалко. Вот эти простые люди. Раньше они уважали художников, писателей, ученых, видели в них некое начальство. Теперь им не надо ничего за пределами их понимания. Им скучно, нудно, они этого не покупают. Я встречала одного русского в Нью-Йорке, где-то он преподает, пальтишко из рогожки, глаза с такими острыми зрачками, как две точилки для карандашей. Он говорит, будто все эти жуткие теракты и катастрофы последних десятилетий, начиная с гибели «близнецов» и кончая римскими взрывами, происходят потому, что люди перестали воспринимать большое искусство. Такие простые, грубые, кровавые заменители Шекспира и Достоевского. Чтобы всякая душа хоть раз в жизни ис-

пытала потрясение. Неприятный, скажу тебе, тип, по об-
 шлагам комочки, заскорузлые ниточки, будто испачкано
 кровью, хотя не обидел и мухи. Но, может, он-то и прав.
 Ведь в чем на самом деле главный ужас? Так называемые
 простые люди в каждом своем дне чувствуют себя бес-
 смертными. Поэтому они полагают бессмертной свою
 житейскую правду. Помнишь пенсионера Паршукова,
 у него еще были красные «Жигули», и ты мне обещал ку-
 пить такие же, чтобы ездить на рынок? Он мне все вре-
 мя говорил, что раньше таких, как я, расстреливали, что
 товарищ Сталин вычищал врагов народа, а теперь, мол,
 развелось. А я тогда еще училась в гимназии и уж не
 знаю, чем его так раздражала.

— Паршуков давно умер, — глухо проговорил Кры-
 лов, у которого перед глазами вдруг возник, к а к
 ж и в о й, сердитый дед с нарисованной калошей на про-
 тезе, двигавший рычагом передач своих «Жигулей», буд-
 то костылем, отчего машина, дергаясь туда-сюда, словно
 перенимала его хромоту.

— Умер, но этого н е п о н я л, — запальчиво воз-
 разила Тамара. — Ты наверняка хочешь меня спросить,
 почему я не просидела еще недельку за границей. Так вот:
 все от меня того и ждут, чтобы я убралась на жительст-
 во куда подальше, в европейское комфортное местечко.
 Чтобы тихо проедала там остатки денег — если что-ни-
 будь останется. «Рифейский промышленный» и «Инвес-
 тросбанк» закрыли мне кредитные линии. У всех моих
 структур арестованы счета. Ищут, где же мы все-таки не
 заплатили налоги. Особенно прессуют «Гранит». Кон-
 трольного и даже блокирующего пакета им, понятно, не
 собрать. Зато нам не дают работать, опечатали склады, ма-
 стерские. Клиники отказывают нам в аренде. Повисли
 уже решенные вопросы с землеотводами. А ведь люди
 умирают каждый день, их кто-то должен провожать.
 И вот, откуда ни возьмись, возникла фирма «Последний
 путь», которая села везде, где раньше были мы. Думаешь,

кто ее владелец? Не поверишь — Евгения Кругель! Которая при одном упоминании кладбища начинает трястись и аварийно мигать всеми своими драгоценностями. Стало быть, за бизнес взялся сам папаша Кругель. Его превосходительство губернатор и будет теперь у нас главный гробовщик.

— Ему пойдет, — не удержался от реплики Крылов, вспомнив телевизионные трансляции из губернаторской резиденции. Кабинет его превосходительства был отделан торжественным дубом в стиле самых помпезных похорон, а сам папаша Кругель сильно смахивал на продавца всей этой резной полированной роскоши, и физиономия его, скорбная по случаю гражданских инцидентов, была соответствующая.

— Только они не знают, что я никуда отсюда не уеду, — заявила Тамара и, как-то неправильно взяв в руку бутылку, разлила остатки водки по кружкам, будто поливая цветы.

— По-моему, ты не взрослее меня, — усмехнулся Крылов, забирая себе большую порцию дряни, а Тамаре оставляя ту, где было на дне. — Все обустроиваешь лодочную станцию на переправе через Лету, и обязательно здесь, а не где-то еще. Все пытаешься переучить людей умирать. Чтоб поняли как следует. А они тебе этого не прощают. Могли бы — побили камнями.

— Пытаются побить, но могут не все. Увы, мне придется вмешаться, пока меня не разорили до точки невозврата. Счет идет на дни, — Тамара решительно тряхнула головой, где остатки прически стояли дыбом, и в них, как в чашобе, стояла темнота. — Я ведь не зря слетала. Нашла и поддержку, и кредиты. Теперь мне надо встретиться здесь кое с кем. Рассказать, как обстоят дела, предложить сотрудничество. Лично и аккуратно дать взятку. Тут уж меня, сам понимаешь, никто не заменит.

— Только, пожалуйста, не попадись, — попросил Крылов, полный бессильной досады на Тамарино упрямство

и невозможность вмешаться в ее великие дела. — Если тебя возьмут на взятке с поличным, выйдет не лучше пальбы. Ты уверена, что твой предполагаемый друг попросту не сдаст тебя в СИЗО?

— Не в его интересах, — жестко сказала Тамара. — По-другому не бывает, пойми. А я все равно вернусь. Сама на собственные деньги построю «Купол». Вобью его в эту землю, как гвоздь. И правда, нечего складывать туда всякое чиновное жулье. Сделаю из «Купола» что-то вроде парижского Пантеона. AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE. ВЕЛИКИМ ЛЮДЯМ — БЛАГОДАРНАЯ РОДИНА. Наша Родина, правда, никому не благодарна. Зато все эти деятели науки и искусства в качестве собственных памятников, сделанных из самих себя, очень даже отвечают моей основной задаче. Живые они никому больше не нужны. Но мертвые — выразительнее среднего Иван Иваныча сообщают о существовании смерти. И, соответственно, пиарят жизнь, в которую нашему простому человеку верится с трудом.

— По-моему, у тебя такая мания: использовать трупы в культурных целях, — заметил Крылов.

— Возможно, это единственное, в чем культура еще нуждается, — беззлобно парировала Тамара, принюхиваясь к водке. — Сейчас мы выпьем за то, чтобы у меня все получилось. А потом я отвечу тебе на вопрос, который ты хочешь, но никак не решаешься задать.

* * *

Высасывая водку до капли, Тамара по-детски сопела и чмокала в кружке. С жадностью она набросилась на маленькие ломкие сэндвичи, не забывая прихватывать вилкой мыльные волокна оленины. Крылов, которому еда никак не лезла в перехваченное горло, пытался определить, стоит ли выслушать Тамарины лихие оправдания

или лучше ничего не знать о фабрике «Северзолото» и деятельности ЗАО «Стройинвест».

Когда же это было? Году примерно в девяносто четвертом — девяносто шестом. Рушились финансовые пирамиды, у плотины митинговали, с каждым днем все более женским и все менее мужским составом, обманутые вкладчики. В бывших парадных, в перестроенных общественных туалетах, чуть ли не в телефонных будках торговали плоскими кожаными куртками, паленым алкоголем и большими, как коробки пластилина, шоколадными плитками. Рубли мутировали ежемесячно, точно поколения мушек-дрозофил. Полунищие рублевые миллионеры носили плечистые цветные пиджаки поддельного кашемира, на ощупь вроде крашеного крахмала. Братки разъезжали по городу на ржавых иномарках, оглушая мощным роком, будто музыкальные киоски. Именно тогда Тамара купила свой первый спортивный БМВ: таких шикарных машин в рифейской столице было наперечет, и прохожие смотрели вслед, когда Тамара, полулежа в водительском кресле, упорно двигала белую красавицу вперед по пушистой от снега рифейской грязи.

И тогда же были эти странные командировки с телефонным молчанием и поездки на чьи-то дни рождения на первые каменные дачи, где чадили, как везуви, отделанные малахитом мощные камины и поражала варварская мебель, крытая парчой. Там уже мелькали кое-какие нынешние лица, ничем особенно не выделявшиеся среди прочих лиц и даже менее заметные, чем те, кого впоследствии стерло. Павел Петрович Бессмертный, средний хозяин и вечный зам какого-то начальства, носил тогда полушерстяной коричневый костюм, подходивший по цвету и фактуре к его заостренным усам. Аспирант Володя Гречихин представлял собой нечто размытое и угнетенное, девушкам явно не нравились его чрезвычайно прозрачные длинные уши, торчавшие из тонких волос, отпущенных до плеч. К Тамаре хозяева тогдашних празд-

ников относились с отеческой добротой и слушали ее толковые речи с умилением, как взрослые слушают ребенка, читающего стишок. Что именно она говорила упитанным дяденькам в золоченых узеньких очках, какие сдавала экзамены, Крылов не знал — его всегда отвлекали в сторону чем-нибудь неинтересным, демонстрацией каких-то пересохших птичьих чучел или полированной яшмовой плитки, которой предполагалось оклеить туалеты. Ему, тогда еще кормильцу семьи, выполнявшему деликатные поручения Анфилогова плюс неплохо торговавшему видеокассетами, было неуютно оттого, что затеваются какие-то дела, но при этом не с ним.

— Ты бы просто на это не подписался, — сообщила Тамара, прочитавшая, как это с ней бывало, крыловские мысли. — Ты был уже недоверчивый, тертый, поглядывал волком. И ты бы точно задал себе вопрос, не слишком ли задешево тебя хотят использовать и не слишком ли круто подставляют. Ну а мне хотелось отличиться. Хотелось похвалы, и чтобы все твердили, что я само совершенство. И я, представляешь, сама в ответ на их аккуратные пожелания разработала схему, максимально для них приятную. Я чувствовала себя их любимой помощницей. И тоже их любила за то, что они, такие продвинутые, взрослые, приняли меня в свою игру. Хотя в комбинациях, которые тогда осуществлялись, было место чему угодно, но только не чувствам.

— То есть тебя, разбежавшуюся им навстречу, предполагалось стереть в порошок, — угрюмо уточнил Крылов.

— Вот поэтому я и не посвящала тебя ни во что, — упавшим голосом ответила Тамара. — Мне казалось, что ты слишком злобно думаешь о людях. Что ты вмещаешь и оконфузишь меня перед моими друзьями, которые еще ничего плохого мне не сделали, а наоборот, только помогли.

— Ничего себе! — возмутился Крылов. — Хорошие открытия делаю я на старости лет! Значит, пока тебя не

посадили и не пристрелили, не навесили долгов со счетчиком, они святые люди, не верить которым смертный грех. Несмотря на то что именно они создали себе и другим все эти возможности.

— Я и сама создала, — тихо напомнила Тамара. — Я тоже в этом участвовала, причем с большим энтузиазмом.

— Ну и как же у тебя получилось выкрутиться? — саркастически осведомился Крылов, которому наконец открылся пакостный подтекст солидных толковищ, доносившихся до него сумбурными звуками, похожими на жирное воркование грудастых голубей.

— Не через постель! — вспыхнула Тамара, нечаянно толкнув Крылова локтем.

— Это не обсуждается, — отмахнулся Крылов. — Говори по существу.

Тамара ссутулилась, стиснув руки между колен, потирая ладони и колени друг о друга, точно стреноженный кузнечик. Это была ее подростковая, гимназическая привычка, проявлявшаяся только в минуты растерянности, очень редкие у взрослой успешной Тамары. Так она сидела, если знала, что никто чужой на нее не смотрит.

— Мне это стало понятно две недели назад, — произнесла она наконец, глядя в горбатый паркет. — Тогда мне казалось, что люди поступили порядочно, то есть естественно. Истина дошла до меня в прямом эфире, когда предъявили господина Горемыко и он заговорил. Понимаешь, все дело в том, что они построили эти хранилища для цианидных растворов, на самом деле построили! А я все двадцать с лишком лет была уверена, что фабрики «Северзолото» в природе не существует!

— То есть как? — изумился Крылов.

— Вспомни начало девяностых. Вспомни, какие были времена, — терпеливо продолжила Тамара. — Все были как пьяные. Казалось, будто вот-вот новые экономические гении отгрохают у нас капитализм. Каких только проектов не пиарилось! Народные хлебопекарни, сеть быст-

рого питания «Русские блины». Дескать, заткнем за пояс все ихние «Макдоналдсы»! Под это брали кредиты, да еще и продавали населению сертификаты акций. Не акции, заметь! А население разницы не видело, знай несло свои денежки в эти хитрые фирмы. В очередях стояло. Потому что рублей получало все больше, а стоили они все меньше. Потому что их миллионы таяли в каждую полночь, будто золушкины кареты. Ну, и плюс коллективизм: мол, всем миром, в складчину, так оно вернее...

— Но потом никто не увидел ни русского фастфуда, ни хлебопекарен, — вспомнил Крылов. — И почему-то очень быстро забыли, даже как назывались эти предприятия.

— Вот именно! — подхватила Тамара. — То было мошенничество в чистом виде. Никто ничего не собирался строить. Вот этих иллюзионистов и постреливали, и сажали, особенно после обвала «МММ». Помнишь процесс ТОО «Василиса»? Та самая народная булочница Василиса Чуркина, такая громадная баба, руки величиной с ноги, прическа как боярская шапка, глазищи с куриное яйцо. Она из СИЗО давала интервью, что, дескать, только собралась строить первую пекарню, как государство налетело и отняло деньги, принадлежащие вкладчикам. Ее, между прочим, пощипали и быстренько выпустили. Потом она стала народной целительницей, снимала порчу по телевизору, к ней в баню гадать записывались на полгода вперед. Еще лет пять назад я видела на прилавке брошюрки: Василиса Чуркина, потомственный народный экстрасенс, заговоры на любовь и на деньги. Двести тысяч тиража!

— Пока не понял, какая связь, — перебил Крылов, раздосадованный призраком Чуркиной, которую смутно помнил по издательской рекламе в метро, в черной шелковой шали, перед оплывшей пирогом громадной свечой.

— Еще раз объясняю. Я думала, что «Северзолото» такой же фантом, как «Русские блины». Когда иллюзионисты

стов стали сажать, хотя не всех, я была уверена, что меня прикрывают друзья. А на «Северзолоте» и правда велось строительство, неважно какого качества. Вот почему по «Стройинвесту» тогда не возникло расследования. — Тамара прерывисто вздохнула и вдруг зевнула вязко, застезившись, не разжимая челюстей. — «Стройинвест» был фирмой-однодневкой, — продолжила она с комом зевоты во рту. — Мне на счет упали деньги, тот самый кредит, и пробыли там неделю с небольшим. Не буду вдаваться в подробности. Себе я заплатила якобы за проект, которого не было. На том все кончилось. Сама теперь удивляюсь, как сильны были тогда финансовые виртуальности. Ведь дожила до сорока с хвостом, а ни разу не удосужилась хотя бы поискать «Северзолото» в Интернете.

— В студии ты что-то кричала по поводу времени съемки, — сурово напомнил Крылов.

— А, так ты смотрел! — оживилась Тамара. — Только не говори сейчас, что ты предупреждал. По крайней мере, Дымов получил свое. Сотрясение мозговой оболочки плюс повреждение личика. Любящий Бессмертный унес его на перепончатых крыльях за океан к американским докторам. Думаешь, мне все эти годы не хотелось сделать что-нибудь подобное? Еще как хотелось! — Тамара засмеялась недобро, утробно, отчего сделалось заметно, что без режима и фитнеса у нее обозначился животик. — Теперь что касается фильма. Снимали на старую цифру, и в углу студийного экрана иногда выскакивала дата. Август две тысячи десятого! То есть об утечке цианидов знали семь лет назад. Знали — и не предприняли ровно ничего! А теперь со всех сторон вешают все на меня. Ну, это мы еще поглядим! Если как следует копнуть, то господин Бессмертный, например, не соберет своих костей. Вот мои лойеры сейчас и торгуются. Черт, мне бы только разблокировать счета! Я еще соберусь с силами. Еще вернемся к вопросу, кто кого потопит!

Крылов, сощурившись, глядел на возбужденную Тамару из дальнего угла дивана. Она не нравилась ему такая — словно беременная месью. Он внезапно подумал, что Госпожа Смерть все-таки пришла к нему в убежище и поцеловала в щеку, для чего-то оставив в живых.

— Не смотри на меня так! — Тамара сердито заерзала, натягивая на колени тесный, усыпанный крошками лен. — Хочешь знать, терзают ли меня ночами муки совести? Нет, не терзают. Извини. Когда все это произошло, я была девчонка, и я пришла бы в ужас от гибели зверушек и отравления лесов. Я бы ревела в подушку. Я ни за что не стала бы в этом участвовать. Я и сейчас не стала бы, но по другим причинам. Слишком много воды утекло за двадцать с лишним лет, и главное, что изменилось, — это я сама. Если выкарабкаюсь и если смогу потом что-то сделать для зараженного района — сделаю. Но большего от меня не жди.

— Ну хорошо, — Крылов рывком поднялся на затекшие ноги, и паркет словно прошел под ним деревянной волной. — Знаешь, я как-то не успел тебе сказать: я в любом случае на твоей стороне. Мне не важно, виновата ли ты и насколько виновата. Ты мне дороже и лесов, и зверушек. И еще — прости, что тогда, у тебя, наговорил ерунды. Я завелся и был неправ. А теперь, если я действительно не нужен, я пошел.

— Постой, — Тамара тоже встала и перехватила руку Крылова, уже державшую пиджак. — Подожди. Еще не все.

* * *

Крылов обернулся и увидел, что в глазах Тамары, полуприкрытых влажными ресницами, сияют звезды. Это был знакомый признак. Несомненно, он забылся и наговорил чего-то лишнего. Неужели опять эта безумная на-

дежда, которой Тамара мучает его четыре года? Неужели опять придется разрушать иллюзию любящей женщины, родной до малейшей черточки на золотой ладони, до последней морщинки на заиндевелых ненакрашенных губах, но уже совсем и никак для него невозможной? Но нет, кажется, нет. Тамара действительно изменилась, что-то в ней, спрятанное под платьем, под кожей, стало другим. Зачарованный этой переменной, отражавшейся на лице, как солнечный отблеск темной, тяжелой воды, Крылов позволил себя увлечь обратно на диван, словно измятый страстными любовниками, с крошками печенья на подушках.

Тамара, все не выпуская запястья Крылова, достала из-за спины изломанную файл-папку, отцарапала магнитную пластинку. Вжикнула, раскрываясь, зубчатая змейка, и Крылов увидел, что в папке жиденько белеют только два косо скрепленных бумажных листочка.

— У меня для тебя кое-что есть, — Тамара мягко и загадочно положила на папку чуть дрожащую ладонь. — В благодарность за гостеприимство, ну, и за все остальное. Но прежде чем я тебе это отдам, должна сообщить... — Тут Тамара сощурилась, так что между ассирийских спутанных ресниц совсем не осталось блеска. — Должна сообщить, что профессора Анфилогова и его напарника Николая Уткина больше нет в живых.

Крылова окатило изнутри — горячим, страшным. Он ожидал чего угодно, но только не этого напоминания. Может быть, со второго раза дошло. Вероятно, Тамара, посмотревшая искоса, нипочем не догадалась, что ее сообщение для Крылова не новость. Все-таки это был слишком внезапный удар, причем по свежей боли, которую Крылов теперь ощущал как мигающую внутри, с тревожными звонками и жужжанием аварийную лампу. Ему казалось, будто руки его сквозь кожу вспыхивают красным. И опять тихонько дернула сердце давешняя леска, теперь как будто привязанная к старухиной

люстре, похожей на перевернутый табурет, обвешанный мутным хрусталем.

— Продолжай! — бросил Крылов Тамаре, смотревшей на него с подозрением и уже привстававшей, чтобы искать лекарство.

Умная Тамара не стала препираться. Сев на диване прямо, она продолжила отчетливым голосом, словно делала доклад на совете директоров:

— Тела Анфилогова и Уткина нашли на севере области, в десяти километрах к востоку от Балакаевского лес-промхоза. Согласно предварительному заключению, смерть наступила в результате отравления цианидами. — Тут Тамара как бы чем-то подавилась, и Крылов догадался, что начисто отрицаемое ею чувство вины на самом деле просто очень хорошо запечатано. — Собственно говоря, так оно и было на самом деле. Похоже, твои друзья просто купались в цианидных растворах. Слизистые у них превратились в фарш. Ну, и другие очевидные симптомы...

— Ничего, — Крылов, неглубоко дыша, дотянулся до прямой, точно срезанной ножом Тамариной спины. — Я тебе уже сказал, что ты мне дороже лесов и зверей. На профессора с Коляном нашей с тобой прожитой жизни тоже как-нибудь хватит. Так что рассказывай дальше.

— Так получилось, что мне удалось купить заключенные местного дикого лекаря, который выезжал на трупы, — ровным голосом продолжила Тамара, немного склонив растрепанную голову. — К сожалению, я сейчас не могу себе позволить, чтобы к моей «цианидной осени» добавились мертвецы. С этими двумя шансы провести переговоры сводились к нулю. Поэтому мой доверенный персонал тайно перевез покойных в один из оставшихся моргов «Гранита». Там были выписаны официальные свидетельства о смерти. Причиной была указана острая сердечно-сосудистая недостаточность. Разумеется, сотрудники оперативно связались с родственни-

ками умерших. И получили от них официальное согласие на быструю кремацию. Кремация и помещение урн в колумбарий состоялись сегодня утром.

Крылов отвернулся. Ему почему-то вспомнилась коллекция профессора, что хранилась в разлезавшихся картонных коробах под его провисшей панцирной койкой, — и как в самую первую ночь они с Татьяной чувствовали коллекцию влажными телами, будто их волшебная лодка иногда задевала каменное дно.

— Я понимаю, все это крайне прискорбно. Поверь, если бы утром я была в стране, я бы придумала способ, как отвезти тебя попрощаться. Но в эти часы я летела над океаном. — Тамара выдержала паузу в несколько секунд, которые позволили ей снова утопить в себе нечто неуместное и лишнее. — Так я подвожу тебя к самому главному. К родственникам покойных.

— И что? — спросил Крылов отстраненно, изо всех сил вызывая к жизни образ племянницы профессора, приезжавшей на сессию и едва его не соблазнившей. Но увертливая девица, играя водянистыми глазищами, порхая люминесцентными ногтями, горевшими будто болотные огни, упорно не желала воплощаться.

— Родственников оказалось немного, — сдержанно проговорила Тамара. — У Николая Уткина по адресу прописки нашлась одна прабабка. Именно нашлась: в какой-то покосившейся избе, будто картофелина завалилась в ящичке. Старухе девяносто два, еле может вывести каракую. Очень благодарил за наши деньги, думала, что пенсия за правнука. Ну, а у профессора, представь себе, обнаружилась молодая вдовица. Анфилогова Екатерина Сергеевна. Та самая твоя блондинка.

Так и есть! Хотя и это, в общем-то, не новость. Крылов потому так долго заблуждался насчет Татьяны и профессора, что видел на вокзале идентичность их ладоней, какая бывает только у близких кровных родственников, например у брата и сестры. Эта утонченная латынь, в со-

вершенстве совпавшая сквозь толстое вагонное окно, будто переснятая под копирку серого стекла, на которой отпечатались косые и разные почерки северных дождей. Вот они, штучки Каменной Девки, так жаждущей от мужчины всей его любви, всего его существа, что она не может не присваивать его физически: ворует уши, ногти, линии жизни, носит его шевелюру, как шапку. И Татьяна не сильно врала, укрепляя образ мужа под ревнивым напором Крылова. Должно быть, профессор так и представлялся ей: механическим человеком, работающим от сети. Но все-таки не прощаются с женами на вокзалах, держась от них на расстоянии в четыре метра: эта хладнокровная скотина, чей пепел сейчас остывает в колумбарии до типично анфилоговской прохладной температуры, могла бы, по крайней мере, ее поцеловать.

— Я понял. Значит, Екатерина Сергеевна, — проговорил Крылов, бессмысленно щупая свое шершавое лицо. — Вот, значит, как ее зовут. А скажи... Вдове профессора вы тоже заплатили? Она взяла у вас отступное?

На это Тамара ответила непроницаемым молчанием. Она опять сидела очень прямо, опустив глаза на сложенные руки, где два случайно скрещенных указательных подрагивали, будто закоротившие проводки. Было понятно, что она промолчит сколько угодно, но не опустится до подтверждения неблагоприятного факта. Но и выгораживать Екатерину Сергеевну она не будет — просто не удостоит соперницу ни малейшим комментарием, ни тенью личного отношения. Только теперь Крылов понастоящему рассмотрел, как страшно закалили Тамару разоблачение и травля. Ее молчание было монолитом, весившим столько, сколько весь свободный воздух на этой планете. Это молчание лишало Екатерину Сергеевну каких бы то ни было свойств. Она становилась тем, о чем неприлично говорить.

— Значит, вдова отступное взяла, — сам себе подтвердил недобро улыбнувшийся Крылов.

Итак, Татьяна подала первые признаки своей настоящей жизни. Крылова душил волнами поднимавшийся стыд, точно его нагревали и посыпали сахаром. Точно это он нажился на смерти профессора, взяв у Тамары позорную мзду. И вместе со стыдом поднималась в душе тошнота: душа ощущалась в теле, словно отравленный желудок, из которого рвутся наружу жгучие массы. Это было, возможно, чем-то вроде острого предчувствия, отравления каким-то будущим.

Тамара между тем не помогала Крылову, просто выдерживала правильную паузу.

— Отношения клиентов с «Гранитом» регулируются типовым договором, — наконец произнесла она почти официально. — Когда я узнала, кто такая супруга профессора, я попросила переслать мне договор по факсу в Нью-Йорк. Сомнений в личности госпожи Анфиловой нет: профессором и его напарником занимались те же самые люди, которые наблюдали за вами в целях твоей безопасности. Я привезла договор тебе, думаю, он пригодится.

С этими словами Тамара протянула Крылову косо скрепленные листочки. Испарения стыда немного мешали смотреть. Узкий заостренный почерк, странно размеренный, будто слова писали не ручкой, а зубьями вилки, сразу четырьмя, был Крылову совершенно незнаком. Впрочем, он не знал Татьяниной руки, никогда не получал от нее ни письма, ни записки. «Екатерина Сергеевна» к ней никак не лепилось, а «Таня» было теперь упразднено. Безымянная женщина, именуемая в договоре «Заказчик», письменно подтверждала, что в таких-то и таких-то случаях не будет иметь к «Исполнителю» ровно никаких претензий.

— На второй странице адрес и телефон, — подсказала Тамара, вдруг осветившаяся слабой, но все-таки настоящей улыбкой.

Крылов, стараясь не спешить, перевернул. Подпись Тани будто щеточка с застрявшим волоском. Действитель-

но, адрес: улица Еременко, дом двадцать восемь, квартира семнадцать. Крылов нагнулся ниже, делая вид, что не может разобрать. Видимо, Тамаре не судьба. Что бы она ни делала, какие бы ни дарила подарки, как бы ни пыталась от души помочь — все было Крылову не впрок. Он даже не помнил сейчас, куда запрятал коллекционную Памелу Андерсон: может быть, в один из полурассыпанных, с корками на нитках, томов Александра Дюма, может быть, в коробку под тахту. Все-таки выходило многовато: третий ложный адрес за этот длинный день. На улицу Еременко, в квартиру профессора они поехали с Таней на сумасшедшем разбитом такси. Тогда она ничем не показала, что ей знакомо это место. Тогда у нее был такой смешной бюстгальтер, две кочки потрепанных кружев на тугих бретельках, которые после разъема крючка забавно прыгнули, точно ими выстрелили из рогатки. Тогда она не могла найти выключатель в ванной и долго водила рукой по стене, похожая в полумраке на белого комара, пока наконец не щелкнуло. Видимо, все это надо отнести на счет причуд покойного профессора. Возможно, она понятия не имела, в чьей оказалась квартире, разве что узнала старую рубашку, висевшую на спинке стула, да кое-что из книг.

Тамара ждала, сияя тихим влажным светом, собрав на лбу немного бархатных морщин.

— Спасибо тебе большое, — прочувствованно произнес Крылов, радуясь, что спазмы смеха в его пережатом голосе похожи на подавленные слезы. — Я очень тронут, правда. Очень ценю. Это с твоей стороны настоящий благородный шаг.

— Вот и хорошо. Видишь, я выполнила твою просьбу, хотя и с опозданием, — Тамара сдержанно улыбнулась, глазищи ее маячили и зыбились, будто ночные огни на темной осенней реке. — Ну, а теперь действительно иди. Я устала, у меня завтра, а верней, уже сегодня, очень трудный день.

Они встали с дивана одновременно, будто люди, по обычаю присевшие на дальнюю дорогу, а теперь готовые, с билетами в карманах, отправиться в путь. Вот теперь расставание, о котором так долго думал Крылов, до которого все надеялся дожить, и правда наступило. Сейчас он любил Тамару так же сильно, как в первые дни после свадьбы, но знал, что через какое-то время это пройдет. Знание это давалось с большим усилием и норовило ускользнуть. Держа на отлете злополучный договор, он обнял женщину одной неловкой левой рукой и почувствовал ее дыхание, высокое в груди, легкое на щеке — словно полную воздуха и жизни древесную крону, которую сгреб, выставляя локоть, угрюмый великан.

Потом Крылов выложил перед Тамарой железную кучку ключей, показал, выдернув ящик из пустующей тумбочки, забившиеся в угол запасные комплекты. Себе он не оставил ни одного. Вытащил из шкафа слежавшееся, пахнувшее цветочным мылом постельное белье. Между тем пространство убежища заметно менялось. Видимо, произошла разгерметизация, и в оконные щели тек слоями, будто джем из пирога, наружный воздух. Шевелились остатки кружевного тюля, поскрипывали крепления карниза. Справа наверху крепления заело, бурая штора заломилась похожими на черепицу старыми складками, а Крылов так и не починил.

Он в последний раз обвел сентиментальным взглядом бывшие свои владения — с отчетливым чувством, будто видит это все в последний раз. Мощно зеленел старухин столетник. На люстре тряслись, бросая на потолок размазанные звезды, граненые стекляшки. Тамара, обхватив себя руками за плечи, проводила Крылова до коридора. Там он быстро поцеловал ее ладонь, где горьковатая влага блестяла золотым песком вдоль сильных линий жизни, обещающих долгий век, счастливый брак.

Выскочив на смутную Кунгурскую, катившую вниз, под уклон, свое расплывшееся электричество, Крылов ог-

лянулся и увидел, что бывшее его окно, которое он всегда держал наполовину незадернутым, теперь надежно закрыто сомкнутыми шторами. Он подумал о Тамаре там, внутри: если Бога в убежище по-прежнему нет, то, значит, никто за ней не присмотрит. Возле справочных и телефонных автоматов, там, где совсем недавно стояла Татьяна в плоских истертых сандалиях, два больших тополевых листа, похожих на мокрые подошвы, вздрагивали под порывами влажного ветра, словно переминаясь, не решаясь сделать шаг. В телефонной будке, засунув карточку в тугую щель, Крылов набрал Фарида, вкратце изложил ему последние обстоятельства и получил распоряжение немедленно прибыть.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

Доброта была давней тайной Фариды, которую он скрывал, буквально сбегая с места совершения поступка и некоторое время после этого не показываясь на люди. Но теперь, когда Крылов поселился у него, доброту стало некуда прятать, некуда поставить так, чтобы не было видно. Поскольку Крылов пришел без запасной одежды, Фарид немедленно отдал ему новенькие кожаные джинсы и свой парадный свитер из пуховой шерсти, нежной, как туман. Холодильник Фариды, всегда стоявший практически пустым, теперь загрузился продуктами; Фарид в кухонном полотенце, повязанном на чреслах поверх измятых клетчатых трусов, азартно создавал обеды и ужины, управляясь с плитой, уставленной сковородами и кастрюлями, будто джазовый ударник со своей ударной установкой. В заднюю узкую комнату, где со всеми возможными удобствами был устроен Крылов, переместился древний телевизор, обшитый древесно-стружечной, когда-то полированной доской, который хозяин, по его уверениям, почти не смотрел. Когда зарядили безразмерные дожди, жидкими нитями резины бьющие в окно, появился купленный на распродаже утепленный плащ и крепкие армейские ботинки с куделями шнуровки на высоченных тракторных по-

дошвах. Подошвы эти, впрочем, некоторое время оставались девственными: Фарид считал, что разгуливать по улицам Крылову опасно.

В ту ночь, когда Крылов, трясущийся от нервного озноба, явился к Фариду, они опять просидели до утра. Помянули Коляна и профессора, не чокаясь, глядя каждый в свою граненую стопку. Рассказ о гибели соглядатая, оказавшегося убийцей Леонидыча, был выслушан очень внимательно; побег от тела, по всей вероятности все еще сыреющего в кустиках, был вопреки ожиданию признан правильным поступком.

— Никто не стал бы с тобой особо разбираться. Создается большой народный сериал про твою Тамару. Ты бы пригодился, вот и все, — сообщил Фарид, кромсая прямо на тарелке мягкий, как подушка, безвкусный каравай.

Помянули Леонидыча и Завалихина Виктора Матвеевича, которые, возможно, встретились теперь где-то в заоблачной сфере и обо всем поговорили. Фарид разливал по стопкам «Рифейскую особую» с такой поразительной точностью, что казалось, будто мутные стакашки — сообщающиеся сосуды и уровень жидкости в них уравнивается сам по себе. Водка, куда приличней той, что была распита в убежище, совершенно не забирала Крылова, только стеклянила сознание, отчего ему казалось, будто они с Фаридом тоже сообщаются, как колбы, через какую-то трубку, и когда Фарид вставал, чтобы добавить на стол какой-нибудь еды, Крылов на шаткой табуретке ощущимо тяжелел.

Разговор с Тамарой, внезапно возникшей из ночи, Фарид попросил пересказать во всех подробностях. Кое-что Крылов, понятно, утаил. Фарид слушал, впившись, цокая рысьими когтями по изрезанной клеенке.

— Ценная информация, — подытожил он, когда Крылов удрученно замолчал. — Это не адрес и не телефон госпожи Екатерины Анфиловой, про которую я рань-

ше никогда не слышал. Десять километров к востоку от Балакаевского леспромхоза! Вот царский подарок от твоей Тамары!

— Ничего себе подарок, — пробормотал Крылов, вяло тербя на своей тарелке лохмотья яичницы.

— Не забывай, что я единственный в большой хите профессиональный геолог, — назидательно проговорил Фарид, сам себе кивая ссохшейся, как чеснок, сухими сединами покрытой головой. — Вот смотри: цианидная катастрофа произошла в Нейвинском районе, недалеко от села Кедровое, ориентировочно в девяносто девятом году. Гидрогеология, конечно, не моя прямая специальность. Но могу предположить, что в том районе имеется напорный водоносный горизонт, определенный тамошними синеклизами, то есть прогибами пород. Произошла инфильтрация цианидов в грунтовые воды. Восемнадцать лет они по водоносной толще двигались туда, где область разгрузки горизонта совпала с выходами доломитов. Это может быть контакт водоносного и водоупорного пластов протяженностью в тысячу километров. Но твоя Тамара подсказала нам вторую точку. Ты понял меня?

— Нет, — тупо ответил Крылов, глядя Фариду в сощуренные, неодинаковыми искрами горевшие глаза.

— Еще раз слушай сюда, — терпеливо произнес Фарид. — Место инфильтрации известно всем, даже по телевизору показывали карты. Многим уже известно о смерти Коляна и Петровича. Наши, понятно, узнают все до одного, и сведения, где обнаружили мертвых, распространятся. Но только мы двое получили информацию о причине гибели экспедиции. В этом наше временное, но все-таки преимущество.

— Что ты собираешься делать? — спросил Крылов с внезапным холодком под ложечкой.

— Найти месторождение корундов, — сердито ответил Фарид.

На следующий вечер он приволок рулон тяжелых, как ковры, переложенных чем-то скользким ватманских листов, который уронил в коридоре с оглушительным всплеском. Из рюкзака он вытащил панки — доски допотопного картона с пожелтелыми наклейками. Сразу после ужина, свалив посуду в мойку, он расстелил на комнатном столе листы, подлеченные по сгибам и краям морщинистой пленкой. Это были странные карты, состоявшие главным образом из концентрических, местами ломких линий, из-за блеска пленки напоминавшие слюду. Такие же изображения сосредоточенный Фарид вывел на монитор натужно грузившегося компьютера, но даже на взгляд дилетанта все не совпадало. Голографический редактор, плохо поддерживаемый мало мощной машиной, то и дело зависал. Фарид, ворча сквозь зубы, пытался перенести с листов какие-то уточнения в файлы, отчего картинка на экране распадалась на черно-белые квадраты. Растеребив окаменелые узлы сорокалетней давности, он вытащил из папок желтые кипы обтрепанных бумаг, из которых сыпались проржавевые скрепки и прозрачные тараканы, похожие на засушенные в гербарий плоские цветочки. Растекшаяся по стульям и по лысому ковру, эта документация представляла собой страницы старой машинописи, где из букв словно было выклевано бумажное зерно, и какие-то рукописные лохмотья, выгоревшие не от света, но от времени и словно исписанные побуревшей кровью. Часто попадались нарисованные от руки схемы залегания пород и прикрепленные к бумагам фотоснимки, где во все изображения было словно долито непросохшей туши. На снимках еле проступали какие-то карьеры, мордатые грузовики с небольшими, как стремянки, буровыми установками, похожие на вешалки с одеждой смутные лески.

— Не все так просто, — бормотал Фарид, роясь в лежалом архивном добре. — Не все так просто, дорогие мои господа...

Чтобы не мешать хозяину квартиры, Крылов устроился поодаль в обтрепанном кресле и от нечего делать стал рассматривать мобильник соглядатая. Стандартная клавиатура была затерта и серела, будто семечная шелуха. Но при попытке включить телефон в окошке пин-кода высветилось не четыре, как обычно, а десять незаполненных клеток, и качество видеозаставки, изображавшей на этот раз гладкого рыжего кота, похожего на шоколадный рулет, было таким потрясающим, что Крылов разглядел даже мокрые зачесы на шерсти, оттого что зверь вылизывался перед съемкой, и белую нитку на полу.

— Это что у тебя такое? — поинтересовался Фарид во время перекура.

— Тот самый трофейный телефон, — Крылов передал Фариду хитрую игрушку с видеокотярой, дерущим когтями какую-то мебельную руину. — Хозяин умер, а кот остался.

— Да, интересно... — Фарид повертел в руках нестандартное электронное изделие. — По виду — такие болтаются у бабок в кошелках. Его и украсть-то никто не захочет. А на самом деле процессор как в навороченных ноутбуках. С моим старьем вообще не сравнить. Эх, хаке-ра бы нам! — Фарид мечтательно сощурился на сигаретный дым. — Чтобы распечатал коды в этой хрени. Вдруг найдется чего-нибудь полезное. Да и мне, сказать по правде, до зарезу нужен системщик! Район разведан плохо, противоречий масса, просто так, на пальцах, ничего не понять. Вот у синоптиков есть динамические модели, очень эффективные. Мне б такую!

— Неужели не найдем среди знакомых? — с надеждой спросил Крылов. — Ты да я, вместе мы полгорода знаем.

— Не-ет, среди знакомых нам не надо, — вздохнул Фарид, подпершись. — Нам утечка информации вовсе

ни к чему. Вот если бы нашелся такой совсем посторонний, но имеющий причины для нас с тобой стараться. Только где ж его взять, благодетеля? Разве что свалится с Луны...

Тут Крылов, поперхнувшись дымом, хлопнул себя рукой по ледяному лбу. Кажется, ему следовало поблагодарить себя за то, что у него в обиходе мало одежды. Не обращая внимания на привставшего Фариду, он устремился к платяному шкафу. Внутри желтели, будто кости, голые вешалки с навязанными на них разноцветными женскими поясками, резко и шероховато пахло нафталином. Вот он, пиджак, в котором Крылов был тогда на площади. Даже не отданный в химчистку, а попросту застиранный вручную на плечах и на спине, вымокший в результате до кончиков рукавов, он превратился в рыхлый мешок, испещренный мохнатыми дырками и въевшейся начинкой взрыва, похожей на крошки халвы. Однако Крылов смиренно продолжал его носить, сохраняя все содержимое карманов, от воды пришедшее в негодность. И вот теперь кривая картонка с налипшей на нее плесенью салфетки оказалась на месте, там, куда ее сунул случайный знакомец, очень просивший позвонить.

— Есть такой человек, — сообщил Крылов Фариду, выкладывая перед ним визитку Павла Александровича Дронова, креативного системщика «Рифейвидеоплюс».

* * *

Дронов не заставил себя ждать ни единого лишнего часа. Он приехал на ночь глядя, огромный, в свежей белой рубашке и при галстукке, при аккуратном, будто чертежный инструментик, браунинге «Хай пауэр», засунутом за брючный ремень.

— Очень, очень рад вас видеть! — разулыбался он Крылову, долго встряхивая и грея его холодную руку обе-

ими емкими лапами, покрытыми теплой золотистой шерстью. — Леся с Машкой большой привет передают! А ведь я вас часто вспоминал. Вас и ваши слова про будущие эксцессы. Вы все верно предсказали! Даже я уже поучаствовал, а ведь как не хотел! Третьего дня, было даже еще не темно, пришлось стрелять по каким-то пугалам в шинелях. Ну я, конечно, поверх голов, а они мне орут: «Золото, доллары гони, буржуй!»

Дронов, собранный и ласковый, выглядел как доктор, прибывший в дом, где болеет вся семья. Оставив Крылова, он церемонно представился Фариду. Специалиста, задевающего лампочки и словно качающего шагами тесную квартиру, провели на кухню, сразу ставшую крошечной и слабо освещенной. Фарид докрасна заварил остатки цейлонского чая, выставил по случаю встречи татарское медовое лакомство чак-чак — явно не из кондитерской, а сделанное дома и кем-то принесенное на красивом, синим узором расписанном блюде Фариду в подарок.

Дронов не перебивая слушал краткое изложение чрезвычайных обстоятельств. Это заняло довольно много времени. Узнав, кем приходится его знакомому известная Тамара Крылова, он посмотрел на младшего собеседника с новым почтительным интересом.

— Она удивительная женщина! — произнес он с чувством. — Такая редкость, боже ты мой! Такая красота! Вы не думайте, никто не верит, будто она единственная виновата в этом заражении на севере. Газеты раздувают, вот и все! А на самом деле в истории замешаны чиновники. Очень хорошо, что вы ей помогли!

После этого Дронов, вытерев от меда громадные белые пальцы, попросил показать ему таинственный мобильник. Всего минуту он щупал и рассматривал устройство, выглядевшее в его руке маленькой черной личинкой.

— А ведь это я и сделал, — сообщил он удивленно, проверяя нежным указательным крепления корпуса. —

Вот ведь как бывает! Леле моей зарабатывал на «фольксваген», очень она хотела. Брал халтуры всякие, а тут приходит грустный малыш лет пятидесяти пяти и просит — мол, сделайте супераппарат, только без дизайна, а как бы старая вещь. Мол, бизнес требует конфиденциальности, чтобы до данных никто не добрался. Заплатил хорошо! Ну и я постарался...

— Значит, можете извлечь информацию? — обрадовался Крылов, которому вдруг почудилось, будто поиски Татьяны счастливо завершены и осталось дожить до утра.

— Так сразу трудно сказать. Говорю, постарался я очень, — виновато ответил Дронов, глядя детскими светлыми глазами то на Крылова, то на Фарида. — Ну, интересно мне было. И применил я в этом аппарате некоторые милые новинки. Информацию здесь так просто не ухватишь. Она внутри как бы живая. То есть не записана в определенном месте, а все время перетекает, шевелится, снует. Ну, как ящерица или сороконожка. Места у нее много. Очень чуткая она у меня получилась: чуть тронь, она сразу — шмыг. И подранить ее никак нельзя. Там, в темном углу, сидит маленький, но злобный терминатор. Как только определит, что у ящерицы, к примеру, оторвали хвост, сразу набросится и сожрет. Дело ведь даже не в кодах, коды подберем...

— Ну, стало быть, опять не повезло, — Крылов махнул рукой, нечаянно сбив стеклянную солонку, пустившую на пол тяжелую белую струйку. Жить до утра стало ни к чему. Теперь Крылову хотелось только спать — уснуть так года на четыре, чтобы никакие утра его не тревожили.

— Да вы не расстраивайтесь так, — забеспокоился Дронов. — Попытайся-то можно! Я-то знаю ее повадки, этой ящерки-сороконожки. Как-то ухвачу ее за спинку! Синхронизирую со своим лэптопом и попробую через сеть. А если терминатор полезет, мы его тут и разберем на кусочки!

— Спать ему надо. Уже совсем измотался человек, — сказал Фарид, чьи морщины в дремотном мареве превращались в пластилин.

— Тогда давайте отведем его в кровать, — перешел на шепот Дронов, отставляя чашку.

Вместе они подхватили Крылова, будто пьяного, неловко возящего ногами по рассыпанной соли. Лица их расплывались посередине, там, откуда доносились голоса. Они шептали словно сквозь марлевые повязки. Постель показалась Крылову глубокой, как яма с водой, и он словно выплыл из одежды, от которой его освобождали заботливые руки.

— Теперь пойдем посмотрим ваш компьютер, — проговорил невидимый Дронов, накрывая Крылова ватным одеялом.

* * *

С этой поры Крылов впал в тяжелую сонливость. Длилось одно и то же состояние сна — с перерывами на бодрствование, в которое сон тоже входил какой-то темной алкогольной примесью. В свою очередь явь настойчиво присутствовала во сне: обездвиженный и сопящий, Крылов продолжал ощущать вокруг себя темноватую узкую комнату с каким-то гостиничным расположением мебели, в которой действительно лежал на левом боку. Если что и могло присниться, то только происходящее в этой комнате, а здесь практически ничего не происходило, кроме того, что делал сам Крылов. У него совершенно пропало ощущение времени. Он мог проснуться днем, в пустой, блеклым осенним солнцем пробитой квартире, которую изучил теперь гораздо лучше, чем захлавленную родительскую хрущевку и даже собственное убежище, — лучше, вероятно, чем знал свое жилище аккуратный и рачительный Фарид. Он мог проснуться среди ночи и уви-

дочь, выбравшись в проходную комнату, как сосредоточенный Дронов шелестит клавиатурой призрачного ноутбука, а Фарид, облокотясь о тяжелые, словно обледенелые гидрологические карты, рассеянно кусает бутерброд.

Дронов теперь приходил едва ли не каждый вечер, принося с собой холодные запахи воли, притаскивая на громадных, детского фасона ботинках яркие листья цвета фруктов — яблочной розовости или спелой грушевой желтизны. Они с Фаридом сошлись как-то очень быстро и очень душевно; в перерывах работы тянули дымные чай и беседовали, кивая друг другу, дружно макая в пепельницу горячие, до самого фильтра дотянутые сигареты. Старый компьютер Фариды был признан пенсионером и, протертый от пыли, скопированный на диск, отправлен на балкон. Вместо него Дронов натащил аппаратуры, состоявшей помимо ноутбука из пары голографических экранов и множества электронных внутренностей, похожих на вышивки бисером по тонкому железу. Все это он развернул на компьютерном столе и главным образом на полу, долго устраивая части так, чтобы они ориентировались друг на друга нужным Дронову образом. Теперь половину комнаты занимало чем-то похожее на игрушечную железную дорогу электронное устройство, где каждый ребристый блок держал в поле зрения несколько других, обмениваясь с ними паутиными сигналами и помигивая капельками зеленого и золотого электричества. В центре этой паутины помещался телефон соглядатая — вернее, то, во что он превратился, когда Дронов снял с него чехол и навесил дополнительные платы, какие-то стеклянистые экранчики, цветные проводки. Словно из личинки вылупилось насекомое — очень упрямое, не дающееся пауку, время от времени испускающее тонкий стрекот, от которого закладывало уши.

Дронов ходил среди всего этого хозяйства осторожными высокими шагами, умудряясь не только не задеть ни единой железки, но и не тронуть ни единой невидимой

нити, что сплетались над пыльным полом в информационный кокон. Дронову очень шло его основное ремесло создателя игрушек, потому что в его огромных руках все доверчиво становилось игрушечным. Он умудрялся быстро-быстро печатать на крошечной клавиатурке, порхая всеми десятью растопыренными пальцами и словно прихорашивая предметик, и сам по себе нарядный, будто коробка конфет. Он лихо подключался к корпоративным сетям и качал оттуда для Фариды бешеные гигабайты, после чего, используя аналоги, писал свою программу: концентрические линии на мониторе приходили в движение, точно в нарисованные волны там и здесь бросали камни. Между прочим, с появлением Дронова холостяки-затворники стали очень хорошо питаться: откуда ни возьмись появились истекающие теплым соком домашние котлеты, лаковые пироги с разнообразными начинками, в которые хотелось, поедая, зарыться с головой. Часто Крылов, просыпаясь днем, обнаруживал на кухонном столе корзинку с золотыми, как подсолнухи, свежими ватрушками, снабженную дружеской запиской и накрытую чистым полотенцем.

Видимо, для Дронова Крылов представлял собой неиссякаемый источник особого рода удовольствия. Глядя на него, огромный программист вновь и вновь переживал чудесное спасение Машки, сам счастливый факт существования Машки — словом, испытывал возгонку собственного счастья, которым желал делиться с Крыловым всеми доступными способами. Вероятно, Крылов со своим написанным поперек лица несчастьем виделся Дронову огорчительно темным пятном, которое держится то тут, то там, размывая смутными краями материальные предметы. Крылов замечал, что новые друзья, неожиданно нашедшие друг друга по сломанной визитке с катарактой размокшей голограммы, относятся к нему как к тяжелому больному и не зовут на тихие военные советы.

Он не возражал и не стремился. В нем постоянно и упорно развивался мыслительный процесс, чем-то на-

поминавший книгу с мучительно знакомыми, мучительно прекрасными иллюстрациями и затертым, исчезнувшим текстом. Почему-то он вспоминал теперь не покойного профессора, а его коллекцию минеральных инвалидов с их слабыми, едва проясненными, едва подслащенными цветом зонами прозрачности, и думал, какие, если пустить их в огранку, могли бы получиться камни: печальные звезды, удерживающие свет, как глаз удерживает слезу. Ни с того ни с сего из памяти начал всплывать по частям азиатский город раннего детства. Темно-бордовые, словно серой ватой обметанные персики были всегда горячи, а виноград прохладен. Деревья зимой блестели голыми ветвями на солнце, будто из узловатых стволов росла металлическая арматура, а летом состояли из больших зеленых ключев. Одному дереву исполнилась тысяча лет, и было оно ветхое, словно беленное известкой, а тень его в полдень была такая, словно это дерево здесь и сожгли — на мягком, черной росой истекавшем асфальте, по которому катило много «Жигулей». Неужели все это где-то сейчас существует? Слоновьи ноги минаретов, гнезда аистов на их верхушках, похожие на старые бараньи шапки. Узкие глухие улочки, крошечные калитки из двух досок, покрытых безумно сложной истершейся резьбой, поверху, по стенам, ржавые трубы газопровода. Неподвижный пруд с водой как молочная сыворотка, мужчины на помосте, застеленном коврами, туго наклоняют к своим пиалам лысые коричневые головы в черных тубетейках. Как же называлось это место? Ляби-хауз. Можно взять билет на самолет и через несколько часов оказаться там. Уехать туда и устроиться там на работу. Делать что-нибудь совсем простое, погрузиться в эту детскую, почти что уличную жизнь, загореть дочерна, вечерами пить зеленый чай, глазеть на европейских обваренных туристов, продавать им за мелкие доллары дрянные безделушки. Как-нибудь найти пятиэтажку с блеклыми розами у подъезда, с ары-

ком под окнами, обложенным синей туалетной плиткой. Там, на третьем этаже, в двенадцатой квартире, живут сегодня люди, не имеющие понятия о существовании Крылова. Там, в такой же узкой комнате, как эта, красавица тетушка вертелась босая перед трехстворчатым зеркалом, что-то застегивала сзади на шее под гладкой электрической волной волос — посмеивалась, мазала губы, заплетала косу, получавшуюся с красной лентой будто толстый длинный гладиолус; разрешала маленькому Крылову выковыривать радужные камушки из похожей на челюсть потемневшей брошки — волшебные стекляшки, что вызвали первый толчок того неизъяснимого знания, которое профессор Анфилогов определил потом как чувство камня.

Красавица тетушка с осиной талией, которую она так любила, вся подбираясь, охватывать пальцами, — сколько же лет Крылов о ней не вспоминал? И сколько лет ей было, когда семья уехала, а она почему-то осталась? Двадцать семь — двадцать восемь? Нет, какое! Девятнадцать! Эта невозможная цифра, внезапно поменявшая старшинством взрослого Крылова и легкий девичий призрак, вдруг осветила глубины памяти странным, неживым, трепещущим светом — будто выстрелили из ракетницы в темную шахту. Что же на самом деле тогда произошло? Что могли учинить над красивой русской девчонкой потные, плотные, визгливые мужчины или глумливые подростки с цепкими пальцами, с вороватыми глазками, похожими на скользких пиявок? Днем все они выглядели еще почти обычными людьми, хотя отказывались понимать по-русски и ничего не хотели продавать, а ночами что-то вместе делали у костров, и ночи пахли мясом, и после таких ночей иногда находили страшные, в очень узкие щели забитые трупы. В памяти Крылова всплыли два представителя милиции — одинаковые, злые, с лицами как усатое масло, зачем-то приходившие в дом, где тетушки не было уже несколько дней. Почему-то отец спер-

ва разговаривал с ними голосом требовательным и сердитым и протестовал, когда усатые вытряхивали на пол содержимое упакованных к отъезду чемоданов и расшвыривали ногами одежду и белье. А потом что-то произошло (или это было на следующий раз?) — и отец с растрепанными, словно для смеха наклеенными волосами, с дорожкой пота на сером виске униженно передавал усатым пачечку денег для какого-то «уважаемого человека», а милиционеры что-то ели с блюда, залезая пальцами, и кое-как считали рыжие десятки, начальственно морщась и капризно покрикивая. В довершение мародерства они унесли, заворотив их комом, цветные, беззащитно нарядные тетушкины платья, а вечером отец шипел на плачущую мать, повторяя: «Нечего было ей, из-за нее чуть не пропали все». Должно быть, он честно ненавидел тетушку за то, что она вообще существовала, живая и лишняя, а потом еще и чуть не погубила; вероятно, она казалась ему здоровенной злобной бабой, с которой он и прежде еле справлялся.

Была ли еще жива юная мамина сестра, когда расшатанный, скулящий колесами поезд тащил Крылова и родителей по степи в неизвестность? Куда вообще уходят люди, не умершие и не живущие, просто однажды пропавшие без вести? Какие бывают формы их отдельного от нас существования? Подобно тому, как соглядатай и маленький убийца Леонидыча вдруг соединились в одного человека, мертво и наглядно лежащего в кустах, так, по странной инерции этого воссоединения, Крылову стало мерещиться между тетушкой и пропавшей Татьяной некое тайное сходство. Что-то общее было в рисунке бровей, в посадке головы, а главное — в совершенстве внутренней основы, в архитектуре тонкого скелета, так что наслоения плоти были не столь важны и качества их не столь существенны. Удивительная, какая-то у м ы ш л е н н а я, кем-то явно сотворенная красота костей и косточек, точно вылепленных сильными, неж-

ными пальцами, делала их красоту в буквальном смысле слова бессмертной. При отсутствии обоих оригиналов сходство забирало себе все больше власти. Это третье не имело имени, было безлично, любить его было так же невозможно, как жить на Луне.

И все-таки Крылов не мог перестать хотеть увидеться с Татьяной, жить с Татьяной, он знать не желал никакой Екатерины Сергеевны, внезапно ее заменившей. Их свидания, на которые Крылов все пытался вызвать силу, что наслала на них обоих эту сердечную жажду, были чередой утрат — и вот Крылов утратил больше, чем мог вообразить. Татьяна словно забрала с собой все, что было в жизни Крылова до встречи с ней; когда содержимое жизни — работа, квартира, элементарная легальность в обществе — оказалось и правда потеряно, это представлялось всего лишь уборкой отслужившего хлама. Неизъятым осталось разве только детское имущество души, лежавшее на самом дне: вот эти горячие персики в тазу, теплая лепешка в ранце, синие, словно бронированные купола над глиной старого города, грязная ветхая улочка, а в проеме, словно обложка восточных сказок, дивная мусульманская арка, ведущая сквозь золотую темноту прямо в приключения Синдбада и Аладдина... Получалось, что злая Азия снова стала единственной и настоящей родиной Крылова. Если бы люди, оказавшиеся в том же, что и он, положении, попросили его поделиться опытом, он бы сообщил — да, только детство и остается неразграбленным, а больше совсем ничего. Еще обнаружилось, что время не лечит боли — не обладает никакими целительными свойствами, но имеет, напротив, повадки вампира. Прожить час, тем более день стало изнурительной работой. Никто не трудился сообщить Крылову — с холодного, все более свободного от листьев, птиц и иных летающих предметов осеннего неба, — как долго это будет продолжаться.

Бессрочность болезни, сопровождаемой приступами неистовой жажды, молчаливо роднила Крылова с Фаридом. Иногда в отсутствие Дронова, считая Крылова спящим, Фарид говорил с голограммой Гульбахор — не как с живым человеком, а будто с кошкой или канарейкой. Такова была одна из форм существования пропавших, и Крылов, тихонько стоя в дверях, усваивал урок.

Однажды Фарид, щурясь в солнечное сизое окно, за которым ветер носил сияющую золотую шелуху, сказал как бы между прочим:

— Я считаю, надо сбежать на месторождение до зимы.

— Хорошо продвигаются дела? — спросил Крылов, подсаживаясь к плюшкам и пепельнице, полной ввинченных, как пробки, пористых окурков.

— Нормально продвигаются, — подтвердил Фарид. — Павлу осталось несколько шагов. Только, я так думаю, не одни мы умные. Досидим с тобой до весеннего тепла, придем, а там колючка по периметру и охрана с автоматами. И вообще неизвестно, куда дела повернутся весной. Вчера Меньшикова ранили на Зеленой горке. Генерала Добронравова отправили на пенсию, на сортировочной стоят составы с новенькими танками, якобы привезли на выставку вооружений. Так что лучше бы нам сделать дело до всенародного праздника седьмого ноября...

Сообщение вернуло Крылова к действительности. Изредка он включал телевизор, словно распухающий с потрескиванием от подсоединенного электричества. Там почти не осталось новостей, и дикторы информационных блоков, обращая внимание зрителя на милые забавности вроде регионального конкурса домохозяек или рождения в зоопарке — еще в июне — пары медвежат, говорили с интонациями передачи «Спокойной ночи, малыши». И всюду сквозили какие-то мерзкие приметы, темные пятна умолчаний. Жизнь выходила из берегов, но

не потому, что сама собой переполнялась: словно громадное глухое инородное тело погрузилось в нее, и жизни, плещущей через край, осталось полведро.

— Я, наверное, должен сказать тебе кое-что, — произнес Фарид, глядя исподлобья. — Ты, в общем-то, можешь не ходить. Вернемся живыми или нет — пятьдесят на пятьдесят. Петрович с Коляном, например, не вернулись. По-нормальному, так жизнь дороже.

Крылов усмехнулся. Пятьдесят на пятьдесят — то самое соотношение, которое рифейский человек не может пропустить в принципе. Максимальная неопределенность исхода открывает максимально широкий канал для общения с той силой, которую рифеец всю жизнь побуждает обернуться и посмотреть. Невозможно вообразить, что это будут за глаза, но месторождение корундов после гибели первого состава экспедиции и правда стало чем-то вроде стартовой площадки в космос.

— Ты же знаешь, я не могу не ходить, — спокойно ответил Крылов неподвижному Фариду, ставшему в этот момент отрешенным от всего глубоким стариком. — И ты не можешь по той же причине, что и я. Чего обсуждать.

— Да, было бы не по судьбе, — сдержанно согласился Фарид и церемонно разлил из просмоленного, горячей пухлой чайной кашей переполненного чайника крепкое, уже почти таежное питье.

Месторождение корундов было теперь чем-то вроде макушки жизни, проплешины в обычном порядке вещей. Существует точное время и место встречи человека с собственной судьбой. Не явиться на такое свидание было бы безумием для всякого рифейца. Между друзьями как-то не обсуждалось, что Крылова могут разыскивать по подозрению в убийстве Завалихина. Крылову попросту не оставалось места в прежней жизни — если она, в свете революционных событий, существовала вообще. Но если предстоит идти куда глаза глядят,

среди множества направлений может отыскаться единственно верное.

Крылов действительно не мог отказаться от экспедиции. Несмотря на оставшуюся от Татьяны пустоту, несмотря на вибрирующий трубный азиатский зов, в нем продолжало звучать основное требование рифейского человека: «Бог! Это я! Говори со мной!» Собственно, только теперь до Крылова дошла предельная буквальность этого требования: «Говори со мной, Бог! Или я предприму такое, что Тебе все равно не отсидеться!» Давненько Крылов не отрывался от гранильного станка, от бесконечного мира в глубине кристалла. Теперь ему предоставлялась готовая площадка для эксперимента по выявлению Бога — плюс понимание, что такой эксперимент ставится только на себе.

— Павлу долю дадим, — предложил Фарид, блаженствуя с чаем и сахарными плюшками. — Работает он с нами, и Машка у него. Двадцать процентов, ты как, согласен?

— Годится, — ответил Крылов, превосходно зная, что если экспедиция вернется и камни удастся продать, то доход будет поделен на три совершенно равные части.

* * *

Теперь Фарид не возражал, чтобы Крылов иногда выходил из квартиры на свежий воздух: обессиленный, держащийся одной рукой за сердце, а другой за стенку, он вряд ли был пригоден для тяжелого предзимнего броска. Днем Крылов, будто пенсионер, сидел, запахнувшись в утепленный плащ, на влажной дворовой скамейке и смотрел на мокрые нахмуренные астры, на запотевшие хибарки кое-как застекленных балконов, на блестящие всюду росистые паутины, напоминавшие трещины в холодном воздушном стекле. По ночам, когда во всем

дворе горело три-четыре тускло-масляных окна, Крылов выходил в шерстяном спортивном костюме Фарид и подтягивался на железном турнике, с которого в рукава натекали обильные струйки холодной воды. Потом он, пышущий жаром и обвеваемый воздушным ознобом, бегал по дорожкам полудикого парка, где в темноте, между стволами, опавшие листья с шорохом ползли по земле, словно там текли, мигрируя, сотни грызунов, и какие-то гнилые деревянные беседки смутно-китайских очертаний иногда освещались рыхлыми огоньками конопляных папирос. Сперва Крылову не давались толком ни бег, ни турник; но вдруг словно что-то освободилось в нем, и он мог теперь часами наматывать на кроссовки километры сырого асфальта. Загипнотизированный мельканием собственных ног, светлых в полутьме, он словно летел среди наполовину оголившихся деревьев, среди луж, похожих вблизи фонарей на облака, по краям посеребренные луной. Однажды он видел, как неясные тени что-то закапывали у дальних парковых воротец, вспарывая лопатами прелую землю, будто мокрую тряпку; когда они остановились перекурить, между ними, возле ног, обутих в сапоги, нежно темнела разрытая земля и белел примерно таких же размеров спеленутый предмет.

Между тем Фарид планомерно и упрямо готовился к экспедиции. Он где-то раздобыл не слишком новую, но крепкую зимнюю палатку с надувным утеплителем, пуховые армейские спальники с рукавами, какими комплектуют горных егерей. Угол кухни занимала башня рыбных и мясных консервов, которая разъезжалась на тяжеленькие шайбы, если Дронову случалось слишком сильно топнуть. Гордость Фарид составляли полимерные баллоны для воды, не терявшие эластичности при минус сорока; демонстрируя Крылову туго свернутые липкие стручки, он объяснил, что и воду, в целях безопасности, им придется от какого-то населенного пункта нести на себе.

И наконец, как апофеоз добычливости Фарида в доме появились те самые, виденные Крыловым по телевизору, серебристые костюмы химической защиты. Швы у них были как тракторные гусеницы, между слоями ткани прощупывались гибкие трубки. После ужина довольный Фарид потребовал примерки. Далеко не сразу Крылову удалось залезть в распахнутый мешок, на котором, перепутываясь, болтая подошвами рифленого металла, висели сапоги. Наконец одевание было закончено; Крылов оказался словно в матерчатой ванне, с привязанным к подошвам негнувшимся грузом; со спины поднялось что-то вроде чепца на арматуре с прозрачным лицевым забралом, вошедшим до щелчка в герметичную щель. Сразу дыхание стало работой. Снаружи Фарид помахал Крылову громадной белой перчаткой с ребристыми пальцами. Зеркало в тесном коридоре отразило две белесые фигуры, похожие на зайчиков с новогоднего детского утренника, только без ушей. Оттого что серебристый кокон совершенно изолировал от мира, оттого что стеклопластовый щиток отдавал поцарапанной мутью, зеркало с двумя бесформенными существами показалось Крылову видным издалека экраном телевизора, по которому идет трансляция из будущего. А ведь уже скоро. На минуту его охватил холодок, будто в приемной у онколога.

— А работать мы с тобой, как понимаешь, будем в памперсах! — раздался в ухе маленький, с шершавую горошину, голос Фарида. — Как слышите меня, прием!

Считалось, что Крылов во время дневных прогулок не уходит из безопасного двора. Однако ноги в дареных армейских ботинках иногда уносили его довольно далеко. Пару раз он побывал на Кунгурской, проникая в бывший свой подъезд вслед за знакомыми соседями, которые на улице не узнавали Крылова и торопились юркнуть, ни в коем случае не позволяя себя обогнать. Он подолгу стоял перед сейфовой дверью, украшенной мертвым, засохшим на проводе звончком. На стук его никто не отзы-

вался. Из-за стальной плиты по ногам, по сердцу тянуло пустотой. Вероятно, убежище сработало так, как это и задумывал Крылов: Тамара, попавшая внутрь, исчезла из действительности, и не потому, что, спрятавшись там, не могла одновременно быть у своих чиновников и лейберов, а исчезла вообще. Осмыслить это было так же невозможно, как представить вечность. Снаружи окна убежища выглядели теперь какими-то фальшивыми, и балкон висел на честном слове, будто приоткнутый к дому старухиной веревкой.

Съездил Крылов и на улицу Еременко, добравшись туда с тремя пересадками на освещенном вполсилы, странными сквозняками продуваемом метро, где по неработающим эскалаторам с глухим и медленным рокотом текли человеческие массы, будто на обогатительной фабрике молили руду. На всякий случай Крылов приготовил записку для госпожи Екатерины Анфиловой: там он указывал телефонный номер Фариды и просил как можно быстрее связаться с Иваном, который делал ей браслет. Но враз постаревшая дверь покойного профессора уже была усажена множеством записок, засунутых за лохматый дерматин; почтовый ящик, ослабленный забитой щелью, тоже был переполнен. Казалось, известие о смерти Анфилова только теперь начало распространяться. Почему-то соседи профессора вышли из квартир и плотно стояли на лестнице, не сразу пропуская поднимавшегося человека; многие были Крылову смутно знакомы, будто он не только встречал их в этом подъезде, но и видел во сне. Он внезапно узнавал то старые очки, висевшие на лице, будто ручка на эмалированном чайнике, то кудрявую женскую челку над круглыми глазами, то синюю куртку с полуоторванным карманом на мятом рукаве. Никто ни с кем не разговаривал, но все смотрели друг на друга вопросительно и словно искали глазами кого-то недостающего. Словно ожидался некий распорядитель, который вот сейчас выйдет из профессорской квартиры,

всем скажет, что нужно делать, соберет записки и передаст по назначению.

Не сразу Крылов сообразил, что никакие это не соседи. Это были те самые люди, которых профессор Анфилогов держал при себе строго по отдельности, и теперь они не знали, как им общаться, как преодолеть образовавшуюся между ними пустоту. Значит, профессор все-таки сделал то, что хотел. Пустота без него оказалась еще сильнее его разделяющего присутствия. Теперь он действительно не мог окончательно исчезнуть. Для спутника не важно, есть ли под ним планета, если продолжает действовать сила, склоняющая его к бесконечному падению по заданной орбите, бесконечному вальсированию с ускользающей массой. Эта лестница с людьми тоже была будто застрявший эскалатор, предназначенный, казалось, для подъема не к профессорским дверям, а на какие-то неизмеримо более высокие этажи. Все-таки Крылов засунул свою записку за отставшую обивку, нечаянно пропихнув вовнутрь, к слежавшимся, похожим на старую яичницу ключьям утеплителя, чужие плотные бумажки. С чувством, будто возвращается с полдороги, шепча извинения, он стал проталкиваться вниз. Теперь на него поднимали глаза, узнавали на секунду и тут же разочарованно отворачивались. Нетрудно было догадаться, что ждут никакого не распорядителя, а самого профессора. Ждут, несмотря на глухое темное известие, потому что не могут без него обходиться.

Внизу, во дворе, высокая женщина в узком черном костюме, открывавшем костлявые колени, в огромной черной шляпе, похожей на зачехленную пишущую машинку, все ходила кругами по ярко-желтой клеенчатой россыпи листьев, протыкая их каблуками, изредка наклоняясь, но ничего не подбирая с земли. Издалека сквозь мелкую вуаль были видны плоские бледные локоны, длинный подбородок, яркая линия тонкого рта, настолько неподвижная, точно ее раз и навсегда отчеркнули по линейке крас-

ным карандашом. Тут же топтались еще какие-то люди, на скамейке у подъезда стояла как бы никому не принадлежащая бутылка водки.

— Хоронить-то кода будут? — обратилась к закурившему Крылову дряхлая старуха с лицом как шерстяная варежка, замотанная козьей шалью поверх синтетической лиловой телогрейки.

— Все, не будут уже, — ответил Крылов в пространство, размышляя, не спросить ли кого про Екатерину Анфилову, и понимая, что спрашивать бессмысленно.

— Лежать наверху бросят Василя Петровича? — возмутилась бабка, толкая каучуковой палкой ботинки Крылова. — Вщера стояли, позавщера стояли, седни полная лесница народу. Запах-то пойдет. Давно уж пора гроб выносить! — И старуха, мотая головенкой, словно отнекиваясь от всего происходящего, потащилась к подъезду, по пути движением, ловким на бутылки, спустив чужую водку в свой замызганный джинсовый мешок.

* * *

Когда Крылов вернулся, измотанный, надышавшийся ветром, с холодным румянцем цвета редиса, Фарид и Дронов встретили его многозначительным молчанием. Было видно, что они уже давно поджидают второго члена экспедиции, коротая время за маленькой, с фигурками-булавками, шахматной доской, за которой они теперь частенько сжививали, словно вдвоем вышивая на пяльцах. Крылов подумал, что сейчас ему справедливо вломят за долгую и небезопасную отлучку. Никто не проронил ни слова, пока он не сволок с себя отяжелевший плащ и не уселся к столу, где ему уже поставили отдувающийся в желтое пюре раскаленный бифштекс.

— Ну, вот, — Фарид торжественно поднялся на ноги, постоял, моргая, затем достал с холодильника топографи-

ческую карту, сложенную какой-то серединной восьмушкой наружу.

— Помучились с нижним водоупором, очень он был нетипичный, но все-таки нашли! — прокомментировал Дронов, осторожно убирая доску с миниатюрной черно-белой группой в углу. На освободившееся место легла обтрепанная карта, явно военная, с восстановленной умельцами координатной оцифровкой.

— Вот она, та самая речка, называется Пельма, — четвертушкой карандаша, заточенной до волоса остро, так, что грифель почти не оставлял следов на бумаге, Фарид указал на петлистую голубую жилку. — Месторождение либо здесь, либо здесь, — карандаш воздушно тронул два почти симметричных изгиба, между которыми было, вероятно, около ста километров.

Крылов смотрел как замороженный. Речка Пельма, движениями маленького русла напоминавшая ящерку, почему-то казалась совершенным образом счастья. Берега ее с о в п а д а л и, как совпадают края разорванной банкноты, служившей кому-то паролем, и вот, избегнув множества опасностей, свой встречает своего. Вдруг Крылову остро захотелось туда. Он словно увидел непонятно как открывшимся зрением рыжую осеннюю воду, обволакивающую камни на перекатах, кутающую их, как младенцев, в тугое одеяло; увидел мелкие желтые брызги березовых листьев на фоне еловой темноты; увидел лобастый валун на длинной галечной отмели, будто вмерзший в собственную тень. Он словно поднимался вверх по реке на каких-то воздушных ходулях. Открывались заветренные скалы — обнажения мощной, сжатой каким-то страшным сдвигом каменной кладки, рыхлые карстовые дыры, обложенные битой плиткой высокие террасы, лишайник, зеленый и медный, косые плиты с темнотой под ними, уходящие в волну. Тени под скалами были глубокими и живыми; светлыми пятнами отражались в бегущей речке каменные массы. Местами ширины ее хватало,

чтобы отразить и небо, и река прилипала к небу снизу, будто тело к синей ситцевой рубашке. Наверху же небесная синева была почти нестерпима; безо всякой опоры висели в ней вершины гор со складками снега, похожими на птичьи перья. Безумная красота пронизывала все — и туда, куда не достигал холодный, с напылением металла, солнечный луч, устремлялся по воде резной, завернутый корабликом березовый листок.

— Ну что, понравилось? — спросил Фарид, возвращая Крылова к действительности. — Выйти сможем не раньше чем дня через четыре. У меня на службе есть еще дела. И надо подобрать удобную обувь, докупить веревки, чаю, крупы. Но мы с тобой вообще нормально укомплектованы. Вот оцени, что Павел для нас смастерил!

С этими словами Фарид протянул Крылову телефон соглядая, снова вернувшийся в чехол, но снабженный теперь какими-то новыми разъемами — тонкими воронками, в которых словно вращалась жидкая ртуть, — и стандартной экранной заставкой, изображавшей чемпионку мира Ларису Зайцеву, выжимающую согнутую, будто коромысло, рекордную штангу.

— Здесь батарея на триста часов работы, — скромно сияя, прокомментировал Дронов. — И с собой у вас будет пять запасных. Никаким «Билайнам» платить не надо, аппарат сам хватает любую сеточку, заблокировать его извне невозможно. Ловит в подвале, в пещере. На всякий случай к нему имеется внешняя антенна. Сам себя запитывает, если где-нибудь поблизости есть беспроводное электричество. Телеканалы принимает все, дешифрует все, голографическое расширение экрана до пятнадцати инчей. Будете по вечерам кино смотреть!

— А что самое для нас полезное — спутниковая навигация! — с гордостью добавил Фарид. — GPS-модуль с тридцатью каналами! Над нашей Пельмой ловится, правда, только четыре спутника. Но Павел подключился к американской мастер-станции в Ираке, так что

будем знать свое положение на местности с точностью до метра!

— Потрясающе, — Крылов застывшим взглядом смотрел на маленькое, вздутое, похожее на лягушку лицо чемпионки, что снова и снова вздымала над собой снаряд весом с колесную пару товарного вагона. — А что, старую информацию снять не удалось? — спросил он как бы между прочим неожиданно тонким голосом, выдававшим обиду, которую хотелось во что бы то ни стало скрыть.

Друзья переглянулись. Сердце у Крылова скакнуло, и снова дернулся застрявший в нем болезненный крючок.

— Не совсем все так, — проговорил расстроенный Дронов, взглядом умоляя Фарида о поддержке. — Долго я ее караулил, ночью вчера попробовал поймать. Хитрая она оказалась. Сама по себе много чему научилась. Только семнадцать файлов не успели умереть. Самые большие, потому что видео. Остальные просто посыпались, как бисер с нитки...

— Но там есть для тебя кое-что интересное, — веско вмешался Фарид. — По-моему, тебе повезло. Павел перегнал твоё кино на свой компьютер, так что посмотришь. Только поешь сначала, а то остывает у тебя.

В горле у Крылова, хотя он ничего еще не ел, словно застрял тугим узлом непрожеванный кусок. Он бросил вилку и нож, разбрызгивая пюре на чистую скатерть, и молча встал.

В комнате Крылов увидел, что электронное устройство, еще сегодня утром занимавшее вытертый малиновый ковер, свернуто и уложено в картонные коробки. На посеревшем ковре остались угловатые отпечатки, бархатные, словно змеиные следы проводов. Там, где стоял над полом невидимый информационный кокон, теперь шевелилась пуховая пыль. Дронов, словно заботливый врач, поместил замирающего Крылова в старое, похожее на огородное пугало компьютерное кресло. Присев на корточки, оставаясь на половину головы выше пациента, он

неудобно зашлепал по клавиатурке, топыря большие мягкие мизинцы.

— Камера в аппарате отличная и звуковая карта самая лучшая, — приговаривал Дронов, запуская шебуршащую нитками символов самодельную программу. — Только микрофон-то был направленный, а пользователь оказался малограмотный. Надо было стрелкой директорию держать, а он просто двигал рукой. Поэтому звукоряда нету совсем, каша одна. Ну вот, теперь смотрите, — и он указательным стукнул на Enter.

Беззвучное, сонное смещение солнца и листьев, налитых светом, напитанных медом. Вот оно смазалось, скользнуло в сторону, точно стертое тряпкой. Таня сидит на скамейке, в деревенской развесистой юбке, с парой скачущих воробьев у пыльных сандалий, похожих на заводные игрушки. Улыбается и хмурится в раскрытую пудреницу, словно сама себя, отраженную в зеркале, держит, как ребенка, на коленях. Вот она же за столиком, под фирменным полосатым тентом немецкого пива. Чьи-то руки ставят перед ней стеклянную вазочку с мороженым, уже поплывшим, точно солнце лизнуло лакомство горячим языком; человек садится и оказывается Крыловым. Очень мало на себя похож. У Тани свет в волосах, размазанная помада с полосой на щеке, словно от раздавленного комара. Разговаривают, смеются. Такие молодые. Будто не месяцы прошли, а годы. Камера следит за Таниными бледными, словно заиндевелыми руками, что-то достающими из сумки (опять все та же пудреница, перетянутая для целостности аптечной резинкой), потом спускается под стол, где руиной стоит обветшалый крыловский портфель и две пары коленей стучаются, трутся, будто мужчина и женщина сидят на веслах.

— Вот ни для чего снимали, — смущенно и сердито прокомментировал Фарид. — Оперативной информации ноль. Наверно, для отчета перед заказчиком: мол, работаем, вот они, голубчики...

— Перепишите мне это с собой в телефон, — прошептал Крылов, вперяясь в экран.

— Сделаем, — отозвался Дронов, тихо потирая указательным, словно детскую ладошку, бархатистый сенсор.

Следующий файл: Тамара и Крылов бредут, задирая головы, среди кирпичных, плотными брикетами наставленных пятиэтажек; непропорционально маленькие окна в потемневших рамах кажутся зарешеченными. Татьяна хромает гораздо сильнее, чем казалось Крылову, когда они действительно плутали там в поисках тринадцатого, кажется, номера; со стороны заметно, что она едва шагает, и ей надо остановиться, чтобы посмотреть наверх. Съемка на автобусной остановке где-то на окраине: вид с шоссе на сырое зеленое поле, похожее на лоскут вельвета с полуоторванным карманом, — там кривая избушка с курчавым огородом. На Тани пиджак Крылова, плечистый, будто кавказская бурка; от Крылова только локоть; Таня что-то говорит ему, подняв лицо, — словно на иностранном языке. Сквозь тишину и свет Крылову слышится Татьянин голос: немного кукольный, немного птичий. Впечатление иностранного языка, должно быть, возникает оттого, что помада всегда размазана, губы нечеткие. Вот и причина нечеткости: поцелуй крест-накрест, красные от холода носы, Танины очки застряли между ними кверху дужкой, все это бессовестно снимается из-за мешающих ветками кустов. Снова открытое кафе, столики, столики, почти повсюду занято, в углу, у перилец, солнечные пятна, будто стая крупных бабочек, и когда они опускаются на Танину бледную кожу, у них розовеют кончики крыльев. Камера все время дергается, ловит лишнее, зеленое, живое; то и дело кто-то проходит между оператором и натурой, темный и загадочный, будто снежный человек.

— Покажи четырнадцатый файл, — послышался за спиной Крылова суровый голос Фариды.

Кажется, крыльцо гостиницы, кажется, утро. Таня с поднятой рукой шагает с тротуара наперерез легко-

вушкам, пролетающим, как лебеди на водяных широких крыльях, через огромную розовую лужу. Таня отскакивает, светлая мятая юбка в сереньких брызгах. Вот останавливается старая «Волга», покрытая замшевой грязью. Открывается, едва не выпав на асфальт, передняя дверца, Таня, с яркой складкой от подушки на щеке, произносит иностранную фразу, лезет вовнутрь, «Волга» отчаливает и скрывается в потоке мокрого транспорта, уходящего под туманный монорельс, по которому, точно кто-то пальцем проводит по расческе, мелькают поезда.

— Стоп! Ты понял, что она делает? — воскликнул Фарид, хватая Крылова за плечо. — Она говорит водителю адрес!

* * *

— Ты только в обморок не падай, послушай меня, — продолжил он на кухне, потряхивая вялого Крылова, у которого из пальцев, криво свисая пеплом на холодный, зря изрезанный бифштекс, вываливалась сигарета. — Тайны тут нет никакой, всем известно, что ты глуховат. Все замечают, что ты при разговоре смотришь не в глаза, а на рот. То есть читаешь по губам! Ты не осознаешь, потому что привык. А со стороны заметно, что ты наполовину слушаешь, наполовину дочитываешь зрительно. Значит, отсутствие звука для нас не препятствие! Я несколько раз просмотрел — там лицо отчетливо снято, слова буквально вылеплены в воздухе. Давай, сосредоточься!

— Да я как будто слышу голос. Только не человеческий, а какой-то кукольный, — пробормотал Крылов, неподвижно глядя в гипнотическую точку, зависшую в воздухе возле холодильника.

— Вот и отлично! Если надо, мы и увеличим, и по-медленнее пустим! — обрадовался Дронов.

— Так, работаем. Перекур окончен, — распорядился Фарид, поднимая Крылова под локоть с упавшего табурета.

Временами Крылову казалось, будто он спит и видит бред. «Тихо!» — командовал Фарид всякий раз перед тем, как Дронов, сопя на корточках, опять и опять запускал на экране кусочек беззвучного мокрого утра. Крупнее. Медленнее. Танино лицо вспухает и словно шипит и шепчет, как мыльная пена; поеживается, искристо постреливает пузырьками, отчего у Крылова болят отвердевшие глаза. Тишина, как вата, забивает мозг. Опять сначала: липкая от света розовая лужа, багажник «Волги», похожий на помятую лопату. Изображение опять растет, толчками занимая экранное пространство; Таня на мониторе все ближе, все подробнее, все недоступнее; кажется, будто Крылову подбирают все более сильные очки. Сквозь резкую оптическую муть, сквозь черную, уже ночную тишину не слышно ровно ничего. Компьютерное кресло скрипит и кренится набок, сидеть на нем — все равно что ехать на верблюде. «Покажите в нормальном размере», — почти без голоса просит Крылов, и снова Таня, озябшая в реденьком ситце, прыгает на проезжую часть, рвет на себя кривую автомобильную дверь.

Все в настоящем времени, как это бывает от большой усталости среди глубокой ночи. На кухне съедены уже и остатки бифштекса, и подкисшие сырники, и позавчерашние сухие пироги. Пепельницу дважды вытряхивали в прожженный, полный запудренных очистков мусорный мешок. Форточка открыта в холодную листопадную тьму, где, будто в пещере, носятся летающие перепончатые существа. Остатки черного кофе в чашках холодные, почти ледяные.

— Наверное, хватит на сегодня. Надо дать отдохнуть человеку, — предложил смущенный Дронов, сам едва удерживая зевок, раздирающий, будто Самсон, львиные челюсти программиста.

— Я лучше всего в мастерской по губам читаю. В камерезке все время шумно, — пробормотал Крылов, под-

перев двумя руками голову, от которой между пальцами словно шел, вместе с волосами, напряженный гул. — Там такой получается фокус... Надо, чтобы уши немного заложило...

— В камнерезке, говоришь? — очнулся Фарид. — Значит, нам надо, чтобы стучало, визжало и ширкало. Спать потом будем, — с этими словами он распахнул обеими руками дверцы хлипкого кухонного шкафа, и на него повалились, сцепившись в маленький хаос, чернозубые терки, какие-то ситечки с заплывшими сетками, мятые кастрюльные крышки.

Скоро вся эта железная мешанина оказалась в комнате. Дополнительно Фарид и Дронов притащили громахающий ящик со слесарными инструментами, откуда торчали хрупкие кольца какой-то изоржавленной проволоки, плюс здоровенный старый таз, побитый, как доспех. Не поленились включить стиральную машину, некогда сделанную по конверсии на одном из военных заводов: эта металлоемкая вещь с колотящейся центрифугой внутри скакала по крошечной ванной, угрожая сокрушить аляповатую ветхую плитку. Фарид, сдувая волосы со лба, дырявил дрелью таз; добропорядочный Дронов, удивляясь сам себе, водил напильником по скрежещущей терке и одновременно пинал жестянку, набитую гвоздями. Разбуженные соседи сверху и снизу колотили по батареям, наполняя трубы беспорядочным набатом. Получалось похоже. Крылову даже привиделся на секунду веселый Леонидыч, держащий перед лупой, будто красавицу перед зеркалом, ослепительную каменную искру. Все-таки в шуме не хватало какой-то пневматики, давления воздуха. Внезапно снаружи, где-то за хрущевками и парком, хлопнули взрывы: трянуло посуду, сама собой раскрылась, выпуская замершую темноту, оконная створа. И в ту же секунду Татьяна своим нормальным голосом произнесла:

— На Дачную, восемнадцать. Возле метро «Завокзальная». Поедем за двести рублей?

Здесь они тоже были вместе, встречались возле номера тридцать шестого, оказавшегося тогда приземистой больничкой с маленьким парком и фланелевыми пациентами, сплошь на костылях, шевелившимися на песчаной дорожке, будто мухи на клейкой ленте. Тогда прошел, буквально пробежал, почти не намочив асфальта, короткий крупный ливень, и казалось, будто его можно догнать по следам, уводившим вниз, в сторону реки. Туда и двигался теперь Крылов, сжимая в кармане горячую связку ключей. Накануне он не мог заснуть до самого рассвета. Больничный парк облетал, погруженный в свою густую желтизну, оттуда пахло нежным увяданием и почему-то дегтем. По тротуару вместе с листьями, тихонько царапавшими асфальт сухими коготками, тащились легкие, шуршавшие под ветром папиросной рванью черные мешки.

Крылов не успел определить, которая из двух пятиэтажек, бурая или грязно-зеленая, значится под номером восемнадцать. Он увидел Татьяну, наискось перебежавшую улицу. Казалось, будто на нее падает отдельный, идущий под прямым углом к обычному дневному, искусственный свет. На лице ее словно играл ликующий блик. «Таня!» — крикнул Крылов, подпрыгнув с вздетой рукой, но она не услышала.

Она устремилась почти навстречу Крылову, забирая влево, в голый скверик с тощими березками и смутным монументом. Она была нарядней всех вокруг: ее облипало что-то блестящее с узором под леопарда, ветер раздувал до укромного светлого пуха распахнутую шубку розового меха, на ногах сверкали стразами и виляли зеркальными каблуками розовые сапоги. Татьяна летела как слепая, лицо ее было пятном, но там сияло такое счастье, что Крылову захотелось сесть на асфальт и заплакать. Женщина, спешащая на свидание, — вот на что это было похоже. Прежнюю стрижку Татьяна изменила на не-

что, напоминающее клок серпантина. Все это вместе было настолько броско и вульгарно, что предвещало Татьяне разбитое сердце.

По крайней мере, можно поговорить. Крылов, осклабясь, бросился ей наперерез прямо по мокрой, банной мочалкой запутанной траве, но Татьяна внезапно свернула. Теперь она неслась впереди, и Крылов, обмирая, молился, чтобы она не споткнулась. Жизнь ее, доверенная только ей самой, была как огонек под ветром; Крылову мерещилось, будто сама энергия погони может внезапно вывести ее к травяному хохолку над обрывом, обложенному скользкими арбузными корками. Да что обрыв — хватит и трещины в асфальте, где застрянет, причиняя роковое падение оземь, сияющий каблук. Или выскочит из-за угла дурак в шинели и с револьвером, привлеченный классово чуждой розовой шубой, и нажмет на курок.

А Татьяна неслась, не слыша криков Крылова, ничего не понимая; жизнь ее порхала бабочкой на минном поле. От этих порханий Крылов задыхался. Ему казалось, будто он вот-вот настигнет Таню, схватит за пухлый рукав.

Но вдруг она взбежала, работая локтями, на крутое крыльцо и скрылась за тяжелой дверью, обшитой сахаристым стеклопластом. Крылов задрал непокрытую голову, сжатую холодом и ветром до тугого капустного скрипа, и даже попятился. Сахарная дверь вела в подъезд одного из тех затейливых домов, что были понастроены года четыре назад и стояли полупустые по причине высокой цены квартирному метру. Застекленные лоджии высились, будто составленные стопкой хрустальные стаканы, из красной черепичной крыши симметрично росли островерхие башенки, тоже крытые черепицей цвета мухомора. Если у Тани там, внутри, свидание с мужчиной, то Крылову возле них совершенно нечего делать. С другой же стороны, этот дом как раз такой, к какому может относиться измучившая Крылова связка ключей.

Он истерзался так потому, что словно сам все это время был замком, в котором застревало, хрустело, клинило механизмы зубастое железо. Ему физически хотелось легкого поворота, свободного щелчка. На самом деле он промедлил лишь несколько секунд. За сахарной дверью оказалась другая в виде тусклого зеркала из нержавеющей стали, сильно захватанного около ручки и черной корбочки наружного детектора. Пластина с искорками чипов вызвала в детекторе приветливое курлыканье, и дверь, как бы с облегченным вздохом, отлипла. Внезапно оробев, Крылов вступил в полированный, словно обледеный вестибюль. Если бы сейчас кто-нибудь попался ему навстречу, он бы в смущении выскочил на улицу. Но граненая будочка консьержа была задернута шторкой, и путь к стеклянно звякающим лифтам, будто поднимающим в небо сервировку из тонкой посуды, оказался совершенно свободен. Над лифтовыми дверьми бегущий зеленый огонек остановился на цифре «22».

Под клавишей вызова имелось скромное трехгранное отверстие. В каком-то прозрачном наитии Крылов воткнул туда предмет, казавшийся грубым гвоздем. Ничего не произошло. Но, когда он в испуге резко выдернул ключ, за спиной его что-то внезапно растворилось с потусторонним звоном, который напомнил Крылову о приснившейся бездне. Зеркальная кабина маленького лифта ожидала, с любопытством глядя из-под потолка сорочьим глазом телекамеры. «Двадцать два», — сам себе подсказал Крылов, нажимая на кнопку. Подъем оказался скоростным. Крылова словно бы втянула, подержала и мягко отпустила морская зеркалистая волна. Металлические створы разошлись, выпуская его на площадку, украшенную искусственным, источавшим сильный запах розового масла розовым кустом.

Следующая дверь, с выложенным перед нею ковриком в виде радужного сердечка, запирала холл на несколько квартир. Всего Крылов насчитал восемь одинаковых звон-

ков с номерами от сто шестьдесят девятого по сто семьдесят шестой. Можно было прекратить незаконное проникновение на частную территорию и просто нажимать на кнопки сверху вниз, рассыпаясь в извинениях перед чужими и дожидаясь родного Таниного голоса из акустического ситечка, в котором стояла, потрескивая, неприятная темнота. Но пятиконечная связка сама по себе вела Крылова, точно собственные пальцы его оделись зубчатым железом и жаждали погрузиться по самые перепонки в упоительно податливые механизмы. Ключ, похожий на букву «ер», напомнил о себе простой и грубой твердостью, так необходимой в зыбкую минуту. Его Крылов и двинул вперед: этот повернулся четырежды, словно намотав на себя, как лебедка, металлический трос.

В холле вокруг журнального столика, заваленного рекламными листками, стояли упитанные кожаные кресла. Крылову показалось, будто кто-то сидит в ближайшем, повернутом к нему глянцевиной спиной: там свешивался почти до пола клетчатый рукав. Когда же он убедился, обойдя на цыпочках, что там всего лишь валяется поперек подлокотников забытый кем-то клетчатый плед, волнение его нисколько не улеглось. Одинаковые двери, тоже обитые кожей, самодовольно сияли начищенными номерами, и в четырех углах потолка вертелись, будто механические птички, серенькие телекамеры. Они как будто хотели склевать чужого человека. Возможно, они передавали картинку на милицейские мониторы. Оставшиеся два ключа, самые замысловатые из всех, вдруг показались Крылову хрупкими, будто весенние сосульки.

Стараясь не шуметь, он начал по часовой. Первые мелкозубые скважины не приняли ключей, и в глубине квартиры было беззвучно. Следующие так зацепили посторонний предмет, что только трепетным расшатыванием, будто передавая сообщение азбукой Морзе, удалось его освободить. Сто семьдесят первая квартира, едва Крылов коснулся замков своим поцарапанным орудием взлома,

разразилась у самой двери суетливой бурей, словно там роняли и трясли новогоднюю елку: это плясала и свистела когтями по полу крупная собака. Новая попытка, отчаянное клацанье и хруст. «Иду-иду, — раздался ватный старческий голос как бы из глубины длиннейшего коридора. — Женечка, я не могу быстро...» Послышалось шарканье, будто за дверью шли на лыжах десять километров по мерзлomu насту. Дыша сквозь сцепленные зубы, Крылов осторожно, словно вещь из руки спящего, вынул ключ из блестящего замочка. Квартира номер сто семьдесят три. Опять неудача. Шарканье все ближе, будто там несется не старуха, а мастер спорта. Предпоследняя дверь. «Женечка, я дома», — кокетливо произнесла карга в нескольких метрах от Крылова и принялась возиться с запорами, точно снимая с каждого замка многочисленные украшения в виде брошек и цепей. И вдруг настрадавшийся ключ, похожий на кристаллический дендрит, с волшебной легкостью повернулся в верхней скважине. Тут и второй вошел по самое колечко и сладостно чмокнул. Соседние двери раскрылись одновременно, и Крылов, ускользя, успел увидеть старушечьи подсиненные кудряшки и сверкающие любопытством золоченые очки.

* * *

Мгновенное растворение на свободные атомы и такое же мгновенное сmerzание в колючий бесформенный ком подсказали Крылову, какого рода помещение раскрылось перед ним за дверью, представлявшей собой изнутри броневую плиту. Это было у б е ж и щ е, чья пустота подчеркивалась запахом пыли, напоминавшим запах шерстяной нагретой ткани. Розовые сапоги стояли на паркете, сложив друг на друга расстегнутые голенища. Откуда-то доносилось Танино пение, фальшивое и милое, отчего казалось, будто Таня, как волшебная птица, летает по комнате.

Длинный коридор заканчивался аркой, полной холодного играющего света. Крылов, боясь рассыпаться, боясь расплакаться, сделал шаг, другой и нагнулся, чтобы стащить невыносимо грубые в этом нежном от пыли и света пространстве армейские ботинки. Когда же он, разломатив шнуровку и своротив с холодных ног сырые тяжести, вновь распрямился, он увидел странно узкий, словно с иглой внутри, мужской силуэт.

— Здравствуйте, профессор, — одними губами прошептал потрясенный Крылов.

Именно этого он ожидал, но все-таки не был готов. Профессор Анфилогов в растянутой домашней кофте, сделанной будто из папиросной бумаги, стоял в заледенелой луже солнечного света и не отражался в коридорном зеркале, смутном и радужном, точно в нем растворили снотворное. В образовании облика Анфилогова всегда участвовало воображение наблюдателя — и теперь Крылов доподлинно чувствовал, что воображение его работает на полную мощность. Он попытался и не смог посмотреть в зеленоватые глаза, странно размытые, словно в них закапали по целому пузырьку какого-то лекарства. Призрак был неотчетливый, либо не очень вышедший, либо уже потраченный человеческим присутствием. Лучше всего получилась газета, торчавшая из кармана профессорской кофты: она просвечивала, будто желатиновая, и мелкий текст ее казался перечерканным, со вставленными с изнанки черными правками.

Профессор замедленно кивнул — не то Крылову, не то самому себе — и пошел, увязая темными ногами в луже холодного солнца, куда-то в глубь квартиры. Не дойдя до поворота, он истончился и исчез, словно игла, вошедшая под кожу, словно весь его жидкостный состав был введен, как инъекция, пустому светлему пространству. Сразу Танино пение сделалось слышной. Крылов в одних носках, будто ластами шлепая по суше, поплелся на звук.

Видимо, сунулся не туда. Длинный встроенный шкаф, пустой, как вагон. В комнатах очень много места и очень мало вещей. Между высокими голыми окнами два одинаковых стула с немилосердно прямыми спинками, такие же голые, решетчатые и деревянные, как и оконные рамы, только что не застекленные. В одном из четырех углов — напольная ваза, словно сделанная из толченого кирпича: наверняка еще с запахом магазина внутри, ни монетки в ней, ни карандашного огрызка. Новый, яичного цвета паркет никогда не знал упора мебельных ножек, вещественной тяжести жизни. Все это без труда можно было держать в сознании. Все это виделось теперь Крылову схемой ума покойного профессора: много незанятых комнат, много отделений и полок, покрытых нетронутой, лунно отливающей пылью. Вот где могли бы по-настоящему встретиться все профессорские партнеры и знакомцы. Их бы, наверное, только-только хватило, чтобы своей совокупной массой вытеснить из этого убежища нежилую пустоту. И снова Крылову почудилось, будто глаза профессора, похожие на две столовые ложки воды, смотрят откуда-то прямо ему в затылок.

Таня ударила, будто свет, по глазам. Она была одна в условной спальне, что обозначалось, будто на компьютерном макете, столь же условной кроватью, в которой никто и никогда не видел снов. На белом, будто кусок потолка, покрывале валялась в игривой позе розовая шуба. Таня стояла спиной, для чего-то погружая руку в круглый перебаламученный аквариум, где среди порванных водорослей и комков перепрелого корма метались толстые, как свинки, розовые рыбы. Аквариум, вздуваясь, сплескивал воду на стеклянный столик, оттуда дробью лилось на паркет.

Вдруг, ощутив поблизости чье-то молчаливое присутствие, Татьяна вздрогнула и выдернула руку, точно из горячего, крупно обрызгав покрывало.

— Кто вы такой, чего вы хотите?! — крикнула она, загоразивая собой аквариум и лужу на столе. — Ты?.. — Очки ее, те самые, прежние, неуклюжие, поползли на кончик носа, открывая сияющие, совершенно сумасшедшие глаза.

— Не рада? — спросил Крылов пересушенным голосом, словно не пользовался им с тех самых пор, как потерял Татьяну на площади.

Вдруг Татьяна взвизгнула, всем своим долговязым ростом подскочив на месте, и бросилась на Крылова, будто кошка на дерево. Он схватил ее, неожиданно длинную, но знакомую до малейшей ложбинки, до последней горошины длинного позвоночника. Он все не понимал, целует она его или пытается дракой вытолкать вон. Но Татьяна мычала и хохотала, мокрая ее рука ерошила Крылову волосы, оттуда капало за воротник рубахи. За несколько секунд она его буквально растерзала. Вдруг, оттолкнувшись, она отступила на шаг, не выпуская крыловских, накрепко схваченных рук.

— Вот это да, вот это да, — бормотала она, задыхаясь. Крылов стоял перед ней с глупой улыбкой человека, сделавшего доброе дело. — Но как? Как же ты сюда попал?

— Ты сама дала мне ключи, — тихо напомнил Крылов, замирая перед ней, незнакомой, шикарной, в леопардовом платье, словно облепленной пятнами теплого шоколада.

— А ведь и верно! — воскликнула Таня, так и этак дергая Крылова. — А я-то думала, куда они подевались!

В душе Крылова на секунду сделалось темно. Он вдруг почувствовал, насколько сейчас незащищен — будто больной на операционном столе. Малейшая жестокость могла его убить. Но Таня опять хохотала, ломкие локоны ее забавно подпрыгивали.

— Послушай, послушай, тут и сесть-то толком негде, — приговаривала она, увлекая Крылова на гладкую кровать. — Вот иди сюда, дай-ка я на тебя посмотрю!

Но они уже не видели друг друга. Свет и мрак мелькали в полуприкрытых глазах, как бывает в бешено несущемся автомобиле. Оба так вертели головами, что не могли как следует поцеловаться. Крылову не удалось понастоящему обнять Татьяну, добраться до нее, потому что в ней, в этом узком полированном сосуде, плясала какая-то незнакомая энергия — совершенно посторонняя тому, что происходило сейчас между ними. На Татьяне, будто на рептилии, совершенно не было застежек, одежда гуляла на ней, точно скользкая шкурка. Крылов, как собака, все пытался вынюхать сквозь новые тяжелые духи прежний Танин запах — запах аптечной горечи от ее болезненно тонкой, отравленной кожи. Но густая и тяжелая сладость все тянулась, обнаруживая себя за большим негнушимся ухом, в проклеенных волосах, под мышкой, где немного распоролся деликатный шов, — все не иссякала, наполняла ноздри и голову Крылова дурманящим дымом. Казалось, будто Татьяну заживо набальзамировали этим парфюмом, будто самая кровь ее теперь пахнет так.

— Уф! Дай передохнуть! — Таня вывернулась и, сияя, взбодрила пальцами прическу. Потом она церемонно завернула край разметавшейся розовой шубы, как бы что-то там укрывая. По карамельной шелковой подкладке выскользнули на паркет одна, две, много плотных долларовых пачек, ловко перекрещенных разноцветными резинками.

Крылов в смущении отвел глаза. Тут же он увидел на опухшем от воды стеклянном столике расквашенный бумажный лист, а на нем — горку мокрой сверкающей крупы. Не удержавшись, он встал посмотреть. Бриллианты, примерно от полутора до пяти карат, бросали на сырую белизну бумаги маленькое северное сияние; вода, не смачивая камни, дрожала на них, как роса. Некоторые по дисперсии света и качеству огранки были настолько хороши, что представляли собой скорее теоретические понятия, нежели материальные предметы; несомненно, это

было наследство и наследие профессора Анфилогова, видевшего в вещах прежде всего теоретическую часть. И тут же Крылов по факетированию рундиста и по некоторым другим фантазийным элементам опознал в профессорских теоремах камни собственной работы. Опять ему померещилось, будто Анфилогов где-то близко, буквально в этой комнате.

— Понимаешь, Василий Петрович точно не сказал, сколько бриллиантов он спрятал в аквариуме, — озадаченно произнесла Татьяна, разглаживая на коленях леопардовый подол. — Кажется, я уже все там три раза прощедила. Но думаю: а вдруг еще осталось? Совсем выливать аквариум — рыбок все-таки жалко. Они тут выжили на корме из дозатора и еще хоть год проживут. А с другой стороны — сам видишь, сколько это может стоить. Потом все время буду думать, представлять, как оно тут лежит без меня...

* * *

Муть в аквариуме постепенно оседала, внутри было как в перевернутой вверх дном дамской сумке. Обрывки водорослей серебрились на поверхности воды, осевшей на треть, и рыбины с мордами будто металлические маски не плавали, а как-то барахтались там, бултыхая рваными хвостами.

Рука Татьяны, которую Крылов сжимал, должно быть, слишком сильно, все еще была сырая и холодная.

— Скажи, ты любила его? — Это был вопрос из разряда тех, задавать которые не следует ни в коем случае.

— Ну вот, опять мы о муже, — лукаво улыбнулась Татьяна, бодая Крылова в плечо. — Все как в прежние времена. Ладно, если ты добрался сюда, значит, выяснил уже про нас с Василием Петровичем. Мы были женаты год. Любила ли я его? Не знаю. Но вот теперь, теперь... —

лицо ее, поддурманенное каким-то новейшим косметическим способом, сделалось набожным. — Теперь я буду любить его всю жизнь как родного отца. Представляешь, он мне завещал все, все! И квартиры, и домик в Цюрихе, и ценности, и деньги! Какой он оказался хороший человек!

— И ты все это возьмешь? Правда возьмешь? — изумился Крылов, еще ничего не понимая. — А как же мы с тобой?

— Ах, у нас с тобой все было чудесно. Но сейчас я просто не могу об этом думать, — Татьяна выдернула у Крылова руку и стала быстро-быстро вертеть на груди тяжеленькое золотое украшение. — Василий Петрович, когда уходил в экспедицию, дал мне коды кредиток, пароли банковских счетов, рассказал, где у него какие тайники. Но я, конечно, не смела тронуть ни крошки, жила на зарплату. Помнишь, у нас с тобой совсем не было денег? Я даже боялась, что слишком много знаю, вдруг до прихода Василия Петровича что-то оттуда пропадет. Понятия не имела, сколько там чего. И даже на поминки ни копейки не взяла!

Крылова болезненно кольнуло. Он, в общем, догадывался, что на момент похорон Татьяна была при деньгах. О происхождении этой суммы лучше было никогда и ни с кем не говорить.

— А в прошлый четверг меня пригласил адвокат, — продолжала рассказывать Татьяна, вдохновенно глядя в пространство. — Он прочитал завещание. И тогда я поняла, что все теперь мое! Не могу передать, что со мной стало. Кажется, я там разбила что-то. Они все улыбались, когда выпроваживали меня из офиса. Ты не поверишь, сколько денег оказалось на счетах у Василия Петровича! Вот угадай, сколько?

Крылов машинально пожал плечами.

— Ладно, тогда держись за что-нибудь, — Татьяна поверх очков сделала веселые и страшные глаза, но вдруг

крепко зажмурилась и упала навзничь на потекшую было с кровати розовую шубу — Нет, не скажу! Пусть это будет только мое! Вот веришь — ночью не могу спать больше трех часов. Вдруг проснусь, как от толчка, и сразу вспомню — сколько! И меня будто подбросит! Брожу по старой своей квартирке и думаю — как же я жила тут так долго?

Теперь тот счастливый блик, что мелькал перед Крыловым на улице, будто безобидный солнечный зайчик, обратился в полное и невыносимое сияние счастья. Таня смотрела в потолок, будто на звездное небо, и в сердце ее горела звезда. То, что еще недавно принадлежало Крылову — сплюснутая пятнистым шелком маленькая грудь, длиннопалая стопа с выпирающей косточкой, зятая в какой-то черный, не соответствующий дорогим обновкам сиротский чулочек, — было здесь, но словно отправлялось на какой-то склад.

— Давай поговорим о нас, — Крылов резко, за локоть, усадил Татьяну рядом с собой. — Я тебя люблю. Запомни это как следует. Шутить с этим я тебе, извини, не позволю. Мы долго экспериментировали, а теперь я хочу начать с тобой нормальную жизнь. Как у всех нормальных, правильных людей.

Татьяна глядела на Крылова чужими, слишком яркими глазами. Казалось, она совершенно ослепла. Крылов еще крепче стиснул скользкий локоток, который она попыталась поднять, чтобы защитить свою нестерпимую звезду, пробившую ее насквозь.

— Нам с тобой эти деньги не нужны. Ты одна еще могла бы принять наследство, но если мы будем вместе, тогда никак, — Крылов упрямо не отводил слезящегося взгляда от счастливого огня, казалось выжигавшего Татьяну изнутри. — Мы никогда не узнаем точно, как умер профессор. Но когда он умирал, мы предавали его. Не только ты, но и я. Нам не справиться с этими деньгами. Не знаю как, но эти деньги нас сомнут. Стоит ли оно

того? У профессора были еще жены, они сейчас немолды. У него остался сын. Пусть они унаследуют...

— Ты что, с Луны свалился? О каком предательстве ты говоришь? — перебила Татьяна, и знакомое выражение недовольства проступило сквозь туговатую, явно сделанную накануне подтяжку лица. — Не бери на себя слишком много. Да, встречались, ну и что? Если хочешь знать, в этом браке у меня и до тебя был один любовник. Неделю, но был. А как по-другому мне было все это терпеть?

— Подожди, подожди. О мертвых либо хорошо, либо ничего...

— К черту! — Татьяна резко вырвалась, вскочила, оказавшись ростом чуть не под потолок. — Это не мы, это Василий Петрович ставил эксперимент! Думаешь, я от хорошей жизни пошла за него? Нет, нет, и он прекрасно это знал! Я надеялась, что он хоть чем-то порадует меня. Теперь, при таких деньгах, даже страшно подумать, как мало мне было нужно. Крохи, сущие крохи. А какие бы это во мне растопило льды! Такие, с которыми жить нельзя, уж можешь мне поверить. Пойми, я ведь не тупее хотела и не духов. Я хотела быть ему благодарной. Мне надо было дать хоть какой-нибудь повод! А Василий Петрович будто специально выдерживал меня во всем старом, в старой квартире. Он туда навевывался в гости! Говорил, что будет ждать хоть вечность, пока я его полюблю. Вечность — подумать только! Как он смотрел на мои порванные колготки, развалившиеся сапоги! Будто ожидал, что от его недовольства они сами по себе сростутся. Не поверишь, как мне было страшно. Будто все мои вещи истлевают на мне, как на покойнике в могиле. Ведь люди вечность не живут!

Говоря все это, Татьяна лихорадочно рылась в карманах нахожденной шубы, извергавшей на пол новые денежные пачки. Достала сигареты в плоской тисненой коробке, золотую зажигалку, обметанную мелкой бриллианто-

вой сыпью. Высекла трясущийся огонь, втянула его целиком сигаретой-соломинкой, будто коктейль.

— Теперь ты хочешь, чтобы я отказалась от денег. Так вот что я тебе скажу. Неудачник не тот, кто не имел шанса, а тот, кто шанс получил и им не воспользовался, — Татьяна заходила по комнате, оставляя на паркете сырые узкие следы. — Я не собираюсь присоединяться к неудачникам. Потому что такое происходит с человеком раз и навсегда. У них у всех глаза становятся будто с болотной водой! Черт, черт! — Татьяна затрясла рукой с зажатой между пальцев сигаретой, сгоревшей за несколько затяжек, будто бенгальский огонь. — Никак не привыкну к этим дорожающим слимам, а тут и пепельницы нет! Вообще ничего нет в этой квартире, будто все тут по пальцам сосчитано!

Поозиравшись, Татьяна утопила окурочек в луже на стеклянном столе, где он сразу же разбух и лопнул, как попкорн. Весь янтарный паркет был в Татьянинных длинных следах, точно заяц петлял, спасаясь от погони.

— Ну хорошо, — Крылову тоже смертельно хотелось курить, но он ничего не мог делать здесь, в условном пространстве, где всякий посторонний предмет казался нарисованным на голой плоскости. — Может, и у меня через пару месяцев будут деньги. Не обещаю, но вероятность велика. Почему бы тебе не предпочесть мои деньги этому злосчастному наследству?

— Ты думаешь, я такая корыстная? — Татьяна с саркастической улыбкой покачала головой. — Что такое деньги для меня? Я тебе скажу. Всего лишь вопрос жизни и смерти. Я не о своем здоровье. Отравление у меня довольно легкое, Василий Петрович вообще не обращал внимания, будто у меня всего лишь пуговица оторвалась от пальто. Пара уколов по пять тысяч евро каждый — и все как рукой снимет. Но у женщин, пойми, есть одно заболевание: старость. Лет до тридцати все мы равны, все в своих правах. А дальше одни продолжают жить, а дру-

гие начинают умирать. Раньше закон природы действовал одинаково для всех. Поэтому старость не была такой отвратительной. А как теперь? Ведь все есть: сыворотки, пластика, нанотехнологии. Женщина за пятьдесят обязана тратить на себя несколько тысяч евро в месяц. И чем дальше, тем больше. Но даже если она топ-менеджер, незаменимый сотрудник, достойный представитель среднего класса — силы-то кончаются. И загнанную лошадь отправляют на заслуженный отдых! А пенсии хватает — поесть и за квартиру заплатить. Медицинская страховка — смешно! Даже стоматология теперь за отдельные деньги. А где их взять, кто-то может мне сообщить? Вечно молодым, конечно, никто не остается. Но ты видел богатых старух? Они как куклы! А все остальные — как грязь. И ты понимаешь, что речь идет о моей жизни? Ты осознаешь, что я родилась и умру?!

* * *

Крылов, мигая горячими глазами, слушал этот монолог и чувствовал, что Татьяна опять воздействует на него *н а п р я м у ю* — всей силой своего существа бьет в какую-то незащищенную точку, буквально сверлит в нем дыру. Он и сейчас не смог бы сказать, сколько ей все-таки лет. Мерзлая дымка, скрывавшая возраст, исчезла, место ее заняла гидрокосметика, должно быть, вроде той, которой пользовалась Тамара, нанося на лицо густые, совершенно бесцветные жидкости из толстых склянок синего фотозащитного стекла, где прозрачные сиропы были черны, как питьевые порции ночи. Должно быть, у Тамары и Тани будет теперь довольно много общего — к примеру, золотое украшение от Tiffany, которое Татьяна продолжала машинально крутить, казалось взятым из одного из Тамариных сейфов. Радикальное омоложение скоро сделает Татьяну прорезиненной, с температурой те-

ла на градус ниже человеческой нормы. Ее осевший животик станет прямым, с мускулами как панцирь черепахи, исчезнет милый шрам, похожий на тонкую нитку лапши. И что останется тогда?

— Ты не думай, я про тебя вспоминала, — лихорадочно произнесла Татьяна, обхватывая себя по самые лопатки длинными руками, не зная, куда себя девать между голых идеальных стен. — Знаешь, о чем я мечтала, когда мы с тобой бродяжили? Думала — вдруг найдем какой-нибудь клад. Или платиновую кредитку, а на ней миллион долларов! Глупо, я понимаю... Не представляешь, сколько у меня в уме скопилось подобных глупостей. Я складывала в отдельную коробку наши транспортные талончики. Представляла, что вот какие у них номера, столько у меня появилось денег. Начинала мысленно тратить, распределять. И всегда, всегда не хватало! Помнишь того придурка, что фотографировал нас на свой телефон? Я у него украла две тысячи рублей! Видишь, в чем признаюсь? — Татьяна хрипло захохотала. — И все-таки еще раз скажу тебе: не деньги я люблю. Ты ведь сейчас не от наследства просишь меня отказаться. А вот от тех моих минут в адвокатской конторе, когда они мне сказали... И от нынешних моих ночей, когда лежишь на спине и захватывает дух... И от цифры, которую никому не скажу, которая в моей голове, будто бриллиантище в сейфе... Если я сейчас напишу отказ от наследства, то все это выйдет зря, с обратным знаком. Превратится в самое ядовитое мучение, какое только бывает на свете. Сам подумай: разве можно отнимать у человека счастье, в чем бы оно ни заключалось?

Крылов опустил голову, разглядывая свои белесые носки, сильно севшие от Фаридовых стирок в кипятке. Странно, но сейчас он почти ничего не чувствовал.

— Мне это наследство пришло как помилование, — глухо проговорила Татьяна, темная и узкая на фоне водянистого окна. — Почти все обречены на убогую, до-

историческую жизнь, когда рядом е с т ь в с е. Почти все умирают, когда существует средство спасти больного, вот только денег у больного нет. Почти у всех жизнь настоящая...

На последней фразе Крылов крупно вздрогнул. И Татьяна тоже про это! Должно быть, у человека существует неизвестный орган, который подает ему сигналы о неподлинности мира. Слово «настоящая» Татьяна почти прошипела, и Крылову показалось, что движения ее похожи на танец змеи, когда она с толстой мерзлой силой свивает чешуйчатые кольца.

— И вот мне сообщили: все, приговор тебя больше не касается! — продолжила Татьяна, раскачиваясь на месте. — Я понимаю, что наконец-то жива, правда жива! До конца жизни жива! И вдруг появляешься ты. Что ты говоришь? Чтобы я отклонила помилование, посидела еще немного в тюрьме. А ты скоро сделаешь подкуп, освободишь меня, и мы будем жить долго и счастливо. Конечно, очень может быть, что у тебя ничего и не получится. Но освободиться надо все-таки так, а не иначе. По твоему мнению. И ведь я же знаю тебя, мой любимый, мой дорогой: вовсе не из самцовых амбиций ты предлагаешь мне отказаться от денег другого самца. Не себя ты требуешь уважать, а некую силу, которая над нами. Мало мы с тобой намучились, спрашивая ее, можно ли нам остаться вместе? И вот теперь ты собрался сделать еще один радикальный запрос? Так знай, что я не хочу. В конце концов, давай уважать и мое стечение обстоятельств. Оно тоже из жизни возникло. Может, отказываясь от денег, я эту силу как раз и разозлю...

— Допустим, ты тоже права, — произнес Крылов с тяжелой головой, в которой, будто в мутном выпуклом аквариуме, тоже ходило подобие рыбы: полужидкая вертикальная тяжесть, колыхавшая мозг. — Но ведь женщина не может быть одна. Предположим, ты зажила на уровне медицинского и всякого другого современного прогресса.

Будешь ты счастлива в одиночестве? А если нет — может, все-таки вспомнишь про нас с тобой? Очнись!

— Не надо меня пугать! — отрезала Татьяна, побледнев. — Женский страх одиночества тоже идет от бедности. От краткости века, оттого, что молодость быстро проходит. Это бедному человеку нужна определенность. Ему надо знать, что с ним будет. Мужчина и есть для женщины воплощение определенности. Она счастлива, когда уверена: до конца жизни он со мной! А мне теперь, пойми, определенность не нужна. У меня все будет хорошо, а как именно это произойдет — неважно. Я в раю, понимаешь, в раю! Это такое место, где никто ни в ком не нуждается. Мне больше ни о чем не надо беспокоиться. И продлится это долго-долго...

Татьяна заломила над головой сплетенные руки, протанцевала шажок, еще шажок, пробуя паркет эластичной черненькой ступней; в этой ее балетной попытке было что-то дидактическое, словно учительница чертила указкой по школьной доске. До Крылова уже вполне дошло, что вот только теперь Татьяна целиком и полностью попала в Зазеркалье. Туда, где ее ничто больше не касается. Разве что действительно очень долго проживет, и лет так в девяносто восемь у нее внезапно кончатся деньги. Каким окажется пробуждение от райского сна?

— Что ты так смотришь? — сердито спросила Татьяна, повернувшись на полупальцах и качнув просиявшей макушкой небольшую хрустальную люстру.

— Ты как будто стала выше ростом, — удивленно заметил Крылов. — Как такое может быть?

— Из-за каблучков, — бросила Татьяна, танцуя босиком.

Крылов покачал головой. Ему внезапно вспомнилось, как давным-давно на вокзале он украдкой поглядывал на незнакомку, примериваясь, выше он ее или все-таки нет. Если бы выше оказалась она, он бы, наверное, не стал заговаривать с ней. Теперь же, когда Крылов сделался не нужен, Татьяна вытянулась за пару месяцев, будто подро-

сток. Говорят, Хозяйка горы, самая богатая женщина мира, ростом под четыре метра. Так вот как все это происходит. То, что Крылов принял за подтяжку лица, сделанную в салоне красоты, было, возможно, началом минерализации: кожу Татьяны словно схватило изнутри холодным кварцевым ледком.

Все-таки она была еще жива, была реальна. У Крылова для нее имелся еще один, довольно сильный аргумент. Он мог разбогатеть через месяц, а мог и погибнуть (тут по всем телесным жилам его ударило, будто по струнам). Он знал, что на женщину грозящая мужчине смертельная опасность действует неотразимо. «Нет, пусть это будет только мое!» — прозвучал в мозгу Крылова голос, очень похожий на голос самого Крылова. И сразу он почувствовал себя защищенным. Точно на голову ему легла рука, мягко притемнившая сознание, укрывшая от жестоких Таниных звезд, все еще будто горевших на беспощадно белом потолке.

Между тем Татьяна сквозь свое райское блаженство все-таки беспокоилась о чем-то. Крылов даже подумал, не видит ли она профессора, иногда возникавшего в дверном проеме, подобно водяному знаку этого пространства. Но Татьяна туда не смотрела, не замечала темноватого сгущения воздуха, в котором уже скорее угадывались, чем виделись, треугольные глазные впадины, полоса щекки, рифленные пуговицы на кофте, бывшие настолько отчетливее всего остального, что казалось — они вот-вот осыплются на пол. Похоже, Татьяна даже не догадывалась о присутствии покойного мужа. Ее внимание было направлено внутрь, туда, где словно тикал, пожирая секунды, часовой механизм.

— Ты все время как-то напряжена, — заметил Крылов, не чувствуя ни малейшего укола ревности. — Сюда кто-то должен прийти?

— Нет, никто, — Татьяна потупилась, с трудом удерживая вывернутые ноги в пятой балетной позиции. —

Но в восемь вечера у меня самолет на Женеву. Завтра меня ожидают поверенные с переводчиками... Ты извини, — она оступилась, забежала взглядом, словно стараясь не смотреть в какую-то только ей известную точку. — Мне тут надо еще кое-что забрать... И собрать чемодан... Не провожай меня, правда, я иначе совсем ничего не успею...

— Ну хорошо. Я тоже через пару дней уезжаю по делам в Новосибирск, — Крылов, чтобы не наткнуться нескромно взглядом на тайник, который Татьяна мечтала открыть, как только останется одна, теперь смотрел только на нее. — Вернусь примерно через месяц. А ты когда прилетишь назад?

— Ну... Где-то через полгода. Когда уже официально буду вступать в права наследства. Если здесь, конечно, не произойдет революция, — быстро говорила Татьяна, слегка захлебываясь словами. — Это же ужас, что вокруг творится! Официально президента кладут на операцию, а на самом деле это будто бы не операция, а домашний арест. Сама видела на днях, как мужчина прямо по улице тащил пулемет, запросто так, будто это пылесос какой-то. Нет, пока лучше отсюда подальше! Счета в женевском кантональном банке открыты на двоих, на меня и на Василия Петровича, плюс с собой кое-что прихвачу, на первое время хватит. А потом, если все будет хорошо, поселюсь в этой квартире! Даже не представляла, что у меня когда-нибудь будет такая!

— Что ж, счастливого пути. Не буду тебе мешать. Может, через полгода встретимся, — проговорил Крылов, вставая. Его охватило воодушевление несчастья. Ему показалось, будто вместе с ним в этой комнате разом встали еще несколько тысяч человек.

Татьяна, забившись в угол, кусала согнутый палец. Крылов спокойно направился к дверям. Он вдруг понял, что чувствует человек, которого ведут на казнь. Он чувствует слабость в оседающем теле, будто его обливают его собственной кровью. Он ужасается каждой пяди земли,

на которую натывается ногами. Остатки жизни в нем словно разрывают его на части. За несколько метров до места он мечтает о самоубийстве. Все это понимание вдруг накрыло Крылова на полпути к избавлению от женщины, кусающей свою костяшку, и чуть не вышибло слезы. Сам-то Крылов был в полном порядке.

— Постой! — женщина вдруг метнулась за ним и едва не упала, поскользнувшись на мокром полу.

— Что тебе? — деревянно обернулся Крылов. Он снова чувствовал этот сладкий тяжелый запах, к которому было принюхался. Запах тянулся от женщины многими вязкими нитями, слепо ища чьего-нибудь дыхания, улавливая его, как улавливает хищное растение трепет мотылька.

— Постой, погоди, — Татьяна, сжавшись, прислонилась к нему, и сразу стало очевидно, что она и правда выше Крылова сантиметров на пять. — Мне вдруг так больно стало. Я ведь не понимаю, что сейчас со мной происходит. Я, наверное, сама не своя. Давай не будем больше терять друг друга. Чтобы снова не вышло так, как тогда, на площади...

Крылов глубоко вздохнул. Ему показалось, будто в душу ему хлынул океан.

— Давай я тебе позвоню, — прошептал он, касаясь губами твердой щеки, по которой стекала, не смачивая поверхность, соленая капля.

— Некуда позвонить, — жалобно проговорила Татьяна, швыряя носом. — В свою квартиру я больше не войду. Только покидаю вещи — и прочь оттуда. Там все стены оклеены моим несчастьем. А мобильник я здесь не стала покупать. Решила, что в Женеве куплю, увидела в каталоге платиновый суперком, позарилась, дура!..

— Ничего-ничего. Ничего-ничего... — Крылов погладил узкую спину, тонкие лопатки, обладавшие дивным совершенством полумесяцев или, быть может, райских виноградных листьев. — Давай договоримся, что ты мне по-

звонишь. Как только прилетишь, устроишься, так сразу из гостиницы...

— Дадо номер записать, — гнусаво проговорила Татьяна, отрываясь от Крылова. Из-под очков у нее натекло, под носом блестели жидкие усы.

— Давай вот здесь, — Крылов, сдвинув набрякшие драгоценности на мокром бумажном листе, отделил, словно от вареного, волокнистый клочок.

— Только вот ручку я дома забыла, — пробормотала Татьяна, размазывая пальцами опухшие глаза.

Некоторое время они озирались в поисках того, чем можно было написать или хотя бы выдавить на разлезавшейся бумажке телефонный номер. Они кружились, словно каждый танцевал сам с собой. Призрачным кружением их вынесло в комнаты. Нигде не было ничего з а б ы т о г о, совершенно ничего житейского, и только пыль, таинственно отложенная пустотой, серебрилась на голых поверхностях, предлагая написать на ней пальцем. Они, будто космонавты в невесомости, плыли от стены до стены, отталкивались, вращались, оказывались не там, куда глядели, думая, что смотрят вперед. Пусты и гулки были мебельные ящики, гулки, как барабаны. Пересохшая сантехника, на которую Крылов набрел в зеркальной и кафельной зале, превратилась от пыли в шершавый гранит; похожий на кладбищенский памятник высокий унитаз взорвался в ответ на нажатие клавиши резким шипением, как это бывает в самолетах на высоте нескольких километров.

Наконец они снова сошлись, потрясенные стерильностью комнат, полным отсутствием в них следов человека. Татьяна вертела в пальцах единственную добычу — рифленую, заросшую пылью мужскую пуговицу.

— Хорошо, тогда ты просто запомнишь, — сурово проговорил Крылов, и Татьяна послушно кивнула. — Шестьсот сорок четыре. Восемнадцать. Сорок один. Давай, это просто. Давай еще раз...

Крылов раздельно, отчетливо декламировал номер Фаррида, вперившись в Татьянино лицо, на котором ему мешали очки с засыхающими на стеклах солеными кляксами. И номером, и голосом он точно пытался внушить ей себя навсегда. Он чувствовал в ней какой-то предел, какой-то упор. Она настолько напрягалась, стараясь запомнить, что цифры отскакивали от ее звенящего сознания. Она повторяла за ним, как эхо, улавливая слова из воздуха, пока они, нигде не записанные, еще не успели раствориться.

— Ну, все, все, — зашептала она наконец. — Все-все-все...

Никогда и никого Крылов не целовал так грубо. Он держал ее, связав руками, и, привстав на цыпочки, ел ее живой соленый рот, не давая дернуть, не давая вздохнуть. Она клокотала у него в руках и бессильно топала мягкой черной ногой. Наконец он оттолкнул ее, отлетевшую к стенке. Ее черты размазались, словно по бутерброду, на верхней, утиным клювом распухшей губе черной каплей выступила кровь.

— Шестьсот четырнадцать! Восемнадцать! Сорок один! — выкрикнул Крылов в это жалобное, жалкое лицо и бросился прочь по коридору, едва не убившись о пару розовых сапог. Кажется, Татьяна тоже что-то прокричала вслед, но бронированные двери, тихо щелкнув безупречными замками, уже захлопнулись.

В холле сделалось темней, чем полтора часа назад. В кожаном кресле сидела давешняя голубокудрая старуха, сложив нежнейшие лапки на набалдашнике трости. «Шестьсот четырнадцать, восемнадцать, сорок один», — подумал Крылов, глянув исподлобья на престарелую Мальвину, поднявшую к нему омоложенную силиконовую мордочку. Скоростной зеркальный лифт, чуть-чуть подержавший Крылова на весу, словно снял с него несколько ксерокопий, между тем как Крылов продолжал учить цифры. На воздухе ему не полегчало. Почему-то теперь стало намно-

го холоднее, чем было утром. Одежда, растерзанная Татьяной, сидела на Крылове кое-как, будто напыленная одна поверх другой на перегруженную вешалку. Серое низкое небо чуть заметно серебрилось, и отовсюду слышался шорох: это ранний рифейский снег, мелкий и колкий, царапал золотые, все еще в полной роскоши раскинутые листья, солил пожухлую траву. Пятно Татьянинных слез у Крылова на щеке совсем заледенело. Он нес его на себе и все повторял, заучивал за Таню телефонный номер, затверживал его в такт широким, бессмысленным шагам. Странная легкость походки объяснялась тем, что в кармане у Крылова больше не было Татьяниной связки: пять ключей на проволочном колечке, несколько месяцев не остывавшие до обычной температуры металла, всегда напитаемые, будто батарейки электричеством, телесным крыловским теплом, пропали где-то в квартире, дальнейшая их судьба была неизвестна. Все это было неважно. Крылова волновало, не случится ли чего в бурном воздухе с самолетом на Женеву, не обледенеет ли взлетная полоса. Если была у него какая-нибудь молитва, которую он мог вознести за Татьяну несуществующему Богу, то только эта: «Шестьсот четырнадцать. Восемнадцать. Сорок один».

* * *

Когда Крылов явился домой, в плаще как мерзлая слоновья шкура, весь пропахший тягучей парфюмерной сладостью и совершенно безумный, Фарид его ни о чем не спросил.

— Рановато нынче снег, — заметил он, сдирая с Крылова щеткой ледяную крупу. — Но по прогнозу должно растаять дней через пять.

Весь вечер и следующий день Крылов с Фаридом паковали рюкзаки, которые росли, как колонны, среди раз-

ложенных по комнате инструментов, одежды, припасов. От многого, набранного впрок, Фарид отказывался, отправляя это в запасную кучу, и тогда Крылову думалось, что эта куча их переживет. Руки его работали толково, но чувства и слух были прикованы к старому «Панасонику». Телефон стал для Крылова будто аппарат искусственного дыхания; если он слишком долго не звонил, начиналось сильное сжатие в груди, словно кто изнутри забирал Крылова в кулак. Когда же трубка, закопанная сборами в груды экспедиционного имущества, принималась верещать, Крылов, дрожа от спешки, кидался по-собачьи разбрасывать рухлядь, но, устыдившись, уступал дорогу Фариду. Фарид, вскинув кривую бровь, соединился с абонентом и начинал говорить, из чего Крылов понимал, что это опять не к нему. Тогда, не желая завистливо прислушиваться к чужому общению, он уходил на балкон. Там, закурив отсыревшую, отдававшую осенней горечью сигарету, он прощально глядел на пегий двор с обледенелым турником, на большие деревья с остатками рыжих, щепотьями смерзшихся листьев, на старые астры, похожие на платяные щетки, на человеческие следы в каменеющей глине, воздушно-белые от мелкого снега, будто там не люди натоптали, но протанцевали ангелы.

День, когда Татьяна должна была, устроившись, позвонить из Женевы, прошел и угас; из-за разницы в пять часовых поясов, а может, по другой причине узкий свет этого дня падал косо, будто из щели. Крылов прожил сутки словно на планете с пятикратной силой тяжести; если бы телефон вообще не звонил, он бы, наверное, умер. Но трубка «Панасоника» верещала часто. Звонили Рома Гусев, Серега Гаганов, Вадя Солдатенков; звонил из районной больнички подстреленный в левое легкое Владимир Меньшиков. Дата октябрьского переворота все приближалась, и в стране происходили события. СМИ неохотно, будто сквозь зубы, подтвердили слух о болезни президента. Фарид, с примятым ухом, с отсыревшей от его дыха-

ния трубкой в руке, вытаскивал Крылова с балкона и вел смотреть телевизор. Там вместо больного, но живого главы государства показывали клинику, где он содержался: плотное здание с узкими окнами, похожее на русскую печь, с квадратной башней-трубой, над которой вяло облизывал древко золоченый и орленый президентский штандарт.

В три пополудни по московскому времени президентский пресс-секретарь, энергичный функционер с яблочной бойскаутской улыбкой, сообщил об отставке правительства; релиз в его руках дрожал, будто пресс-секретарь боялся ссыпать с листа прыгающий текст. В шесть он же, покрытый выпаренной за кратчайший срок, пестрой от ужаса двухдневной щетиной, объявил, что при отсутствии в России института вице-президента власть переходит к Временному президентскому совету. Тут же показали и Совет: двенадцать человек, сидевших в ряд несколько поодаль друг от друга. Двое были в золотых генеральских мундирах, с нахмуренными, сдавленными лицами; женщина от «Женщин России» в рыхлом зеленом костюме, с консервативной короткой стрижкой, смокшей на висках, крепко сжимала трагический рот; бывший телекомментатор, депутат бесконечного числа созывов разных органов власти, глядел на журналистов вытаращенными голыми глазами, начисто лишенными ресниц. Еще не начавшие действовать, эти люди выглядели взвинченными и одновременно страшно усталыми; казалось, история поразила их одновременно, будто повсеместно выведенная медиками инфекционная болезнь. Как именно это произошло, мог бы, вероятно, сообщить председатель Временного совета, бывший министр здравоохранения академик Каренин. Но он и сам выглядел зараженным. Долговязый нескладный старик с облачком седины на высоченном алюминиевом черепе, Каренин прежде никогда не становился объектом стольких телекамер и теперь заглядывал в них поочередно, будто иссле-

дователь в приготовленные лаборантами микроскопы. Под этим впившимся взглядом Крылов ощущал себя видным насквозь прозрачным микроорганизмом. Высокий, кособокий, в съехавшем на одно плечо пустом пиджаке, Каренин одним своим видом подавлял чирикание журналистов, пытавшихся задавать вопросы о подготовке к демократическим выборам и причинах введения в столице комендантского часа. Глядя на него, опиравшегося прямыми, пуком расставленными пальцами на груди вкривь и вкось исчерканных бумаг, всякий понимал, что все происходящее — правда.

— Нам из-за этого ворона ученого не забыть бы чего, — проворчал Фарид, возвращаясь к упаковке рюкзаков.

Ночь прошла в попытках Крылова задремать, пережить глухие часы, когда никто никому не может звонить. Открывая глаза, он видел справа на тумбочке светящийся циферблат, где измерялось давление времени, растущее по мере скачков расшатанной минутной стрелки. Он встретил европейский рассвет в темноте, лежа ногами к смутному призраку окна. В это время на корундовой реке мела метель. Снежное молоко невесомо стекало со скал, речная, дегтем загустевшая вода прилипла к ледяным закраинам мягкими, словно бы теплыми пятнами. Белым дымом дымились черные леса. В мерцающей пелене едва рисовался четырехметровый женский силуэт. Светлые граненые глаза Хозяйки горы были широко раскрыты; на каменном плече ее висела мерзлая, колючая, как щетка, розовая шубка. Под ногами самой богатой женщины мира на рябых от снега валунах валялись разбитые чемоданы, трепетали, стекленея, нежные женские тряпочки.

В это же самое время подстреленный Меньшиков, которому мутная боль не давала уснуть, пошел покурить, что строго запрещалось лечащим врачом. По пустому больничному коридору, смешно скользя на цыпочках,

чтобы не стучать каблуками коротких сапожек, двигалась ему навстречу маленькая женщина. Должно быть, она дежурила возле кого-то из близких, возле брата или мужа, и теперь торопилась домой, чтобы немного отдохнуть. Было что-то невыразимо трогательное в ее молодой шейке, в мягкой кисточке волос на круглом затылке, в красной, похожей на божью коровку простуде на верхней губе.

— А не скажете, как вас зовут? — спросил нахальный Меньшиков, когда незнакомка, почти поравнявшись с ним, остановилась, чтобы перехватить из одной руки в другую увесистый пакет.

— Ну, допустим, Надя, — настороженно ответила та, глядя исподлобья золотыми ясными глазищами. И тут же спросила, не сдержав любопытства: — А вас?

— Ну, допустим, Виктор, — радостно отозвался Меньшиков, чувствуя жгучее желание немедленно схватить в охапку это теплое ночное существо.

* * *

Крылов проснулся с ломотой в суставах и стесненным сердцем в половине десятого утра. На кухне Фарид, поедая подсохшие картофельные шаньги, пересчитывал деньги.

— Вот, возьми, — он отделил от пухлой пачки тысячерублевок добрую треть. — К матери сегодня сходишь. Ей отдашь. Я за билетами на вокзал.

В темной тоске оттого, что телефон, промолчавший ночь, остается вообще без присмотра, Крылов отправился в путь. Не рискуя проехать четыре остановки на метро, он пробирался дворами, иногда совершенно безлюдными, с мертвой тишиной под мокрыми деревьями, иногда буквально запруженными местным населением. Длинноволосые старики брнчали на разохшихся жел-

тых гитарах, мучая струны артритными пальцами; молодежь сидела на спинках затоптанных скамеек, у некоторых на атласистых стеганых курточках махрились алые банты. Один раз румяные мужчины, вкусно пахнувшие арбузом и водкой, стали пожимать Крылову руку и называть «товарищ»; потом он видел с десятков оседланных лошадей — коренастых, потертых, будто велюровая мебель, с гривами как волосы старух; за лошадьми присматривал браваый казак со сдобным чубом из-под заломленной фуражки, игравший в голографический тетрис. На улицах гудели многокилометровые пробки; переходя, Крылов вилял среди застрявших автомобилей — и много пешеходов двигалось прямо по проезжей части, будто по зеркальной металлической реке.

Дома, как всегда, горело среди дня полоумное электричество; в стеклянных банках, мутной горой составленных в прихожей, скопилось много пыли и сухих насекомых. Из-за этажерки косо торчала свалившаяся картина, содержания которой Крылов совершенно не помнил, и на обоях светлел прямоугольник с кудрявыми свежими розочками, будто окно в баснословные времена, когда юный Крылов обводил эти цветочные кудряшки пачкающей, выделяющей фиолетовые сопли шариковой ручкой. Мать вышла на шум из своей непрветренной спальни, где даже в светлое время суток воздух был будто темноватая водичка, в которой разболтали с кистей акварельные краски.

— А, это ты пришел... — На матери поверх халата была намотана толстая, курчавая от старости пуховая шаль. — Все батареи никак не затопят. Снег на дворе, а тепла не дают. Ты тоже надень там кофту какую-нибудь...

— Я на минуту. Уезжаю по делам в Новосибирск, — соврал Крылов, будто мать и Татьяна стали бы его искать в случае чего в этом Новосибирске. — Деньги вот тебе принес...

— Деньги, деньги... Где они теперь, твои деньги? — Мать сердито повернулась и зашаркала на кухню, потря-

живая мертвеньким, будто из кошачьего волоса скатанным шиньоном и роняя на пол железные шпильки.

Крылов, растерянный, побрел за ней. Он практически всю жизнь спрашивал себя, почему же ему не дано пожалеть эту чужую, но все-таки родившую его, все-таки много болеющую женщину. Из-за истории с тетушкой? Оттого ли, что не о чем с ней говорить? Или потому, что в н е п о д л и н н о м мире ее страдания притворны? Сегодня, как всегда, у Крылова не было ответа. По крайней мере напоследок — очень может быть, что вот сейчас он видит мать в последний раз — ему хотелось бы что-то почувствовать. И вдруг он узнал ту войлочную наколочку, что была сейчас пришпилена у матери на голове. Давно, роясь в поисках, кажется, ножниц, он увидел это в ящичке трюмо — в том самом ящичке, откуда много лет назад выкрал фотографию тетушки и развеял по ветру. Сухие пестренькие пряди, будто нарисованные то мягким, то твердым простым карандашом, были тем самым уроном, который мать, теряя шевелюру, складывала в желтую газетку. Тогда Крылова кольнуло от мысли, что такие волосы бывают в гробу; теперь он вдруг осознал, что мать, как могла, пыталась не терять себя — собирать себя и х р а н и т ь н а п а м я т ь, как хранят заветный локон близкого человека. Почему-то именно сегодня она решила принарядиться, приколоть шиньончик; в этом было что-то настолько живое и человеческое, что Крылову внезапно сделалось спокойно.

На кухне мать мешала что-то в лепечущей кастрюльке; черно-белая кошка, рисунком пятен похожая на толстую березу, мыла лапой хитрую морду, словно проверяя на всякий случай наличие рваного уха на круглой голове.

— Тут милиция приходила, — сказала мать, не оборачиваясь. — Спрашивали про тебя, но я их в дом не пустила без ордера. Так себе милиционеры, воробыи в очках. Насчет денег вот что тебе скажу. Зря ты все оставил Та-

марке своей. Ведь ты же был настоящий бандит, какие ездят на этих страшных машинах, все в золоте. Мы с отцом сколько волновались за тебя. Так хоть богатым стал, а потом взял и все бросил!

От неожиданности Крылов с размаху сел на табурет. Вот, значит, какая версия жила все это время у матери в голове!

— Ну, чего смеешься? — Мать присела к столу, вытащила из кармана узловатое вязанье, из другого кармана, оттопыренного клубком, потянула лысую нить. — В такое беспокойное время в Новосибирск едешь, так дело-то выгодное?

— Выгодное, мама, очень выгодное! — горячо заверил Крылов.

Тут же он понял, что не соврал, а сказал самую что ни на есть настоящую правду. И каким-то образом эта сказанная правда дала ему почувствовать, что он может и вернуться. Мать беззубо улыбалась отечным, почти младенческим лицом, и до Крылова дошло, что она все-таки выполнила главное назначение матери взрослого сына: на пороге неизвестности заставила поверить в возвращение домой.

— Ладно, так и быть, — сказала мать, степенно поправляя на плече дырявую шаль. — Поезжай, а деньги положи в зале. Не убрano тут у меня.

В комнате Крылова, которую мать называла залой, тоже было не убрано, но все-таки не очень мрачно за счет долговязого растения, бывшего незаметным и бесплодным, как старая электропроводка, и вдруг пустившего граммофонный, полосатый, словно на булавку приколотый цветок. Все тут было, как всегда, загромождено, пыльные вещи, стоило на них посмотреть, терялись в этих загромождениях, пропадали из глаз. Крылов озирался, прикидывая, куда бы положить конверт с деньгами, чтобы он не канул. Сперва решил пристроить на трюмо, где в водяных зеркальных створах словно завелась нитяная полу-

прозрачная серебристая живность, но подзеркальник оказался так завален курчавыми клубками распущенной шерсти, что страшно было трогать. Тогда Крылов расчистил с угла свой школьный, изрисованный чернилами письменный стол: на нем конверт белел отчетливо, видный от самых дверей. Когда же он обернулся напоследок, в сознании его с необыкновенной ясностью обрисовался план помещения: письменный стол на этом плане представлял собой тот самый, стоявший с последней надежностью, почтовый квадрат.

Домой, к Фариду, Крылов прибежал запыхавшись.

— Никто не звонил? — крикнул он от порога, сдирая плащ.

— Павел звонил, — отозвался Фарид, выходя в коридор. — Он сегодня увозит своих в Лосинково, там у него дом и огород с картошкой. Сказал, чтобы мы, когда будем возвращаться, выходили не в город, а прямо туда. — Фарид помолчал, держась за косяк, и добавил: — В Москве началось.

В задней комнате, включенный на полную силу подсевшего звука, работал телевизор. По запруженной Тверской в сторону возвышавшихся новогодними елками кремлевских башен медлительно перла толпа. Ее тяжелое движение равно перетирало белогвардейцев в сбитых фуражках и красноармейцев в «богатырках»; над головами, будто паруса в смертельную бурю, косо вставали, и клонились, и падали красные, черные, триколорные знамена и транспаранты. На конном памятнике Юрию Долгорукому впереди слепого металлического князя сидел, как взятый на седло ребенок, столичный мэр с лысиной будто облетевший одуванчик, с полными руками каких-то воззваний, которые с опасной, грозящей падением высоты не решался швырнуть. В переулке подростки в советских детсадовских синих буденовках, в кожаных куртках с целыми кольчугами багряных советских значков с разбегу пинали и валили вякающие иномарки.

Какой-то согнутый монах с тонкими, будто ветром высосанными волосьями семенил, вздымая костистые руки, на торчавший из джипа курносый пулемет. На Лубянке восстановленный Дзержинский наблюдал многотысячный митинг, загадочный при виде сверху, будто темные годовые кольца тысячелетнего дерева. В Думе диктатор Каренин, вцепившись, будто грузчик в ящик, в гербовую трибуну, каркал в микрофоны воспаленные речи, но сосредоточенные мужчины, сидевшие перед ним в государственном зале, по большей части были не депутаты. И снова телекамеры выводили зрителя на улицы. Телекомментаторы — не те маститые, отлакированные слабой дамы и господа, что вели на главных каналах блоки новостей, а какие-то малоизвестные девчонки и пацаны, растрепанные, в куцых твидовых пальтишках, с дрожащими губами, обметанными помадой и простудой, — кричали каждый свое на фоне лязгающих танков, молотивших Садовое кольцо.

И все-таки это не походило ни на народный бунт, ни на военный путч. Москва напоминала огромный, переполненный войсками и беженцами вокзал, где все искали своих. Те, кому не хватило красноармейской или белогвардейской формы, все равно выходили из домов — и вирус истории, давно, казалось бы, подавленный и усмиренный, уже почти не существующий, беспрепятственно распространялся в гражданских толпах, в милицейских и армейских подразделениях. Каждый, подхвативший болель, был уже не тем, кем казался, кем выглядел и кем себя считал. Каждый мог теперь стать совершенно другим человеком с неожиданной судьбой, с неопределенностью во всяком завтрашнем дне. Никакими карантинами нельзя было теперь сдерживать события, грозившие, без всякой логики и пользы, кроме логики и пользы самого исторического движения, потрянуть цивилизацию. Эпидемия истории распространялась по Москве — и люди искали своих, надеясь собраться вместе перед отправкой

в будущее, слушая противоречивые объявления, не зная расписания поездов.

— Нам все равно не туда, — спокойно произнес Фарид, щурясь в экран. — Я взял два купейных на проходящий из Казани. Завтра, в одиннадцать тридцать.

— Можем вернуться не в ту страну, из которой уходим, — заметил Крылов, сдерживая дрожь.

— Давай-ка лучше проверим еще раз лекарства и продукты, — предложил Фарид.

* * *

Как ни странно, Крылов отлично выспался в ночь перед отъездом. Проснулся он в полной ясности, с бодрыми мурашками, бегущими вверх и вверх по невесомому телу, и сразу понял, что теперь абсолютно свободен от всего, кроме давно назначенной встречи на корундовой реке. Последние сборы заняли полчаса. Потом Крылов с Фаридом присели на дорожку, помолчали, глядя каждый на свои просмоленные крепкие ботинки, и резко впряглись в рюкзаки. После того как за ними захлопнулась дверь, телефон заверещал — и пиликал в зашторенном стоячем полумраке не меньше двадцати минут, а кто дозванивался и откуда — осталось неизвестным.

Судьба присутствовала. Поступью рока маршировали по пустому Вознесенскому проспекту слитные спецназовцы; рыхлые снежные хлопья, похожие на мелкие белые соцветия, таяли на их заострившихся, туго обтянутых лицах. Считая, печатая шаг, стягивались к центру города суконные армейские части; снег засыпал их, будто ровно распаханые огороды. С низкого неба косо тянуло белизной; проступая неясной, еле закрашенной тенью, вела вещание разрушенная телебашня. На скосе плотины, валившей пивную воду в мягкий ледяной жирок, блестела подновленная надпись «БОГА НЕТ» —

обращенная вверх, будто приманка или посадочный знак.

Из улиц и переулков, прямо и криво вливавшихся в Вознесенский, осторожно высовывались, пробуя воздух отсырелыми флагами, рябые от снега гражданские шестивия. Только одна демонстрация, тащившая небольшое количество скудного красного ситца, двигалась за спецназовцами и, казалось, даже преследовала на расстоянии километра элитную часть. То были старики — бабки в мокрых клочковатых шубах, деды в подбитом ватой камуфляже, в потертых, словно фанерных пальтецах; они ковыляли, будто нескладные птицы, почему-то решившие пойти пешком. То были жители прошлого века, еще не забывшие подлинный соленый и горелый вкус истории. Пенсионеры, торговцы газетами и поддельными телефонными картами, мелкие мошенники, артисты пригородных электричек, дряхлые кляузники, фальшивомонетки-надомники, преступники уже потому, что продолжали существовать и помнить какой-то другой, иначе устроенный мир, они упрямо волокли негнущиеся ноги, их лица напоминали вывернутые наизнанку мятые карманы. Демонстрацию возглавляла знаменная группа, состоявшая из двух человек. Под настоящим бархатным знаменем, протертым на складках до розовой ткани, маршировали, будто ища ногами домашние шлепанцы, два старикана в форме Великой Отечественной: рядовой пехотинец в изоржавленной пористой каске, в порыжелой плащ-палатке и лейтенант-танкист, похожий в шлеме и комбинезоне на муху с оборванными крыльями, с нестареющей глянцевої кожей на левой сожженной щеке. Оттого, что их было только двое — может быть, на всю четырехмиллионную рифейскую столицу, — и еще по каким-то неявным, но безошибочным признакам с первого взгляда становилось понятно, что эти — не ряженные, а н а с т о я щ и е. Два старика были именно теми, кем оделись и кем представляли перед своей инвалид-

ной демонстрацией, — и это ощущалось как прямой удар по д л и н н о с т и, направленный в грудь. Стариковская демонстрация шуршала и шелестела, как шелестит в допотопном магнитофоне пустая пленка; отсутствие оркестра придавало этому шествию нечто мистическое. Вдруг Крылов, наполовину ослепленный снегом, узнал в рядовом пехотинце того по-дамски остриженного дед, у которого он бездну времени назад пытался сторговать фальшивый паспорт. Крылову даже показалось, будто дед, чуть откинув каску на затылок, незаметно ему подмигнул.

В то утро мокрый снег, тянувший по улицам белые сети, мылом стекавший с бурой слипшейся листвы, так и не перестал. Многие пытались выехать из города, многие волокли громоздкую, кое-как набитую поклажу, тянули за руки слишком туго закутанных детей, ловили попутки, осаждали билетные кассы. В густой толпе никто не обращал внимания на двух мужчин — сухого старого татарина и другого, помоложе, с каменным ртом, в остром капюшоне, надвинутом на самые глаза, — что мерно шагали под огромными, ладно уложенными рюкзаками. Судьба сопровождала их, ступая по снегу босиком. Она уберегла их от встречи с пьяным казацким разездом, палившим по воронам и гражданам из длинноносых маузеров, быстро протащила через перекресток, где через пять минут взорвался от гранаты комсомолец армейский грузовик. Билеты у них были куплены заранее, и до места они добрались благополучно.

На вокзале их никто не провожал.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая	5
Часть вторая	53
Часть третья	119
Часть четвертая	164
Часть пятая	218
Часть шестая	285
Часть седьмая	367
Часть восьмая	416
Часть девятая	475

Литературно-художественное издание

Славникова Ольга Александровна

2017

Роман

Заведующая редакцией *Е.Д. Шубина*

Редактор *Д.З. Хасанова*

Младший редактор *Т.С. Королева*

Технический редактор *Т.П. Тимошина*

Корректоры *М.И. Уланова, О.Л. Вьюнник*

Компьютерная верстка *Е.Л. Бондаревой*

ООО «Издательство Астрель»

129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3а

ООО «Издательство АСТ»

141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96

Электронный адрес:

www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Издательство АСТ представляет

Книги ОЛЬГИ СЛАВНИКОВОЙ

2017

Роман, премия РУССКИЙ БУКЕР

**СТРЕКОЗА, УВЕЛИЧЕННАЯ
ДО РАЗМЕРОВ СОБАКИ**

Роман

БАСИЛЕВС

Один в зеркале. Роман

Басилевс. Рассказ

КОНЕЦ МОНПЛЕЗИРА

Бессмертный. Повесть

Конец Монплезира, Мышь. Рассказы

А также **НОВЫЙ РОМАН – ЛЕГКАЯ ГОЛОВА!**



Прозаик Ольга Славникова после выхода романов «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» и «Один в зеркале» как-то сказала: «Я уже написала “трудные” романы, теперь хочу работать над сюжетной и даже остросюжетной прозой». И сдержала слово!

2017 год. Большой уральский город. Главный герой – талантливый огранщик камней, его друзья – хитники – члены закрытого клана, одержимые поиском драгоценных жил в горах.

Его возлюбленная не называет имени, он не знает ее адреса, хотя у него есть ключи от ее квартиры...

Постоянный вызов судьбе, постоянная игра. Свидание всегда назначается только одно, каждая вылазка в горы может стать последней.

А тут приближается годовщина Октябрьской революции, и на улицах города разыгрывают театрализованные сражения красных и белых, которые превращаются в настоящий переворот!..

Роман удостоен премии «РУССКИЙ БУКЕР».

«Славникова прошла по политически-гламурному бомонду, власти, СМИ, бизнесу, проблемам экологии. Все черты и проблемы нашей жизни, обильно приправленные “каменной” мистикой и всякой чертовщиной... Не герои фальшивы – весь мир подделка. И живет он по своим, пусть жестоким, но искусственно театральным законам. Сюр? Абсурд? Да, и довольно убедительный. Страшненькое такое зазеркалье».

Лиза Новикова

ISBN 978-5-17-069379-5



9 785170 693795

www.elkniga.ru